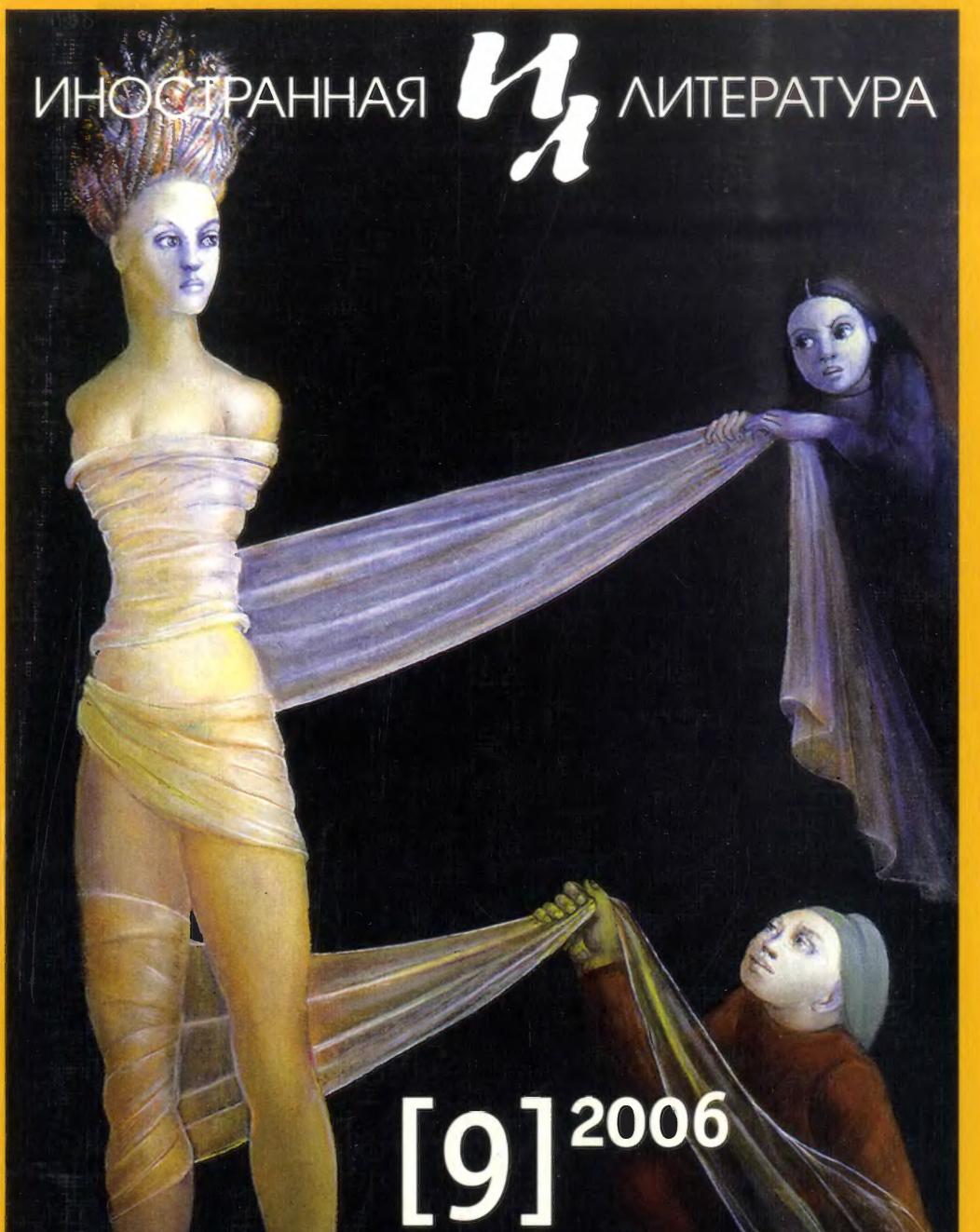
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[9] 2006

ФРАНЦИЯ: ПИСАТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ, ЧИТАТЕЛЬ. РОМАН НИКОЛА РЕ "И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО" / ЖАН-МИШЕЛЬ ДИ ФАЛЬКО, ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕР: "Я ВЕРУЮ – Я ТОЖЕ НЕТ" / ПОЭМЫ ИВА БОНФУА И ВЕНСАНА РАВАЛЕКА / ПЬЕСА НАТАЛИ САРРОТ "ИССМ" / РАССКАЗЫ ЛУИ-РЕНЕ ДЕФОРЕ И ФИЛИППА ДЕЛЕРМА / ПОВЕСТЬ КРИСТИАНА ОСТЕРА "СВИДАНИЯ"

Основан в 1891 году

Редакция “ИЛ” благодарит
за финансовую поддержку и организационную помощь
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ,
Министерство иностранных дел Франции,
Посольство Франции в России

*Издание осуществлено в рамках
программы "Пушкин" при
поддержке Министерства
иностранных дел Франции
и Посольства Франции в России.*

*Ouvrage réalisé dans le cadre du
programme d'aide à la publication
Pouchkine avec le soutien du Ministère
des Affaires Etrangères français et de
l'Ambassade de France en Russie.*

[9]
2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Франция: писатель, издатель, читатель

3 Ив Бонфуа *По-прежнему слепой.* Поэма. Перевод М. Гринберга

10 Никола Ре *И это только начало.* Повесть. Перевод И. Пашаниной

61 Венсан Равалек *Апельсин на автостоянке.* Поэма. Перевод Михаила Яснова

82 Кристиан Остер *Свидания.* Роман. Перевод Ирины Радченко. Послесловие Ирины Кузнецовой

131 Филипп Делерм *Мини-рассказы из книги "Диккенс, сахарная вата и другие лакомства".* Перевод Натальи Мавлевич

Из классики XX века

139 Натали Саррот *Иссм, или То, что не имеет названия.* Пьеса. Перевод и вступление Марии Аннинской

165 Луи-Рене Дефоре *Два рассказа из книги "Детская комната".* Перевод и вступление М. Гринберга

Беседы

201 Жан-Мишель ди Фалько, Фредерик Бегбедер *Я верую – Я тоже нет. Диалог между епископом и нечестивцем при посредничестве Рене Гиттона.* Фрагменты книги. Перевод Наталии Кисловой

Трибуна переводчика

244 Наталья Мавлевич *Можно ли перевести непереводимое? Новарина по-русски*

Статьи, эссе

261 Борис Дубин *Проводник. К семидесятипятилетию Самария Великовского (1931–1990)*

Carte blanche

266 Борис Хазанов *Париж и всё на свете*

Мнение политика

272 Доминик де Вильпен *Европеец.* Фрагменты книги. Перевод Е. Леоновой

Полемика. По материалам французской прессы

278 *Кризис предместий: миф или реальность?* В обсуждении участвуют: Пьер Розанваллон, Жан-Пьер Ле Гофф, Эммануэль Тодд, Эрик Морен. Перевод Е. Клоковой

288 Оливье Руа: *"Для Франции ислам не представляет какой-то особой проблемы..."* Перевод Елены Клоковой

Наши интервью

292 Анн Миллер: *"У нас есть около тридцати программ..."* Перевод А. Николаевой

295 Марион Мазорик: *"Далеко, на краю света..."* Перевод Е. Леоновой

299 Анастасия Лестер: *"Строить гипотезы и смотреть в будущее, но жить настоящим"*

БиблиофИЛ

303 *"Французы пишут и пишут, только успевай выбирать...".* Беседу с представителями издательств "Иностранка", "Текст" и "Флюид/FreeFly" ведет Светлана Силакова

Французская литература на страницах "ИЛ". 2000—2006

311

Автора номера

314

© "Иностранная литература", 2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
К. Я. Старосельская
Н. Г. Усова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ив Бонфуа

По-прежнему слепой

Поэма

Перевод М. Гринберга

По-прежнему слепой

I

В этой стране
Богословы учат, что Бог
Существует, но он слеп.
Он ищет ощупью
В пространстве между слишком тесных стен, в нашем мире,
Кричащее, бьющееся, все еще
Не открывшее глаз
Крохотное существо, что наделит его зреньем,
Если, конечно, он сможет
Своими неловкими,
Шарящими с незапамятных времен руками
Поднять эти сомкнутые веки.

© Mercure de France, 2001
© М. Гринберг. Перевод, 2006

Замысел Бога, его мечта,
Мечта той глубины мрака,
Которую они называют Богом, —
Лишь в том, они считают, чтобы
Стать этим существом. Богом движет
Предвосхищенье: что ему откроет
Обретенный взгляд? Мечта, желанье,
Возникающее в этих горных балках, в этих
Бесформенных глыбах,
В этом доносящемся из глубоких недр
Шуме источника, в Боге, —
Чтобы нечто, заключенное в них, восходило
Через кровь, через крик, через живое тело
К тому, чего у него еще нет:
Лицу, глазам.
Нет, Бог не хочет
Служенья, земных поклонов, не хочет
Слышать тех, кто к нему взывает,
Вопрошает его или даже
Гневно протестует. Он хочет
Всего лишь видеть, как ребенок: видеть камень,
Дерево, плод,
Лозу, вьющуюся под крышей,
Птицу, сидящую над спелой гроздью.

Бог, лишенный зренья, хочет
Наконец увидеть свет.
Он, вечный, берет в ладони
Все кричащее, все обреченное исчезнуть —
Ибо глядеть может лишь то, что смертно.

Так он возобновляет в каждом существе —
И очень ненадолго, пока
Оно способно видеть, ведь тьма
Набегает почти сразу, — свой смиренный
Поиск. Он согласен
Довольствоваться немногим —
Тем, что открывается живым глазам.
Он знает: живое больше, чем он,
Он: тот, кто всегда остается
Внутри, тот, кто выгибает
Вещь по ее форме, наливает вещь
Темнотой, ширится
Дугами, что с криком чертят
Ласточки в синем небе, и даже
Тот, кто разрывается, растворяется
В грозовых облаках, но всегда
Оставаясь внутри, внутри очертанья,
В сумраке, скрывшем
Еще более глубокий сумрак, скрывшем
Расселины и глыбы — всю бездонную

Глубину, которую эти богословы
В беседах со мной называют Богом.

(Он: тот, кого мы слышим,
Возвращаясь домой, вечером,
Под красным, застывшим небом,
В скрипе калитки: вновь
Заключенный внутри, теперь внутри звука, —
И уже наступает ночь, темно,
Давайте-ка, говорят мне они,
Приподнимем этот камень: видите? Там,
Вне нашего мира, мечутся муравьи.)

II

Бог —
То, что эти богословы называют Богом, —
Ищет. Он знает: у него
Ничего нет, говорят мне они.
Узнавать, называть, строить —
Об этом, он знает, ему нечего и думать.
Надеяться
Ему не дано, он знает.
Ждать — ему не дано.
Заметить издали, вскрикнуть, броситься навстречу,
Рыдая, протягивая руки, —
Он знает, ему не дано.
И говорить,
Сказать: "На, возьми,
Вот, смотри-ка, не надо плакать,
Теперь иди, играй" — ему
Не дано.
Сказать: "Пей".
Склониться над позвавшим ребенком —
Нет, иначе, как тот, у кого есть
Руки, чтобы утереть слезы,
Надежда, тревога и ничего больше, —
Он знает: этого ему не дано.

Впрочем, снаружи
Слышны голоса. Снаружи
Говорят: "Пойдем, уже поздно,
Догоняй". Он
Вслушивается. Но, как всегда,
Невидимое, живое не дает ему,
Заточенному, выйти вовне
Из самых простых слов.

Он знает, ему не удастся

Взять кого-нибудь за руку: его пальцы
Не смогут ее удержать.

Бог —
То, что они называют Богом,
То, для чего нет имени, —
Ищет. Им слышно, как он бродит рядом:
В крике раненой птицы, визге
Пойманного зверя.

И эти богословы знают: Бог
Приближается к ним днем и ночью,
Пробирается
В их зрачки, когда они открывают глаза.
Они понимают: ему
Нужны их воспоминанья,
Их радость. Понимают: он
Хочет отнять у них даже их смерть.

И все их мысли, вся их жизнь
Наполнены желаньем оттолкнуть, отстранить
Эти громадные руки.
"Уйди от нас, — кричат они, — уйди,

Уйди в деревья,
Уйди в дыханье блуждающего ветра,
Уйди в синеву и красную охру,
Уйди в сладкий вкус плодов.
Нет, не так: уйди
В трепещущего жертвенного ягненка".

И они идут к этим деревьям,
Размахивают цветными флажками.
"Прочь, прочь, — кричат они, —
Не будет по-твоему, ступай отсюда,
Ну же, вставай, беги,
Убегай, зверь,
Скройся в непроглядной сердцевине мрака.

Отпусти руку, которую держишь,
Ей страшно.

Спотыкайся, падай, поднимайся вновь,
Беги,
Нагой ребенок, осыпаемый градом камней".

Неведомое золото

I

И другие, множество других. Они
Говорят, что им понятно все. Наш мир —
Это то, что Бог
Разрывает в клочки, это страницы,
На которых он пишет. Он ненавидит
Свое творенье, себя самого,
Даже то прекрасное, что проступает
В небе слов, почерневшем от его огня, —
Дерево нашей речи, хранящее надежду.

Бог — это художник,
Он стремится к недостижимой цели,
И, как художник, он взрывается гневом,
Он боится, что создаст
Всего лишь образ, он
Вскрикивает от нетерпенья, и его крик
Раскатывается небесным громом.
Он терзает этот образ, хотя его любит,
Потому что ему никогда не удается
Дотянуться дрожащими руками
До чего-то неведомого: какого-то лица.

И наш долг перед Богом, продолжают они,
Помочь ему в разрушении: тоже
Ничего не желать, ничего не любить.
Отстраняясь, умолкая,
Засыпая свет серым пеплом,
Превратить нашу землю
В хаос
Камней, загромоздивших ущелья.
Бог, говорят они, это всего лишь
Слепая травинка, которая не видит
Других травинок под слепящим
Проливным дождем. Пусть сердца наши умолкнут
И вместо нашей речи останется
В лужах пересохшего, непостижимого времени
Только грязный ил, что был когда-то
Материей, грезившей о Боге.

Бытие, утверждают они, это
Даже не камень, а трещина,
Прошедшая через камень; осыпанье
Краев этой трещины; краски,
Ничего не ждущие, ничего не значащие,
В лучах солнца.

II

Но есть и другие. Они
Говорят мне: тот, кто являлся им в мечтах,
С самого начала был
Отзывчив — он, скажем, ощущал волненье,
Видя, как летним утром ребенок
С радостным криком выбегает из дома.
Еще сильнее
Его трогал ребенок, который
Отвернулся, чтобы скрыть слезы.

Этот Бог из самых древних грез
Хотел расслышать
То, что слышит музыкант, склоненный
Над гудящими струнами. Его восхищал
Скульптор, стремящийся увидеть
Там, где из мрамора выступает грудь,
Где приоткрываются губы,
Нечто высшее, чем эта
Явленная ему женская красота.

Больше того: если верить им,
Однажды, заметив, что какой-то резчик
Бьется изо всех сил
Над грубой корягой, стараясь ей придать
Черты своего божества, чей образ
Должен был в нем заглушить
Страх перед жизнью, —
Он испытал новое чувство,
Пробужденное этим неловким усердьем,
Желанье утолить это желанье, выйти
К нему навстречу изнутри вещества,
Сквозь которое, спотыкаясь, продиралась надежда.
И он отяжелел, стал деревом, воплотился
В этом простодушном образе, доверился
Мечте художника.
Внутри образа он ждет освобожденья.

Бог —
То, что они называют Богом, —
Ждет. Он то, что тлеет внутри образа,
Все еще в нем погребенное. Проще —
То, что надеется. Он слышит
Какие-то звуки: то ближе, то дальше.
Его стесняет
Робкая мысль человека. Стесняет бремя
Восторженных взглядов, трепетных рук,
Стесняет
Гибкая спина простертой девушки, стесняет
Яркое пламя лампады в темной комнате.

III

Они говорят со мною. Как странны
Эти голоса! Словно некий звук
Блуждает над верхушками деревьев,
Алый, печальный, схожий с пением рога.
Я иду туда, где он чудится мне,
И бывает, выхожу на скрещенье
Каких-то троп, занесенных сухой листвой,
Выбрав одну из них, иду и вскоре вижу
Ребенка: он, стоя на коленях, играет
Цветными камешками, их пересыпает
Из ладони в ладонь.
Он слышит, как я приближаюсь,
Поднимает глаза, но тут же отводит.

А как странны иные слова! Они
Блуждают во мраке, где не различить
Ни губ, ни голоса, ни лица.
Мы встречаем их, берем за руку, ведем
Сквозь ночь, в которой тонет вся земля.
Как будто это не слова, а прокаженный,
Чей колокольчик слышен издали.
Их плащ окутывает тело мира,
Но пропускает сочащийся свет.

Никола Ре

И *это только начало*

Повесть

Перевод И. Пашаниной

1

Иногда по ночам я смотрю из окна, как рвется на привязи соседская собака, она чуть не сворачивает себе шею и придушенно хрипит. Я вижу, как у нее из пасти идет пар, — значит, пока не сдохла. Время от времени она в отчаянии задирает морду, но где уж ей вырваться. Спорю на что угодно: если эту собаку когда-нибудь спустят с привязи, ее больше тут никто не увидит.

Проходит ночь за ночью. Собака становится моим товарищем по несчастью, постоянно является мне в кошмарах, тощая, едва живая, с мерзким запахом и противным голосом. По вечерам, часов в восемь, ее хозяин понуро выносит из сарая кирку и принимается углублять яму, которую когда-то начал рыть возле собачьей конуры. Поначалу я думал, что он решил устроить бассейн, но с трудом верится, что он дня прожить не может без заплыва брассом. Сосед с головой уходит в работу. Пот заливает ему глаза, но он не обращает внимания. Сосед до такой степени погружен в свое занятие, что это смахивает на ритуал. У него и движения-то всегда размеренные. Мой отец считает соседа никчемным паразитом, потому что тот сидит без работы и не парится. А я с отцом не согласен. Мне кажется, наш сосед просто доводит начатое до конца.

© Au diable vauvert, 2003
© И. Пашанина. Перевод, 2006

В тот вечер в ворота тихонько проскользнула гибкая фигура в длинном пальто и с тяжелым чемоданом в правой руке. Пришедший подходит к соседу, некоторое время смотрит на него, а потом предлагает выпить. Сосед соглашается. По смеху я узнаю Мартена. Они сидят на краю ямы и курят. Я знаю, почему Мартен вернулся. Мартен – мой старший брат. На первых страничках семейных альбомов его фотки: вот он со своим мотороллером на школьной стоянке, а вот катает меня на заднем сиденье. Помню, как мы с двумя приятелями шушукаемся у меня на кровати, пока он сидит в гостиной с девушкой, с которой тогда встречался. Он обещал прийти к нам и рассказать, как все прошло. Мартен всегда сдерживал такие обещания. А еще было: я долго и безутешно ревел во дворе, сейчас уже не вспомню почему. Мартен вышел ко мне, я перестал плакать, мы немножко прогулялись туда-сюда, у меня почему-то перехватило дыхание, в горле стоял ком. Я говорю Мартену:

– У меня ком в горле, мне трудно глотать и даже дышать. Что со мной, Мартен?

– Все пройдет. Такое со всеми бывает.

Мы еще немного молча походили по саду, пока мое горе не утихло. Странно, что я до сих пор помню тот случай. Сосед опять принимается за работу, огонек сигареты Мартена еще какое-то время виднеется в темноте. Брат смотрит на мое окно, но без улыбки. Раньше такого не бывало.

2

Отец сидит в гостиной. Вид у него, будто он готовится к чему-то важному. Он включает телевизор и смотрит прогноз погоды на кабельном канале, потому что стареющая дикторша похожа на его жену. У моего отца в жизни две большие страсти: жена и игрушечная железная дорога. До сих пор, стоит ему взять в руки паровозик Восточного экспресса, перед глазами у него возникает Венеция, вагон-ресторан, начищенное столовое серебро, оживленные беседы о тонких материях с декольтированной блондинкой, так похожей на мою мать. Мать всегда была ему живым укором, он так и не научился ценить ее красоту. Ей уже перевалило за сорок, а она продолжает носить такие же заколки, как и во времена, когда была первой красавицей школы. А теперь пожалуйста, отцу только и остается, что любоваться на дикторшу с кабельного канала, потому что дикторши возвращаются каждый вечер, а не сбегают одним прекрасным утром, даже не взглянув на "человека, который не способен просчитать ситуацию на два хода вперед". Мартен разглядывает тарелку, будто ждет помощи от фарфора. Но Мартену мало чем поможешь. Он сжег за собой все мосты. Он вступает в будущее с пустым желудком и давно не стриженными волосами, в белых трениках и пока еще сером халате. Полтора часа мы тряслись на грузовике, чтобы забрать обломки его прошлой жизни: двуспальную кровать, стол, комп, старый шкаф и пару-тройку книг, в сущности об одном и том же: везде герой попивает себе розовое шампанское, посмеиваясь над старушкой-судьбой. Мартен неисправимый идеалист, он упивался идеальной любо-

вью, огромной, казалось заполнившей собой весь Париж. Он из кожи вон лез, чтобы воплотить свою великую мечту. А сейчас он устал.

Брат встает из-за стола, убирает остатки салата и холодного мяса. Я тоже хочу сделать что-нибудь полезное. Мне хорошо, я рад, что завтра можно будет избежать этой ежедневной тягомотины: будильник в 7:15, что бы ни случилось, как бы поздно ни лег накануне; встать, выйти из дома, пройти через неизменное рапсовое поле до автобусной остановки; собака провожает меня взглядом; все тот же безжизненный квартал (хоть бы одну забегаловку открыли), а по домам сидят родители, которые больше не целуются, и дети, которые воруют, потому что у родителей ничего не допросишься; автобус фирмы "Вернон кар", та же дорога, тот же маршрут, тот же городок, та же школьная столовка, та же дверь автобуса, которая открывается всегда в одном и том же месте у главного входа; школа, где тебя оставляют на второй год, где тебе изо дня в день парят мозги, — шестнадцать лет, а уже повеситься хочется. Ни тебе аварии, ни несчастного случая, никакого, даже крохотного, чуда. Уже сейчас можно предугадать, чем все кончится. Детство с радужными мечтами уже прошло. Потом работа и роман с прекрасной девушкой, потом та же девушка, но ты в ней уже разочаровался. Вот и вся жизнь. Пора в класс. Вот они, наши камеры. Корпус E 2, класс 236. И больше ничего. Хотя, если умеешь врать, можно немножко задержаться на свободе, оттянуть наступление этой скукотищи, провести пару минут наедине с собой; иногда ты мокнешь под дождем возле школы, пока у них еще нет над тобой власти, пока они ничего не могут поделать ни с твоей сигаретой, ни с огромным миром вокруг; твоя сигарета потихоньку тает — огонек поэзии в кончиках пальцев.

Я смотрю на брата. На своего старшего брата, старшего по рождению.

Он открывает холодильник. Но вместо того, чтобы все быстро туда положить, застывает перед раскрытой дверцей, долго молчит, а потом выдает: "Когда-нибудь ты все узнаешь. И про холодильник у девчонок и про все остальное. Есть девчонки, которые закупают диетическую колу, а есть, которые собирают обогащенные витаминами соки. Ты узнаешь, зачем нужен крем для эпиляции, что есть ванные, а есть душевые кабинки, что такое физраствор для контактных линз и что означает белая или голубая ниточка, которая торчит несколько дней в месяц, и тампоны, и прокладки, и прокладки без тампонов, конец и начало месячных. И то, как они пасьянсы в холодильнике раскладывают, не дай бог что-нибудь не туда положить. Никогда, слышишь, никогда за все шесть лет, что мы прожили вместе, я не видел, чтобы у нее в холодильнике кусок масла лежал рядом с открытым пивом или прокисшим джемом. Скажу тебе по секрету, Анри, в холодильнике у девчонки просто не может быть беспорядка".

3

Наш грузовик обгоняют все кому не лень, мы ползем в сторону Парижа. Почему-то каждый раз, как я приезжаю в этот город, когда после Булонского леса мы выезжаем на окружную, на меня накатывают приступы тошноты и затылок разламывается. Вот Мартену, ему хорошо. У заста-

вы Сен-Уэн он глотает колеса. На площади Клиши он весь дрожит, прилипает к стеклу и пялится на каждую проходящую женщину, будто уже спал с ней. Потом его охватывает досада, это заметно по его дрожащему подбородку. Старый дом с видом на кладбище Монмартр. Две недели назад чел из агентства недвижимости сказал по телефону: "Я нашел покупателей для квартиры. Очень милая пара". Милая пара будет любоваться из окна на кладбище Монмартр.

Отец, которому к переездам не привыкать, вызывает лифт. Как всегда Мартен, расставаясь с очередной подружкой, взваливает на нас всю грязную работу. С Жанной они вряд ли помирятся. Что-то ему мешает. Чувство, что нашкодил, и даешь дёру. Мартен поднимается по лестнице. Я за ним. Я всегда иду по его стопам, подражаю его манерам, смеюсь, когда не до смеха, и гоняю балду на занятиях. На втором этаже консьержка натирает паркет. Она поднимает голову и долгим тяжелым взглядом смотрит на Мартена. Он опускает глаза. Теперь мой брат отводит глаза. Он бормочет какое-то приветствие. Она молчит и смотрит на наши руки, на пустые коробки, которые мы несем, — почему-то их хочется побыстрее куда-нибудь спрятать. Консьержка терпеть не может этого оригинала, который топчет ногами девичьи грезы, частенько — она-то видела — возвращаясь домой за полночь. Консьержка не любит насилия. Насилие несовместимо с нравственными устоями консьержки и благополучием жильцов.

Мартен открывает дверь. Брелок подарила Жанна. Он дотрагивается до стен, которые она выкрасила охрой, проводит рукой по инкрустированному журнальному столику, который она сама смастерила, бросает грустный взгляд на уже собранные коробки. При виде ее шмоток, разбросанных по гостиной, он впадает в ступор. Долго и оцепенело смотрит на лифчик. А я гляжу на Мартена. Потом закрываю глаза. Чего-то я недопонимаю. Я стараюсь угадать. Он все еще держится молодцом. "Держись, Мартен, я с тобой, — говорю я про себя. — Я тобой горжусь, горжусь тем, что ты не упал на колени. Вот, я даже сходил на кухню и принес тебе стакан воды".

Квартира пустеет. Мартен, наглотавшись успокоительного, вполголоса перечисляет вещи, которые он хотел бы забрать. Мы действуем быстро и молча. Время от времени у брата опускаются руки, но потом он опять берется за дело, машинально, как сквозь сон. Напоследок он выгребает все из ящиков стола. Долго думает, что оставить, а что выкинуть. И вдруг натыкается на крохотную вещицу. В куче всяких бумаг обнаружился билет в кино. Сначала голова. Потом плечи. Они вдруг резко опускаются. Мартена сотрясают рыдания: лопнул нарыв, зревший тридцать четыре года. Он все твердит "прости" сквозь икоту. Мы с отцом стоим в стороне, не бросаемся его утешать, даем ему выплакаться.

Я спускаюсь по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, убегаю подальше от этой пытки. Когда все сели в грузовик, я включаю радио, чтобы избавиться от тишины. Тут же начинают передавать какую-то тоскливую мелодию. Старая песня про Бразилию и про ушедших от нас любимых. Мы об этом как-то не подумали, но брата это добило, он

сидит и бормочет имя, с которым у него всегда будет связана одна и та же песня: "Жанна, Жанна, такая гордая и трепетная, где ж ты теперь, Жанна, когда мне так паршиво?" Отец держит руки на руле и внимательно следит за дорогой, я подсунул руки под себя, так что их почти не видно, а руки Мартена безвольно свисают с сиденья. Наше семейство опять возвращается в Вернон, мы едем в гараж – надо же и мебели, в конце концов, обрести свой тихий уголок.

4

Утро, мы с отцом сидим завтракаем. Отец – человек маленький, незаметный и скучный, можно заранее сказать, что каждое утро в одно и то же время он будет жевать печенье, лишь бы не смотреть правде в глаза. Он бреется наголо, чтобы не была заметна его лысина, и говорит как-то слащаво. Мой отец – зубной врач, он ставит пломбы на коренные зубы и громко прихлебывает, когда пьет чай. Мой отец не любит "причинять людям боль" и целыми днями, жуя жвачку, успокаивает пациентов: "Ничего страшного, мадам". Ничего страшного, подумаешь, нарыв, у него вечно ничего страшного. Над тобой все смеются – ничего страшного, твоя жена переспала чуть ли не со всем городом – ничего страшного, она сбежала – ничего страшного, мы все это обезболим, сделаем заморозку, сохраним сердцевину, подретушируем, вырвем из своей жизни кого угодно и даже не поморщимся – ничего страшного, дурак несчастный, ничего страшного; есть, конечно, еще исторические романы и концерты классической музыки, ничего страшного. Трус и тормоз – два в одном. Подумаешь, невелика беда, что клиентов стало меньше. Даже они устраивают ему маленькие проверки. Попробуй доверься старому бесхозному автомату, слабо? Это я первый обо всем растрепал. Когда у тебя кончаются карманные деньги, чего только не разболтаешь с досады. Пора сваливать, а то как посижу с утра с лысым, так весь день наперекосяк. И потом, во времена отца было принято много работать и что-то создавать, а это не по мне. Я ухожу из кухни.

Иду в ванную, включаю музыку и мечтаю о том, как все пройдет в первый раз. Я бы и не прочь, да только любить мне пока некого. Я тщательно причесываюсь и ловлю себя на мысли, что прическа у меня как у типичной секретарши. Как любая секретарша, я мечтаю о несбыточном – скажем, прославиться и затмить собой фирму "Вернон кар", которую у нас знает каждый из пятнадцати тысяч жителей. Глупость, конечно. Выхожу из дома. Еще рано. Я закуриваю. "Мальборо лайт", воздух свободы. Я прихожу на остановку за минуту до автобуса. Водитель вроде и не старый, но пунктуальный до ужаса, его ничем не прошибешь. Я всегда сажусь на одно и то же место. Достаю из кармана любимую книжку, открываю. Я с удовольствием перечитываю ее, мне нравится, как пишет этот чел, нравится, что постельные сцены у него наполнены экзистенциальным смыслом, что он не умеет найти общий язык с девчонками, хотя наш препод по французскому говорит, что он всеми правдами и неправдами стремится завлечь читателя, что он спекулянт от литературы и на его книгах могут вырасти только бандиты, а мне нравится, как он живет себе в Голландии, потому что там почти как в Шта-

тах, мне нравится и этот чел, и его книги — думаю, тут нет большой разницы.

На перемене нахожу себе тихий уголок. С ребятами мне скучно. Всех девчонок я насквозь вижу. Не серое большинство, а тех, кто выделяется. Например, я как-то на целых шесть недель влюбился в Кристель. У меня даже в ежедневнике об этом написано. Из-за ее длинного носа. Мне нравился ее нос, потому что ее из-за него дразнили. Сейчас я встречаюсь с Каролин. У нас стрелка на спортплощадке, оттуда мы идем к приятелю, который живет в двух шагах от школы. Раздеваемся. Нам жарко. Грудь у нее еще до конца не оформилась. Я целую ее в грудь. Она мастурбирует. Дальше мы пока не заходим. Время от времени я изливаюсь ей на живот. А потом я начинаю опасаться, что об этом все узнают, что вернется мать приятеля и застукает нас за этим делом. Да уж, по голове не погладят.

Кончаются уроки. Для меня это самое трудное время: надо сделать глубокий вдох и отпустить на волю еще один день. Все уже ушли, а меня задержал препод по французскому. Этак я на автобус "Вернон кар" опоздаю, может, даже машину придется ловить — такая вот жизнь. Он сложил руки на школьном пластиковом столике и уставился на меня. Ну да, он победил. Конечно, ему легко, он и литературу знает, и философию, у него, наверное, и телевизора-то нет, зато он каждый вечер мотается в Париж на электричке со своим кожаным портфелем и курчавыми волосами, которые он почему-то зачесывает налево. Может, в 20:30 он идет в кино на какой-нибудь экспериментальный фильм, а потом его пригласят в гости в роскошную квартиру, где он будет пить вино и вешать всем лапшу на уши. Вот уставился. Не любит он меня, по глазам видно. Както в январе он мне заявил: "Анри, ты готов на любою подлость, лишь бы всем понравиться".

Я прекрасно понимаю, что он хотел сказать. И дня не проходит, чтобы мне это не аукнулось. Кажется, он недолюбливает не только меня, но вообще всех, кто хочет "всем нравиться". Он ведет непримиримую борьбу со злом, так что дело тут не во мне, я просто попал под раздачу.

Он продолжает в упор смотреть на меня и в который уже раз произносит свою банальную фразочку: "Анри, я опять хочу тебя спросить: сочинение ты сам написал?"

А я просто не могу ему ответить, я физически не в состоянии понять, к чему все эти разговоры о списывании или о желании нравиться.

С тех пор как вернулся Мартен, это он пишет за меня сочинения. Отец поставил ему за домом жилой фургончик; расставшись с Жанной, Мартен перебрался в эту фиговину; именно тогда он решил, что жизнь — штука мерзкая. К нему туда никто не ходит. Он сам придумал жить в фургончике. Как-то вечером Мартен мне признался, что не может вернуться в нашу хибару, в это полное страхов болото, где прошло все детство. Ну, фургончик так фургончик. Человек, который зажигал по всему Парижу, докатился до фургончика. Человек, который поднимал на смех любого умника, стоило тому рот открыть, теперь ходит и с кислой рожей пьет успокоительное. Захожу к нему. Он листает газету. Вот уже несколько недель он покупает сигареты блоками, лишь бы пореже

выходить из дому. Его и сериалы уже достали. Мартен больше слышать не хочет ни о каких изменах, даже в американских комедиях. Он спрашивает, что у меня сегодня новенького. Я рассказываю про препода по французскому. И тут он заявляет тоном учителя, поднявшегося на борьбу с нелегальной проституцией, типа, что нелегальная проституция плодит несправедливость, наносит вред экономике и равенству мужчин. Вот возьмем Жанну. Она, конечно, еще жива, но как она живет? Как девчонка, которую крутой парень пригласил покататься на машине с откидным верхом. И что оказалось? Что он не умеет водить. Хуже того, это выяснилось, когда она сидела в его машине. Она теперь считай что мертва.

С Мартеном сейчас лучше вообще не разговаривать. Он любой разговор сводит на то, что Жанну убило молнией.

Я встаю у него за спиной. Обнимаю его за плечи и целую в затылок: "Ладно тебе, Мартен, Жанна не умерла. Вот увидишь, она выкарабкается". Перед тем как уйти, пытаюсь его ободрить, делюсь с ним своей радостью:

— А я сегодня иду на "С любовью не шутят". Айда со мной, это ведь по пьесам Мюссе, ты такое любишь.

— Мюссе ничем не лучше остальных, еще один обличитель. Я и так знаю, что там будет какой-нибудь светский лев, начинающая актриска и мужик, который с женой в разводе.

Иду в ванную по второму разу. Сегодня надо особенно хорошо выглядеть. Стою под душем и вижу, как Кьяра Мастроянни предлагает мне на ней жениться. И правда, пора уже как-то устроиться в этой жизни, в этой несчастной жизни, в этом сиротском приюте, надо как-то изловчиться. Взять, к примеру, ванную. Другие просто ею пользуются. А я знаю каждую щербиночку на стенах, каждую ворсинку коврика, знаю, что в ванне можно совершить кругосветное путешествие, достаточно просто включить хорошую музыку. Под хорошую музыку можно строить планы, даже представить себе, как они исполняются. Можно пережить любовное приключение с бесчисленными партнершами — и все это в обычной ванной.

У "Трето де Франс" гастроли в Верноне. Это бродячий театр, выступающий в собственном шатре — никогда не знаешь, с кем там столкнешься. За мной заезжает мать Гортензии. Сама Гортензия на переднем сиденье, она ходит в воскресную школу в соседнем Эврё, мы с ней одногодки. Я ее знаю с детства. Ее щедрое сердце отдано моей особе в частности и Богу вообще. Гортензия ставит в машине свои любимые песенки, типа, намекает, что по ночам ей не дают спать мечты обо мне.

Будний вечер, мы едем в машине, меня так и тянет улыбнуться. Мы припарковались, купили билеты, вокруг много чужих лиц, в зале стоит обычный гул перед началом представления, похоже на затишье перед бурей. Спектакль начинается. В какой-то момент слышится раскат грома. Огромные капли гулко стучат по крыше шатра. Актерам приходится говорить громче. Они не просто играют, они совершают невозможное. Публике, и мне в первую очередь, нравится, как они бросают вызов грозе, им даже оглушительный град нипочем. Гроза сплотила

актеров и зрителей, нас теперь объединяет нежность и взаимопонимание. Я вздрагиваю: Гортензия потихонечку берет меня за руку. Нет, я весь на сцене. Держитесь, актеры! Я, как и вы, дитя бури, я тоже пережил крушение.

Кажется, что и небо довольно. Дождь идет все сильней, восторг повсюду: и во тьме, расцвеченной вспышками молний, и в надрывной игре актеров на пределе возможностей голосовых связок, и в ободряющих улыбках зрителей, и, конечно, в глазах молодого мага, этого рано повзрослевшего ребенка, и в его женственности, и в его хрустальном голосе, для которого это испытание непосильно, и в его хрупком, похожем на тонкую веточку, теле, которого через несколько месяцев здесь уже не будет. Я заглядываю в программку. Мага играет молодая артистка, Элен ее зовут. Элен! Кажется, я влюбился. Ни больше ни меньше — влюбился в Элен, она, может, всего вторую роль в жизни играет, в программке-то об этом ни полслова. Роль мага небольшая, она редко появляется на сцене. Между тем я уже готовлюсь. Что-что, а это я умею. Вся моя жизнь — одно сплошное приготовление. Сейчас речь идет о нашем с ней романе. С восьмого места справа кое-кто пристально следит за каждым выходом Элен. Она появляется с маленькой гитарой, чтобы спеть песенку. Она спокойно подходит к табурету у самой рампы, старательно настраивает инструмент, а градины тем временем готовы все разнести в клочья. Действие на сцене разворачивается своим чередом. Гроза слишком сильная, голос слишком слаб. Вступительных аккордов никто не слышит, и Элен приходится ждать, пока буря стихнет. Элен поет. Так вот люди и сближаются, оставаясь каждый на своем месте. В зале воцаряется тишина, похожая на любовь, я больше не сержусь на мать, я буду еще больше помогать Мартену, да, возможно, молитвы не так уж и бесполезны. Я чувствую рядом руку Гортензии, которая думает о Боге. И это меня не раздражает. Я даже почти готов ее понять.

Я встаю со скамьи уже другим человеком, у меня есть замысел, и я буду его воплощать, в голове мысли только об Элен, я прохожу сквозь толпу аплодирующих зрителей, не слышу расспросов Гортензии, иду со спокойной улыбкой, с острым осознанием того, что в жизни особого выбора-то и нет. На улице опять начинается дождь, народ разбегается по машинам. Я огибаю шатер — теперь он похож на опустевший цирк. Фургон, такой же, как у бродячих акробатов, спрятался между двумя полуприцепами, он приютил небольшую театральную труппу, можно даже сказать, не труппу, а вечерние тени, призраков в маскарадных костюмах. Я готов броситься к ним, ворваться в гримерную, тоже сыграть что-нибудь: "И во-первых, всем спасибо!" Элен, я бы так хотел, чтоб мне было двадцать пять лет и чтоб ты на меня смотрела, пусть идет дождь, мое тощее тело — это же не весь я, я здесь, справа, я твой парень, и кому какое дело, что я не герой-любовник, что ты нервничаешь по поводу первого раза, мне столько же лет, сколько и тебе, я насквозь вымок под дождем; толпа сваливает, все эти Анри, Гортензии и их мамочки — ну же! Я еще ни разу не был женат. Я весь мокрый и очень хочу жить по полной программе, я же имею на это право, люди ведь имеют право на то, чтобы немного пожить. Потом я согласен носить костюм и продавать билеты, а пока я жажду бурной страсти, хоть на несколько часов, у

меня зуб на зуб не попадает, я влюблен, Элен, ты для меня — весь мой театр.

Она выходит из фургона с двумя какими-то челами. Они садятся в машину, она тушит сигарету о каблук, кладет окурок в пачку, чтобы потом докурить, и оглядывается. Машина отъезжает.

Элен, я буду писать для тебя пьесы и стихи, я сделаю так, что мои пьесы будут нарасхват у режиссеров, а ты будешь играть только главные роли. Я смогу, вот увидишь.

5

Мать уходила окончательно и бесповоротно, по пути она тихонько зашла ко мне в комнату, чтобы поцеловать меня в лоб. Как будто я спал. Как будто вообще можно уснуть, когда ночь напролет молишь об одном — чтобы утихли эти споры. Ага, попробуй усни под эти вопли шепотом — они видите ли боятся, что дети услышат. Есть ли вообще на свете что-нибудь оглушительнее этих концертов? А отец и слова не скажет, ему хоть кол на голове теши, хоть душу из него вытряхивай. Через стенку до меня доносится голос матери: "Да, я с ним сплю, он умеет трахаться, а не просто пообжиматься, как некоторые, ему нравится заниматься любовью, он не торопится кончать". Она произносит последние слова с особым наслаждением, как хищник, уже почуявший запах крови и вцепившийся в добычу мертвой хваткой. А я лежу в кровати всего в нескольких метрах от них и думаю об отце и о том, как он сгорает со стыда.

В гостиной на диване Мартен спит, руки между ног. По телеку сплошные помехи: канал со скандинавской порнухой закодирован. После дождя меня хоть выжимай. Сколько раз я в обнимку с миской попкорна смотрел по этому же самому телеку передачи, где Мартен выкладывал журналистам подробности своей личной жизни, не утаивал ничего, выставлял напоказ свою очередную подружку, со смаком рассказывал о том, что они творят по ночам, о наркотиках, о том, как она кричит во время секса. Он рассказал бы и о своем самом сокровенном, лишь бы еще чуть-чуть задержаться на экране. Он сам загнал себя в угол, я уже видел признаки вырождения в последних его анекдотах из собственной жизни, он их рассказывал сквозь слезы.

Я подхожу и начинаю говорить ему на ухо. Он резко подскакивает. Тут же хватает с журнального столика сигарету и закуривает — надо ведь как-то успокоиться. Потом он берет пульт телевизора и пролистывает кабельные каналы. Так он развлекается в последнее время. По MCM идет передача про кино. Ведущая, по версии Мартена, неглупая девица, попросту говоря, проститутка, умеющая вовремя притвориться, выскочила замуж за директора канала. Поначалу она никак не могла избавиться от южного акцента. По Сине Фаз показывают авторское кино. Мартен кивает на актрису: "Кажется, я ее любил, хотя она этого уже и не помнит".

Он выключает телек. И начинает рассказывать, а у самого глаза пустые: "Мне снилось, как мы с Жанной поругались. Помню каждую

минуту наших ссор. На кухне — понятия не имею, почему мы всегда ругались на кухне — сначала мы просто играли друг у друга на нервах и орали. Откуда такая ненависть, если люди живут вместе? Ну да ладно, в общем, к концу ссоры мы всегда оказывались на кухне: руками размахивали, угрозами сыпали, переругивались, глазами друг друга сверлили — тьфу, вспоминать противно".

Перед тем как потушить сигарету, он сильно закашлялся и отхаркнул кровью. Он попытался придать себе гордый и независимый вид. Откинул рукой со лба длинные волосы, но это ровным счетом ничего не изменило: он уже проснулся, а делать ему нечего. У меня же постоянно уйма всяких планов, я все время как на войне. Блин, вот дали бы мне немного денег и развязали бы руки, тогда бы я всем показал. Я рассказываю Мартену о девушке, о фургоне, я говорю ему: "Ты должен мне помочь, Мартен. Я очень хочу добиться этой девушки. Давай я тебе о ней расскажу поподробнее, а ты напишешь ей за меня письмо, ты же умеешь заинтриговать, подобрать нужные слова".

Он посмотрел на меня грустно-грустно. Но покорно побрел к столу в гостиной. Через пятнадцать минут письмо было готово. И все-таки брат меня любит.

6

Патрик вытаскивает из рюкзака второй шлем. Не скажу, что мы с Патриком большие друзья. Да, мы учимся в одном классе и оба прекрасно понимаем, что в школе ловить нечего, но все не так просто. Мы не то чтобы друзья, мы просто поддерживаем друг друга в ожидании чего-то лучшего, а это не одно и то же. Когда ему надо было сломать руку, чтобы свалить на недельку к деду, он именно меня об этом попросил. Вот так мы и живем.

По средам у нас созвонки: мы валяемся каждый у себя на диване и болтаем по телефону. Мы можем часами валяться на диване. Для этого нам нужны только кола, сигареты и тема для разговора, желательно неприличная. Пока наши там парятся на уроке дзюдо, мы с Патриком делом занимаемся. Жюльен все еще влюблен в Аньес? А правда то, что о ней говорят? Ну, про то, как в самолете, она и этот певец, Бенжамен Биоле... Потом мы придумываем, как кого разыграем завтра. Между прочим, придумать хороший розыгрыш — дело не простое. Розыгрыш требует много сил. Это своего рода искусство. Оно не для новичков. Тут сноровка нужна, сопляки отдыхают.

Вообще-то нельзя сказать, что мы только развлекаемся. Патрик умный, и это часто вгоняет его в тоску. Слишком он умный. У него свой способ спасаться от глупости одноклассников, убогости учителей и доставших всех шуточек кураторов — он много читает, а еще он смелый. Если кто спрашивает, откуда у него такие здоровенные синяки под глазами, он с загадочным видом вещает: "Расстройство чувств в карманном формате". Сейчас он целыми ночами торчит у себя на чердаке и запоем чита-

ет книжки, которые добывает из старых коробок. Временами он может сидеть голодным по три дня подряд, неделями никуда не выходит, и его с недосыпу шатает как пьяного. Усталость для Патрика стала первым наркотиком. Вот как душа его рвется на свободу. Но родители его не понимают. Этого мальчишку, который намного сильнее их, они считают необщительным и ранимым.

Он пытается починить свой мопед на парковке возле школы. Сегодня "Трето де Франс" дает спектакль в Паси-сюр-Эр. У меня в рюкзаке среди тетрадей лежит письмо, ждет, когда я наберусь смелости выпустить его на волю.

— Слушай, Анри, я не знаю, что делать с этим драндулетом. Я во всей этой механике ни в зуб ногой.

Патрик лезет в рюкзак за электронной отмычкой, она у него всегда при себе. Ее надо просто навести на машину, это и быстрее, и удобнее.

Я его, как всегда, отговариваю. В итоге мы долго идем пешком, пытаемся поймать машину, нам уже по фигу и плохая погода, и все эти тачки, которые с бибиканьем проносятся мимо. Патрика так просто не испугаешь. Человека, который способен кошку придушить, да и на себя руки наложить играючи, который постоянно ввязывается в потасовки, мечтает стать известным террористом, знать все про оборот наркотиков и завести знакомства среди бандитов, уже ничем не проймешь. Иногда я думаю, что он либо прославится, либо умрет в нищете и безвестности, либо станет президентом республики, либо попадет за решетку. В итоге мы добираемся до Паси-сюр-Эр в кабине грузовика. Патрик треплется с водителем: тот пытался продавать круассаны в Лос-Анджелесе, но ничего у него не выгорело, и с его американской подружкой — тоже. По крайней мере, он сделал, что мог, чтобы изменить свою жизнь.

Тот же шатер, что и вчера, тот же фургон. Уже слышны голоса артистов на сцене. Патрик весь напрягся: моя влюбленность его бесит. "Хотел бы я знать, что скрывается за этой твоей придурью, — твердит он. — Вот я никогда не влюбляюсь". А может, все опять к тому, что жизнь у нас обоих начинается не слишком удачно.

Фургон артистов заперт. Я застегиваю молнию на куртке. Патрик ходит взад-вперед и громко говорит, ни к кому не обращаясь: "Ну да, остается только сказать, что ничего страшного, что в худшем случае лет через десять мы над этим посмеемся, и потом, Анри, мы ведь все умрем. Вообще, зачем соблюдать законы, если мы все когда-нибудь умрем? — Он опять достал свою электронную отмычку. — Почему бы не воспользоваться этой хреновиной, не проникнуть в шатер и не прославиться вот так сразу? Почему бы втихую не изнасиловать твою актриску под яблоней? Не отодрать ее как следует? Хочешь попасть на страницы 'Паризьен' за то, что принудил к любви хорошенькую девчонку?"

Он подходит к фургону, бьет ногой по висячему замку, тот поддается, и Патрик надавливает с разбега плечом, чуть не вывихнув себе при этом ключицу.

Дверь открыта. Добро пожаловать в театр, в этот мир чувств. Я перекладываю письмо из рюкзака в карман, быстро захожу в фургон, отыскиваю вещи Элен, стараюсь приметить каждую мелочь, кладу конверт на ее шелковую блузку, еще раз прохожу мимо ее большого гримировочного зеркала. А вот и помада. Блин, написать бы что-нибудь, но что? Патрик смотрит на распахнутую дверь, потом переводит взгляд внутрь фургона и ухмыляется. В следующую секунду бросается к зеркалу и, зверски надавливая на помаду, пишет: "Насилие превыше всего. Мюссе (не один)".

Перед тем как окончательно свалить, мы проскальзываем в полупустой шатер. Элен как раз начинает петь свою кантилену и не подозревает, что настоящий театр здесь, в зрительном зале. Театр двух актеров, которые помирают со скуки на уроках, театр двух парней, связанных по рукам и ногам чувством долга и образованием. Ну ничего, недолго им осталось терпеть.

Весь скривившись, я потихоньку открываю окно в спальню. Господи, только бы не скрипнуло. Но мстительное окно своим скрипом предупреждает отца, этого мучителя детей, который уселся в кресле и почитывает "Великую цивилизацию этрусков". Ну вот, сейчас начнется. Все получилось хуже не придумаешь. Налицо и неоправданно позднее возвращение сына, и до предела натянутые нервы отца, которого уже унизила собственная жена, так что на этот раз он решает положить конец такому обращению со своей персоной. Слышу его шаги в коридоре. Странно, когда он злой, он обычно не так ходит.

Этот тощий лысый человек не стучится перед тем, как войти. Он сразу врывается в комнату и включает свет. Сын сначала пытается притвориться, что его разбудили посреди сладкого сна про хорошие оценки и поздравления от совета класса, но быстренько оставляет эту затею.

— Ты где был?

— Нигде. Здесь.

— Не выводи меня из себя. Где ты был?

— На спектакле в "Трето де Франс".

— Прекрати делать из меня дурака, ты вчера туда ходил.

— Ну да, а сегодня снова пошел.

Еще немного, и он вскипит, он идет на меня, я делаю последнюю попытку: "Честное слово, я правда там был, — но он хватает меня за плечи и встряхивает. — Пап, ну правда, клянусь, поверь мне хоть раз в жизни". Моя голова стукается о стену, он хочет знать все, он мне не верит. Н-да, Петя и волк. Он говорит, что хочет знать правду.

— Ты действительно хочешь это знать?

В ответ пощечина.

— Не смей мне больше врать, Анри, с меня хватит!

— Так ты больше не хочешь слушать мои выдумки, да, пап?

Вторая пощечина, я подскакиваю в ярости, мне уже все по фигу:

— Хочешь сорвать на мне злобу? Давай! — Я бью себя по лицу. — Ты все равно мне не нужен, даже для этого, на фиг не нужен, смотри, вот ногти, вот кулаки. — Я бью и кричу: — Бей, давай, бей, мне не больно, давай, бей, дурак, трус!

Он отпрянул и замер, весь исходя злобой. Я бьюсь головой о шкаф — раз, два, три; вот бы разбить сейчас башку, чтоб раз и навсегда покончить с этой идиотской жизнью.

— Убей меня, — ору я, — убей!

Отец уводит меня в ванную, сует мою голову под холодную воду, я размазываю слюни и глотаю две таблетки валиума. Классика жанра.

7

Ловушка захлопывается, и я остаюсь в ванной. Радио застряло на волне, где передают сплошь безрадостные песни. Я мою голову. Запиликал мобильник. Мысли понеслись вскачь, вода становится слишком горячей. Нет, не может быть, чтоб это была Элен, пусть себе звонит, это, наверное, опять Гортензия, ей приспичило сыграть в теннис, а больше некому позвонить. Слышится щелчок: просто позвонить ей мало, сообщение решила оставить. Элен хочет с тобой завтра встретиться. Элен понравилось твое письмо. Элен сказала буквально так: "Твое письмо, оно просто потрясное". Элен хочет с тобой познакомиться, хочет больше узнать о тебе и, может, даже провести с тобой в деревне остаток своих дней. По идее, Элен должна влюбиться в рокового парня, этакого актера с неопрятной козлиной бородкой и смазливой физиономией. Вот так. А Анри утонул в ванной. Как все-таки трудно выдумать что-нибудь правдоподобное.

Мартен вновь полез в шкаф, где лежали его рубашки, которые он больше не носил, выбрал сиреневую от Гуччи, холщовые брюки и мокасины на босу ногу — те самые, что были его талисманом еще когда он играл Арамиса в спектаклях для кабельного телевидения. В машине не продохнуть от его любимой туалетной воды. Как в старые добрые времена, он выдает какую-нибудь смешную фразу и сам же первый ржет, будто конь, берущий с места в карьер. А потом, как всегда, чудовищно долго не может попасть ключом в замок зажигания. Просто трясется от смеха и ничего не может поделать. Бьет кулаком по бардачку, хватает фляжку и наливает себе полный стакан.

— Ты уверен, что не перепутал адрес?

— Да я сто раз прослушал это сообщение.

— Знаю я эту вечеринку, ну, вернее, народ, который ее устраивает.

— Так куда мы едем?

В поисках подходящего ответа он трогается с места, потом, словно удивляясь, что еще не разучился водить, бормочет:

— К друзьям из массмедиа.

Он опять ржет, но тут же замолкает.

Уже выехав на трассу, он говорит:

— Сам увидишь, когда приедем, что на таких вечеринках мужчины трахают женщин, пока те кормят детей грудью. Хотя сейчас везде так. Ничего нового.

Кларисса — пышная брюнетка, хозяйка дома. Она много говорит и снует туда-сюда по своей двухуровневой квартире в шестом округе

Парижа. Ее накрашенное лицо уже слегка блестит. Но вспотела она не потому, что носится без устали и рта не закрывает, — это скорее нервное, когда пот прошибает изнутри, типа химической реакции: она боится, что вечеринка не удастся, что не будет с кем толком пообщаться. Да, пожалуй, именно от этого.

— О, Мартен! — приветствует она нас. — Глазам своим не верю! Поль, ты только посмотри, Мартен снова к нам заглянул. Мартен, ты и представить себе не можешь, сколько раз я говорила себе: "Надо позвонить Мартену!" Очень рада тебя видеть. По-моему, ты отлично выглядишь. Поль, шампанского Мартену, шампанского!

Полем зовется двоюродный брат и правая рука Клариссы, паж в стильных очках, старый холостяк, ничего в нем особенного. Поль бежит исполнять. У него в кармане пиджака специальный блокнотик, он делает там пометки на будущее, чтобы следующие вечеринки были удачнее предыдущих. Среди влиятельных людей он считается очень приятным собеседником.

У дальней стены длинный стол с омарами. А посреди комнаты какой-то плохо выбритый актер толкает речь: ему противно потребительское общество. Гости вежливо аплодируют и возвращаются каждый к своему разговору. Вокруг Мартена собирается тесный кружок. У него дрожит подбородок, и я понимаю, что он с трудом все это выносит. Пока он еще держится, ведь сейчас к нему на помощь придет джин с тоником, но Мартен боится новых собеседников, боится каждого их слова и вынужден постоянно напрягать все свое остроумие, чтобы хоть как-то насмешить эту свору.

Я смешиваю себе водку с соком, добавляю туда тростникового сахару и рассматриваю женщин, красивых и недоступных. Время от времени из соседней комнаты появляются какие-то симпатичные, абсолютно отвязные ребята в шерстяных свитерах на голое тело, а еще они то и дело подносят руки к носу. Мартен мне говорил, что они работают в каком-то журнале постмодернистского и слегка пофигистского толка.

А Элен все нет. Я занимаю стратегическую позицию между кухней и коридором, чтобы не пропустить появление матери моих будущих детей. Со мной знакомятся гости, рассказывают какие-то подробности о себе. Потом они идут дальше, ищут новых благодарных слушателей. В большой гостиной, все еще окруженный своими почитателями, Мартен кричит на женщину, чей возраст уже перевалил за средний. Он навис над ней и орет: "А ты, Аньес, небось думаешь, что я хорошо сплю, что ее лицо не стоит у меня перед глазами по ночам, что я сроки высчитать не в состоянии, не знаю, что у меня дочь родилась? Да что ты вообще знаешь обо мне и моих проблемах? Уж будь добра, придержи свои проповеди для подружек, с которыми ты пьешь томатный сок в кафешках!"

Теперь все уставились на Мартена. В том числе и Элен, которая только что появилась в сопровождении двух кошмарных типов. Я подхожу. Она закуривает — в ее манере закуривать есть что-то неповторимое — и начинает прикалываться над какой-то штуковиной, которую один из этих чудовищ нацепил себе вместо сережки. И тут Мартен выдал свой окончательный приговор собравшимся: "Вот до чего меня

довела ваша посредственность. Нет, правда, мне следовало бы родиться в Ницце".

Элен стоит совсем рядом со мной и смотрит на все это безобразие. Тут я ловлю на себе ее быстрый взгляд. Я пытаюсь заинтриговать Элен: "Позволь тебе представить: Мартен, мой старший брат".

Она молчит. Состроила забавную гримаску, не очень-то ей все это нравится. Я остаюсь один на один с этой взрослой девицей, я сдаюсь, у меня духу не хватает признаться, сколько мне лет, и рассказать о том, как я люблю всякие небылицы. Не нужна мне ее жалость и смущенные фразы. А что еще она может мне ответить? Ну и ладно, пусть я останусь для нее посланием, загадочным письмом, этаким совершенством. Да и Мартена пора отсюда уводить. Хватит мимолетных увлечений. Все, точка.

Я разыскал брата в ванной. Его тошнит, кран уже весь заляпан. Я подставляю ему плечо, его длинная фигура повисает на мне, и так на глазах у гостей мы ковыляем к выходу. Кларисса широко распахивает дверь и прощается с нами сквозь зубы. За ее спиной двоюродный братец потихоньку что-то строчит в своем блокнотике.

На обратном пути Мартен останавливает машину каждые тридцать километров, чтобы извергнуть из себя все, что еще можно. Уже когда мы въехали в Вернон, я отваживаюсь заметить: "А я и не знал про малышку, ну, в смысле, что Жанна забеременела". Ответом мне было молчание, вымученная улыбка провинившегося мальчишки, потом глубокий вздох:

— Да плевать мне на эту малышку. Ты скоро сам узнаешь, как это бывает. Сначала ты действительно хочешь ребенка. Как в кино. А потом берешь свои слова обратно и чувствуешь, что предал старую любовь. Иногда я мечтаю о том, как бы все сложилось, если бы этого ребенка никогда не было. Я мечтаю о садике, где по вечерам можно посидеть с бокалом белого вина. Я мечтаю о том, чтобы не надо было никуда бежать, о косячке перед сном и чтобы под боком лежала Жанна с книжкой. А остальное мне по барабану. Все, хватит упущенных возможностей!

8

В школьном дворе старшеклассники украдкой докуривают подобранные бычки. Кто-то дает клятвы, которые рискуют со временем исполниться. Клеманс и Алексис в сортире, щеки у них пылают после первого раза. Учительская пропахла дешевым крепким табаком. Взгляды блуждают от недосыпа и приема успокоительного. На доске объявлений значится имя твоего препода по французскому: его сегодня не будет. В лучшем случае, у тебя полчаса отсрочки, пока не найдут замену. Класс расселся. Все как в жизни: на первом ряду сгрудились те, кого вечно бьют; середина класса пустует, а на галерке бедняки, тупицы, скоты и хулиганы — прекрасная и опасная часть класса. Входит дирек-

тор: шевелюра с проседью, южный выговор, густые брови, в меру печальный голос. Сообщает об аварии. Рыцарь на белом коне, ведущий беспощадную борьбу с ложью и орфографическими ошибками, выбыл из строя на полгода. "Позвольте вам представить Матильду Арто, которая будет его заменять". Ну и?

Ну и эта девочка по имени Матильда просто великолепна. Это так же очевидно, как теорема Пифагора, как закон всемирного тяготения, как то, что рано или поздно настанет конец света, как удача, которая когда-нибудь да должна улыбнуться.

Она подходит к доске, не взглянув на класс даже краешком глаза. У нее тонкое лицо и волнистые волосы до плеч. Она начисто вытирает доску, устало вздыхает и уверенно выводит на зеленом поле доски свое имя: Матильда Арто. Ее "А" похоже на граффити анархистов. Наконец она поворачивается и окидывает весь класс воинственным взглядом: "Я буду вести у вас французский до конца года, если, конечно, не попаду до того времени в аварию".

— Ну все, здравствуй, зубрежка! — бормочет Патрик.

Потом мадмуазель Арто просит нас заполнить анкету, чтобы узнать немного о каждом. Клевая идея, девочка! Действительно, зачем терять время? На своем листке я рисую фигуру прислонившегося к стене старого пьяницы с испитым лицом, бутылкой красного вина в правой руке и лужицей мочи под ногами. Староста класса — спортивная походка, отец инженер — резво собирает листочки. Вместо подписи я ставлю на этом объявлении войны свое имя и номер мобильника. Смотрю, как вся стопка приближается к ней. Угол моего листка торчит из общей массы. Я готов к любой атаке. Звенит звонок. Она разрешает нам выйти из класса, все встают, я иду последним, грустный и безмолвный. Среди шума стульев слышу, как она тихо произносит мое имя.

Гортензия торчит около двери, играет в девушку, готовую меня прождать всю свою жизнь, а я ей все обламываю, ну конечно, она же христианка, ей же подавай несчастных, парализованных, она помешана на всяких заговорах или притворяется, что помешана, как умеют притворяться только такие люди, поэтому я подваливаю к ней и цежу сквозь зубы:

— Подожди меня на улице.

— Но...

— Я сказал, жди НА УЛИЦЕ.

Вот мы и остались одни. Наконец-то мы глядим друг на друга. У меня в руках тут же оказывается мой свеженарисованный шедевр. Я его разглядываю с умеренной гордостью: на худой конец, если что, можно смело идти уличным художником на площадь Тертр.

— Вообще-то я просила написать фамилию, адрес и названия любимых книг.

— Что вы просили?

— Точную информацию, которая позволила бы мне составить о вас представление.

Я держу паузу.

— Вообще-то этот рисунок дает обо мне исчерпывающую информацию, мадмуазель.

— Мадам.

— Мадам, это набросок к будущему автопортрету.

Я делаю шаг назад. Обмен взглядами в тишине. Я снова протягиваю ей рисунок, она не двигается, я кладу листок ей на стол и удаляюсь. Говорю: "До завтра!" Она повторяет, как эхо: "До завтра". До завтра, Матильдочка, до завтра.

Гортензия уже сидит в автобусе "Вернон кар". На ней унылая девчачья водолазка фирмы "Гэп".

— Ты живешь только ради секса, Анри, только ради секса, а остальное тебе по барабану!

Я не знаю, что ей на это ответить, поэтому говорю:

— Да ты, подруга, просто боишься своих желаний.

Хотя я и сам не верю своим словам. Гортензия уставилась на безрадостный пейзаж за окном. В глазах у нее печаль, а под одеждой настоящая буря, сердце готово выпрыгнуть из груди.

Она снимает свое длинное темно-синее пальто и кладет его на колени, как плед в самолете. Потом немного приподнимает попу и расстегивает брюки. Похожий на паром автобус, который развозит пьянь по всему департаменту Вексен, набит битком. Она поворачивает ко мне лицо — несколько прядей волос прилипло к подголовнику — и говорит: "Потрогай".

Мои пальцы проскальзывают в ее расстегнутые джинсы, зарываются в курчавые волоски, потом спускаются ниже, нащупывают зовущую плоть, потом еще чуть ниже, но не доходя до крайности; как раз тут, в этой самой точке, у Гортензии сошлись все переживания дня, все самые горькие разочарования, именно там сейчас сжалось ее время, там бьется вся ее жизнь. Что бы потом ни произошло, этот самый день, этот самый миг, когда ее тело было в лихорадке предвкушения, запечатлеется там навсегда. Ну а потом известно что.

На следующей нам выходить. Перед выходом говорю ей:

— Придумай отмазку для матери, что у нас дополнительные занятия. Встречаемся у меня через час.

Гортензия заходит ко мне в комнату: румянец пятнами, короткие светлые волосы слегка растрепаны; я подхожу к ней, мы начинаем страстно целоваться, слюна смешивается, атмосфера накаляется, ее рука неловко сжимает мой член, по коленям прокатывается волна жара, я срываю с нее свитер и лифчик, начинаю целовать ее нежную грудь; от брюк она уже избавилась, от кроссовок тоже, она покачивает бедрами, освобождаясь от трусиков; у нее нежный пушок под мышками, это так необычно на вкус; мои губы спускаются ниже, я хочу понять, какова же она вся на вкус; ощущение усиливается, потому что она боится и в то же время ждет. Надо же, у желания есть свой вкус. И он для меня навсегда останется вкусом Гортензии.

А вечером в саду я делюсь пережитым с Мартеном. У меня на губах все еще то самое ощущение. Брат сидит, опустив плечи. Нам холодно, но мы не хотим, чтобы отец случайно подслушал наш разговор.

– Я прекрасно понимаю, что ты только что пережил. В лучшие времена у меня буквально крышу сносило, если я не видел Жанну хотя бы две минуты. О, я тогда мог различить, какая она на вкус в определенное время суток, а этот вкус, видишь ли, меняется: утром после бурной ночи он один, а как она выйдет из душа, его почти не ощущаешь; после работы – совершенно другой, да и со временем он менялся: когда мы только начинали встречаться, когда ужинали в Китайском клубе и потом, когда мы много ездили вместе, в поезде, в самолете. Мне особенно нравились перелеты, нравилось после приземления посидеть с закрытыми глазами.

Он притащил из заначки бутылку "Балантайна", курит мои сигареты одну за другой и рассказывает о наркоте и пьянках – именно оттуда пошла его привычка хамить тем, кого он любит. Потом он глотает микстуру от изжоги и две таблетки мотилиума, а то вдруг желудок не выдержит такого удара. Потом запрокидывает голову и говорит:

– Я знаю ее парижский адрес. Давай вечером сядем в машину и махнем туда. Я просто хочу посмотреть, как она выходит из дома, и пройти за ней до метро. Больше ничего.

Ну подумаешь, ночь не поспать, буду как Патрик, и наплевать на завтрашнюю географию, подумаешь. Машина стоит, я сижу на переднем сиденье, Мартен прикорнул немного. Мы устроили засаду на улице Мюллер в восемнадцатом округе. Народ постепенно просыпается и расходится по своим делам. В пятнадцать минут девятого на другом конце улицы показывается машина с откидным верхом. У Мартена отвисает челюсть. Красавица Жанна, эта безупречная, уверенная в себе женщина, с улыбкой склоняется к своей новорожденной малышке, а потом поднимает голову и посылает воздушный поцелуй человеку, показавшемуся в окне. У Мартена мутится в глазах. "Я убью его", – бормочет он. Но с места так и не двигается. Через некоторое время он выходит из машины и идет к ближайшему киоску за сигаретами; выкуривает три подряд. Когда он взял третью, я предложил ему вернуться домой. Он согласился.

9

Тетка, отвечающая у нас за профориентацию, закуривает "Житан".

– Вопрос, Анри, не в том, любишь ли ты математику. Никто не любит ходить к зубному – я не имею в виду твоего отца, это просто такое выражение, – вопрос в том, можешь ли ты, будучи человеком ответственным, смириться с необходимостью посвятить некоторое время точным наукам, чтобы потом можно было делать ВСЕ, что тебе угодно.

Я уже знаю, чем хочу заниматься: я хочу снимать кино, встретить женщину моей мечты, пить с ней коктейли на балконе с видом на море, – и сколько бы времени я ни посвятил точным наукам, это не приблизит меня к осуществлению моей мечты.

– Анри, скажи мне, кем бы ты хотел стать после школы.

Не отрывая взгляда от окна, я бросаю:

– Вас это не касается.

– Нет, это меня касается, это моя работа, мне за это деньги платят.

– Вот именно, вам за это деньги платят.

– Это значит, что я достаточно квалифицированна, чтобы этим заниматься.

– Ничего это не значит. Охранники в тюрьме тоже имеют высокую квалификацию.

– Анри, работа составляет значительную часть нашей жизни. Все работают, к тому же в работе можно полностью раскрыть себя. А почему мы можем реализовать себя в работе? Да потому что ограничения ведут нас к свободе.

– Это вы сами себя стараетесь убедить.

– Свобода, Анри, ведет к наслаждениям.

– Не обязательно.

– Обязательно.

– НЕТ!

– ДА!

– Анри.

– Что?

– Выйди из кабинета.

Занятия у Матильды Арто заканчиваются в полчетвертого. Без пятнадцати четыре она выйдет из школы и перейдет на правую сторону улицы, а потом пойдет прямиком на вокзал.

Я специально сел около двери, рюкзак у меня уже собран. Звенит звонок, и я пулей несусь по коридору, на лестницу, потом еще по коридору, дежурный учитель кричит мне вслед, что это безобразие, я не обращаю на него внимания, вылетаю на стоянку перед школой и перехожу на шаг, а то еще взмокну, мне ведь надо хорошо выглядеть, чтобы понравиться, – вот всю жизнь так, – сдерживаюсь, чтобы не побежать, иду вниз по улице, на полпути к вокзалу сворачиваю обратно к школе. Через минуту-две, ну максимум пять она попадется тебе навстречу, надо просто еще раз пройти вниз по улице, а потом чуть медленнее вернуться, в общем, ты опять идешь вниз, потом медленно возвращаешься, а навстречу роскошная "ВХ" физрука, и рядом с ним Матильда. Ты стоишь столбом и провожаешь машину взглядом. Злая шутка судьбы. Матильда сидит в машине, но она нашла способ улыбнуться тебе одними глазами. Вот так. Матильда одарила тебя улыбкой. Фортуна опять повернулась к тебе лицом.

Быстрее домой. Сегодня мать придет к нам обедать, изменница сядет за наш стол, неудачница, красавица, обворожительная женщина, со своими комплексами слишком сексапильной матери. Мы ее звали мама, пока она работала в заштатном музее, где только и было что две картины импрессионистов. Искусство, о да, моя мать обожает искусство, а в итоге сбегает со специалистом по электронным СМИ. Искусство, вечно это искусство. Отец решил превзойти самого себя в искусстве кулинарном, надел фартук и готовит спагетти болоньезе. Мартен со вчерашнего вечера не выходит из своего фургончика.

Стол накрыт: маленькие тарелки на больших, свечи, парадная скатерть и дорогое бордо; я серьезно опасаюсь за рассудок отца: он и правда думает, что красиво сервированный стол поможет преодолеть безразличие.

Мать приехала как ни в чем не бывало. Будто вернулась с работы или из магазина. Она целует меня в лоб: "Как ты, мой хороший?" Привычно чмокает отца в щечку и спрашивает, где же Мартен. "А он сейчас придет", — отвечает отец и выразительно смотрит на меня, мол, сходи за ним. Я бужу Мартена, он вообще никакой.

Наконец любящее семейство собралось за столом в полном составе.

Мы стараемся не затрагивать больные темы, но таких много, так что мы в основном молчим. Отцу жмет ворот новой рубашки, он весь на нервах, по-глупому обжегся, уж очень ему хочется, чтобы все было на высшем уровне. Мать необыкновенно хороша, от нее, как всегда, пахнет "Шанелью". Она пускается в пространные пустые разговоры, чтобы ничто не отвлекало ее от собственных мыслей. Мартен выкладывает у себя на тарелке буквы. Закончив свои труды именем "Жанна" из красных спагетти, он слизывает соус с пальцев.

Отец вносит десерт, которым можно накормить три таких городка, как Вернон. Перед домом останавливается машина, какой-то чел сидит и сигналит. Мать тут же спускается с небес на землю: "Это Андре, мне пора". Она встает, гладит Мартена по длинным волосам, звонко чмокает отца и благодарит его за этот замечательный ужин. Меня она целует напоследок, чуть крепче, чем в начале вечера, со мной на ночь останется запах ее духов, запах из моей прошлой жизни. Есть люди, которым все прощают за один только запах их духов.

Мы убираем со стола — сцена из немого кино. Отец говорит: "Помойте посуду, ребята, а я пойду немножко подышу". Мы моем посуду, и мне становится не по себе. Неужели у меня такой отец? Человек, который каждую минуту выкладывается по полной, зашивает десны детям, избавляет людей от пульпита, и вдруг так облажался.

Он стоит на газоне, я подхожу и спрашиваю, все ли в порядке, он говорит: "Да, сейчас все пройдет". Он старательно жует жвачку и, похоже, вот-вот расплачется. А я ведь так и не научился обнимать его. Стою как истукан. В конце концов я, как воришка, хватаю его руку. Он крепко сжимает мою руку, я крепко сжимаю его руку, и так мы стоим довольно долго. Наконец он говорит: "Пойду попробую заснуть".

Он целует меня в щеку и смотрит улыбаясь. А потом показывает, как надо обниматься.

10

Давным-давно на Рождество мы пели песни у елки. Мать всегда говорила отцу, что он фальшивит. Сегодня начинаются рождественские каникулы. Анри совсем потерял голову. Но Анри ставит будильник на двадцать пять минут раньше, в ванной заводит любимую музыку и берет

рубашку брата, ну и что, что велика. Сегодня он обойдется без завтрака. Кусок в горло не лезет.

Патрик подваливает на мопеде. Он подбрасывает тебя к вокзалу за десять минут до прихода электрички. Десять минут — это немало. За десять минут можно испытать все страхи, какие только есть на свете, и придумать кучу новых. За десять минут можно трясущимися руками выпить кофе и выкурить сигарету в кафе напротив. Десять минут — это немало.

Ты идешь в туалет, чтобы еще раз взглянуть на себя в зеркало. Ты еще молод, у тебя нет ни морщин, ни отеков. Она выходит из электрички. Ты выходишь из кафе, она тебя замечает, ты показываешь ей на стойку с видом завсегдатая и опять возвращаешься в бар, чтобы другие преподы, которые ездят из Парижа, не видели, как ты клеишь Матильду Арто. Она входит, кладет сумочку и шарфик на столик, заказывает эспрессо, от нее приятно пахнет, она молчит, ты тоже. Ты боишься, у тебя никаких шансов. Она размешивает в чашке половинку сахара, долго водит ложечкой в темной горячей жидкости, а потом произносит, будто обращаясь к кому-то другому:

— Здорово придумано. Я не должна вам этого говорить, но вы мне снились сегодня. Я до сих пор не могу опомниться, будто все было на самом деле.

Наконец, она смотрит на тебя. Потом заявляет:

— То, что я сейчас сказала, должно очень льстить вашему самолюбию.

Ты со всей серьезностью твоих пятнадцати прожитых лет отвечаешь:

— Мне все равно, что будут об этом говорить, Матильда, но я хочу вас видеть, хочу пригласить вас на ужин.

— Да-а? Вы хотите поужинать со мной? Интересно, где же? В ресторане или в каком-нибудь фаст-фуде? Пойдем есть вафли? Или блинчики с шоколадом? И куда? Будем сидеть в Верноне, у вас на кухне с видом на школу?

Я все это выслушиваю. А воображение услужливо рисует мне множество других ужинов, особенно сцену в конце ужина, когда мужчина прикасается пальцами к руке женщины, давая понять, что сегодня ему не хотелось бы спать одному. Я представляю себе по уши влюбленную Матильду, иногда она сама решает расстаться, иногда ее бросают, а сам слушаю.

Она кладет на стойку десятку. Я говорю: "Что вы, я заплачу". Но она и слушать не хочет и тут же выходит из кафе.

— Завтра, если хотите, я позвоню вам вечером.

Йеесс! Она это сказала! Она это сказала! Может, на улице какой-нибудь псих на "рено R25" проскочит на красный свет и снесет мне башку, но она это сказала. Иду пешком вверх по улице. Сейчас я смог бы без проблем пробежать марафон или ударом футбольного мяча свалить вековое дерево, я мог бы быть очень любезным с прохожими, даже предупредительным со стариками, мог бы улыбаться целую вечность, и

вообще, мог бы все что угодно. Я проскочил мимо школы и ушел довольно далеко.

Я сижу один в приемной. Отец сейчас отпустит пациента. Я стараюсь подобрать слова, чтобы объяснить этому человеку, что я влюблен в женщину. На стенах развешаны яркие плакаты о пользе фтора, о прививках против гепатита В и о вреде курения. Я сажусь в кресло перед отцом, куда обычно садятся больные. Нас разделяет большая лампа в виде змеиной головы.

— А ты разве не должен быть в школе?

— Должен.

— Ну и?

— Я влюбился.

— Боюсь, тут я тебе не советчик.

— Да я не за советом пришел.

— Чего же ты хочешь?

— Чтобы завтра дом был в полном моем распоряжении. И на ночь тоже.

— Здрасьте, а мне где ночевать?

— Не знаю. Ты же взрослый.

Он встает, на миг мне показалось, что он сейчас примется осматривать мне рот — настолько у него крыша съехала. Но он убирает инструменты и вздыхает:

— Посмотрим. А сейчас иди в школу.

— Пап, я не могу сегодня идти в школу.

— Да я знаю, приятель, но надо же мне было что-то сказать.

— Мартен, мне нужно три тысячи франков, только не спрашивай зачем.

Он хмуро смотрит на меня:

— Ты что, и правда думаешь, что я стал бы тебя спрашивать, зачем тебе такие деньги?

— Ну что ты, Мартен, ты совсем не такой.

И я тут же ему все выкладываю. Он молча достает свою кредитку и записывает пин-код на бумажке.

Я для приличия не сразу ухожу из его фургона. Он встает с кровати, лезет в холодильник, отпивает молоко прямо из бутылки и стирает получившиеся усы тыльной стороной ладони. В его жилище воняет чем-то резким. Я вынужден прислушиваться, чтобы не потерять нить его рассказа. Он говорит о Пабло, своем приятеле-чилийце, с которым познакомился в Париже. Пабло всегда жил у баб. Последняя из них согласилась оставить ему свою комнату на неделю, а сама уехала в отпуск. В самый вечер ее отъезда Пабло решил это дело отметить: выпил все, что смог, сожрал все, что нашел. Утром он, уже совсем никакой, пошел наверх спать и тут впал в кому, вот где настоящий кошмар: он упал с лестницы на стеклянный столик. Ушибся, поранился, кровища, а ни двинуться, ни позвать на помощь не может. Он еще и наблевал вокруг. Через несколько часов вернулась эта подруга — забыла она там, кажется, чего-то. Застает она этот разгром, вонь, срач и его посреди всего этого. Она рвет и мечет, говорит: "Я вернусь через пять дней и чтоб к моему возвращению тут был идеальный порядок, иначе я подам

на тебя в суд". А он через три дня умер. Вот уж правда, парень держался до последнего.

Мы с Патриком едем на электричке в Париж, точнее, в префектуру Сержи. У нас свидание у трех фонтанов перед торговым центром. Я ехал с легким сердцем, но как-то сник при виде девицы с длиннющими ногтями, в кожаной юбке и с низким голосом. Хорошо еще, что она совершенно без напряга извиняется за опоздание и не краснеет от смущения, когда Патрик заявляет ей, что мы торопимся. Мы направляемся в крохотную квартирку, будто собираемся пропустить по пивку и поболтать за жизнь. Она наливает нам по стаканчику колы и просит заплатить ей вперед — чтобы сразу покончить с деньгами.

Из обстановки у нее стол, четыре стула, туристический плакат с видом города Фес в Марокко, диван и мелкая собачонка, которая все время тявкает. Она говорит, что это счастье ей подарил ее бывший, пока они жили вместе. Наконец, она раскладывает диван и стелет на матрас махровую простыню. Когда она раздевается, становится виден шрам от кесарева сечения и большая татуировка на левой ягодице. Я спрашиваю, что это означает.

— А я и сама не знаю. Так, наколола на счастье.

Патрик начинает. Сразу видно, что ему не впервой. Собачонка опять лает. Девушка просит меня запереть несносное животное в ванной, что я и делаю. Когда я возвращаюсь, Патрик трахает ее в задницу, награждая при этом звонкими шлепками. И за что он ее так, она же такая безропотная.

Когда он закончил, она отправилась в душ и не забыла запереть там собачонку. "А теперь, молодой человек, твоя очередь", — сейчас она заметно увереннее в себе. Я снимаю свитер и вздыхаю:

— Ну, вообще-то у меня гораздо меньше опыта. По правде говоря, его совсем нет. Я бы начал с чего-нибудь более традиционного.

— Не вопрос, — отвечает она и начинает сосать меня, хотя в этом нет необходимости. Потом мы довольно долго целуемся взасос. Она хочет натянуть на меня презерватив, но тут вмешивается Патрик с воплем: "Нет, пусть учится без этой штуки". Не переставая ее целовать, я вхожу в нее, я держусь молодцом, глубоко дышу, иногда мы с улыбкой смотрим друг другу в глаза, потом я опять начинаю целовать ее шею, губы, уши. В конце она с несколько наигранным стоном просит еще, но мне уже не хочется. Я бы даже сказал, что очень ей признателен и не имею ничего против наигранности. Под конец я ее обнимаю, собачонка завывает в ванной, а я с трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать ей, что люблю ее. Только по глазам видно, что она все равно все поняла. Мне даже кажется, что она знает, что в тот момент я ее действительно любил.

11

Мартен мечется по комнате: "Вернуться в Париж? И что я там буду делать? Начинать все с начала? С кем? Что я на этот раз испоганю? Вер-

нуться в Париж, чтобы видеть, как там все востребованы? Нет уж, я останусь в своей хибаре, буду тут спокойно загнивать, наберусь терпения и буду ждать, когда все кончится, но ждать буду один, чтобы потом не пришлось никого бросать".

— Какое ваше любимое блюдо? — спросил я с утра Матильду по телефону, чтобы все по-взрослому.

— Устрицы, — ответила она.

Бе-е, устрицы, терпеть их не могу. Но делать нечего, еду на автобусе до супермаркета, возвращаюсь нагруженный как верблюд. Иду на кухню и делаю все возможное, чтобы открыть дюжину этих тварей, все пальцы в крови, вот уж действительно великая битва. А еще мясной салат, сыр, торт и омары, если мы вдруг проголодаемся.

Мартен приходит на кухню за пивом, я прошу его помочь.

— Нет уж, ты это затеял, ты и выпутывайся.

Я с раздражением продолжаю свое дело.

— Показушник, — продолжает он.

— Сам показушник!

— БЫЛ. Я БЫЛ показушником. — Он выкрикивает это, нависая надо мной. Думаю, он так взъелся из-за того, что отец ночует сегодня у него в фургончике. — Да ты вообще представляешь себе, что из-за твоих глупостей мне придется сегодня провести ночь в одной постели с отцом?!

— Из-за каких глупостей?

— А сам ты не знаешь?

— Нет.

— Тех же самых, из-за которых я сегодня, вот прямо сейчас, торчу здесь. — (Я молчу с презрительным видом.) — Ты ведь не любишь ее, Анри. Ты влюблен, потому что влюбленность — это твое обычное состояние, потому что ты еще не нашел другого способа уменьшить свои страдания.

Здесь, на кухне, Мартен думает только о том, что будет после ужина. Окурки в раковинах устриц, белое вино уже ударило в голову. Он знает, каково бывает на следующее утро. С трудом продираешь глаза, замышляешь измену, потом входишь во вкус. У него хватает таких воспоминаний. Это вранье задевает его за живое.

12

Ничего страшного, Матильда. Обыкновенный случай нарциссизма. Вы переносите ситуации из своей юности на другого подростка. В это время Матильда сидит на приеме у своего психоаналитика, который отпускает ей ее грехи, не забывая при этом взять кругленькую сумму за консультацию. Сначала был Паскаль. Он изучал философию и сам набивал себе сигаретные гильзы табаком. Он человек язвительный, с ним интересно. Ненавижу Паскаля. Десять лет расставаний навсегда, раскаяний и хлопанья дверью. А Матильда долгими одинокими вечерами пьет виски. Такая у нее новая привычка. Чтобы согреться. Она до сих пор советует почитать только те книги из своей библиотеки, на

которых стоит дарственная надпись Паскаля. На этих книгах в правом верхнем углу проставлены инициалы ее первого возлюбленного. Будто непроходящие следы от засосов.

Матильда рассматривает себя в зеркале со спины. По кровати разбросаны вечерние наряды. Уже вода в ванной полилась через край, а по телефону звонит мама, а на мобильнике — непринятый вызов от лучшей подруги. Не будет она ей перезванивать. Матильда застенчива, она не хочет признаваться, что связалась с таким сопляком.

В сумочке у нее зубная щетка. Ей не в чем себя упрекнуть. Она сделала все возможное, чтобы удержать Паскаля и даже его тень. В плане чувств Матильда близка к абсолютному идеалу. Она из тех редких людей, которые могут себе позволить чистую совесть. Она знает, что сегодня совершит большую ошибку, красивую ошибку, как в юности, когда энергия бьет ключом.

Школьник? Черт возьми, почему бы и нет.

13

Все влюбленные готовятся к свиданию одинаково. Он открывает устрицы и следит за временем. Все должно быть на своем месте и в свое время, ну вы понимаете. Парикмахерская, наконец-то. В парикмахерской можно отдохнуть. Влюбленный не упустит ни одной мелочи, чтобы произвести впечатление. Влюбленный забывает все те ужасы, которые пережил в парикмахерских, когда был маленьким: и запах лосьона после бритья, и хмурое лицо парикмахера, щелкающего ножницами у виска, и мелочное стремление срезать волосы покороче, выстричь все вокруг ушей, несмотря на протесты.

Но сегодня влюбленный отыграется за все. Он проходит мимо парикмахерской, куда его таскали в детстве, едва удостоив ее взглядом, и гордо шествует в салон Сильви, туда, где стригутся одни женщины и гомики. Они-то знают, сколько стоит мечта. Они знают, какой заботы требуют длинные волосы влюбленного, ибо вся его сила в них.

Отец приносит бутылку из подвала. Какой-то он грустный. “Это вино лучше подходит к устрицам, — советует он, — но поступай как знаешь”. Он возвращается в сад, я смотрю ему в спину, даже по походке видно, что он уже ни на что не надеется. Матильда. Я знаю, о чем буду говорить с ней. Я готов. У меня уже столько девчонок было. К тому же я немножко порепетировал у себя в комнате.

Она звонит, я открываю дверь, целую ее в щеку, просто целую в щеку, ничего больше, чтобы показать, что все изменилось; тут же предлагаю ей коктейль, она соглашается. Жизнь прекрасна, еще как прекрасна! Она меня слушает, ее глаза блестят, я слушаю ее, придумывая, чего бы еще такого замечательного сказать в ответ; ужин идет своим чередом. По совету Патрика я накрыл на журнальном столике, чтобы создать спокойную, непринужденную и романтичную обстановку. Только с музыкой засада: я выбрал диск лучших произведений Моцарта, а она

попросила поставить что-нибудь другое, просто это постоянно крутят в приемной у ее гинеколога.

– Вообще-то, у меня мало дисков.

– Что, нет даже "Тиндерстиксов"[1]?

– Даже их нет.

Все-таки Патрику надо поставить памятник. Не просто памятник, а здоровенную статую, воздвигнуть в его честь собор, базилику, немедленно соорудить что-нибудь монументальное. Повесить на каждой улице золотую мемориальную доску с его рожей, включить его в школьную программу, захоронить его прах рядом с Виктором Гюго. Государство должно финансировать Патрика, его надо канонизировать, объявить благодетелем человечества, надо сделать так, чтобы он жил вечно. Если бы не его советы, фиг бы мы сейчас целовались у меня в комнате, а так мы целуемся, будто у нас впереди вечность, кажется, рот у меня так и останется красным по жизни. Я начинаю стягивать с нее платье, но она меня останавливает. У Матильды месячные. Матильде очень хочется, но у нее месячные. Но я не сдаюсь. Каждый раз она спохватывается чуть позже, с каждым часом я отвоевываю еще немного, приспускаю трусики все ниже и ниже и наконец совсем их снимаю и осваиваю новую территорию. На губах привкус ее крови, которая смешивается с моей слюной. Я весь взмок, я почти умер, слышу, как часы на церкви пробили пять, я продолжаю ласки, она тяжело дышит, ее охватывает дрожь, будто она сейчас умрет. Она встает, смотрит на меня стеклянными глазами, гладит меня по щеке и сдавленно говорит: "Все, не могу больше терпеть, сейчас вернусь".

Она возвращается, мы опять страстно целуемся, будто после долгой разлуки, но теперь она вытащила тампон, теперь нас даже тампон не разделяет, теперь ничто не мешает моему языку, моим губам, моему носу проникнуть в нее, по ее бедрам пробегает дрожь, мой язык проникает все глубже, она обхватывает руками мою голову и приближает мое лицо к своему. "Я хочу сейчас", – говорит она. Я слушаю, в жизни никого так внимательно не слушал, мы дышим в такт, она жадно обхватила мои бедра, временами мне даже не двинуться, остается только смотреть на ее лицо, на ее мягкие груди; я изощряюсь, придумываю все новые и новые ласки, как и миллионы мне подобных до меня. Я берусь за дело с удвоенной энергией. Мы двое сумасшедших, прилетевших как мотыльки на свет. Мы сошли с ума, мы ведь едва знакомы, даже наговориться друг с другом толком не успели, но уже зажигаем по полной программе. Она классная. Она устала и немного вздремнула. Еще одна моя маленькая победа. Я бережно вытираю ее лицо, она извиняется за кровь на простынях, я ей отвечаю: "Не переживай, любовь моя, ничего страшного". Я раскуриваю сигарету и передаю ей таким привычным жестом, будто всю жизнь только это и делал.

Я провожаю ее до машины. На улице холодно, а мы говорим и никак не можем расстаться. Кажется, что слова сотканы из пара и постоянно

1. "Tindersticks" – британская группа 90-х годов XX века.

меняются в предрассветном сумраке. Она вставляет ключ в зажигание и вылезает из машины, чтобы поцеловать меня. В этот миг я могу с уверенностью заявить, что даже наше рапсовое поле, даже проезжающий мимо трактор, даже эти грязные коровы на лугу — все это части неповторимого, радующего глаз пейзажа.

Она уезжает, потом дает задний ход, опускает стекло и говорит что-то о сегодняшней ретроспективе в "Аксьон Кристин"[1], я не все уловил, но когда она сказала, что, если хочешь, после фильма можешь переночевать у меня, я тут же согласился. А как же, я ведь хочу повысить свой культурный уровень.

Я стучусь в фургончик Мартена и говорю отцу, что уже можно вернуться в дом. Пока он там копается, я жарю тосты и завариваю чай. Через большое окно я вижу, как они с Мартеном выходят. Они похожи на заложников, измученных неизвестностью. Ощущение, что они всю ночь просидели за бутылкой и совсем не выспались. Мы втроем сидим и пьем чай. Отец встает, он хочет спать. Мартен тоже встает и долго молча смотрит на него. Отец идет к себе в комнату. Мартен опять садится и допивает чай. Он взъерошивает мне волосы рукой. Он улыбается. Он только что узнал, что отец скоро умрет.

Днем я тащусь на барахолку, где Гортензия с матерью держат ларек. Я с невозмутимым видом разгружаю коробку, в которой привез все, что смог натырить дома: огнетушитель, рубашки, настольную игру, старые шарфики матери, пепельницы, книги покет-бук, электронный микроскоп и даже подписанную фотографию самого Янника Ноа[2] — чтобы получить этот небрежный автограф, в свое время мне пришлось за ним побегать. Но сейчас мне нужны деньги на Париж. У меня мурашки по коже, я хочу преподнести Матильде подарок. На остальное мне начхать. Подходит покупатель в темных очках. Сразу видно, что весь смысл его жизни в коллекционировании. Спрашивает, почем фотка Янника. Я отвечаю, пятьсот, только бы он отвалил, но он тут же вытаскивает деньги и хватает фотку, он и спасибо-то не сказал, даже не посмотрел на обратную сторону, захватанную Янником, который просрал первый же тур "Ролан Гаррос", после чего ушел из тенниса — вполне в его стиле. Чел отваливает. Теряется в толпе. Ну да, ему наплевать на то, как мы когда-то болели за игроков, как переживали из-за их проигрышей, как радовались, если они выигрывали. Ему это по фигу, он коллекционирует. Может, он даже перепродаст мою фотку. Интересно, за сколько? Сколько вообще можно заплатить за фотку? А за подпись? А за воспоминание?

Я сказал Гортензии, что оставлю ей все это добро, а сам пойду спать, потому что устал, потому что быть взрослым, оказывается, не так-то просто.

1. Кинотеатр в Париже, где показывают фильмы 50-х годов.
2. Французский теннисист (р. 1960), ставший после завершения карьеры певцом.

14

Мы сняли домик в горах. Отец запекает картошку с сыром на открытом огне: "Наконец-то мы все втроем выбрались зимой на природу, прямо как раньше". Но Мартен сильно изменился, в нем мало осталось от прежнего Мартена. А мать теперь ездит по выходным кататься на лыжах в престижный Межев. Без нас, понятное дело. "Мы опять зимой выбрались на природу", – все твердит отец. Темнеет. Первый раз в жизни зимний отдых мне не в радость.

Я звоню Матильде по шесть раз на дню. Если бы это только было возможно, я вживил бы себе мобильник в мозг. Если бы это только было возможно, я бы установил на каждом шагу ретрансляторы мобильной связи и установил бы в голове у Матильды крошечную камеру, чтобы быть в курсе каждой ее мысли, даже самой незначительной.

После еды отец предлагает сыграть в карты. Мартен говорит, что у него болит живот, и идет спать. Я немного выжидаю, покачиваясь взад-вперед, а потом говорю: "Ну, вдвоем играть по-любому не получится". Отец включает телик. Наконец-то я выхожу на улицу. Холодно. На ступеньках лед. Я застегиваю куртку и отыскиваю укромное местечко, где приятно помечтать о любви. Закуриваю.

– Алло.

– Это я.

– Я по тебе соскучилась.

– Я тоже по тебе соскучился, Матильда. Просто жуть, как соскучился.

– Ну так приезжай, если скучаешь. Давай, садись в поезд и приезжай ко мне в Париж.

– Не могу.

– ...

– Матильда, осталось всего три дня. Через три дня я приеду.

– Я хочу тебя.

– Я тоже. Я люблю тебя, Матильда. Всем сердцем.

– Анри, я больше не могу говорить, я опаздываю.

– Ты уходишь?

– Да, иду встречаться с друзьями.

– Матильда.

– Что?

– Не клади трубку так сразу.

– Ну хорошо, тогда ты первый.

– Нет, ты.

– Нет, ты.

– Нет, ты.

– Ну ладно, я сейчас тихонько положу трубку. Я люблю тебя.

– Я люблю тебя, Матильда.

– Я тоже тебя люблю.

– Без тебя я умру.

– До завтра, любовь моя.

– До завтра.

– ...

— ...
— Алло?
— Да?
— Матильда?
— Да?
— Ты еще здесь?
— Да, здесь.
— Так ты меня любишь?
— Да, я люблю тебя.

15

В автобусе к Матильде подошел какой-то незнакомый мне чел, они расцеловались, перекинулись парой слов, потом он вышел, не сводя с нее глаз, а она ему по-дурацки улыбалась. Она не сочла нужным познакомить нас.

— Да ладно тебе, мы столкнулись так неожиданно, я даже и не подумала, вот и все. Перестань, ты еще не в том возрасте, чтобы строить из себя ревнивого мужа.

Матильда, или как тяжко быть женщиной. Бороться с нервными срывами. Не поддаваться усталости. Избавляться от волосков на теле. Доводить икры до совершенства пинцетом, дотошно выискивать каждый вросший волосок и немедленно от него избавляться. Продезинфицировать все это дело. Жить с ревнивым мужем, который по возрасту до взрослого недотягивает. С ребенком, который не терпит ни малейшего упоминания о прошлом своей жены. Я начинаю замечать недостатки ее квартиры, где ее бывший ухмыляется мне с каждой фотки, из каждой книги, которую она дает мне почитать. Стоило ей выйти в магазин, как я тут же наткнулся на письмо Паскаля. Просто поверить трудно, до чего этот тип любит писать.

Она часто водит меня в тот ресторан, где мы сидели в наше первое воскресенье после фильма в "Аксьон Кристин". Официант всегда сажает нас за столик у окна. Он знает, что мы любим друг друга. Официант, он союзник, брат, который никогда не спал с Матильдой. Я всегда оставляю ему на чай. Иногда так хочется стаканчик колы, но приходится заказывать мартини бьянко. За ужином мы берем бутылку вина. После двух бокалов у меня голова идет кругом. Матильда допивает бутылку одна — и десятка лет, разделяющих нас, как не бывало. Она рассказывает про то, как впервые напилась, и про бурную молодость, про кокаин и про поездки в Барселону. У меня мечта сделать так, чтобы ничего этого не было.

На обратном пути она берет меня за руку. Мы молчим. Иногда мне кажется, что ей не одна сотня лет. Она с трудом засыпает, прямо как Мартен, как все, у кого есть прошлое. А я, наоборот, после любви тут же отрубаюсь. Мне снится ночная дорога, а на обочине — маленькая девочка, она плачет, поет и зовет родителей. Я хочу ей помочь, но не могу. Я резко подскакиваю, лоб у меня пылает. Матильда смотрит на меня. Она кладет руку мне на лицо.

Я пытаюсь найти нужные слова.

— Матильда, — бормочу я, — познакомь меня со своими родителями, я хочу, чтобы все о нас знали, я хочу знать о тебе все.

— Хорошо, Анри, если тебе так хочется, я вас познакомлю и все такое, а потом ты все узнаешь, тебе надоест, и ты меня бросишь.

И тут же бежит в ванную за таблеткой. Я закуриваю. Она включает музыку.

— Я всю жизнь буду любить тебя, Матильда.

— Знаю, ты будешь любить меня всю жизнь.

— Ты мне веришь?

— Почти. Спи давай.

Мы с Жанной сидим в кафе. Она выходила из магазина, а я увидел ее с другой стороны улицы и окликнул. Вообще-то она очень темпераментная, но со мной говорит сдержанно. Она хочет рассказать сразу обо всем.

— А я тут недавно видела твоего брата. Мы обедали с подругой, и я увидела в окно, как он проходил мимо.

Под платьем угадывается ее красивая грудь.

— Он едва на ногах держался, блевал повсюду. Знаешь, Мартен довольно быстро меня возненавидел. И показывал он это как-то мелочно, шмотки свои по всей квартире разбрасывал, по дому ничего не делал, а то и просто сбегал от меня.

Жанна рассказывает все это, а сама сидит прямо, не шелохнется. Мой братец приходил, стучал в дверь, крушил счетчики на стоянках — но те умеют стоять насмерть. Жанна спускалась поговорить с ним, хотя он и был пьян в стельку, но пьяные глухи — выпивка разрушает любовь. Что да, то да. И как это Жанне удается так потрясно выглядеть после бессонной ночи? Она говорит о грустном, но с ней все равно хочется заняться любовью. Она рассказывает о бессонных ночах, о начале разрыва, о том, как всплывали многочисленные обманы, об этом странном ощущении, когда понимаешь, что человек, которого ты столько времени любила, тебе совершенно чужой...

— Я каждое утро вставала и бралась за дело, Анри. А в то утро, когда я рожала, со мной была моя мать, и в ее глазах была такая тоска. Теперь я снова начинаю смотреть на других мужчин и уже не злюсь постоянно на дочку. В конце концов я забуду твоего братца и заживу по-новому.

Она цапнула сигарету из моей пачки. Спустя годы я пойму, что это очень по-женски — все они, доступные ли, обиженные, таскают у нас сигареты. Мартен зашел посмотреть на свою дочь, несмотря на протесты Жанны. Он вошел в комнатку малышки и застыл, так и не осмелившись до нее дотронуться.

Жанна — женщина сильная, смелая. Она не заслуживает, чтобы с ней так обращались, к тому же у нее самая красивая грудь на свете. В тот вечер, когда брат в панике сбежал от нее, он мне много о ней рассказывал, как она усталая приходила с работы, а он целыми днями только и делал, что валялся с сигаретой и мечтал, к тому же уже часов с четырех вокруг него собирались эти его почитатели, черт бы их побрал.

— Жанна могла закатить пир всего за тридцатку, — восхищался он. — У нее хватало терпения вырезать рецепты и наклеивать их в тетрадки и записывать в блокнотики все, что у нее в личной жизни шло наперекосяк, она могла читать часами, несмотря на больной правый глаз; надо было видеть, как она ходила по магазинам, она составляла длиннющие списки, всегда сравнивала товары, чтобы купить все самое лучшее, она откладывала деньги, а потом на сэкономленные средства ходила в салон красоты, или покупала мне подарок, или мы вместе ехали в отпуск. Она очень любила путешествовать. Иногда я видел, как в парижских кафе она, послюнив палец, пересчитывала талоны на обед, была у нее такая примочка. Но главное, что без борьбы она и дня прожить не могла. Тут, Анри, ты можешь мне поверить, она прекрасный боец. Ни один святой, слышишь, Анри, ни один святой, ни одна болотная тварь, ни один восточный мудрец — никто бы столько не вытерпел.

Жанна, как последняя торговка, насмерть дралась за наши отношения, и при этом было в ней что-то от принцессы. Она жила только надеждой на улучшение, она выбивалась из сил, хотя и не знала правил игры. Это надо было видеть, Анри, надо было попытаться ее понять во что бы то ни стало, хотя она уже тогда проигрывала по всем статьям. С каждым днем дела шли все хуже, а я, подонок, даже не мог сказать ей об этом, я просто смотрел, как она надрывается по мелочам, наводит чистоту в гостиной и спальне, пытается найти хоть какой-то выход. Это могло бы обмануть тех, кто не знал, какие трагедии тут разыгрываются по ночам, как мы, лежа в одной постели, ненавидим друг друга; а по утрам, Анри, никакие с недосыпу, мы готовы были перегрызть друг другу глотку. Она долго не верила, что наш роман кончился. Она боролась до конца. И даже дольше. И все вокруг, даже те, кого это не касалось, знали, что ее мечте не суждено сбыться, потому что счастье невозможно построить, Анри, мечты нельзя воплотить насильно. Но Жанна красивая! Какая же она красивая! Она оставляла мне записки на столе, она считала, что простые слова могут повернуть все вспять. Дудки! Запомни, Анри, слова, да и поступки, все насквозь фальшивы. На самом деле значение имеет только время и реальность. Она прошла через всё, Анри. Она до дна выпила эту чашу расставания, потому что она сильная и упрямая, а еще потому, что она идеалистка. А потом, после первого разрыва, когда окружающие уже оставили нас в покое, она пыталась, мы пытались, уже на полном автомате, сохранить наши отношения, дать этой, уже не существующей, паре последний шанс, который она давным-давно упустила. Ничего, кроме боли, нас не ждало. Ненависть уходит, начинается боль. Пришло время страдать. Боль возникает ночью. Это как удар кинжалом — чувствуешь, будто сейчас умрешь. Жанна была готова терпеть и принимать эти незаслуженные удары один за другим. И я, конечно же, сбежал. Ты ведь знаешь, какой я трус. А она осталась одна, бежать ей было некуда. Это ей пришлось показывать спальню и гостиную другой паре, это она возилась с арендой. Это она оставалась в квартире до последнего, когда из обстановки у нее была только свеча и спальный мешок, это она утрясала все формальности. А теперь слушай меня, Анри. Слушай. Представь себе: она закидывает спальник в машину, поднимается в последний раз, чтобы посмотреть на квартиру. Какой у нее взгляд? Этот взгляд не дает мне покоя, он

меня опустошает. После этого никакой другой взгляд меня уже не взволнует.

16

Мы с Патриком решили малость подзаработать, так, по мелочи. Мы толкали порнушку, простую порнушку. Когда я стал жить с Матильдой, я начал покупать кассеты в секс-шопах. Патрик их переписывал в больших количествах. В каком-то смысле это можно назвать благотворительностью. Мы попались очень по-дурацки: один чел все тушевался, а потом осмелел и сдал нас. Ничего особенного, но в школе нам решили устроить показательную порку. Собрали совет по дисциплине. До заседания десять минут, а Патрик жрет в коридоре "Сникерс". Наши судьи один за другим входят в актовый зал. Учителя, Матильда тоже с ними, она притворяется, что изучает журнал. Потом появляются родители Патрика, представительница от нашего класса — Гортензия, она рассматривает свои кроссовки; у директора такой вид, будто он возглавляет по меньшей мере мужскую тюрьму Флёри-Мерожис; у всех подобающее выражение лица, все такие довольные и важные, с радостью предвкушают звездный час. Я жду отца, Патрик предлагает мне второй "Сникерс". Я спрашиваю, как он может жрать в такую минуту, а он: "Очень просто, Анри, достаточно занять позицию наблюдателя, как будто все это происходит не со мной, а с кем-то другим". Слышно, как в зале начали показывать запись скрытой камерой, когда нас брали, а тут из машины выходит Мартен с пластиковым стаканчиком в руках, в котором он размешивает ручкой с красным колпачком две таблетки цитрата бетаина. Он кидается к нам с Патриком и обхватывает нас за плечи: "Эти умники нарвались по телефону на меня, я им сказал, что отец не сможет приехать — вообще-то это правда. Ну и где тут у нас это сборище пластмассовых медуз?"

Все вместе мы идем до актового зала. Брат говорит, чтобы мы зашли с ним, но мы считаем, что лучше дождаться, пока они сами нас вызовут. Он выставил вперед подбородок и сказал: "Ну как хотите".

Наконец мы заходим. Мартен уже заливается вовсю: он настойчиво требует, чтобы ему показали начало записи, потому что это единственная улика, которой располагает уважаемая комиссия. Гортензия сидит вся пунцовая, а Матильда все никак не оторвется от своего журнала. Я разглядываю этих людей, я ведь почти все про них знаю, у меня же отец зубной врач. Я знаю про их несложившиеся жизни, я знаю этих брошенных женщин и одиноких мужчин, знаю, что зубы у них шатаются от спиртного, и даже о том, какие зубы у них свои, а какие вставные. Директор спрашивает, признаём ли мы себя виновными. Нет. Хотим ли мы сказать что-нибудь в свою защиту? Тут встает Патрик: "Дамы и господа, во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы немного скрасили мои серые будни. То, что мы с Анри хотим сказать, очень просто. Все мы приходим в мир через одни ворота. А умирая, уходим через другие. Вход и выход, секс и смерть — вот и все, что имеет смысл по большому счету. Впрочем, Жорж Батай рассказал об этом гораздо лучше меня,

можете почитать, тем более что есть уже и дешевое карманное издание".

Директор пытается что-то промямлить про то, что есть вещи, запрещенные для лиц, не достигших восемнадцати лет, про разрушение образа женщины, про денежные потоки на территории Французской Республики, но Мартен его срезал: "Можно подумать, во всей республике никто и не подозревает о существовании секса! Да об этом все только и думают с утра до вечера, этим все начинается, этим все и заканчивается; если как следует покопаться, то секс — причина всего на свете, вот прямо от и до. От него все чувства — в туалетах и подвалах, в больницах и тюрьмах; сердце бьется, а вагина заявляет о себе; всё оттуда — живопись и войны, поражения и роды; мы не можем от него отказаться, иногда мы даже плачем из-за него. Давайте оставим секс в покое, в конце концов он делает нас бессмертными на пару секунд в год".

Потом Мартен начинает вспоминать про Жанну.

Директора все это достало, и он скостил нам наказание, мы отделались исключением сроком на три дня.

Мы с братом возвращаемся домой. Сегодня я ночую не у Матильды. А как было бы здорово, если бы я сейчас открыл дверь своей комнаты, а она там мечтает обо мне. Я хочу немного задержаться, присесть и поговорить с собой — с тем, кем я был раньше, объяснить, что я делаю все возможное, и ждать, пока он будет испепелять меня взглядом. Я собираю спортивную сумку и думаю о Матильде, о том, что меня бесит, когда она хвалит кого-нибудь из класса, о том, с какой отчаянной быстротой мне приедается все новое. Я кидаю шмотки в сумку, а сам думаю, что неизвестно еще, что со мной будет, и буду ли я так же переживать из-за каждой нашей встречи, и долго ли я еще так протяну, терзаемый ревностью, а подчас и отвращением к другим.

Мартен с отцом о чем-то шепчутся на кухне. Отцовский чемодан на столе. Я думаю о школе: наверное, оттуда что-то сообщили, может, из-за нашей проделки отцу пришлось собрать этот чемодан. У меня перехватило горло. Это знак, чтобы я не думал ни о чемодане, ни о задумчивом выражении лица Мартена, ни о непонятных словах отца, чтобы я сбежал от всего этого подальше, выдумал себе другие миры и даже новую любовь. Но у меня перед глазами стоит усталое лицо отца, и я слышу его слова:

— Знаешь, Анри, мне придется уехать ненадолго.

— Куда? — я спрашиваю, а сам уже знаю ответ. — Что с тобой? Что случилось?

— Ерунда, Анри, просто небольшая опухоль в легком, она доброкачественная, правда, ее только надо вырезать и все. Вот увидишь, недели не пройдет, как я вернусь.

Но ведь зубной врач не может заболеть, он же врач, он знает, как надо следить за здоровьем. Зубные врачи не болеют, расскажите мне всё. Я требую абсолютно точных данных. Он говорит, что опухоль размером с монетку в десять сантимов. С монетку в десять сантимов — это успокаивает. Она же маленькая, эта монетка, это ни капельки не опасно, поду-

маешь, монетка в десять сантимов, тут и говорить не о чем. А она точно доброкачественная, пап? Ты уверен, что она доброкачественная? А может, тогда эту монетку не трогать? Зачем столько шуму? Не нужна вся эта шумиха, и не надо эту монетку трогать, не нужно тебя резать, и общего наркоза тоже не надо. Не хочу, чтобы тебя сейчас усыпляли наркозом. Почему сейчас? Почему первую операцию назначили так поздно, почему? Останься, разбери чемодан.

— Надо удалить этот кусочек, Анри, чтобы можно было провести анализы.

— Анализы на что?

— Чтобы убедиться, что там больше ничего нет. Это будет видно через некоторое время после операции.

Меня колотит озноб. Сильный озноб. Отец идет спать. Я остаюсь с Мартеном, мы пьем пиво и курим. Чуть позже я звоню Матильде и спокойно ей все объясняю. Она добрая, она все понимает, обошлось даже без стычек. Мы висим на телефоне допоздна. Наш роман получил передышку.

Уже лежа в постели, я слышу, как отец до рассвета гоняет свои игрушечные паровозики.

Приятный все-таки звук.

17

Мне снятся белые халаты, предсмертные хрипы, мертвецы, смерть уже побеждает, из-за нее я остаюсь в одиночестве, правда пока только во сне.

Отец один идет к машине, в руке у него чемодан, он идет и наслаждается каждым вдохом, ветер доносит запах луга. Отец не торопится. Мы с Мартеном смотрим ему вслед. Как хрупка эта свобода. Операция назначена на следующий день, что тут скажешь.

Брат хочет проводить меня до вокзала, ведь я еду в Париж к Матильде. Я встаю на дыбы: "Еще чего! Мы остаемся здесь, Мартен, и никуда не едем, нельзя нам СЕЙЧАС расставаться". По-другому я просто не мог поступить, как не мог глотать, как не мог свободно дышать.

Мартен пошел бриться. Он зашел к себе в фургончик взять травку, выпивку и шмотки, он сказал, что будет спать дома, пока все не утрясется. Я знал, чего ему это стоило. Он выкурил пару косяков в гостиной, прежде чем смог говорить о Жанне. Рассказывать. Уже в который раз.

— Трусость, Анри, не маленькая ежедневная трусость, а большая, заключается в том, чтобы не уходить сразу, а отдаляться постепенно, чтобы не было заметно, удаляться мягкими, кошачьими шагами, нанести удар в спину, спокойно, молча, улыбнуться и промолчать, сначала изменить ей, пасть так, что ниже некуда, чтобы поменьше страдать, а если этого недостаточно, то и влюбиться, я даже на это способен, могу пойти сам знаешь куда и влюбиться — и все ради того, чтобы бросить женщину и при этом не страдать. Потом эта связь сама постепенно схо-

дит на нет. У Жанны была потребность созидать. Она попалась на этот крючок, она дергается, она не понимает, она тебе пишет, что не понимает, а ты смотришь, как она дергается, как борется, ты уже знаешь, как все закончится. По телефону? В письме? Лично? Ничего подобного, запомни, Анри, никогда не сбрасывай со счетов такое достижение человечества, как трусость. Говорить ничего не надо. Нужно только затаиться и ждать, пока ей станет невмоготу, пока она не ошибется, это как в теннисе: стоишь подальше от сетки и изматываешь противника; тихонечко наслаждаешься интрижкой на стороне и ждешь, пока она в порыве ярости не влепит мяч в сетку, пока не станет вопить, угрожать тебе ножом на кухне, пока не скажет: "Ну, раз так, ребенка я оставляю". Но и тут, Анри, не торопись уходить, ведь можно еще классно провести ночь вдвоем, упиваясь ее слезами; а наутро эта отважная женщина встает: волосы дыбом, трусики наперекосяк, но выглядит она при всем при этом просто зашибись, как боксерша, которая больше не пропустит ни одного удара. Когда она встанет, ты можешь вздохнуть свободно, ты слышишь, как шумит вода в душе, как цокают ее каблучки, теперь тебя умиляет до слез то, как она убирается в квартире перед уходом, будто от этого что-то изменится. Дверь закрывается. Наконец-то. Ты потягиваешься в постели. Она так мало спала, что ты не удивишься, если она помрет на работе, но ты зеваешь, ты такой мерзавец, что не уйдешь сейчас от нее. Ты кайфуешь от одиночества, которое ты добыл такой ценой, ты, негодяй, наслаждаешься им, как изысканным деликатесом, ты наконец-то понимаешь, что значит быть негодяем, ты теперь занимаешь всю кровать, ты теперь не узник на своей половине, куда тебя загнали в ходе небольшой войны, ты устраиваешься поудобнее, занимаешь всю кровать целиком, можно поколбаситься, поспать еще пару часиков, если не спится, то глотнуть таблетку-другую снотворного; в общем, ты осознаешь, кто ты есть, только когда просыпаешься, ну, еще пока принимаешь душ, потом можно изображать из себя мыслителя, можно подумать о своих интересах, ты говоришь себе: "Мы ведь даже поговорить нормально не можем, так дальше нельзя, надо просто молча уйти, раз она сама не уходит, раз она не понимает". Ты теперь становишься искателем приключений без гроша в кармане и собираешь вещи. Ты болтаешься по барам, у тебя радужное настроение, ты ловишь кайф, покупаешь всякую дребедень, но вскоре наступает пресыщение. Ты собираешь вещи и хлопаешь дверью. Ты меняешься, но не говоришь об этом. А она — она по вечерам ведет свои записи в надежде что-то понять, она все кружит и кружит на одном месте, она думает, хуже того, она надеется. А тебе приятно, что она надеется, это тебе льстит. Ясное дело, ты хочешь ее бросить, но не насовсем, ведь кто его знает, как оно дальше сложится. Еще бывает, испытываешь уважение к партнеру, но это не мой случай. "Я тебя больше не люблю" — это ты ни написать, ни сказать ей не осмелишься. Никогда. Всей твоей порядочности на такое не хватит. Вместо этого ты оставляешь ее наедине с худшей из надежд, с неугасимой надеждой, в которой она увязает по горло, как в болоте. "Я тебя больше не люблю" — эти слова просто невозможно сказать человеку, который из кожи вон лезет, чтобы его любили. Но сейчас ты не делаешь ничего дурного, ты не выбиваешь ни у кого почву из-под ног. Ты просто ждешь, пока почва сама уйдет у нее из-под ног, пока она сама разрушит свою любовь к тебе, без посторонней помощи. А она прячет

свою боль от близких под маской высокомерия и выдирает у себя из раны стрелу, как индеец. Гнусный вестерн — вот что такое любовь, Анри, вестерн, где в конце убивают надежду.

Мартен улегся на диван, его здорово трясет. В конце концов он засыпает. А я долго сижу без сна, сначала один, потом с Гортензией. Когда она узнала про отца, она захотела остаться с нами, помочь чем-нибудь, готовить еду, сбежать от своих, хотя бы на один вечер. Проснулся Мартен и недвусмысленно среагировал, увидев над собой лицо Гортензии, внимательное лицо ребенка, не устоявшего перед сволочью, перед запретным плодом. Я смотрел, как разговаривают эти две противоположности: ангел и подонок. Ангелу интересен подонок, а подонок знает, что в конце концов ангел победит. Так мы и сидим в гостиной до вечера. Пьем и курим. Потом я пошел за телефоном. Сначала Мартен сказал отцу пару ободряющих слов перед операцией. Пару простых, банальных слов, чтобы его поддержать. А потом настал мой черед. Придумывать было уже поздно, болезнь уже пришла, она была повсюду и проявлялась во всем; я понимаю, что это значит, что мы теперь каждый раз засыпаем на краю пропасти, что и в крови у нас, и в каждом нашем движении прячется смерть и она нас не оставит. Я сказал отцу, что мы с Мартеном рядом и все время думаем о нем, мы его будем подбадривать, мы ничего не боимся, поэтому он тоже должен быть спокойным и решительным. Как мы.

Ночь разворачивает свои тени на ковре, мы втроем лежим под одним одеялом: Гортензия в середине, так что мне достался ее затылок, ее горячая спина и ее попка, туго обтянутая джинсами, а она осваивает технику поцелуев с Мартеном. Мы вдвоем ее раздеваем, она дрожит всем своим хрупким телом, она шарахается от порока, от грязного желания, чтобы тут же самозабвенно ему поддаться. Я отпускаю ее, уступая Мартену, Гортензия судорожно обнимает его, и мерзкий Мартен получает что хотел. Гортензию можно поздравить с первым разом.

18

Матильда чистит грушу. Я считаю минуты с чисто научным интересом. Она начинает есть, а я, словно телекамера, фиксирую, как кусочки груши выскальзывают у нее из пальцев и сок стекает по подбородку. Вчера она ходила на какую-то вечеринку. Я мимоходом спрашиваю, как все прошло.

— Великолепно, — отвечает она и смотрит на меня наивными глазами. — Только я легла поздно, мы ходили на концерт в Ботанический сад. Очень здорово.

Ты выдерживаешь паузу, ты физически наслаждаешься гнетущей тишиной, надо, чтобы негодование как следует наполнило тебя, подготовило к битве на баррикадах.

— Почему ты молчишь?

— Потому что я счастлив.

— Что-то непохоже.

— Но я счастлив.

— ...

— Я счастлив, потому что впервые влюбился.

— ...

— Не мне тебе рассказывать, что по большому счету только первая любовь и имеет значение.

— Анри, прекрати.

Поезд на полной скорости фиг остановишь, особенно если он под завязку нагружен ядом, весь его груз на виду, мелькает, как в кино, кадр за кадром. Я исподтишка наношу удары ниже пояса. Десять лет любви, Матильда, что можно противопоставить десяти годам любви? К тому же ребенка вы так и не завели.

Матильда во все глаза смотрит на свинтуса, в которого превратился ее принц. До нее доходит, что ты копался в ее письмах, в том, о чем ей больно вспоминать, до нее доходит, что ты, как стервятник, разворошил ее прошлое, что ты узнал о ее выкидыше и о депрессии, что ты все понял из писем Паскаля, где он пытался ее утешить. И совершенно спокойно, почти сожалея о своем решении, она предлагает тебе убираться вон. А ты и рад, ты только этого и ждал: "Отлично, Матильда, я возвращаюсь домой, очень вовремя, там сейчас такая радость, ну, в общем, я поеду в больницу. Как это на тебя похоже — бросать людей в такие моменты". Высказав все это, ты собираешь вещи с видом человека, который скорее умрет, чем останется здесь еще хоть минуту; ты идешь к двери, ясно сознавая, что, открыв эту дверь, сделаешь ей очень больно. Но пока ты еще ничего не сделал, а только-только вышел в коридор, ты слышишь, как из ванной доносится жалобное всхлипывание. У тебя дрогнуло сердце. Матильда сидит на краю ванны, закрыв лицо руками, и безутешно рыдает: "Ты меня с ума сведешь, Анри, я совсем из-за тебя свихнусь, ты этого добиваешься, да? Зачем ты так усложняешь? Почему ты такой злобный? Почему?"

Почему я такой злобный?

И как мне ответить на этот простой вопрос?

Асфальт перед больницей усыпан окурками. Отец сейчас в послеоперационной палате. Надо подождать. Мартен достает маленькую коробочку с колесами, достает себе и протягивает мне: "Возьми, сразу полегчает". Вот так я их впервые и попробовал. А рядом растрепанная пожилая женщина, вся поглощенная своим горем, умоляет медсестру: "Мадам, пожалуйста, пропустите меня, мы с мужем работаем с шестнадцати лет, мы только-только купили себе домик, теперь бы жить да радоваться. Мадам, мне бы только хоть одним глазком взглянуть на мужа, больше я ничего не прошу, пожалуйста, только одним глазком. Я не понимаю, что стряслось, я ничего не понимаю: еще с утра он так бодро насвистывал, он тут собрался подработать, уходил, насвистывая, ведь с ним не может случиться ничего страшного, да? Скажите, мадам, скажите, за что нам такая напасть?"

Поднимаю голову и... Здра́сьте! Посреди всего этого кошмара объявляется мамочка. Вся сияет. В офигенном небесно-голубом костюме, накрасилась как на свидание. Она подплывает к нам с таким видом, будто все эти драмы, разыгрывающиеся в приемном отделении, ее не касаются, и

возвещает, что ехала сейчас через лес Шантильи и что там довольно мило. Моя мать вошла во вкус сладкой жизни, Феллини отдыхает. Прошла целая вечность, появилась медсестра и, к нашему успокоению, сказала, что с отцом все о'кей и что мы можем к нему подняться, но по одному и ненадолго. Перед лифтом толпится народ, я бросаюсь к лестнице и со всех ног мчусь наверх. В палате тишина, повсюду торчат трубки, отец такой хрупкий, такой беззащитный, он еще больше похудел, ему дали специальную грушу, чтобы он мог вводить себе в бронхи обезболивающее, когда станет совсем невмоготу. Я подхожу, мне даже дышать страшно, будто он от этого рассыплется в пыль, я тихонько беру его за руку. Отец не в лучшей форме, он еще не отошел от наркоза, мы смотрим друг на друга, я улыбаюсь, ну, делаю все возможное, чтобы улыбнуться, но на глаза ужасно быстро наворачиваются слезы. Я не говорю ни слова, слезы текут не переставая, а я улыбаюсь, чтобы совсем не раскиснуть. Он спрашивает, приехала ли мать. Я киваю: да.

— Скажи ей, чтоб не поднималась, Анри, я выгляжу сейчас не лучшим образом, лучше ей этого не видеть.

У меня опять защипало в носу.

— Как хочешь, я все сделаю, как ты хочешь, но ты отлично выглядишь, честно тебе говорю, правда, ты отлично выглядишь.

— Знакомьтесь, это Андре.

Андре вытаскивает свою задницу из роскошной машины и делает вид, что, типа, он не такой уж и кретин.

— Андре приглашает нас в "Мезон Бланш" отметить благополучный исход операции, — объявляет мать.

Я оглядываюсь на Мартена, тот стоит совсем пришибленный. Тут до матери доходит, что ее ликование совсем не в кассу. Вдруг она снова говорит: "Анри, познакомься, это Андре".

Я жму руку этому человеку, который вечером будет целовать мою мать, в то время как тут рядом, на больничной койке, кое-кто пытается убедить себя, что жизнь не настолько мерзкая штука, чтобы с ней расставаться. Самое противное, что я сейчас из кожи вон буду лезть, лишь бы только понравиться этому незнакомцу. Каким же я иногда бываю дерьмом, как на меня накатывает, тоже мне, соблазнитель хренов. Потом мать знакомит Андре с Мартеном, который сначала тормознул, а потом подошел к Андре и заключил его в объятия. Сначала матери это показалось забавным, но Мартен не спешил его отпускать, и мать заподозрила неладное. А Мартен как ни в чем не бывало обнимает Андре и с полной серьезностью вещает: "Слава тебе, Андре, слава тебе!" Стопкадр. Ни до кого не дошло, что Мартен сильно под кайфом.

Ужин в "Мезон Бланш" прошел мрачно. Мы уже собрались уходить, как — оп-па — заваливает та девчонка, что играет мага в "Трето де Франс". Она пришла сюда с каким-то челом, который здесь явно не впервой. Я тут же рассказываю все Мартену: "Я сейчас подойду к ней и скажу, кто я". Но Мартен придумал лучше. В итоге вместе с дежурным блюдом (в тот день это была курица под фирменным соусом) Элен получила конвертик с такой запиской: "Сердце мое уже принадлежит тебе, а теперь настал черед ляжки. Мюссе (не один)".

Мы с Мартеном сверху долго любовались лицом Элен. Ее широко распахнутые детские глаза повсюду искали идеального незнакомца.

Но облом, таких в природе нет, и "Мезон Бланш" тут не исключение.

Андре молча ведет машину. Дорога — сплошные потоки красных и белых огней. Мартен на заднем сиденье размышляет о прошлом, о том, зачем он вообще родился на свет.

В свое время, когда они еще встречались с Жанной, он производил впечатление человека, полного сил, довольного своей личной жизнью, уверенного, что он способен править человечеством. А теперь он смотрит на дорогу и удивляется, как это машины могут ехать после всего, что с ним случилось. Вдруг бесконечный поток замирает, будто дорога подслушала мысли Мартена: тут и там зажглись сигналы аварийки, бамперы всмятку, женщины и дети кричат; после бесконечно долгого торможения наша тачка находит убежище на полосе аварийной остановки. Мать похожа на перепуганную отличницу, она твердит, что все живы, да, все живы. Наверное, для нее худшее из зол — это крушение ее маленького мирка. И тут наш молчаливый Андре раскрывает рот: он приказывает всем выйти из машины, перелезть через ограждение трассы и отойти подальше от дороги, потому что не исключена возможность еще одного столкновения. И вот мы вчетвером стоим и смотрим на размозженные головы и на людей в шоке, а Мартена опять понесло на дорогу, мать разоралась, а Мартен только улыбнулся; я все понимаю, я слежу за ним взглядом, я прекрасно знаю, что означает для него эта горящая машина, которая вот-вот взорвется, эта женщина, которая кричит, потому что ее муж потерял сознание и не может выбраться; вот Мартен подходит, он чуть ли не смеется, у него загорелась рубашка, но Мартен тянет за ремень безопасности, пока тот не отстегивается, Мартен вытаскивает мужчину из горящей машины, потому что смерть невозможна, потому что ее и так слишком много, потому что когда-нибудь придется вырываться из ее лап; а Андре схватил одеяло и бросился в эту сумятицу, мать орет еще громче, Андре набрасывает одеяло на тлеющую рубашку Мартена и помогает оттащить мужчину подальше от машины, но тут их бросает на асфальт взрывной волной. Брат с Андре встают, поддерживают мужчину, а мать бросается в объятия Андре. На Мартене лица нет, но он напрягает все силы и тащит человека, Мартен с ободранными плечами остается один, но не сдается, он идет к этой взрослой женщине и с каждым шагом буквально оживает; Мартен гордо поднимает голову, он наслаждается моментом, он осторожно кладет мужчину к ногам его жены и, присев на корточки, ждет, пока тот откроет глаза, но и тут Мартен не уходит, а стоит рядом и смотрит на красное небо, на огонь и на машины "скорой помощи".

Мартен перебрался из своего фургончика в дом. Теперь он бродит тут взад-вперед. Я столкнулся с ним, когда уже шел спать: у него был такой взгляд, будто он готов ринуться в драку; я понял, что его лучше не трогать. Засыпая, я думал об Андре, который мне нравится, и об Андре, которого я терпеть не могу. Пожалуй, я смогу когда-нибудь стать таким, как он, может, однажды я собьюсь с дороги и разведусь, а потом вновь

смогу обрести себя, влюбиться в девушку с безукоризненной прической и смириться с тем, что у нее есть прошлое, я смогу провести вечер с двумя ее детьми и пережить аварию — ничего в этом ужасного нет, меня бы не стошнило от такой перспективы. Вот. Я понял, что больше не хочу быть судьей. Я сворачиваюсь клубочком и продолжаю думать о том, что же со мной будет, если все пойдет так и дальше. Мне холодно.

В кафе на вокзале Мартен смотрит на непрерывный поток людей, спешащих к парижской электричке, чтобы успеть на работу.

— Придется мне туда вернуться, Анри, пора возвращаться в этот город.

Порывшись в кармане, он достает свой знаменитый мобильник, который стал его второй жизнью, с трепетом включает его, прослушивает двадцать последних сообщений, то и дело выкатывая глаза или корча рожи. Он вдавливает окурок в пепельницу, будто размышляя над давно известной ему истиной, и платит за выпивку.

Я провожаю его в вагон первого класса, он кладет свою сумку на длинную полку в купе.

— Ведь все будет хорошо? — говорю я.

Он сдвинул брови, подчеркивая свое "да", а потом добавил:

— Для начала переночую в гостинице, а там видно будет.

Я иду вверх по улице до школы. Подожду, пока у Матильды закончатся уроки, и мы вместе поедем к ней домой, я буду нежным и терпимым — я считаю, что это абсолютный минимум, который мы должны дать любимым.

19

Я стойко держался до тех пор, пока не возникло это имя, вечер был отличный, я из сил выбивался, проявляя чуткость, которой у меня нет, уважение к ее прошлому, к тому, что не дает ей спать по ночам, и даже с пониманием встретил оброненную ею невзначай посреди ужина фразу, что Паскаль сегодня собирает гостей, чтобы отпраздновать присуждение ему докторской степени.

Мы взяли машину.

Я сижу на кухне. Рядом веселится Матильда, Матильда знает всех на свете, и все на свете знают Матильду. Я ищу в шкафчике сахар, чтобы добавить его в водку, мне нужно выпить и успокоиться. Я лезу в холодильник, стоящий на этой засранной кухне. Возраст присутствующих мужчин и род занятий женщин действуют мне на нервы, близкий смех Матильды сводит меня с ума, надо найти что-нибудь выпить, но в холодильнике только бутылка виски; я задерживаю дыхание, будто пью лекарство, я думаю об Америке и одним махом выпиваю половину. Желудок примирился с этим новым теплом, которое поднимается к голове. Я беру стул. Так еще лучше. Кухня не такая уж и отвратительная. Паскаль приперся за шампанским, я смотрю на него без ненависти. Он вертится в поисках фужеров и, даже не глядя на меня, спрашивает, как дела. Я вижу в нем своего соперника. Он за собой следит, хотя у него

слегка отвисший подбородок, но вообще, как люди доживают до такого возраста, непонятно. Он повторяет вопрос, я отвечаю:

– Блестяще, Паскаль, отличная вечеринка, еще раз поздравляю со степенью.

Он прекращает свои телодвижения, выдерживает паузу, я тем временем склоняю лицо к бутылке.

– Я тоже мечтаю когда-нибудь получить докторскую степень, – выговариваю я и потихоньку заваливаюсь на бок.

Он подходит, стреляет у меня сигарету, смотрит, закуривает и уносит бутылку и фужеры. У него такая любовница, просто отпад. Я отпиваю еще виски, я далек от всего этого, я думаю о своих мечтах, надо будет их как-то оформить, хотя бы набросать примерные очертания, но потом я понимаю, что ничего из этого не выйдет и что мечты существуют не для того, чтобы их воплощали, но именно от них все зависит.

Матильда в ванной играет роль медсестры. Она откачивает жалкого мальчишку, который напился первый раз в жизни. Тазик, аспирин, терпение, руку на лоб, усталое лицо, она дает мне спортивные штаны, а я ей рассказываю обо всем на свете, Мартен справится, а Париж ужасен, я хотел бы уменьшить Париж до размеров ее квартиры, этой кровати, свести его к такому доброму взгляду этих глаз, под которым я, наконец, засыпаю.

20

Отец сидит на больничной койке, рядом в полиэтиленовом пакете лежат три чистые рубашки, и поди догадайся, на что он там смотрит в окно. Вряд ли он наблюдает за дорожными работами на автостоянке возле больницы, он высматривает свою жену, которая теперь далеко, которая утром проснулась рядом с другим мужчиной, с мужчиной без лица; отцу кажется, что лучше вообще не выходить из больницы, чем выходить, не имея цели в жизни.

Я набираюсь смелости, чтобы войти. Но тут меня хватает за плечо крепкая рука – у меня за спиной возник ночной копатель, наш сосед, весь заросший, зубы гнилые. Мы столкнулись с ним в коридоре, он поздоровался и теперь решил объяснить нам, что нас ждет в будущем; я затягиваю паузу, он смотрит на нас с Матильдой, но как будто не видит. Наш сосед и впрямь не создан для разговоров. Оказывается, отец позвонил соседу, чтобы тот отвез его домой. Сосед говорит медленно и спокойно, почти так же спокойно, как чуть позже будет говорить отец на своей койке.

Отец покачивает головой, приветствуя Матильду, говорит, что ему действительно не нужна наша машина, и пускается в самый длинный монолог в своей жизни.

Вокруг больные и медсестры, а он распинается:

– Хорошо, я оставлю твою мамочку в покое, и работу тоже. Признаться, я не люблю боль, да и больные зубы мне порядком надоели, шум поездов я люблю гораздо больше. Когда меня выпишут, я сяду в поезд и

поеду в горы. А вот твоя мать никогда особо горы не любила, так что теперь я смогу наконец-то поездить по горам в свое удовольствие и, сидя на месте, увидеть вершины такими, как они есть на самом деле. Заберусь на поезде как можно выше. Буду долго гулять и радоваться, бродя по колено в снегу.

Тут он поворачивается к нашему соседу:

— А вот мой новый друг, он поедет со мной.

Мы с Матильдой сидим в дальнем углу ресторанчика неподалеку от больницы. Пьем вино. До сих пор вспоминаю это время, уединенный столик, ее лицо в тот момент. День клонится к вечеру. Выпивка, сигареты, прошлое тех, кто нам дорог. Мы просто болтаем, я ее не допрашиваю, нет у меня больше этой жажды про все знать и все контролировать, мне просто хорошо вдвоем с девушкой, которую я обожаю, мы как одно целое, мы оба напились, мы провожаем прошлое. У Матильды густые волосы на затылке и блестящие глаза, она не таясь рассказывает мне историю своей жизни: о парне, который любил плыть по течению, о его квартире, о том, как Матильда приходила к нему и каждый раз выносила оттуда огромные мешки мусора, и о том, как этот раздолбай оставлял на столе тарелки с остатками еды, и о ее деде, у которого были огромные виноградники где-то на юго-востоке, он был ужасно вспыльчивым, но сердце у него было доброе, и о том дне, когда его кремировали: восемнадцатилетняя Матильда, стоя на коленях, смешивала его прах с землей на фамильном участке. Ей в колени больно впивались мелкие камушки, а руки были все в грязи. Она рассказывала все это из любви, больше того, тогда, в том безликом ресторанчике, нас связывала еще и дружба.

21

Я благодарен ему за эту его привычку громко говорить, проглатывать окончания фраз в порыве возбуждения. Благодарен за эти его колеса на раковине, этот коробок с дозами на журнальном столике в гостинице, это мятное дыхание, скрывающее перегар, я благодарен ему даже за плохое настроение, за его восторг, если удавалось купить рубашку известной марки, за то, что он в конце концов собирается позвонить Жанне. У Мартена совсем сорвало крышу: он все просекает, будто играет в покер, но при этом он совсем без башни, будто под кайфом.

— Анри, я хочу тебе сказать, Анри, что ты мне нужен, все просто, сиди на месте, я объясню. Ты что, правда считаешь, что я вот так возьму и отпущу Жанну теперь, когда я вернулся в Париж? Ни фига, пусть другие склоняют голову перед неудачами, а я буду бороться до конца, обязательно. Как поступить? Пригласить ее на обед? Пропустить с ней стаканчик? Дудки! Вечеринка, Анри, понимаешь, мы закатим вечеринку в классном месте и не будем предупреждать ее заранее, это будет грандиозная вечеринка, мы пригласим туда ее родных и всех, кого она любит; не просто вечеринка, а предложение руки и сердца — все это примирение мы красиво обставим: ну там ее детские фотки на стенах, понаставим всюду стенды и развесим на них фотки, как мы с ней провели несколько дней в Шанхае, когда только начинали встречаться, нава-

лим подарков, Анри, навалим горы подарков: от сапог до колье. — Мартен возвращается, я так и вижу эту вечеринку, пронумерованные карточки, "Тсс, Жанна в кабаре..." Видишь это многоточие? Это девиз, заголовок всей вечеринки. Скромненько, но цепляет. А вот с остальным ты должен мне помочь, я один не смогу всех обзвонить, каждый из них готов мне морду набить из-за какой-нибудь мелочи: забыл я о чем-то или еще что-нибудь — у каждого свое. Эй, Анри, я с тобой разговариваю, прекрати пялиться на столик, это не колеса, а снотворное, просто снотворное, я здорово подсел на эти лекарства, даже если до смерти устану, не могу заснуть, постоянно какие-то мысли о прошлом, эта чудовищная тоска, никак не могу успокоиться, Анри. Вообще никак. Если встречу на улице девчонку в платье, которое могла бы надеть Жанна, три ночи уснуть не могу. Когда лежишь без сна до утренних новостей, то худшие воспоминания становятся лучшими и наоборот. Когда все начиналось, я чай боялся расплескать — так у меня руки дрожали, я слал ей книги, чтобы она хоть немного меня полюбила, и под конец тоже, эти длинные паузы в разговорах по телефону. Про музыку я вообще молчу. Анри, ты и представить себе не можешь, каким опасным может быть диск с музыкой. Я ее люблю, Анри, я ее люблю, потому что боюсь случайно столкнуться с ней на улице.

Я закуриваю. А что мне еще остается? Брат слишком далеко зашел, его уже не остановишь. У кого хватит духу ему сказать, что у Жанны теперь другая жизнь, другая, более сильная любовь, а иначе зачем жить; у кого хватит духу вернуть Мартена на землю, сообщить, что его ребенок живет с другими людьми и считается их ребенком и что только чудом, если повезет с адвокатом, он сможет добиться права видеться с дочкой по выходным несколько раз в год.

Он включает MTV. У него в руках билет в кино, который он нашел, когда переезжал от нее, руки у него вспотели — он держит материальное воплощение надежды, наконец что-то осязаемое.

22

Ревность обостряет интуицию. Может, когда-нибудь ученые займутся этим вопросом, надо будет им завещать мой мозг, вот уж они развлекутся. Я еду с Матильдой в машине, мы застряли в пробке на набережной Сены, мы возвращаемся из школы, Матильда устала, ей не до разговоров, она слушает радио "Франс-культюр" и мечтает о теплой ванне. Я смотрю на Париж, на другой берег Сены и, чтобы ее хоть немного отвлечь — правда, у меня и в мыслях ничего другого не было, — я прохаживаюсь насчет чехлов в ее машине.

— Это все мама, — отвечает она.

— Как-то не в твоем духе позволять маме совершать такие ошибки.

— У нее выбора не было.

Охотник почуял запах крови. Надо было на этом остановиться, просто заткнуться. Но ты продолжаешь выспрашивать. Она закуривает, чтобы тебе ответить.

— Однажды пассажир, сидевший на твоем месте, хотел выбросить окурок за окно, но окурок упал в машину, а заметили это поздно, ну, в результате — здоровенная дыра.

— Почему ты сказала "пассажир"?

— Потому что, если я скажу, кто это был, тебе это не понравится.

— Да ладно.

— Давай не будем спорить.

— Так кто это был?

— ...

Паскаль. Я сижу на том самом месте, которое Паскаль пометил дырой от окурка, я целую то же, что и Паскаль, мне всего шестнадцать, а мне уже достаются одни объедки.

— Что случилось, Анри, почему ты молчишь? Анри, ну скажи мне хоть что-нибудь.

Ну я и говорю что-нибудь, меня самого тошнит от этой невиданной подлости, от этих колкостей, которые тащат за собой другие колкости, а еще от тех, что сами собой лезут в голову, их не остановишь, если ты уже разошелся. Матильда тормозит у тротуара и открывает мою дверцу:

— Или извинись, или выходи.

Я долго иду до вокзала Сан-Лазар, на оставшиеся деньги я беру пиво, мобильник я не выключаю — вдруг она позвонит. Последняя электричка до Вернона уходит в 23:57. У меня не осталось денег на такси, я пытаюсь ловить попутки, но ничего не выходит. Я дохожу до школы, сажусь на скамейку возле парковки. В шесть утра открывается кафе, я несколько раз принимаюсь за письмо, но ничего не выходит, я и сам не выспался, и чувства мои спят.

Я встаю, прошу у официанта сигарету и опять сажусь. Я оттягиваю приятный момент, постукивая концом сигареты по столу, а потом, когда вопросы отходят на задний план, я закуриваю, и на душе становится тепло, будто встретил старого друга.

Тем, кто питается в школьной столовке, знаком этот вкус тюряги, этот затхлый запах большого количества еды — тонны макарон, горы тертой морковки. Взять поднос, пропустить вперед миллионную толпу, вывалившуюся с урока физры, — а что делать, демократия есть демократия. Ты ешь в полдвенадцатого, потому что урок французского отменили, потому что Матильда Арто отсутствует вплоть до нового распоряжения. Ты видел ее имя на доске объявлений — прекрасная и недоступная Матильда. Ты равнодушно проходишь мимо салатов, хватаешь второе, чтобы не выглядеть белой вороной, и забиваешься в самый дальний угол, один, потому что Патрик поклялся, что ноги его больше не будет в этом гиблом месте. Ты едва ковыряешь свою курицу и думаешь, как дотянуть до конца обеда, и вообще, как пережить оставшиеся четверти, но ни с того ни с сего объявляется Патрик, смотрит орлом, металлические набойки громко стучат по полу, он вытаскивает из рюкзака здоровенный пузырь шампанского. Свободный человек, он так прекрасен перед лицом запрета, плебеи пялятся на него во все глаза. Король откупоривает свою бутылку.

— Нашу учительницу литературы и любви обвинили в большом преступлении, я подумал, что немного выпивки тебе не повредит.

Он выплескивает воду из моего стакана на оконное стекло и щедрой рукой наливает мне шампанского, чокается со мной и пьет из горла. На горизонте показались дежурные учителя, поэтому он быстренько подливает мне еще и еще, требует, чтобы я не прекращал пить, так что мы пьем практически у них перед носом, пока они не отняли у нас бутылку. Совет по дисциплине стал пустой формальностью, на его заседание гораздо приятнее идти пошатываясь. И все-таки у меня дрожат губы. Патрик мне подмигивает, чтобы я не дрейфил.

Патрик умер, когда ему было двадцать шесть.

23

Жанна не понимает, к чему эта встреча возле "Комеди Франсез". Ей всегда хочется войти в театр вслед за людьми, которые толкутся снаружи. Мой замысел провалился, теперь я слушаю, что говорит Жанна. Она твердит, что пытается забыть Мартена, что хочет посвятить отпущенное ей время человеку, который не разрушает все вокруг.

Она разрумянилась от холода, глаза блестят. Нас потеснила какая-то дама в мехах, потом отдалила друг от друга толпа, а я все думаю о брате, я бегу к метро, я хватаю ее за тонкое запястье.

— Дай ему последний шанс, Жанна, ему это необходимо, давай встретимся в пятницу вечером, и я от тебя отстану.

Она смотрит на меня. Руками в перчатках она обхватывают мое лицо. И целует меня в губы. Быстрый сухой поцелуй.

— Просто не верится, до чего вы с ним похожи.

Мартен облокотился на стойку в ночном клубе и наблюдает за барменом. У бармена все просто: он любит хорошие коктейли и мастерски их смешивает. Брат нервничает перед тем, как выпить первый стакан. А потом все входит в свою колею, Мартен начинает прохаживаться насчет людей вообще:

— Они, как трусливые матросы, перескакивают с одного корабля на другой, лишь бы не попасть в переделку. Жанна была моей седьмой женщиной, понимаешь, Анри, до нее было еще шесть серьезных романов, с тремя из этих женщин мы даже жили вместе, ты понимаешь? — Он залпом допивает виски. — Это видно по сахарницам, Анри. Они никогда не оставляют сахар в картонной коробке, они всегда найдут какую-нибудь баночку, вазочку, все равно что, главное, чтоб было красиво. А когда ты их бросаешь, они начинают плакать. Они просто маленькие девочки, Анри. Маленькие девочки, которые достойны лучшего.

Мартен заметил владельца дискотеки, чела с загорелым лицом — ему кажется, так он выглядит бодрее, — у него перед глазами прошли миллиарды ночей. Мартен показывает ему друзей Жанны. Их трое, и они, не сдав пальто в гардероб, уселись в дальнем конце зала, говорят шепотом. Я стою рядом с диджеем и выбираю музыку к приходу Жанны. Это тонкий момент. Если у песни хорошее название — она грустная, а если название веселое, то песня так себе.

В условленное время я выхожу из клуба, чтобы подстеречь Жанну в ночи. У меня болит живот. Я уговариваю себя, что это хорошая примета: "Анри, ведь это хорошо, что у тебя болит живот: чем больше у тебя болит живот, тем ты больше страдаешь, а чем больше ты страдаешь, тем больше шансов, что Жанна придет". Ее трое друзей выходят, даже не взглянув на меня. Остальные посетители тоже потихоньку расходятся, пьяные приятели Мартена, которые толклись возле бара, пошли, шатаясь, по улице — кажется, что они знают про все вечеринки наперед. Я возвращаюсь в клуб. Лепной потолок по-прежнему украшен кучей воздушных шариков. Мартен один разлегся на скамье. Владелец его тормошит, хочет получить свои бабки. Музыки почти не слышно, диски уже разложены по коробочкам. Мартен достает чековую книжку. А чел говорит, что ему лучше налом. Мартен идет к банкомату. Я хочу пойти с ним, но этот урод говорит: "А вы лучше останьтесь тут". Когда мы вышли на улицу, я взял брата под руку.

— Только давай пойдем потихоньку, дойдем до машины совсем медленно, ведь никогда не знаешь, а вдруг...

24

Надо надеть рубашку. Отец настаивает: "Мы идем все трое, так что надо им показать, мы должны быть на высоте". Когда стал виден огромный домина, отец заметил, что не завидует этим людям, тут на одном отоплении в трубу вылетишь. Мы бурно соглашаемся, надо ведь его поддержать. Мать устроила прием по случаю своего дня рождения. Будет большой обед. Семья — это важно. Она в совсем коротком платье снует между гостями, молча взирающими на эту радость жизни. Время от времени она нагибается, чтобы поговорить с отцом, вид у нее при этом как у маленькой девочки, разговаривающей с глубоким стариком. Андре чувствует себя явно не в своей тарелке и наблюдает за происходящим из дальнего угла. Они с отцом обменялись рукопожатием, будто политики в разгар холодной войны. Отец отказывается от вина. Отказ для него — это последний рубеж обороны. На каждое новое блюдо он отпускает сквозь зубы критическое замечание, так ему легче сохранить лицо.

Подарки вручают во время десерта. Гости дарят кто украшения, кто шаль, кто флакончик духов. Отец выкладывает свой сверток на стол. Мать его разворачивает и обнаруживает пару наручников. Она смотрит на нас троих и выдавливает из себя улыбку.

— Давай их примерим, — предлагает отец. Глаза у него блестят.

Андре застыл на месте. Вечер перестал быть томным. Отец надевает один браслет себе на запястье, а второй — матери. В тишине слышатся одинокие аплодисменты Мартена. Мать перепугалась и вскочила:

— Освободи меня сейчас же.

Как она похожа на птичку, случайно впорхнувшую в гостиную.

— Мне больно, дай сюда ключ, ты что, сам не понимаешь, что выглядишь смешно?

Андре не вмешивается и не проявляет признаков беспокойства. Он смотрит на отца. Мы присутствуем при появлении новой формы мужского братства.

— Я хочу только пройтись с тобой немножко по саду, а потом отпущу тебя.

— Совсем не обязательно было для этого меня приковывать. Мне стыдно за тебя.

— Знаю.

Андре открывает застекленную дверь гостиной:

— Идите, проветритесь немного.

Вместе со свободой к матери вернулась решительность, она в ярости шипит, что видеть больше отца не хочет. Андре опускает голову, отец улыбается.

Дальше уже я не видел, как отец с трудом поднялся, не слышал испуганного голоса Мартена, не видел глаз Андре, когда он прощался с поверженным соперником. Мир сократился до размеров моего сжавшегося в комок сердца; у меня участилось дыхание, когда я подумал о Матильде и почему-то о безднах, которые меня в конце концов поглотят. Однажды утром, уже позднее, мне вспомнился непроизвольный жест отца, когда он шел к машине: привычка прикусывать изнутри щеки, чтобы вытеснить одну боль другой, простой и понятной. Я с детства так поступаю в трудную минуту — прикусываю щеки так сильно, что зубы смыкаются. По утрам я часто просыпался с ранами во рту. Раны быстро заживали.

25

В закутке на студии гримерша подкрашивает Мартена, расточая ему комплименты. Но что-то его настораживает. Духи. Духи гримерши такие же, как у Жанны, ими вдруг повеяло от другой женщины. Обычно их наносят на шею, а Жанна сбрызгивала ими ямочки над ключицами. За все приходит расплата. Слепой случай подчас играет с нами злую шутку. Гримершу очень удивило, что Мартен так расстроился из-за духов "Кристиан Диор". Она-то выбрала эту профессию, чтобы быть на "ты" с теми, кто мелькает на экране, да и работа спокойная, не то что у других. Люди с экрана просто не могут впасть в истерику из-за каких-то там духов. Но духи Жанны погубили грим, который она так старательно накладывала на Мартена. Тональный крем с эффектом загара потек от слез, значит, за несколько минут до эфира ей придется все подновить, а это чертовски сложно. Появилась выпускающий редактор, вся на нервах. Говорит:

— В чем дело, Мартен?

А он ей заявляет, что ему вспомнилась история с ковролином. Редактор багровеет и вопит:

— Ты с ума сошел? Какой ковролин? Всё, никаких воспоминаний перед эфиром! Хватит, в прошлом году мы так уже запороли часовую передачу. Сейчас мы просто настраиваемся на хороший лад, а воспоминания потом.

— Представь себе, вначале, когда мы только переехали, весь паркет был заляпан клеем, на нем еще оставались полоски старого ковролина. Жанна в своих велосипедках и в очках ползала по полу и, обдирая ногти, соскребала эти капельки клея одну за другой, стараясь ничего не

пропустить. Она всё терла и терла, будто надеялась, что от этого наш с ней роман станет просто сказочным. И эти ее очки. Она их носила по вечерам, когда очень уставала на работе и ей надо было дать отдых правому глазу, чтобы читать допоздна. Меня это всегда умиляло.

Он сбрызгивает себе лицо водой и ободряюще улыбается гримерше — теперь она может продолжить свою работу. Через десять минут грим был безупречен, но на лице брата было написано, что он вряд ли придет сюда еще когда-нибудь.

26

Почти всю дорогу я смотрю в окно, прижавшись лбом к стеклу, а Мартен грызет ногти. Электричка прибывает на вокзал. Я говорю ему, что хватит хандрить, пора уже что-то делать, а он — что мне лучше заткнуться и последовать его примеру, хотя я еще слишком молод, чтобы платить по таким счетам. Мы идем пешком к опустевшему дому. Гостиная в таком идеальном порядке, что кажется, будто тут никто не живет. Мартен открывает ставни. В комнату хлынул теплый свежий воздух. Сосед уехал. Рядом в саду кричат дети. Мартен пошел в магазин, а я пользуюсь случаем, чтобы наговорить сообщение на автоответчик Матильде, теперь мне остался только ее автоответчик, я уже знаю, сколько секунд длится каждая пауза в ее приветственной фразе.

Поднимаюсь в спальню к отцу.

Сижу на его кровати с подушкой на животе и смотрю на его игрушечную железную дорогу. Рассматриваю каждый паровозик, каждую стрелку на маленьких рельсах. Так я сижу довольно долго. Потом слышу голоса из кухни и спускаюсь.

Мартен готовит салат и болтает с Гортензией, которая пристроилась в углу. Она насторожилась и похожа на кошку, охраняющую свою добычу. А еще в этой красавице есть что-то от холостяка, соскучившегося по женской ласке, — просто кожей чувствуешь, как она хочет Мартена. Я притворяюсь, что ничуть не удивлен, застав их вместе, я спокойно достаю себе из холодильника пиво и иду в гостиную. У меня еще осталась таблетка успокоительного, которую я стянул у Мартена, я запиваю ее пивом. Гортензия прошла мимо буквально в двух шагах, но не заметила меня, ее сейчас занимает только начинающийся роман с Мартеном. Она выходит в сад и вдыхает любовь полной грудью. У нее такое выражение лица, что у меня язык не поворачивается ее упрекнуть.

Я жду, когда появится Мартен, и перехватываю его:

— Как ты думаешь, отец вернется?

— Врачи говорят, что скорее всего нет.

Я допиваю пиво и смотрю, как Мартен вслед за Гортензией исчезает в саду. И тут события понеслись как по рельсам. Телефон. Мартен с Гортензией болтают на газоне, им не слышно, так что я отвечаю по его мобильнику и слышу невыразительный голос практиканта из больницы: он спокойно, с нотками соболезнования в голосе спрашивает, можно ли моего старшего брата, ты отвечаешь, что ты и есть старший

брат, да и какая разница, ты смотришь на Мартена и Гортензию через застекленную дверь, а врач коротко излагает тебе суть своей профессии: до последнего бороться за жизнь и никогда не продлевать страдания сверх необходимости.

Ты тут же догадываешься, что для тебя предназначена только вторая часть фразы. Мартен стоит рядом с нашими детскими качелями. Он гладит Гортензию по щеке. А этот чел ждет, что ты ему ответишь. Но ты молчишь, и он уточняет, что сегодня вечером твоему отцу будут постепенно вводить в вену кортизон. На улице обалденная погода.

— Если хотите, можете приехать посидеть с ним ночь.

Ты благодаришь его и кладешь трубку, потом подходишь к отцовскому бару и делаешь четыре больших глотка водки без сахара. В отдалении Гортензия обнимает Мартена. Ты решаешь ничего им сейчас не говорить. Начало — это всегда важно. Ты на них смотришь. Мартен запускает руку в волосы Гортензии. Отец скоро умрет, а Мартен запускает руку в волосы Гортензии.

27

Брат наливает выпивку в пластиковую бутылку, чтобы не раскиснуть в больнице. Гортензия сидит на переднем сиденье и терзает радио, ловит какую-нибудь волну без музыки, где бы обсуждали спорт, политику, культуру, израильско-палестинский конфликт, ей важно почувствовать, что жизнь продолжается, несмотря на трудности. В больнице на первом этаже нас уже ждет мать. Сидит с любовным романом в руках. Надо видеть, как она встает, ее легкую походку, тьфу, даже говорить об этом не хочется. Лифт привозит нас на пятый этаж, а коридор пятого этажа приводит к тому самому практиканту, который звонил нам по телефону. Он улыбается. Оказывается, улыбка не всегда оскорбительна. Он провожает наш маленький отряд до конца пустого коридора, который так не вяжется с жизнью за стенами больницы, с вином, с теплыми ногами Матильды по утрам. Практикант открывает дверь. Мать заходит последней, она кладет руки на спинку стула и старается не подходить, будто боится заразиться.

Я снимаю пальто, свитер, разматываю оба шарфа. Мартен стоит столбом. Я придвигаю кресло ближе к постели отца, накрываю рукой его ладонь и чуть сжимаю. Тишину нарушает только звук дыхания, мы ждем уже без всякой надежды; после долгой паузы мы выслушиваем монолог практиканта о том, что будет после остановки сердца. Я подскакиваю — нет, хватит с меня этого кошмара, — я хватаю практиканта под руку, увожу его в ванную комнату и шепчу:

— Месье, это невозможно, ведь это мой отец, надо еще подождать, надо найти другой выход, пожалуйста.

— Больше ничего нельзя сделать, — бормочет практикант.

Мартен стоит у него за спиной. Я смотрю на брата и говорю ему:

— Нельзя вот так сдаваться, я хочу знать, пусть он расскажет мне все, и я ему тоже все расскажу.

Мартен успокаивает меня, но не слушает. Никто меня не слушает, а я знаю правду. Вокруг меня одни сумасшедшие реалисты. Я иду обратно к отцу. Мартен за мной. Может, он ждал этого. Комнату наполняет хрипение, оно достигает даже угла, где стоит мать, практикант делает свою работу, он останавливает подачу кислорода и придерживает пальцами веки, чтобы глаза оставались закрытыми.

Мы ждем в палате, пока тело опорожнится, его обмоют и приведут в надлежащий вид. Через час я оставляю поцелуй на окоченевшем лбу отца.

Теперь все по-другому. На улице нас сопровождает Андре. На прощанье он долго меня обнимает. Мы с Мартеном и Гортензией отправляемся в бар. Мы молча курим, мы совсем вымотались и душевно и физически.

На краю стойки какой-то пьяный вещает, что в этой забегаловке нет ни милосердия, ни христианского духа, да и вообще нигде их нет. Вышибала тут же выставляет его за дверь. Я смотрю, как пьяница колотит по крышам машин. Хозяин заведения звонит в полицию и заявляет об акте вандализма. А я бы сказал, что это скорее акт бессилия.

28

Вот уже четыре дня, как я не могу плакать, слезы не идут. Я держусь, потому что мне надо заботиться о брате, полезная это штука — заботиться о брате. Есть ощущение, что ты живешь и можешь на что-то сгодиться. Очень важно, чтобы у тебя были ощущения. Наша машина стоит первой в гараже около церкви. Я быстро иду вслед за Мартеном, в руках у меня музыкальный центр. Я чувствую запах его туалетной воды. Мне нравится, как он одевается в особых случаях. А меня до самого порога церкви не отпускает нервный озноб. Мы здороваемся со священником. На нем толстый теплый свитер. Даже священники могут подхватить простуду.

Человек, который верит в Бога, разрешает нам установить музыкальный центр "Sony". Я занимаюсь этим в одиночку. Мартен стоит столбом посреди церкви. Я подключаю центр: разбираюсь с проводами, ищу розетки — я здесь, чтобы возиться с техникой, да мне больше ничего и не нужно. Мартен хочет, чтобы гроб вносили под "Ave Maria". Он хочет, чтобы я проверил диск заранее, до того, как все соберутся. Я вставляю диск и устанавливаю громкость на 24. Мартен хочет еще громче. Я подчиняюсь. Попроси он меня перенести всю церковь на несколько километров, я бы по крайней мере попытался. Я опираюсь на подставку с томом Писания. Звуки "Ave Maria" наполняют здание. Я смотрю на брата, он кажется таким маленьким в этой церкви, прямо как ребенок, — он ловит эхо, чтобы хоть чем-нибудь заняться, и повторяет, убеждая сам себя: "Так хорошо, звук что надо".

Машины подъезжают, двери хлопают, собравшиеся все в черном, они здороваются почти не разжимая губ и скованно обнимаются. Народ сгрудился перед церковью. Все в ожидании роскошного "рено-эспас" с

гробом. Гортензия глаз не сводит с Мартена. Четыре человека в черных костюмах поднимают гроб и несут его до алтаря. Они прекрасно выполняют свою работу. Мы идем за ними. Тело моего отца окружено свечами. Под конец я иду к микрофону, чтобы прочитать речь, это Мартен меня попросил. Листок дрожит у меня в руках, и я прикусываю щеки изнутри. Я думаю об отце. Народ ждет. Я думаю о Мартене, представляю себе его лицо, это помогает мне продержаться еще немного. Я выговариваю первую фразу. Не такая уж она и трудная.

29

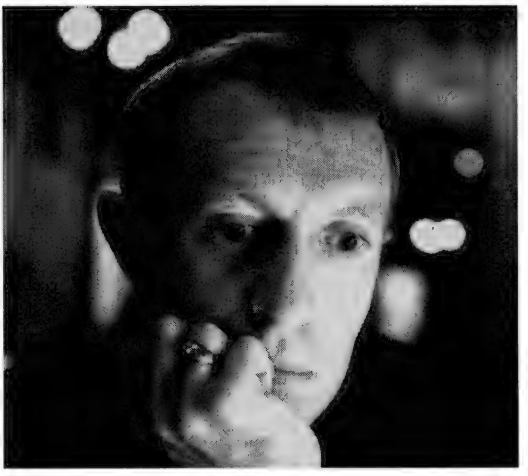
Последний раз в Париж. Не утренней электричкой, где ездят все работяги, а экспрессом, без заморочек. Быстро и просто. Я не поехал на метро. Пошел до дома Матильды пешком — такое паломничество во имя любви, мучительный акт покаяния. По пути булочная, выхожу оттуда с пакетиком круассанов, весь бледный, надышался этим хлебным запахом на всю жизнь. Завидев прохожего, я задаюсь вопросом, не умер ли его отец.

Стою и смотрю на ее дом. Матильда открывает окно. Она потягивается. Я готов подняться с пакетиком круассанов в знак примирения. Но улыбка Матильды адресована не мне. Эта улыбка меня больше не касается. Чья-то тень проскальзывает из кухни в гостиную. Наверное, он несет ей свежевыжатый апельсиновый сок. Утренний апельсиновый сок. Я кладу круассаны у стены ее дома. Хоть бы мне опять что-нибудь запретили. Уходя, я прощаюсь чуть не с каждым закоулком этого района, с улицами, еще недавно такими широкими. Знакомыми улицами, которые сегодня сузились от горя.

"Горе нужно, чтобы сужать улицы".

Я записываю эти слова, сидя в кафе. Я записываю эти слова, потому что больше я ничего не умею.

Венсан Равалек



Апельсин на автостоянке

Поэма

Перевод Михаила Яснова

То, что было вначале,
было внутри, позади и вокруг
Северного вокзала, в Париже.

Первый взгляд — на звезду:
шесть лучей, затянутых красно-коричневой тканью.

Грохот машин
да пьянчужка, которого рвет
за углом кафешки "Друзья-бельгийцы".

Тусклый свет,
свет как свет,
разве что статуи, окружающие зал ожидания, словно
античный храм,
внезапно плотнея,
наливаются плотью старинных фигурок,
изготовленных в дальних странах и в давние времена,
где-нибудь там, в Месопотамии или Халдее,
или, скорее, в каком-нибудь древнем, исчезнувшем
царстве на берегах Амазонки.

© Éditions Au diable vauvert, 2004
© Михаил Яснов. Перевод, 2006
Графика Оливье Фонвьейя.

Допущение в изложении
означает что нужно принять во внимание
возможность гипотезы неуклонного прорастания
сквозь пространство и время
расщепленного мгновения
в котором отслеживается появление
сегодняшней реальности то есть той оболочки
чья функция сводится только к тому чтобы ввести
в заблуждение
вероятность воссоединения
всего что первоначально и по существу
является всеобъемлющим
единым
и неделимым.

Дождь моросит, тележка скрипит — колесо застряло,
и скрип металла подобен скрипу невидимых скрипок,
словно настраивается оркестр, чтобы под сводами
мавзолея грянуть в честь знаменитой персоны,
достойной всяческого уважения.

Для дальнейшего составления картографии этой
местности нам потребуются три географических
точки.

Речь идет о газетном киоске, о выходе из метро
и о лотке для продажи устриц.

Найдем между ними центр, а затем свяжем его прямой
с проходом, запруженным народом.

И вот по насечкам на сером асфальте мы сможем
определить, где же откроется брешь туда...

Куда мы не будем спешить.

Поток людей нарастает,
он хлещет сквозь зал ожидания,
и водители не заводят такси, а просто передвигают их,
толкая на пару метров вперед, и тем экономят бензин.
И Вселенная слегка покачивается, переворачиваясь с боку
на бок, и все круглые предметы, до сих пор остававшиеся
неподвижными, принимаются медленно и незаметно
катиться к центру Земли.

И тогда клошар — но не тот пьянчужка, которого только что рвало у кафешки, а некто другой — начинает читать стихи, повернувшись лицом к мощенному плиткой проходу:

если бы мы добились
благословенья небес
мы сотворили бы новый мир
в бесцветной стеклянной пробирке
содержащей в зародыше
осколки солнца
крупицы зла
будет так жарко
что люди скажут плавясь как воск
вот бы знать...

А люди меж тем головой качают, и хмурят брови, и сетуют на бедность словаря стихотворца.

Тогда клошар выпрямляется, и с губ его срываются строки — облако черных бабочек, кружевная ткань. Кое-кто уже был готов сказать ему все, как есть, но критиков было немного.

А он бормотал заклинанья, вроде тех, что когда-то в древности произносили, призывая на землю дождь. А когда заклинанья иссякли, снова хлынули строки стихов.

Теперь поэт повернулся лицом навстречу гудящей волне пассажиров, не замечавших того, кто пытался овладеть их вниманием, он же, глядя на них, улыбался, как улыбаются воспоминаниям, этим легким призракам, этим всего лишь кружевам времени, которые тем не менее так лелеешь и холишь.

Он говорил обо всем
древнем и о родном:

в саду гильотин и плах
была и своя услада
радоваться впотьмах
всему чему сердце радо
не веря ни в тлен ни в прах
смеясь как Алиса
надо
всем чтоб осилить страх

Сделав паузу, человек вытирает рот рукавом. На нем старая, потертая куртка. А потом начинает снова, перемежая стихи заклинаниями.

В нашей памяти в глубине
адских печей на дне
в копоти и нагаре
неведомые частицы
словно фосфор сверкали

не плоть
не кровь
не остатки невинной жертвы

это были осколки звезды
они прожигали насквозь
наши страхи и нас избавляли от сумрачных грез
заливая сердца нам потоком цветов
и слез

Тут несколько стариков, которые толклись там каждый
день после полудня, тихо зааплодировали, но
остальные пассажиры, накатывающие волна за волной,
так и не замечали поэта, пришедшего к ним
с сокровенным.

И тогда один из этих старцев, которого вдохновило
чтение клошара, тоже припомнил пару
полузабытых строчек.

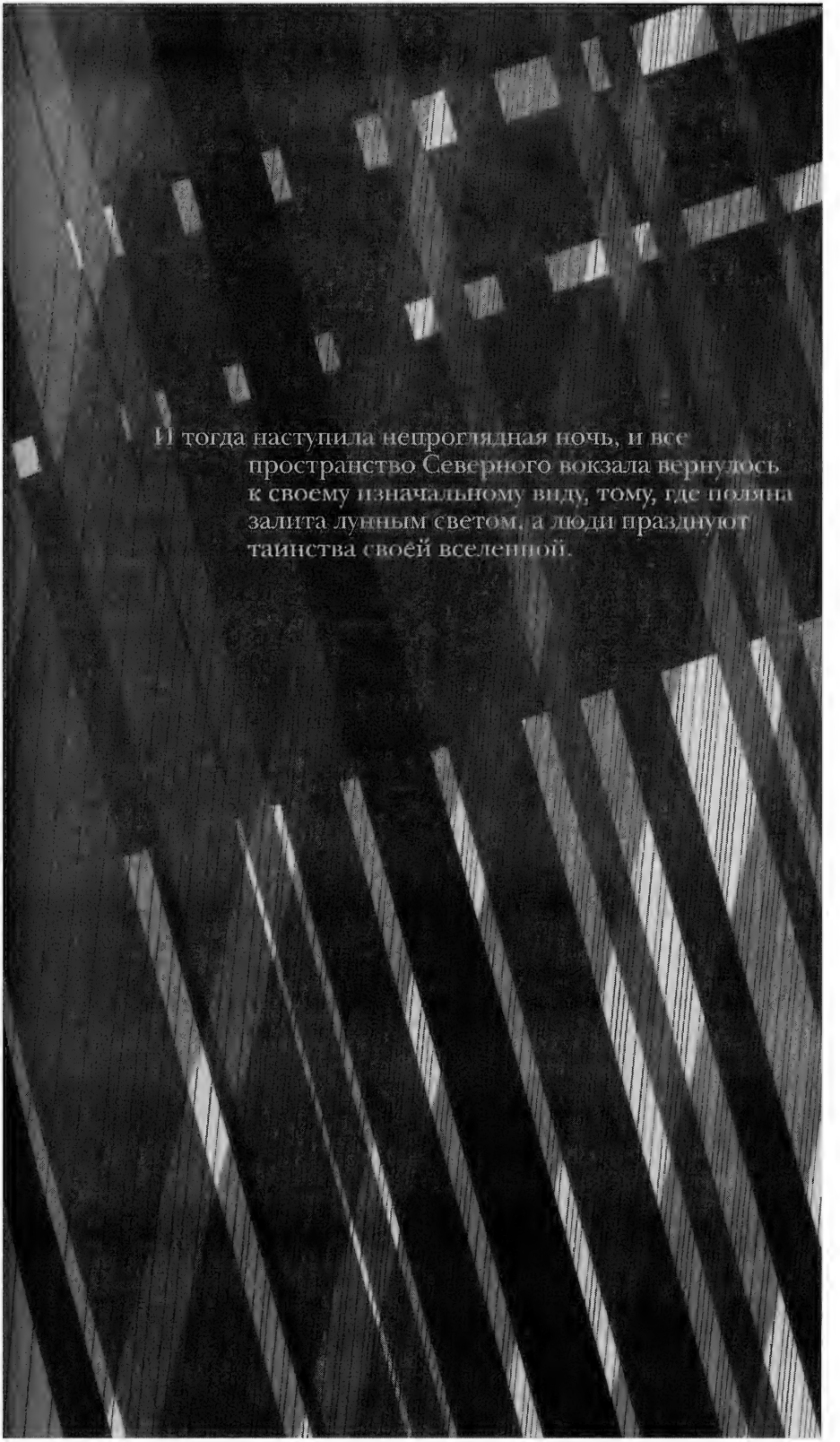
И вот он уже произносит их полушепотом — кажется, с
глазами, полными слез:

золотое кольцо
золотая зола
ночью город уснувший
волна залила
все судьба поглотила
мечты и дела
Богу не было дела
была не была

А потом он повторил концовку по-иному:

все судьба поглотила
мечты и гробы
Богу не было дела
до этой судьбы

Другие старики качали головами и застывали,
неподвижно глядя в такие далекие времена,
из которых они одни вынесли никому не ведомые
осколки прошлого.



Венсан Равалек. Апельсин на автостоянке

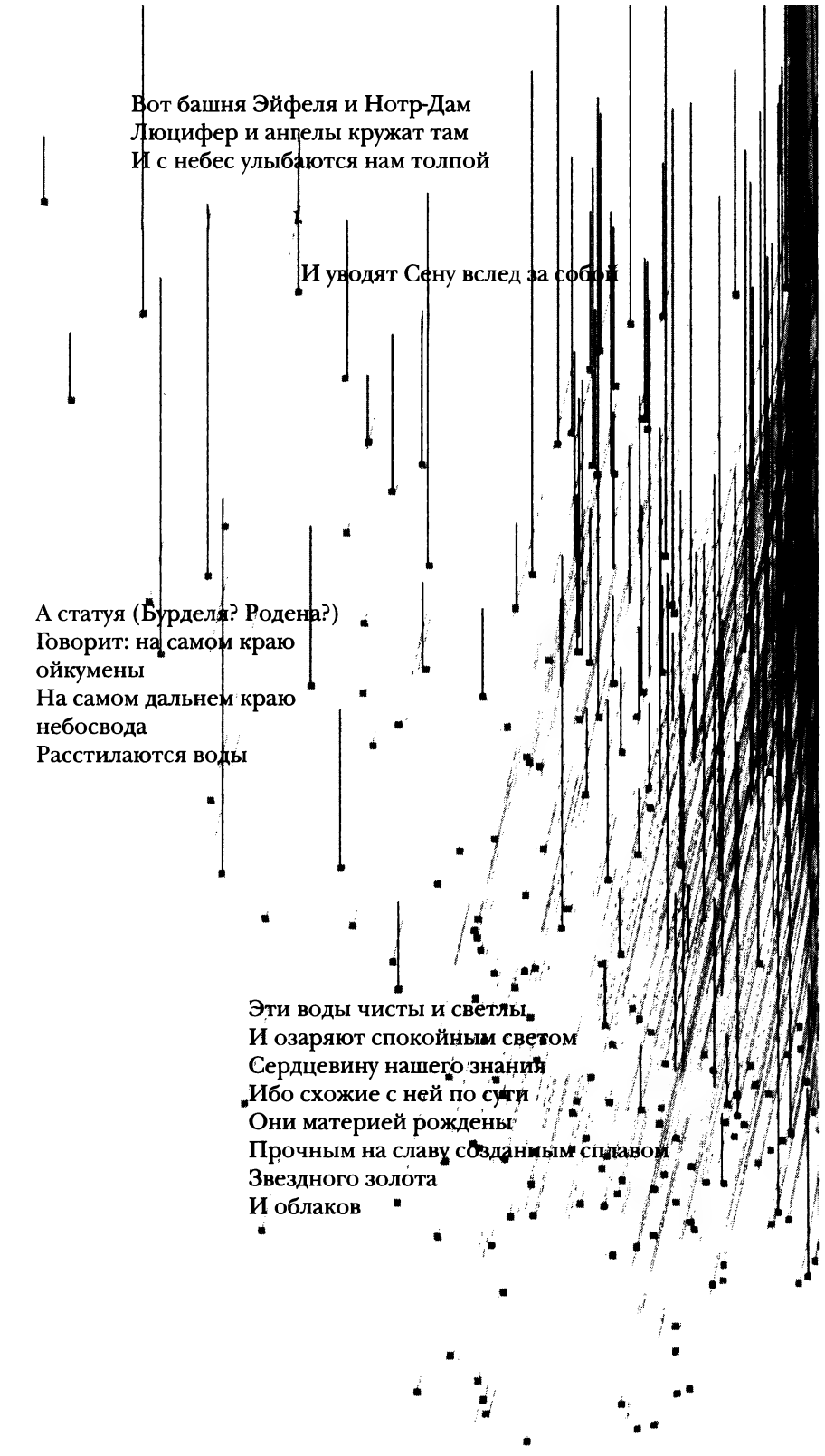
В это время в Лиме, на главной площади, ошарашенный конквистадор смотрит, застыв, на строительные леса, которые рабочие возвели для ремонта собора.

А в другом углу, где нет ни луны, ни солнца, голос произносит:

Сердце камня усмири
прах возьми в поводыри
с камнем прах
соединясь
восстановит с миром связь.

А в противоположном углу кто-то покупает сыр, а кто-то у кассы магазина — это "Монопри" или "Унипри" (в любом случае вывеска дает представление о порядке цен) — сетует на ремонт, мешающий покупателям, и кто-то в толпе подозрительно похож на ошарашенного конквистадора из Лимы, а кассирша устала, изнуренная своей тупой и неинтересной работой, и тогда она восклицает (что вовсе не входит в ее роль): да, конечно, месье, это же проще простого, для того и висит объявление, у нас уже нет сил зачитывать вслух эту бумагу, оповещающую, что дирекция извиняется за причиненные неудобства.

А потом появляется группа детей, и снова меняется освещение пола и потолка, словно голубые лучи переместились в тонких слоях атмосферы, — возможно, еще кое-кто это видит, и тогда в воображении этих людей, в его потаенных уголках, недоступных для других усталых посетителей, что-то преображается.



Вот башня Эйфеля и Нотр-Дам
Люцифер и ангелы кружат там
И с небес улыбаются нам толпой

И уводят Сену вслед за собой

А статуя (Бурделя? Родена?)
Говорит: на самом краю
ойкумены
На самом дальнем краю
небосвода
Расстилаются воды

Эти воды чисты и светлы
И озаряют спокойным светом
Сердцевину нашего знания
Ибо схожие с ней по сути
Они материей рождены
Прочным на славу созданным сплавом
Звездного золота
И облаков

Венсан Равалек. Апельсин на автостоянке

Между тем в толпе заполняющей город
Трое бродяг
Нашли уголок
И спасаясь от всех тревог
Склонились над скреблом
Изобретая
Средство от скуки

И снова меняется освещение
И сразу все выступы и уголки
Вызывают ощущение
Петель света
Заполнивших помещение

А в сквере напротив
Девочка плачет
Поскольку не знает что это значит
Когда тебя рвут на части
Грезы о счастье

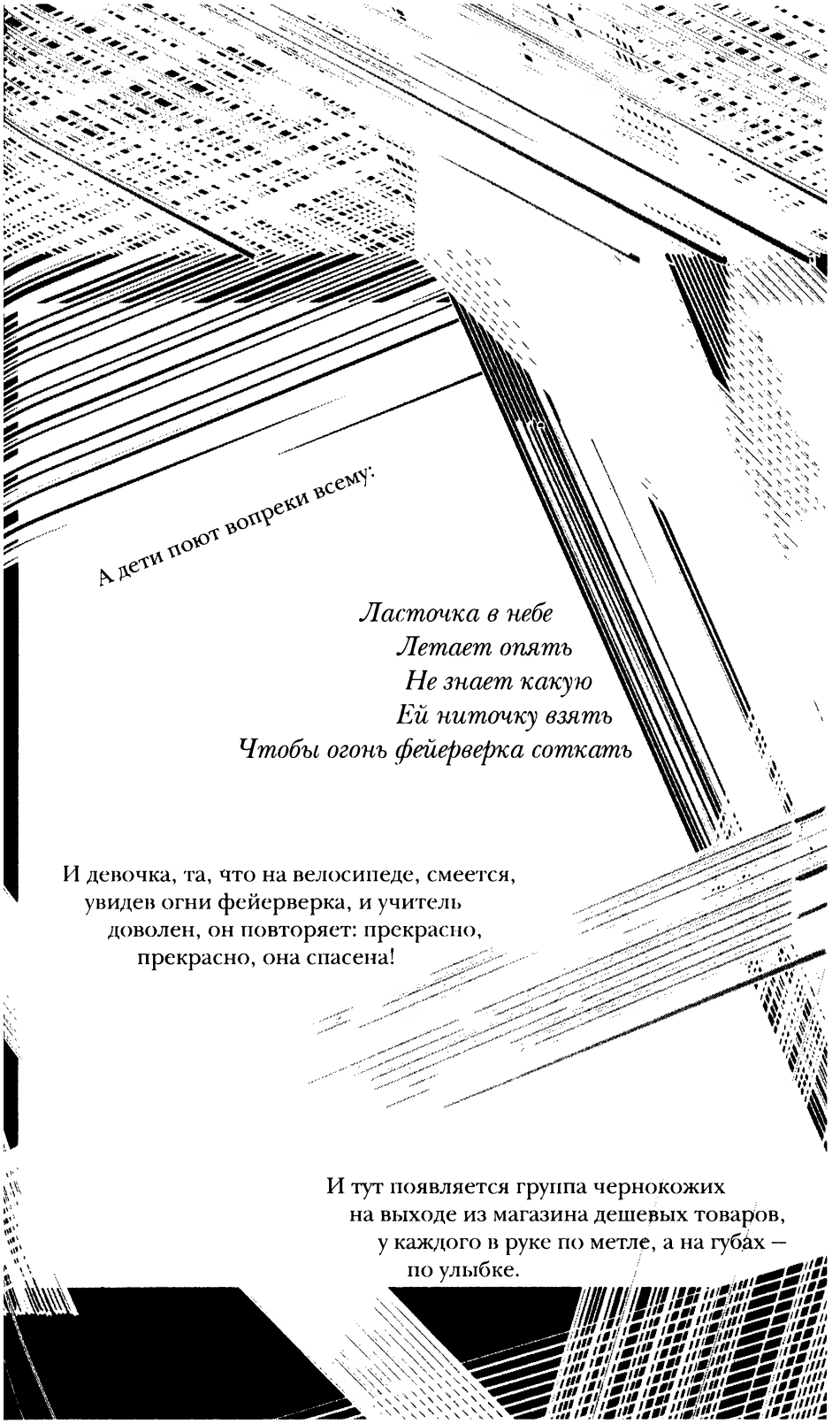
Несколько дней спустя: на трехколесном велосипеде дитя глядит, как листву поглощает жара, а улица Риволи так шумна и пестра, что не хватает сил вынести эту враждебность, и душит ее повседневность.

Она задыхается, а кто-то говорит: во всем виновата экология, об этом утром сообщали по телеку!

Но другие дети не слишком-то верят взрослым, они шагают, выкрикивая считалки, которым их научил учитель.

Тем временем какие-то подвыпившие типы пытаются подписать петиции, надеясь на помощь юстиции, в защиту эрудиции, против амуниции и по проблемам полиции,

но у них не хватает амбиции.



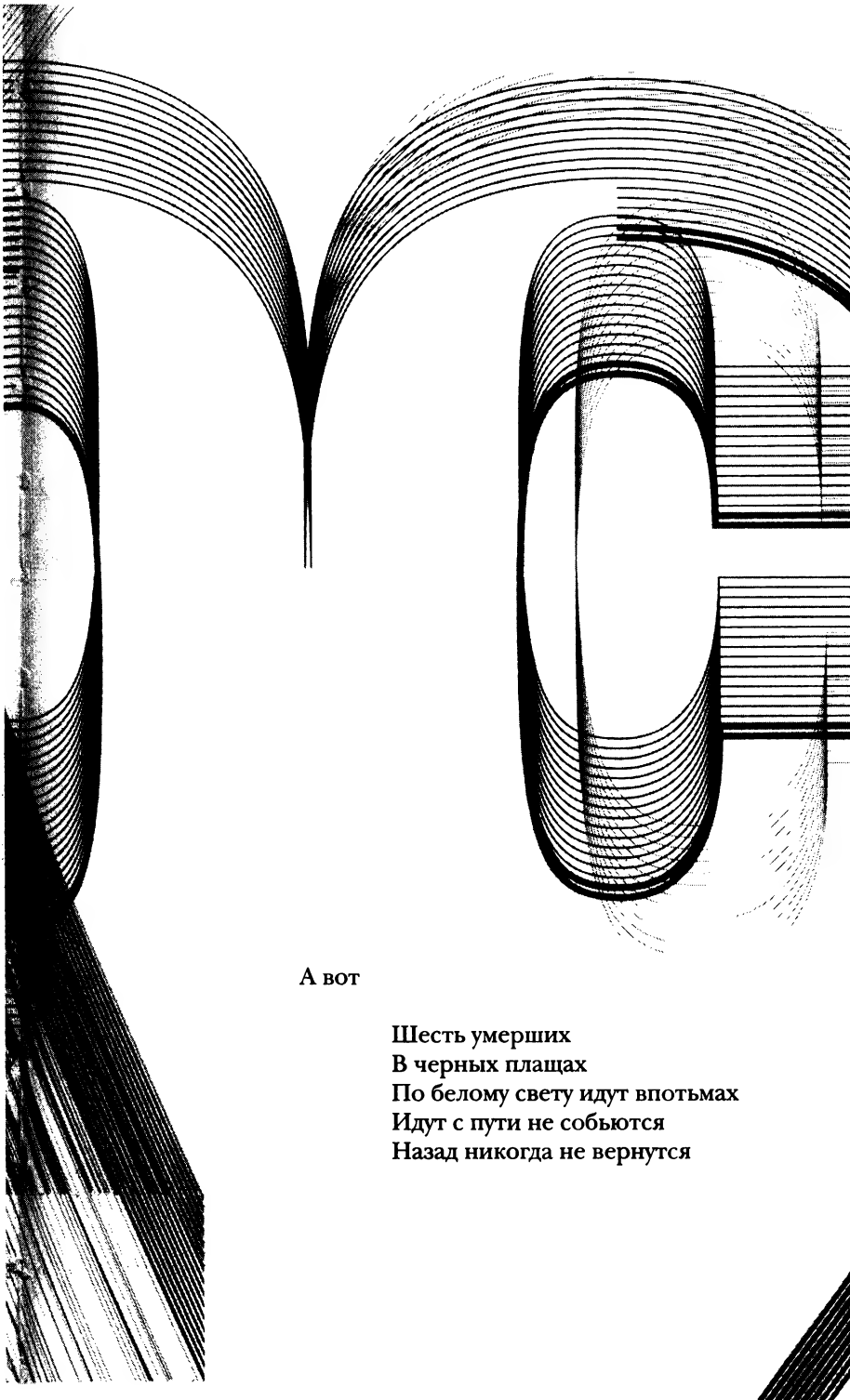
А дети поют вопреки всему:

Ласточка в небе
Летает опять
Не знает какую
Ей ниточку взять
Чтобы огонь фейерверка соткать

И девочка, та, что на велосипеде, смеется, увидев огни фейерверка, и учитель доволен, он повторяет: прекрасно, прекрасно, она спасена!

И тут появляется группа чернокожих на выходе из магазина дешевых товаров, у каждого в руке по метле, а на губах — по улыбке.

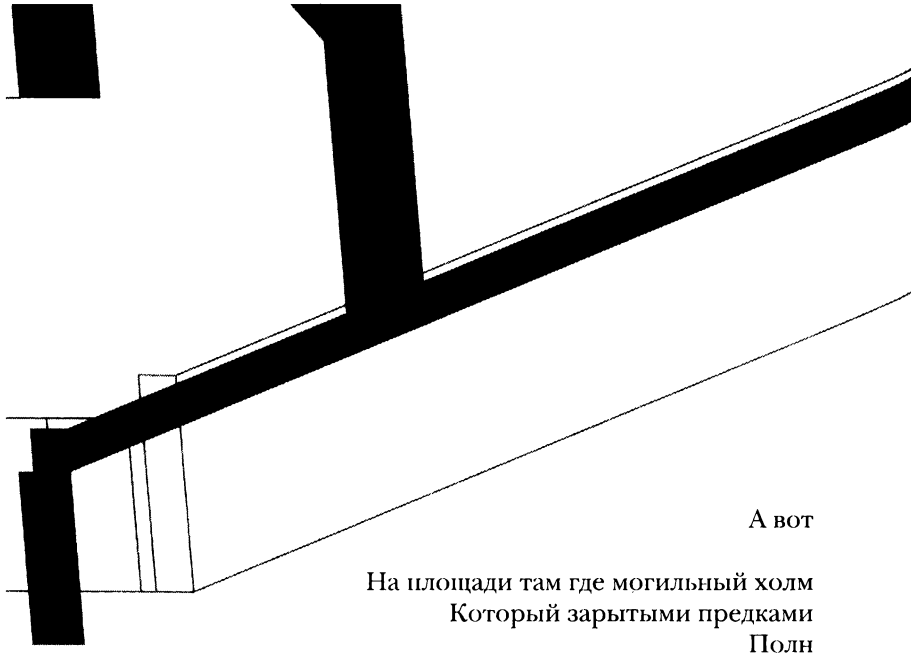
По лемеху плуга можно узнать, норовиста ли лошадь и сколько ее хозяин приложил усилий, чтобы прямо вести борозду, но труднее понять, насколько была податлива земля, покуда ее обрабатывал землепашец.



А вот

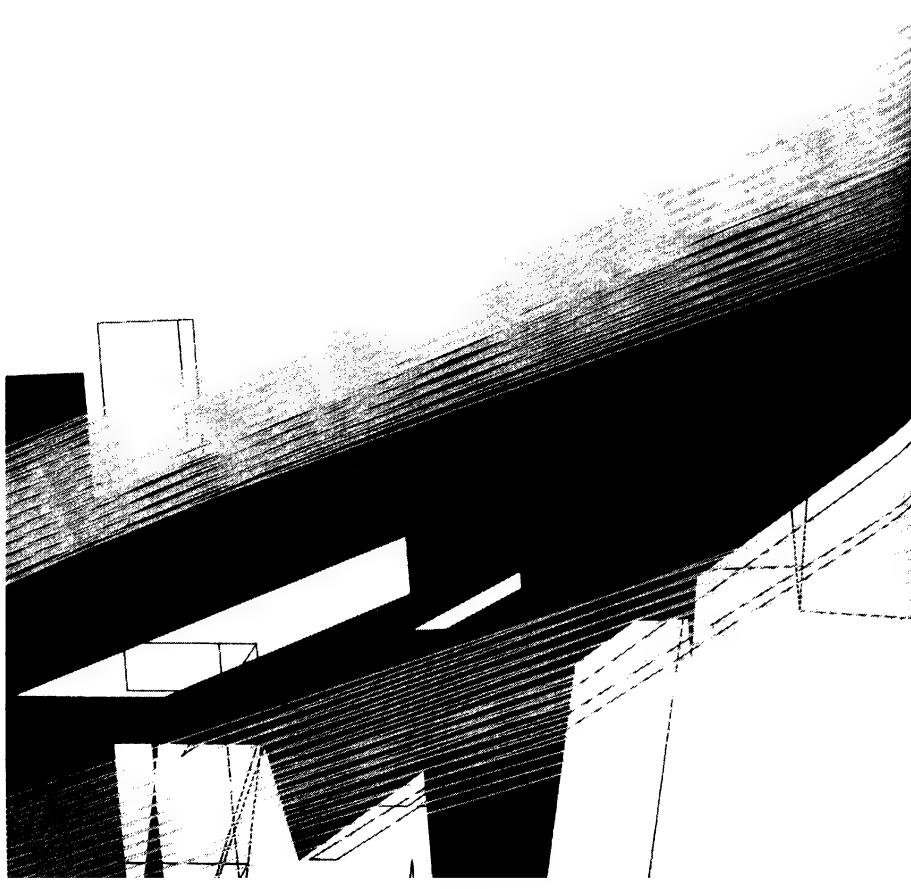
Шесть умерших
В черных плащах
По белому свету идут впотьмах
Идут с пути не собьются
Назад никогда не вернутся

Венсан Равалек. Апельсин на автостоянке



А вот

На площади там где могильный холм
Который зарытыми предками
Полн



Венсан Равалек. Апельсин на автостоянке

Все это смешивается с грохотом города, с гулом клаксонов, с дымом и сажей

А на фасаде большого магазина вывешивают рекламный щит, который гласит:

Дети – жертвы собственных идолов
Им остается уединиться
А матерям утопиться

Между тем гроза заливает столицу
Варвары овладели провинцией
Мы глядим в небеса
Но к нам они глухи
Мы слишком от них
Далеки

А к грохоту города, к дыму и саже, примешиваются ужасы нашей прессы... королева мертва... и вскрылись чудовищные подробности... и весь мир рвет на себе волосы... и... скоро Рождество, и сверкает звезда... над воротами Лувра...

...И Париж приходит в себя.

Сена, грозившая паводком, входит в свои берега.

И для тысяч игрушек, брошенных в воду безумным волшебником, нет больше места в реке.

На пороге дома в квартале Маре сидит скелет на заре и
ждет, когда наконец откроется в будущее проход.

И под нос себе поет:

Мы – дети Сатурна, дети его колец, дети стен ледяных
и замороженных вод, и бесчисленных окаменелостей,
которые здесь, на этой холодной планете, оставили
сгинувшие цивилизации.

Я никогда не думал о том, что тебя покину, никогда не
думал о том, что однажды останется только
несколько строк в тетради, стихов ли, штрихов,
застывших на этом стекле, в которых ты вечно
пребудешь, прекрасная навсегда и не ведающая
печали.

Мы оба знаем: настанет день, где не будет тебя и не будет
меня, где останется разве что роскошь
безбрежности, к которой, чудится, я прикоснусь,
когда, ослепленный твоей красотой, возжажду
тебя обнять.

А кто-то воскликнет: сколько же здесь потаенных страхов!
Боже, зачем ты придумал любовь?

А вот предметы из платины
Легендарное сокровище кельтов
Равнина мерцающая во мраке
И два надгробья
Эти подобья
Тел
Их наполнили кровью

Женщина улыбается.
Она похожа — это просто одно и то же! — на воду реки.
Встретиться ль им, о Боже?

А вот пейзаж:
Цветущие дали
Розы растущие по диагонали
От угла до угла
А сверху перья орла
Дали бездонны
Перья
Бутоны

Тот, кто знает, — знает, что речь идет о занозе из прошлого: она выдавливается на поверхность и лопается, как пузырь.
А наружу выпархивают бабочки, похожие на первые капли, из которых формируются первые кристаллы будущих сталактитов.

Но вернемся в Париж
Где звезды спускаются с неба
И стоят на часах
Подле каждого небоскреба
Как слезы слетевшие вниз

В каждой капле таится алмаз

И в каждом алмазе
Подспудная битва идет
В которой всей сутью своей
Блестит небосвод

И вот

Мертвое море,
Оставившее на песке
Три следа.

податливый, — это границы империй, которым не
возродиться.
[redacted] сырой, — это контуры горних высот и главных понятий.
А значение [redacted] скрыто тайной — он надежда
на выбор случайный.

Этой ночью
Боги творили сны
К танцам в придачу
Гром барабана
Напев удачи
Боги творили время
Невидимый круг
Пустой и немой тем паче

Венсан Равалек. Апельсин на автостоянке

Бабочки, словно туман, проплывали над берегом, там,
где шуршала вода.
Ветер их поднял, несет, мы не знаем куда, мы не знаем,
где канут они без следа.

Ибо
На каждой костяшке игральных костей
Без затей
Выбит готовый надеждой сверкнуть
Млечный Путь

Ибо фрагменты грядущего вместе с обрывками
прошлого, смешавшись так, или иначе, или как-нибудь,
устанавливают порядок, чья суть — случайность.

Люди, собравшись толпой, без конца говорят.
Кое-кто поет:

Три ласточки
День-деньской
В тишине
Над рекой
Танцуют
Рядом с тобой

Или так:

Один из стражей
Под камнем спит
Сквозь время зрит

Другой из стражей
Годы крушит
И сам не ведает
Что творит

А девице
Ночью не спится
Она томится
Под луной

Счастье манит
А вдруг обманет
Боже храни ее
Под луной

Нет не спится
Ночью девице
Что там таится
Под луной

Счастье манит
И в небо тянет
Боже храни же
Ее покой

А в стороне кто-то говорит:

Только вообразите
Апельсин медленно катится
По автостоянке
Повсюду мусор
Красноватые следы похожие на кровь
Да раздавленные коробки
Брошенные продавщицей
И лежащие на земле
Как раздавленные шляпки поганок

А ведь есть еще звезда, сердце, небесный свод — но, кажется, все это подождет, ибо эти слова вызывают в ответ одно бормотание, от которого хочется спать.

Разве что можно различить нечто такое:
Каждое сердце взывает к звезде
Из каждого сердца исходят к звезде
Тысячи нитей блестящих нитей
Из которых ткут все то что зовут
Сушей водой и небесным сводом

И в этой шелковой ткани спят
Наши назойливые страхи

А там внутри
Словно в коконе
В нас
Не смыкает глаз
Память об ином пространстве и времени

Словно открывается волшебный занавес:

Шумит вода плывут суда
Идут войска их цель близка

А птица закрывает солнце

А вот и благодать богов
Дать отпущение грехов

Плывут суда плывут сюда

Стоит Елена вся в цепях
Герои спят на небесах

Ребенок восхищается этим видением, внезапно явившимся из отдаленных пределов нашей памяти, а взрослый старается ему втолковать, что

Наши предки не покладая рук
Давным-давно изобрели
Конус треугольник и круг
И втайне хранили их до поры
Поскольку они позволяли видеть
Как объединяются миры
Стоило только
Подвергнуть сомнениям истину
И тогда открывалось пространство
По которому нам
Их потомкам
Передавались созвучные тем временам
Такие понятия как
Независимость и свобода

Кто-то, услышав этот урок, предлагает свои упражнения — впрок:

Расположим три треугольника
В центре круга
Это тайные знаки
Из углов исходящей бездны
В них таится прощение
К которому тянутся души
А свеча посредине
Украсит нежностью пламени
Этот священный миг

Перед этим суждением
четыре колонны Храма
ощутили вторжение цвета

Вытканные
Высокопарной ночью
Из снов твоих
Бесконечные миры
Сосуществуют
Проявляя себя
Посланцами-ангелами
Существуют дороги
Прекрасные и гибельные
Спрятанные в терниях
Укрытые в могилах
Застывшие в нашей памяти
Их обрывки
Протянутся к нам сквозь время
Чтоб донести то пламя
Которое даст нам
Свет

Свет
озаряющий нас
теплом и радостью.

И женщина, смеясь,
Говорит:
Вот чему будем мы поклоняться
До скончания дней

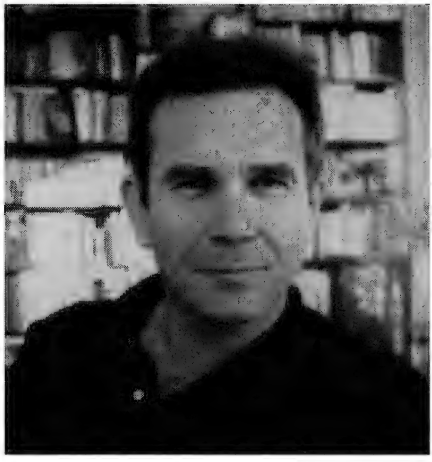
Солнце восходит
Это заря
Идем же скорей
К ней

Тишина опускается
на Площадь Звезды

Но машинам
не до нее

Меж тем как непобедимый разум освещает небо,
над всем Парижем сверкая.
И становится ясно: даже тому, кто мечтает об аде, не
избежать рая.

Кристиан Остер



Свидания

Роман

Перевод Ирины Радченко

Послесловие Ирины Кузнецовой

Когда мы с Клеманс перестали видеться, я еще целых три месяца назначал ей свидания. Но ее не извещал, так было надежнее. Укажи я ей место, число и час, она бы, вероятнее всего, не пришла и тем усугубила для меня муки напрасного ожидания, а эта нехитрая уловка позволяла не обижаться на нее за то, что она не явилась.

Такую я себе установку дал. Не обижаться. Я достаточно накопил обид при нашей с ней жизни и не испытывал желания добавлять к ним новые, после того как перестал для нее существовать. В разлуке мне нравилось видеть ее ангельски чистой, и, поскольку я не имел больше никаких интересов в деле, связывавшем нас еще три месяца назад, я хотел уважать и любить ее в свое удовольствие. Я помог бы ей при необходимости, если бы она во мне нуждалась. Но я ей был не нужен, а потому чувствовал себя независимым, свободным от не обращенных ко мне просьб или упреков. Словом, теперь, когда она из моей жизни ушла, я мог спокойно посвятить себя ей целиком.

На наше первое свидание я отправился весенним вечером с таким расчетом, чтобы встретиться с ней после закрытия агентства, где она работает. Не обнаружив ее за столиком, который я для нас облюбовал, я сразу понял, что она, во всяком случае, не прибежала раньше времени. Затем увидел, что в назначенный час ее тоже нет. Минут через двадцать сделал вывод, что она опаздывает. И тут уже начал ждать всерьез.

© Editions Minuit, 2003
© Наследники Ирины Радченко. Перевод, 2006
© Ирина Кузнецова. Послесловие, 2006

А еще двадцать минут спустя констатировал, что она опаздывает очень сильно. Затем, поскольку она все не появлялась, предположил, что она спутала день, и решил пойти домой.

Там у меня была встреча с самим собой. Не будучи уверен, что застану себя на месте, я не спешил. В результате тоже опоздал и понял, что наказан, еще не открыв дверь в квартиру, а только выйдя из метро: затишье на улицах, все магазины закрыты, дома есть толком нечего. Ужинать в городе не хотелось. Терпеть не могу ужинать не дома один. Впрочем, дома тоже. Но тут никто, кроме меня, об этом не знает. Так все-таки легче.

В сущности, "дома" неверно сказано. Меня там как раз и не было. Человек, которого предполагалось в этом самом доме застать, отсутствовал или не годился для общения, я там был и как бы не был, ничего не делал, не читал, не слушал музыку, которую включал, в упомянутый вечер почти не ужинал, съел стоя крутое яйцо, облупив его над миской, стоявшей на захламленной кухонной стойке. После чего, как и в другие вечера, вверился теплу и мягкости домашних тапок и развалился на диване, выпуская пары усталости, ощущая, как тело постепенно расслабляется, расслабление переходит в сон, преждевременный, разумеется, и только вредящий настоящему сну, ночному, а потому проснулся в четыре часа с сознанием, что я один и всем на это наплевать.

В четыре часа утра можно помереть, и ничего от этого не изменится, облик квартала останется все тем же, и лицо мира, разумеется, тоже, на нем и при дневном свете, когда уже кофе пьешь, ничего не меняется, разве что в новостях по радио, но от тебя это не зависит или зависит очень мало, ты еще даже неодетый сидишь. Поэтому смерть в четыре часа утра, когда мучаешься бессонницей, видится как своего рода искушение, надежда на избавление и примирение с тишиной. Я говорю, понятно, за себя, другие успешнее проживают подобные минуты, по крайней мере я так полагаю, опросов на эту тему не проводилось, я говорю про таких же, как я сам, что толку переубеждать тех, кто бывает счастлив, проснувшись один в четыре утра с растрепанными нервами. Короче, я промучился до рассвета. День начался погано. О последующих и рассказывать не стоит.

Тем не менее я упорно продолжал ходить на встречи с Клеманс, обставляя ими свое существование. Заполняя ими весь день, поскольку происходили они под вечер. Только тогда, в назначенное время, начиналась моя настоящая жизнь. Я спешил в кафе весь во власти предвкушения, но это был пустяк в сравнении с моментом, когда наступала пора смотреть на часы.

Получалось захватывающе. Я с интересом наблюдал, как у меня разгорается нетерпение, когда мой взгляд время от времени вылавливал в толпе фигуру, близко или отдаленно напоминающую Клеманс. На мгновение я узнавал походку, юбку, взгляд, но сходство тотчас исчезало, растворялось в общей массе. Все одинаковые. Каждая не та. Растиражированное отсутствие.

Меня посещало разочарование. Но не обида. Клеманс была не виновата.

Я винил только себя. На седьмой день я понял, что официант мое напряженное состояние заметил. Сделался предупредительным. Меня его внимание тронуло. Он был молод. И, как мне показалось, понимал меня. Не нужно было ничего ему объяснять, он и так видел, что я давно

жду кого-то, кто не приходит. Или кого не существует вовсе. А я сижу и жду. И буду ждать.

И я ждал. Официант сменился. Вместо него меня обслуживала девушка. Внимания на меня не обращала. Правда, она меня еще не знала. Потом узнала. Смягчилась. Впрочем, неважно, плевать на официантку. Это я просто к слову. Они все в итоге смягчаются. Посидите так в одиночестве и увидите. Ваше присутствие тяготит, молчание угнетает. Они его нарушают. Иначе воздуху не хватает. Ну а вы отвечаете. Сохраняя озабоченное выражение лица, растягиваете губы в улыбке. Без натуги. Такая улыбка — лишь обозначение вашей власти, вашего веса на этом стуле. Вы с него два часа еще не слезете. Можете и официантке улыбнуться.

Создав себе столь насыщенную жизнь, я сам обрубил связи с немногими друзьями, которых имел, в конце напряженного дня у меня уже не хватало духу звонить кому-то по телефону, и все же я решил не дать себе увязнуть окончательно в маниакальном ожидании. Отчетливо понимая, что никаких шансов увидеть Клеманс в условленном месте у меня нет, я рассудил, что уделяемое ей время при всей его заполненности могло бы вместить кого-нибудь еще, а потому в один прекрасный вечер, собравшись с силами, пригласил в кафе Симона, назначив ему встречу чуть позже одного из свиданий, которые были у меня с Клеманс.

Симон работал в зверинце при Ботаническом саде, он кормил тигров, лично мне такое занятие не подошло бы — как раз из-за тигров, однако от Симона тянулась невидимая симпатическая ниточка к профессии садовника, а вот работа садовника, особенно в Ботаническом саду, вполне вероятно, привлекла бы меня в молодости, имей я пошире плечи, но я таковых не имел и в садовники не пошел, предпочел посредническую деятельность, тут мне тоже нравится; правда, госслужащим, наверное, быть лучше, надо мной постоянно висит угроза безработицы, но я своим местом доволен, может, и зря, хотя, в общем, не жалуюсь, в конторе меня никто не дергает.

Симон — мой друг детства, единственный, который остался. О детстве я сейчас говорить не буду, тем более что меня с ним ничто не связывает, кроме Симона, и дело тут не в воспоминаниях даже, а скорее в его работе, которая всегда представлялась мне наивной и какой-то невзрослой, хотя иногда я говорю себе, что кормление тигров, наоборот, требует исключительной зрелости, подлинного знания себя и своих возможностей. Тем не менее Симон наивен и во многом другом, например, в отношениях с женой, которую он тоже кормит, поскольку та не работает, а воспитывает двоих детей и, стало быть, кормит их, — словом, они с Симоном оба заняты приготовлением пищи, но не одной и той же, дома Симон на кухню вообще не заходит, говорит, это разные вещи, ко всему прочему, он вегетарианец, не по убеждению, а по натуре. Короче, я его люблю, и это главное, хотя вижусь с ним редко, практически никогда — из-за детства, оно и так нас крепко связывает, а потому мое приглашение его удивило, но он, разумеется, пришел, не мог не прийти.

Так вот, я ждал Клеманс уже полчаса, когда он вошел в кафе, невысокий, чуть ниже меня, как всегда и было, с особым обаянием, какое встречается у не слишком уверенных в себе мужчин, тех, что ведут себя в жизни не как хозяева и имеют чуть женственный рот. А вообще, Симон скорее крепкого сложения, и тяготы ремесла ему по плечу, ведь

работенка, прямо скажем, физическая, я его видел раз в деле, кусища мяса тяжеленные, но Симон здоровяк, хотя и ниже меня ростом — соотношение, на мой взгляд, удачное, правильное.

Я приветствовал его несколько рассеянно, одним глазом продолжая удерживать в поле зрения входную дверь, и, признаться, был чуточку разочарован, что он — это он, а не Клеманс, но сердиться на него, конечно, не стал и, несмотря на легкое огорчение, встретил его радушно.

Хотя не то чтоб с открытой душой. Только с чуть приоткрытой. И не сразу вник в то, что он говорит.

Оказалось, для него это просто счастье, что накануне я позвонил ему и попросил прийти. Я ему как раз очень нужен. Срочно. Так я понял. По телефону он говорить ничего не стал, я ему времени не оставил, а главное, он решил, что лучше увидеться и все рассказать при встрече. Короче говоря, когда я ему позвонил, он сам собирался меня искать.

У него пропала жена. Клеманс, кстати, так и не появилась, мы с Симоном были в одинаковом положении, но на разных стадиях. Лично я уже не ждал Клеманс, а лишь играл в ожидание, чтобы поддержать в себе хоть какой-то интерес к жизни, он же еще только мучился вопросом, почему Одри ушла.

Я позволил себе заметить, что, пока он сидит здесь со мной, Одри могла вернуться домой и хорошо бы ему это проверить, прежде чем выдумывать себе всякие истории на пустом месте. В ту же секунду я сообразил, что сам уже много дней занимаюсь ровно тем же, а именно выдумываю себе всякие истории на пустом месте, разница, однако, была существенная: я не поддавался эмоциям. С эмоциями я покончил. А Симон нет. Он психовал.

Лучше всего в сложившихся обстоятельствах было припереть его к стенке. Я велел ему звонить домой. Он — ни в какую. Думаю, боялся никого не застать. Да он и не отрицал.

Никого — неверное слово. Дома были дети, бебиситтерша привела их из школы. Симон нанял ее на вечер, чтобы встретиться со мной.

Мы подвели итог. Клеманс опаздывала уже больше чем на час, Симон, знакомый с ней по прежним временам, знал, что она исчезла из моей жизни, но не подозревал, однако, о моих свиданиях с ней, зато сам не только отказывался позвонить домой, но и возвращаться не хотел. Я силился доказать ему, что это неразумно. Его ждут дети. Кроме того, если Одри, вернувшись, застанет его дома, он окажется в более выигрышном положении, нежели если его там не будет. Встреть он ее в роли хранителя очага, ему и говорить ничего не придется. И ей сказать будет нечего. Во всяком случае, ничего конкретного. Поэтому она скажет ему все. Собственно, иначе зачем бы ей возвращаться? Ты думаешь, ей есть что сказать? — спросил Симон. Не знаю, ответил я, я с ней, сам понимаешь, мало знаком, но полагаю, для ухода из дома должна быть какая-то причина. Тем более с сумкой. Да еще три дня назад.

Насчет трех дней он мне сам сообщил, я ему только напомнил. А он словно бы впервые услышал. Я забеспокоился. Он тоже. Меня как раз больше всего и пугает, признался он, что она не вернется никогда. И непонятно, с чего бы ей вернуться именно сейчас. Я, собственно, потому и ушел. Я ее уже не очень жду.

Тут я ему и говорю: послушай, Симон, это уж ты слишком. Никогда не поверю, что ты смирился за три дня.

Три дня — это много, ответил Симон. Три дня молчания.

Я согласился. К тому же я не собирался учить его, как ждать женщину. Для себя я выработал способ достаточно безболезненный, бескорыстный, стоический. Удивляло одно — что Симон так быстро догнал меня в смирении. Он ведь только-только начал страдать, а я уже заканчивал — по-своему, конечно, но тем не менее. Просто пораженец какой-то. Или тоже стоик. Но что-то за этим скрывалось. Думаю, слабость.

Ты, наверное, ее больше не любишь, сказал я. Мне хотелось его растормошить.

Разумеется, нет, ответил он. Сам знаешь, что нет.

А я-то воображал, что вы очень близки, сказал я.

Я тоже, ответил Симон. Вечно мы что-то воображаем. Ничего другого нам не дано.

Да, сказал я.

Клеманс теперь уже наверняка не придет. Я решил, что снова перепутал день. И ждать мне тут больше некого. Симону тоже. Я ему об этом напомнил, настойчиво причем.

Надо идти домой, сказал я.

Ты прав, согласился он. Но, знаешь, пошли со мной. Проводишь меня.

Конечно, конечно.

Я себя нисколько не насиловал. Домой идти ни капли не хотелось, я спокойно мог его проводить и в самом крайнем случае даже заночевать.

Подождем Одри вместе. Все-таки разнообразие какое-то, а то сижу один, ну или с Симоном, и жду Клеманс, которая никогда не придет.

По правде говоря, я сомневался, что Одри после трехдневного отсутствия, да еще с сумкой, вернется вечером к Симону объяснять причину своего исчезновения. Если разобраться, не существовало практически ни одного шанса, что такая гипотеза подтвердится, но я предпочел обнадежить Симона, тем более что, застигнутый врасплох его известием в процессе ожидания Клеманс, я вскоре обнаружил кое-какие сдвиги в своем внутреннем настрое.

Признание Симона и мое решение проводить его домой стали для меня не просто поводом отвлечься. Положение моего друга позволяло мне занять несколько иную позицию и ожидать теперь женщину с некоторой вероятностью, что она появится там, где ее ждут. Возвращение Одри, разумеется, не волновало меня так, как возвращение Клеманс, которое, в силу своей полной невозможности, в сущности, не волновало меня вовсе, а реализуйся такая невозможность, она бы нарушила взвешенную конструкцию моего поведения и дестабилизировала бы меня настолько, что и представить себе страшно. Нет, у меня был совсем другой расчет. Расчет такой же простой, как и само мое ожидание Клеманс, и прочно овладевший моими мыслями, заключался в следующем: если Одри, вопреки нашим предположениям, вернется к Симону, это будет знаком того, что ушедшая женщина в принципе может вернуться, а значит, может вернуться и Клеманс. Мое ожидание таким образом перекочевывало в область реальности.

Когда я говорю "знак", становится ясно, что моя логика носит отпечаток паранормального. Но я ничего не имею против паранормальной логики, применительно к женщинам в особенности. А говоря "к женщинам", я подразумеваю — к любви.

Моя логика была сильна или, наоборот, безумна — если вдуматься, в плане привлекательности большой разницы нет — еще и с той точки зрения, что Одри, как мне казалось, не походила на особу, способную бросить двоих детей. Что давало нам, Симону и мне, дополнительный шанс ее увидеть. А следовательно, и мне увидеть Клеманс. Полагаю, все более или менее понятно.

Мы отправились пешком, перекинув пиджаки через плечо, из кафе близ Пантеона, где сидели, к площади Контрэскарп, а оттуда вниз по улице Ласепеда. Там дальше, на углу улицы Жоффруа Сент-Илера, ограда Ботанического сада обнимала торчащий посреди города густой букет зелени и ловила на золоченые пики вечернее апрельское солнце, а на углу улиц Линнея и Кювье змеиноголовый фонтан выбрасывал в еще не остывший воздух тонкие струйки воды. Мы вошли со стороны улицы Кювье, было семь часов, сад закрывался, последние посетители тянулись к выходу слабеющим ручейком, мы решительно пошли против течения и по-хозяйски обогнули здание администрации.

У ворот зверинца, за площадкой кенгуру валлаби и маленьким баром напротив, где, сидя на шатком стуле, можно выпить стаканчик, наблюдая за скачка́ми кенгуру, — стаканчик за деньги, кенгуру бесплатно, — где ты, особенно под вечер, будто переносишься в южную страну и предаешься созерцанию беспорядочной звериной суеты на исходе дня, — так вот, у ворот зверинца Симон достал ключ, отпер решетку, и мы вошли как к себе домой.

Я даже гордился немного, что благодаря Симону имею свободный доступ на территорию, которая по ночам не принадлежит человеку, хотя он сам обустроил ее еще в давние времена, территорию, где царствуют звери в резервации из дерева и бетона, и бетон иной раз подделывается под дерево с идеально правильными ветвями, но без листьев, чем смягчает оскорбление, наносимое природе. Не хочу сказать ничего дурного, я люблю это место, более того, я его обожаю и, кстати, кроме как с Симоном, бывал здесь только с Клеманс, чем отдавал дань очарованию уголка, мне нравилось любоваться его красотой вместе с ней, вместе останавливаться, скажем, у большого вольера, где под тянущейся к решетчатому перекрытию листвой слышалось невидимое хлопанье крыльев, и в окружающем покое жизнь, наша жизнь, замирала на мгновение и глядела на себя.

Оставив справа загон с гаурами, мы прошли между гусями и ватузи. Симону хотелось показать мне лужайку гусей, свежеподстриженную, пересеченную канальчиком. Просто настоящий сад, повторил он мне в который раз, а канальчик — ну прямо как речка, я все время мечтаю растянуться на траве, но из аллеи, знаешь, выглядит еще лучше. Разумеется, лучше, отвечал я, в мечтах оно всегда лучше. Мы прошли вдоль вольера, где молчаливо восседали грифы-урубу и ара, потом вдоль ограды, за которой расположились только что прибывшие, как пояснил Симон, вигони, они лежали, подогнув под себя ноги и высоко подняв голову, неподвижные, будто статуэтки на подставке с убаюкивающей или же волнующей — кого как — нежностью в глазах. Симон разволновался, я тоже, но он даже прильнул к ограде и окликнул их по именам: Жозе, Валериана, — а те, услышав, поднялись и явились на зов. Симон гладил их и гладил, идти дальше не спешил, думаю, ему страшно стало теперь, когда мы приблизились к жилищу хищников, то есть к его соб-

ственному служебному жилью, мы ведь оба знали, что еще немного — и мы там и что главное сейчас — это не пришедшая к нам Жозе, а ушедшая жена Симона Одри, которая, по нашей гипотезе, должна была вернуться. Ладно, сказал Симон, отнимая руку от мягкой слюнявой морды ламы и с трудом отрываясь от ее красоты, меж тем как небо над Сеной уже темнело; мы сделали несколько шагов, и вот уже напротив павлинов павильон хищников с белыми барельефами и порталом с колоннами, у Симона был ключ и от него, у него вообще ключей большая связка.

В этот час он был тут хозяином, мы вступали в его владения. Войдя в просторный вестибюль, где справа, возле касс, открывалась дверь в коридор, ведущий мимо кабинетов и лабораторий в квартиру на втором этаже, мы услышали голоса. Симон шагнул первый в обезлюдевшую сводчатую галерею с клетками. В глубине ее, около снежных барсов разговаривали дети, с ними рядом стояла очень молодая женщина, она смотрела куда-то в сторону и сразу заметила нас. Мы подошли ближе, пробираясь между клетками и скамейками, барсы оживились, стали легонько царапать когтями воздух, приветствуя Симона. Симон от полноты чувств познакомил меня сначала с бебиситтершей по имени Об, одновременно здороваясь с барсами, которых тоже мне представил (Фоли, Сарданапал), не обращая внимания на мальчиков, Антуана и Александра, хотя я знал их дольше, чем барсов, последние, впрочем, сами были детенышами нескольких месяцев от роду. Они воротят носы, пояснил мне Симон, обнимая, наконец, Антуана, а затем и Александра, от трех ощипанных курочек, подвешенных вон там, добавил он, подняв палец за спиной Антуана, вон там, наверху, между прутьями решетки, чтобы барсы немножко попрыгали за ними, а то они мало двигаются вне естественной среды обитания. Увы. У них явно отсутствовал аппетит. Четвертая курочка, однако, податливо покатывалась в мульче под нерешительной лапой одной из зверюг, в то время как другой барс попросту удалился к своей лежанке, прочь от Симона и от детей.

В эту минуту я подметил, что Симон очень строго смотрит на няньку. Наверное, подумал я, ему досадно, что она тут, в зверинце, а Одри нет. Или он сердится, что она, вопреки его запретам, привела ребят к барсам, когда пора было засаживать их за уроки. Короче, либо она его раздражает, либо он и без нее раздражен, но только я почувствовал, что наше возвращение домой начинается плохо.

И кстати, может, Одри уже дома, может, ждет наверху, в квартире, над клетками, хотя никаких явных признаков ее прихода не ощущалось, и более того — присутствие няньки склоняло к противоположному выводу. Да и мальчики ничего не говорили, во всяком случае не говорили "папа, там мама пришла, она тебя ждет", и нянька молчала, только глядела виновато или же напряженно, трудно разобрать, я ее впервые видел и не знал, какова она в спокойном состоянии, в памяти еще ничего такого не отложилось. Так или иначе, ясности недоставало всем, а тут еще Анди, пума из Анд двумя клетками дальше, принялась домогаться Симоновой благосклонности рычанием, — в общем, обстановка становилась напряженной. Слишком много нас тут собралось, слишком шумно получалось, слишком много разных взаимоотношений, в частности, из-за меня, не знакомого ни с нянькой, ни с барсами. Удивляло и отсутствие тигров, поскольку Симон кормил именно их, но спросить я не решался. Дабы не подливать масла в огонь.

Зато дети вели себя смирно. Они, вообще, симпатичные. Да, да, Александр и Антуан — очень славные мальчики, я бы тоже мог таких завести, ну, то есть раньше, или хотя бы одного, не знаю, что лучше. Между тем мы вышли из зала хищников, вернулись все вместе в вестибюль, открыли служебную дверь, миновали тянувшийся позади клеток коридор, откуда служители кормят зверей мясом, — коридор, закрытый решеткой наподобие тюремной, со здоровенным замком, — затем стали подниматься по лестнице с обшарпанными стенками. Я не в упрек, но лестница у Симона никуда не годится. Сплошные углы и голый цемент. Правда, второй этаж невысоко, а квартира заслуживает того, чтобы в нее подняться, пусть и по скверной лестнице.

Она не столько красивая, сколько большая, и главное, вид: вдали, за набережной Сен-Бернар, Сена, а ближе, под самыми окнами, скульптура льва, раздирающего антилопу над фонтаном из двух чаш, обсаженных цветами, рядом лужайка для пикников под старым платаном и, чуть правее, загон со страусами. Три самки и один самец постоянно разгуливают под окнами туда-сюда. Это же как надо страусов любить, но, с другой стороны, я, хотя мало с кем общаюсь, не помню, чтобы кто-то их не переносил, имел бы такую фобию. И, если поразмыслить, всем, кого я знаю, нравится их походка и сложение, широкие бока и длинные, осторожно ступающие ноги. Впрочем, когда смотришь сверху, из окон Симона, контраст смягчается, страусы отсюда выглядят приплюснутыми, совсем не высокими, хоть верхом садись. От этого они кажутся доступнее, ближе, более домашними. И только немного жаль, что никогда не выедешь на набережную Сен-Бернар верхом на страусе и не поскачешь за хлебом вверх по улице Кювье до угла улицы Линнея в ближайшую булочную.

Так вот, квартира большая и обставлена скорее во вкусе Одри, нежели Симона. Одри выбирала обои, кресла, планировку кухни, но в обустроенной ею квартире ее в тот вечер, разумеется, не оказалось.

Мы с Симоном слегка пали духом. Оно понятно, мы ведь оба говорили: она вернется. И, конечно же, думали об этом. Но, в общем-то, особенно не удивились.

Я тронул Симона за руку, вроде как дал понять: не надо расстраиваться, не для того я его всю дорогу подбадривал, чтобы он вешал нос при первом же разочаровании. Правда, он меня все равно не слушал, обернулся к няньке, тронув ее за руку точно так же, как я его, и стороннему наблюдателю могло бы показаться, что в этом доме слишком много трогают друг друга за руки, получалось, между прочим, что Симон с нянькой хорошо знаком, и вообще, если вдуматься, ей незачем было подниматься с нами в квартиру, заметил я с опозданием. Ей следовало бы уйти, как только пришел Симон. Может, правда, он хотел расплатиться с ней наверху из протокольных, так сказать, соображений. Тем более что нанял ее, скорее всего, на целый вечер, а сам вернулся рано.

Вот, теперь он как раз с ней и расплачивался. Она собралась уходить, кивнула мне мимоходом все с тем же напряженным видом, и Симон закрыл за ней дверь. Мы остались одни. В последнюю минуту я успел заметить, что она блондинка, с красивой грудью. Больше ничего не успел.

Симон меня усадил. Я понимал, что нам предстоит не просто выпить по стаканчику, расположившись лицом к окну за столом с мозаичным покрытием, где на охряном фоне изображены ландыши, но еще

и накормить детей. Симона я знал не так уж хорошо, но все-таки догадывался, что, возясь со стаканами и бутылками, он на самом деле мысленно оценивает содержимое холодильника и спрашивает себя, что бы такое сварить, почистить или, может, лучше просто нарезать побольше салата. К счастью, мальчики у себя в комнате нашли что-то интересное в Интернете.

Держа ладонь горизонтально над стаканом и тем показывая Симону, что мне уже хватит муската, я предложил подумать об ужине. Исходя из имевшихся у него запасов, представил ему несколько вариантов меню. Сложности возникли только с протеинами, дети уже вступали в тот возраст, когда положено пичкать их по вечерам белками. Хорошо, что в доме оказались яйца. Итак, яичница с овощами малышам и мне и просто помидоры с рисом Симону, с чем мы и двинулись на кухню.

Послушай, спросил я, а няньку эту ты как нашел?

Я хотел заранее отвести разговор от темы, которой мы не касались. Ну и просто интересно. Любопытно, в конце концов. Могу же я полюбопытствовать. Временно отключившись от Клеманс, я ощущал себя в отпуске. И впервые за долгое время чувствовал себя почти хорошо. Я находился вне дома, проводил вечер с другом, попавшим в беду, да, это так, но не потерявшим голову, а потому пригодным для общения. И дети тут.

Симон ответил не сразу. Я разбил яйца, это было самое увлекательное в нашей программе. Затем смазал сковородку маслом, а Симону поручил следить за кастрюлей.

Чистая случайность, сказал мой друг, она явилась как с неба свалилась, со всеми своими атрибутами, и вообще, ее Одри наняла, не я, в первый раз мы прибегли к ее услугам, когда пошли смотреть последнего Альмодовара, тогда я увидел ее впервые. А потом было уже поздно, заметил я, подсовывая лопаточку под схватившийся уже белок. Готово, сказал Симон, а в каком смысле уже поздно? Поздно отступать, ответил я. Однако, сказал Симон.

Я только хотел узнать, спал ли ты с ней, пояснил я. Я тебя не допрашиваю, просто разобраться хочу.

Ну знаешь, сказал Симон.

Потом он спросил, нужно ли промывать рис. Я только руками развел. Сказал ему: тебе нужно было кухарку нанимать. А не няньку.

Кухарка ушла, сказал Симон.

Тут я промолчал. Не хотелось его огорчать. И все-таки подозрительной казалась мне эта история с нянькой. Тут что-то крылось. Может, из-за этой девчонки и ушла Одри. Чем не зацепка? Даже для него. Если он еще не сообразил.

Мы позвали детей к столу. Раз, другой. На третий я пошел к ним сам. Идем, откликнулся Александр, не отрываясь от клавиатуры, сейчас, только сохраним.

Не знаю уж, что там малыши сохраняли и что загружали, но я счел, что они компьютерные гении или просто очень послушные, или то и другое вместе, потому что они явились тотчас же, и мы поужинали вчетвером. Четверо мужчин, подумал я, многовато для среднестатистического застолья, но, в принципе, ничего. Мы неплохо сидели.

Аппетит у мальчиков был заметно лучше, чем у барсов. Последних мы, кстати, слышали, квартира, напомню, аккурат над клетками, барсы

рычали. Я поднял палец, как бы сказав: чу. Симон кивнул в знак того, что я угадал. Хотя нет, поправился он, это скорее пума. И подтвердил: да, пума. Я заметил, что он рассеян. Дети, похоже, неплохо жили в отсутствие матери, но главное, вели себя исключительно хорошо, держали удар, не желая, как видно, нагнетать драматизм. На мой взгляд, они вели себя даже слишком ответственно, могли бы и покапризничать разок. Ничего подобного, их самообладание впечатляло. Но спать мы их все-таки отправили не очень поздно: утром в школу. Мы с Симоном остались вдвоем, и я спросил: так что? Ты спал с ней или нет?

Только один раз.

Я взглянул на него, стараясь понять, было ли в его голосе сожаление. Трудный вопрос, поскольку Симон выглядел грустным и сейчас, и вообще весь вечер. Подводя итоги, я решил, что он грустит, оттого что Одри ушла и оттого что с нянькой спал всего один раз. Ему вообще грустно. По жизни. Хорошо, что я с ним, подумалось мне.

Я заночевал у Симона. Спал довольно хорошо. Довольный собой. Один раз все-таки проснулся от звериного рыка, поглядел на тьму за окном. На фонари над черной водой. Мысли мои устремились к Клеманс. Невозможно, подумал я, чтобы Одри не пришла, а вместо нее завтра к Симону явилась Клеманс — как бы в силу взаимного наложения картин, которые нарисовались у меня в голове. Как я уже сказал, я сразу подумал, что это невозможно. Ну, чтобы Клеманс вернулась ко мне сейчас и сюда. А если я ее все-таки тут подожду? — спросил я себя. Что это, собственно, меняет? Шансов увидеть ее в кафе у меня ненамного меньше.

Нет, не то. Надо мыслить более конкретно. Действовать поэтапно, как задумано. Ждать, стало быть, сначала Одри. Я ее плохо знал, миловидная, тоже немного грустная, наверное, это от Симона идет, но не только грустная. Она бывала временами живой, веселой с детьми, остроумной, в гармонии со средой и обстоятельствами. Впрочем, это взгляд с высоты птичьего полета.

Причиной ее отсутствия мне представлялся мужчина. Мужчина сильный и горячий, ради которого она ушла вот так, бросив все. Ну или, конечно, несчастный случай. Что, если Одри уже нет в живых? Тогда она не вернется. Мне пришло в голову, что и Клеманс тоже могло не быть в живых. А я бы этого и не узнал. Или узнал позднее. Когда-нибудь. Узнал бы, что она умерла. Я предпочел лечь.

Утром страусы поднялись рано, как, впрочем, и мы все. Я видел их в окно, а за их вольером автомобильную пробку на набережной Сен-Бернар. Страусов автомобили, похоже, не волновали, нас тоже, у всех начинался рабочий день, Симону надо было отправить детей в школу, а потом спуститься к зверям. В дверь позвонил служитель, вернее, служительница, вошла, как к себе домой. Познакомься, это Люси, она, вообще-то, по орангутангам, но мы здесь, знаешь, все широкого профиля и всегда подменяем друг друга. Эдме лежит в полной прострации, сказала Люси, ничего не ест, не знаю, что и делать. А, Эдме, сказал Симон. Лучше тебе обратиться к Полю, я за Эдме не следил после отъезда тигров.

Тигры, значит, уехали, отметил я про себя. У меня Анди и барсы, продолжил Симон, с ними, видишь ли, совсем другие отношения, говорю тебе, Эдме меня уже и не помнит, серьезно, обратись лучше к Полю.

Люси молча покачала головой, и я понял, что у Симона и тут начинаются сложности. Ему, бедняге, только этого не хватало. Наконец, она ушла, потом дети надели рюкзачки и поцеловали нас.

Чувствуй себя свободно, сказал Симон, а мне надо вниз, можешь пойти со мной, хотя нет, лучше не надо, к Анди сейчас не подступиться, оставайся тут, если хочешь. Будь как дома.

Интересные дела, ответил я ему. Думаешь, ты один работаешь?

А правда, Симон хлопнул себя по лбу. Я вообразил, что ты в отпуске.

Обстановочка такая, ответил я.

А про себя подумал: да спал ли он? За завтраком говорили мало, все внимание уходило на мальчиков, на возню с тостером, распределение ножей для масла. Джем протек сквозь тосты, пришлось вытирать стол. На пороге, где мы стояли вдвоем, собираясь разойтись по делам, я предложил Симону заглянуть к нему вечерком и, если он не против, вместе с ним опять подождать Одри. Я не утверждаю, что она благодаря этому вернется, уточнил я на сей раз.

Буду рад, ответил Симон. Но не знаю.

Зато я знаю, подбодрил я его. Тебе надо выговориться. Я буду рядом.

И похлопал его по плечу. Давненько мне не доводилось хлопать мужчину по плечу. Это на меня хорошо подействовало.

Мы расстались в вестибюле, я спустился с крыльца, побрел через зверинец мимо розовых фламинго. Я мало видел на свете зрелищ прекраснее, чем загон с фламинго в Ботаническом саду, — розовые птицы прохаживаются вдоль воды по зеленой лужайке за каменной оградой, — но тут я вспомнил, что я один, и у меня заныло сердце. Потом я вышел из зоопарка через южный вход с восьмиугольной будочкой, даже не взглянув на кенгуру, и двинулся направо по улице Кювье, а затем Жюсьё к станции метро.

Я хорошо поработал в этот день. Удивительно, до какой степени работа способна поглощать наше внимание. Особенно телефон. И особенно, когда звонят тебе. Тут нужна реакция. Разумеется, отвечал я собеседнику в трубку. (И позволял себе крутануться все-таки на вращающемся кресле.) Разумеется, я могу сократить срок. Нет ничего невозможного. Но вы не желаете ничего для этого сделать. Я имею в виду не вас лично, а Манесье. Вы можете мне объяснить, почему он до сих пор не разобрался с триста пятнадцатым? Не говоря уже о двести девятом, нет, о двести девятом я предпочитаю не говорить. Вчера я опять получил три совершенно одинаковых факса. Мало того что Манесье не набирает сотрудников, у него и те, которые есть, все делают одно и то же, при такой системе теряется уйма времени. И вы меня просите сократить срок. Я, конечно, попытаюсь что-нибудь сделать.

За весь день я не передохнул ни минуты, только сэндвич проглотил, еще, правда, выпил кофе с Мартой из шестьсот третьего, мы столкнулись нос к носу в баре, я ее уже с полгода не видел. Марта была в скверном настроении, и, что ей сказать, я не нашелся. Я скорее склонен сам поддаваться чужому отчаянию. С Симоном другое дело, его проблемы меня, в сущности, даже устраивали. Но взваливать на себя еще проблемы Марты — увольте. Мы чуть не поссорились, когда я ей сказал: постой, Марта, это твоя жизнь, и я тут ни при чем, парня этого я не знаю, может, он даже и очень хорош, я не верю твоему горю, слишком

давно ты плачешь, здесь есть над чем призадуматься. Мы было поссорились, но я вдруг почувствовал, что она мне чем-то близка. И положил руку ей на плечо. Она этим не воспользовалась, не прижалась головой. Эка погорячился, сказал я себе, с жестами надо бы поосторожней. Не прикасаться к женщинам чуть что. Контролировать себя.

Так или иначе, нарушать трудовой график ни она, ни я не могли. Мы расстались. После обеда ритм работы у меня возрос, все было обклеено желтыми бумажками-напоминалками, но я решил: разберусь завтра. И отправился на неназначенную встречу с Клеманс. В том смысле, что не назначал ее заранее, просто осенило вдруг под конец дня. Может статься, подумал я, что из-за ожидания Одри я пропущу свое свидание. И без лишних слов двинулся в кафе. Было бы глупо, если бы Клеманс пришла, а я нет.

За столиком, разумеется, никого, но я не особенно беспокоился. Свидание-то получилось импровизированным, и вероятность, что Клеманс откликнется, была меньше, чем обычно. Впрочем, ожидая Клеманс, я думал не только о ней, но еще и об Одри, все пытался понять. Мы с ней виделись раз шесть, не больше, всегда в присутствии Симона да, кстати, и Клеманс, при этом Одри смотрела то на детей, то на свои туфли, иногда, правда, и на нас с Симоном, когда что-нибудь говорила, и на Клеманс тоже, но тогда уже без слов. Периодически ее голос и взгляд словно выключались на время, и она погружалась в какую-то иную жизнь, где обретала или ожидала что-то или кого-то, например мужчину, который ее увел, говорил я себе, забывая немного о Клеманс, будто расположился не ждать ее, а забывать, причем именно там, куда она должна была прийти.

Действительно, я сидел на том самом месте. И совершенно не ждал Клеманс. Не оставил ей жизненного пространства. Я понимал, что она не придет никогда, а потому распорядился этим пространством по своему усмотрению: я думал о другом. Опираясь на одни и те же данные, я опрокинул логику своих рассуждений, кафе стало местом ее отсутствия, местом, где ее нет. Теперь оно, отсутствие, оказалось мне даже на руку. Чем больше его будет, тем скорее я выкину ее из головы.

Если бы она пришла, тогда бы все сложилось иначе.

Но то-то и оно, что не приходила. Отсутствие разрасталось. В кафе я чувствовал себя как дома. Меня тут знали, обходились любезно. Кажется, забыли даже, что я кого-то жду. Должно быть, читали забвение в моих глазах. Официанты видели, что я перестал нервничать, ерзать на стуле.

Итак, я думал об Одри, и это никак не способствовало появлению Клеманс. Вообще, с этим ожиданием Клеманс, как ни крути, все равно ничего не клеилось. Я сосредоточился на Одри, хотя она не имела отношения к делу. Но я вовсе не думал, что Одри вдруг окажется здесь в кафе вместо Клеманс. По той простой причине, что ее ждал Симон. Я не подменял собой Симона, я одалживал у него немного ожидания, вот и все, чтобы ему было полегче и еще чтобы себя занять.

Но я не просто занял себя, я, как ни странно, начал волноваться всерьез.

Я говорю "как ни странно", потому что не планировал волноваться. Подождать немного Одри — ничего особенного тут нет. Оказалось, есть. Наверно, потому, что мы ждали ее взаправду. Уйти-то она ушла, но не ска-

зала куда. В данном случае ее возвращение поставило бы все на свои места. Пока что она была нигде, а так не бывает. Ее отсутствие было бессмысленным, а потому возвращение имело смысл. Что касается Клеманс, то я знал, где она, спасибо. Просить ее вернуться не собирался. Не в моих привычках унижаться перед женщиной, особенно если я ее люблю. И потом, я бы боялся потерять ее снова. А ждать, что ж.

Но это уже старая история.

А вот исчезновение Одри, хотя и не имело ко мне отношения, было событием животрепещущим и волнующим.

Я снова вспомнил ее и подумал, что ошибался на ее счет. Я видел в ней мать семейства и не обращал внимания на ее молчания. Матери семейства тоже имеют право на молчания. Но молчать — это одно, а детей бросить — совсем другое. И, конечно же, она их не бросит. По крайней мере, не сейчас. Так я решил за Симона. Потому и старался его приободрить. Я в это верил.

Оставаться в кафе было нелепо. Ждать Одри следовало у Симона.

А прежде все-таки зайти домой. Я, конечно, рад оказать услугу, но позвольте мне, однако, забрать собственную почту. И автоответчик послушать. Не то чтобы я ждал от кого-нибудь звонка, тем более от Клеманс. Я и раньше общался с ней только лично. И не у себя, поскольку жил у нее. Во времена Клеманс у меня, кстати, и не было дома. Не нужен был. Нужна была только она. Присутствующая или отсутствующая. Середины не существовало. Потому-то я ее и ждал.

Впрочем, не знаю. Кто вообще что знает? Только вот домой мне идти не хотелось. Не то что жить там, а даже заходить, от одной мысли дурно становилось. Как подумаешь о тапочках. Кстати, надо захватить их к Симону. Почему нет, раз уж все равно провожу вечера у него, сказал я себе.

В почтовом ящике я обнаружил только конверты с окошечками. На свете мало вещей более удручающих, чем конверты с окошечками. Разве что, например, открытка от кузена, легко узнаваемая по корявому почерку, от кузена, который нас якобы очень любит, хотя на самом деле мы для него ничего не значим, а он делает вид, что значим, и получается только хуже, он нас прямо-таки распинает своей открыткой, указывающей нам, что мы никто и говорит с нами тоже никто.

По счастью, открытки от кузена в ящике не оказалось. Я достал конверты с окошечками и приложил ключ к электронному устройству домофона, чтобы открыть застекленную дверь. Заметил попутно, что еще не вписал свое имя в отведенную мне табличку и по-прежнему называюсь месье Чжуан, хотя это вовсе не я. Чужое имя меня, собственно, мало беспокоило, будь у меня настроение посмеяться, я бы даже посмеялся, но не надо ничего преувеличивать, я не смеялся, скажем так, мне просто было все равно.

Я отпер дверь в квартиру, что толку вилять, затягивать — не открыв дверь, в дом не войдешь. Еще прежде, чем я окинул взглядом комнату и вспомнил, что тут мой дом и надо мне с этим свыкнуться, еще прежде я заметил лампочку автоответчика. Она мигала. Я подошел ближе: два сообщения. Первое повергло меня в растерянность, оно было не от кузена, но в том же роде — от лицейского приятеля, которого я и в лицо-то не помнил. Только имя еще что-то мне говорило. Неделю назад он

увидел меня на улице, узнал, но подойти не решился, зато ему сразу столько всего вспомнилось. От его сообщения мне тоже многое вспомнилось, а лучше бы не вспоминалось, я тогда, мягко выражаясь, был хуже, чем теперь. Второе сообщение оказалось куда интересней. Это Одри, гласило оно. Франсис, мне нужно с тобой повидаться, оставляю тебе номер телефона, надо поговорить, так будет проще. Перезвони.

Не могу сказать, чтобы я хорошо помнил голос Одри. Я узнал его, но и только, несмотря на легкое искажение, какое дает автоответчик. Одри никогда прежде не оставляла мне сообщений, и я вообще в первый раз слышал ее, не видя и не имея возможности с ней поговорить и убедиться по ходу обмена репликами, что это действительно она, как это было однажды вечером, довольно давно, когда она ждала Симона, а тот опаздывал.

Я набрал номер. Подошел мужчина, я представился, попросил позвать Одри, секундочку, сказал тот. Я подождал. Затем услышал женский голос и снова узнал его, он звучал чуть-чуть высоковато, будто долго пробирался по гортани и наконец, вырвавшись на воздух, завибрировал, рождаясь. Это ты, Франсис, говорил голос, очень мило, что ты перезвонил, можем ли мы увидеться сегодня вечером?

Вопрос застал меня врасплох. Но я не стал ей врать и сразу ответил, что нет, не могу, поскольку сегодня вечером должен ждать ее вместе с Симоном.

Она не поняла, пришлось повторять. Сегодня вечером, повторил я, я должен ждать тебя у Симона, я сам сказал ему, что ты можешь вернуться со дня на день, и теперь помогаю ему ждать, понимаешь? А раз я жду тебя вместе с ним, я не могу увидеться с тобой без него, логично, по-моему. Разве что встретиться прямо сейчас и отвести тебя домой, добавил я, не веря, разумеется, сказанному, но беспокоясь о Симоне, да, о Симоне гораздо больше, чем о себе самом, ведь мне, если бы Одри вернулась, стало бы некого больше ждать.

Хотя все равно, ждать мне так и так больше некого. Даже Одри. Зато мне предстояла встреча. По счастью, не прямо сейчас, поскольку Одри в ответ на мой отказ предложила увидеться на другой день.

Ожидание, с точки зрения нормы, совсем непродолжительное, к тому же я был почти уверен, что встреча состоится, коль скоро Одри назначила ее сама. И потом, ждал-то ее Симон. Правда, теперь немного и я. Но мне ждать оставалось недолго, и вообще, у меня не было выбора. Впрочем, нет, как раз выбор-то и был. Я мог оказаться занят. Но мог и не оказаться. И я сказал, завтра — да. Можем встретиться.

Я был доволен, так как у меня появилось хоть что-то в будущем, пусть даже это не касалось меня непосредственно, вдобавок Одри назначила свидание на барже. Никогда прежде нога моя не ступала на баржу, и я подумал, что там всякое может произойти. Дурацкая, разумеется, мысль, на барже-то как раз мало что могло произойти, особенно учитывая наличие хозяев, некой супружеской пары, приютившей Одри, она познакомилась с ними, прогуливая детей на берегу Сены, и подружилась, и вот теперь живет у них, неподалеку, в сущности, не доходя моста Сюлли, если идти со стороны Аустерлицкого моста.

С тем мы и повесили трубки. Я только не понял, где в этой истории мужчина. Тот, что увел Одри. Мне не удавалось представить его себе на

барже рядом с этой парой. Потом представил. Он и Одри, и их друзья, у них зарождается своя особая жизнь, где время отмеряют прогулочные теплоходы и катера речной полиции. Потом я его снова потерял, перестал видеть. Он никуда не вписывался. Он был бесплотен. Ощутимым оставался только голос Одри, за ним чувствовалось присутствие реально существующей женщины.

Я вышел из дома, не взяв в итоге тапочек, поскольку с появлением Одри стало ясно, что у Симона я долго не задержусь. Я поспел как раз к ужину, Симон меня уже ждал, получалось, что теперь он ждал двоих, а пришел я один, да и то сказать ему ничего не мог. Я сознавал неестественность своего поведения и чувствовал, что он ее тоже чувствует, тогда он спросил меня в первый раз, что происходит, а я ответил: ничего, что у нас сегодня на ужин?

Разговор перешел на курятину, куры у Симона, понятно, имелись в избытке — из-за барсов. Если позаимствовать цыпленочка для детей, барсы даже и не заметят, это пустяк в сравнении с тем, сколько они пожирают, а цыплята, между прочим, откормлены зерном, мясо отличного качества, как и всякое другое, каким здесь кормят хищников. Я прихватил картошки, продолжал Симон, надо только ее почистить, что я сейчас и сделаю, а ты пока займись духовкой.

Хорошо, сказал я, нет проблем, но ты мог бы начать чистить картошку раньше и духовку разогреть. У себя дома Симон, как известно, к мясу не притрагивался, но, на мой взгляд, это не причина, чтобы не притрагиваться к духовке. Впрочем, я не рассердился, тем более что я у него ненадолго, и взялся за дело. Мальчики играли в своей комнате. Мы только попросили их, когда подошло время, накрыть на стол.

Пока готовили и ели, я все не решался спросить Симона, как продвигается его ожидание, потому что, открой я рот для ответа, пришлось бы лгать, а лгать Симону, которого я люблю, не хотелось. Но не хотелось также и говорить, что завтра я встречаюсь с Одри, он мог бы все испортить, потребовать у меня ее координаты, отправиться к ней, унизить себя понапрасну. Итак, я молчал, а Симон заметил, что если я пришел разделить его ожидание, то непонятно, почему я молчу. Ты виделся с Клеманс? — спросил он почти раздраженно. Потом добавил: извини меня, но что все-таки с тобой происходит?

Все в порядке, ответил я.

Мне его реплика не скажу чтобы понравилась. Симон прекрасно знал, что я не выношу ни малейшего намека на Клеманс, а потому я заявил, помолчав теперь уже по-настоящему, что если он хотел сделать мне больно, то ему это несомненно удалось, благодарю, интересно только, за что, что я тебе такого сделал, а? Что?

Симон принял виноватый вид, тем более виноватый, что, по его представлениям, как я полагаю, страдать полагалось ему. И его вид навел меня на мысль, что по крайней мере в этот вечер он не страдал. Когда дети ушли спать и мы остались в тишине, спорадически прерываемой звериным ревом, я спросил, действительно ли он ждет Одри сегодня вечером.

Мой вопрос его, похоже, не удивил. Не знаю, ответил он. И повторил: не знаю. Мне неприятно это говорить. Но, возможно, она правильно сделала, что ушла. А потому я...

А дети? — спросил я. Ты подумал о детях? А она, по-твоему, подумала?

Я по-прежнему не мог себе представить, чтобы Одри бросила детей. Впрочем, это уже моя проблема, я не стал развивать тему. Симон положил себе еще салата, который я приготовил из кукурузы, у Симона явно рос аппетит, а возможно, и живот, учитывая, сколько он съедает хлеба, подумал я. И спросил: так ты полагаешь, она не вернется?

Вернется, ответил он. Во всяком случае, зайдет. Рано или поздно.

Ты ее не любишь, упорствовал я.

Не знаю, ответил он.

Интересно, когда она вернется, ты ей так и скажешь "не знаю"? — спросил я. А я тут с тобой кого жду? Я кого жду, а? Ты можешь мне объяснить?

Ладно, не сердись, сказал Симон.

Я не сержусь.

Ты все-таки какой-то напряженный, заметил он. Необычно напряженный.

Возможно, признался я. Возможно, я напряжен, оттого что жду с тобой Одри в то время, как ты ее не ждешь. К тому же, если хочешь знать, я тоже ее не особенно жду.

Это скорее нормально, сказал Симон. Потому что я...

Нет, это не нормально, объяснил я ему. Я не особенно жду ее по причинам, касающимся только меня, добавил я холодно, так как разозлился на Симона за то, что он выходит из игры. Я бы и сам перестал верить в возвращение Одри, но мне предстояло встретиться с ней на следующий день и выслушать ее, причем исключительно ради Симона, и я даже подумал, что если так пойдет, то я сам выложу все Одри про Симона, про то, как он к ней относится, и ему скажу все про Одри, но я сдержался, не стал ему говорить, что его жена обнаружилась, — это на случай, если он все-таки ждал ее и только делал вид, что уже не ждет, с досады, и, следовательно, сохранил к ней немного любви, а тут все бы всплыло наружу, — я ничего не сказал, ограничился своей загадочной и бессодержательной репликой, а он ограничился тем, что констатировал мое плохое настроение.

Итак, опять молчание. Было еще не поздно, не так поздно, чтобы ложиться спать, и я боялся, что не засну этой ночью у Симона, мне почти захотелось вернуться домой, потому что тут, у Симона, я больше ничего не ждал, в то время как дома, где я раньше ничего не ждал, как раз что-то и произошло, и, может, подумал я, это знак. Знак, что Симон, принимая мою помощь, сам мне никогда не помогал и что надо мне заниматься собой и только собой и, в частности, встретиться с Одри, желавшей меня видеть, и нашей встречей завершить ожидание, которое меня так хорошо отвлекло от ожидания Клеманс. Хотя это и не в моих интересах, говорил я себе, зато свидание с Одри — реальность, одному мне принадлежащая, если только я его по своей инициативе не отменю, что, впрочем, не отменит самого факта появления Одри. Ведь не могу же я, отказываясь от встречи, искусственно продлевать отсутствие, которое таковым уже не является. Отсутствие женщины, которая меня ждет. Потому что я ей нужен. Нужен.

Мы по-прежнему молчали. Напряжение сгущалось вместе с темнотой за окном, она опускалась на платаны, окрашивала их в цвет неба. Ужин не удался, теперь мы потягивали вино, будто бы по-дружески, хотя в действительности старались не думать друг о друге, а то и мечта-

ли избавиться от тяготившего каждого из нас постороннего присутствия, я мог бы, например, подняться и уйти, поскольку был не у себя. Но именно в эту минуту Симон попросил меня остаться ночевать.

То есть остаться ночевать завтра. Словно бы ничего не изменилось. Он, видно, рассчитывал, что я скажу ему: да, разумеется, и сегодня, и завтра тоже, но я не мог этого сказать. Я был сердит. И потом, я был занят.

Мне, конечно, следовало сказать ему, что я сердит. Так было бы проще. Однако я сказал: нет, я занят.

Жаль, ответил он.

И кроме того, я на тебя сердит, добавил я.

Лучше бы ты был занят сегодня, заметил он.

Я перестал пить. Я даже стакан отпихнул. Надо было объясниться начистоту. Симон начинал меня раздражать. Он сделался каким-то скользким. Что ты сказал? — воскликнул я.

Мне было бы удобней, если бы ты остался завтра, потому что завтра мне нужно уйти, объяснил он. Без детей.

Я занят, повторил я.

Да, сказал он.

А Одри? — спросил я.

Она, возможно, завтра не придет.

Но ты-то уйдешь, сказал я.

Если ты сможешь остаться.

Но... сказал я.

Потому что теперь, понятно, я уже думал не о себе. И не об Одри, и не о Симоне. Я думал о няньке. Сначала просто как о няньке. Но потом.

А... — продолжил я.

Она очень хочет, чтобы я взял ее с собой на лекцию, сказал Симон.

Ну-ну, буркнул я.

Об акклиматизации чепрачных тапиров, пояснил Симон.

Понятно, сказал я.

Ничего тебе не понятно. Она хочет работать в зоопарке. Ей это интересно.

Я покачал головой. В этой истории с нянькой я был все более и более ни при чем. Первым моим желанием было сказать "нет". Нет, Симон, завтра я занят, выкручивайся сам. И добавить для убедительности: я как раз хотел с тобой об этом поговорить. Но, поскольку я действительно не собирался к нему приходить, я счел такую реплику излишней.

И тут что-то щелкнуло у меня в голове, промелькнула мысль, вернулась, обосновалась и стала хозяйничать, так что не выгонишь: я соглашусь. Приду завтра к Симону и присмотрю за детьми. Пусть отправляется куда хочет со своей девицей. Я позвоню Одри и скажу ей все как есть: я занят, сижу с твоими детьми.

Если хочешь, заходи сама.

Можешь даже с ними не встречаться, добавлю я. Заходи, когда они уже будут спать.

Объясню Одри, что нянька занята, у Симона возникли неотложные дела, я не мог просить его их отменить из-за моих собственных неот-

ложных дел, потому что не представлял себе, как буду ему врать, врать я вообще не умею, и он заподозрил бы обман.

Я не предам Симона, я его выгорожу. Но чему суждено случиться, случится. Я не передвину ни одной фишки в этой игре, которая и не игра вовсе, а жизнь. Предложив Одри зайти домой, я перемещу не фишку, а игрока. Прочее останется на своих местах. Каждый из нас исполнит отведенную ему роль.

Хотя свою, по правде говоря, я представлял себе не очень четко.

Итак, я согласился помочь Симону. Чтобы успокоить его окончательно, я подпустил в свой взгляд слабый лучик понимания. Симон, похоже, им удовлетворился. По-моему, он предпочитал не задавать себе вопросов и чтобы я ему их тоже не задавал.

Дети легли. Я решил сегодня же предупредить Одри, что завтра не смогу прийти на встречу. Проще всего было подождать и позвонить на следующий день, но следующий день показался мне для этого слишком далеким или, наоборот, слишком близким к завтрашнему вечеру, не знаю, только мне не удавалось втянуться в новый для меня вид ожидания и откладывать дело, которое надо сделать все равно. Кроме того, я заботился и об Одри, хотел заранее известить, что я не совсем свободен. Возможно, меня просто обуяла жажда деятельности. Ведь позвонить прямо сейчас от Симона я не мог. Следовательно, должен был отлучиться. А отлучиться было непросто, я боялся, что друг меня не поймет, особенно после того, как я согласился остаться еще и на завтра.

Все-таки я решился сказать ему, что мне нужно забежать домой сегодня вечером. Это была маленькая ложь, почти правда. А то и заночевать дома. Извини, сказал я, это не в укор тебе, просто мне так удобнее. И потом, сегодня ночью тебе не потребуется моя поддержка, добавил я не без коварства, совершенно, впрочем, излишнего, просто я хотел придать своему уходу больше правдоподобия, но не придал, поскольку Симон и так воспринял его с пониманием. Он в эту минуту все воспринимал с пониманием.

Возьми мои запасные ключи, сказал он. Ты сможешь вернуться, когда захочешь. А завтра вечером отдашь.

Я взял ключи. Возможно, они принадлежали Одри, или это третий комплект. Не беспокойся, сказал я, стоя на пороге, все уладится, все будет хорошо.

Что уладится?

Все, ответил я. Жизнь.

С этим утверждением, мне самому неясным, я его и покинул. Пусть думает, что ему заблагорассудится, сам я обычно осмыслял свои слова и поступки задним числом. Мое высказывание было адресовано ему, но не факт, что оно распространялось и на меня. В ту минуту я, наверно, испытал потребность поддержать кого-то или что-то, может быть, просто ход вещей. Меня самого поддерживать не имело смысла, я вступил в смутную полосу и должен был действовать механически, если хотел продвинуться вперед.

Что не мешало мне следить за собственным поведением, используя те преимущества, какие имеет сторонний наблюдатель.

На самом деле теперь мне не терпелось дозвониться Одри, это стало моей единственной целью. Сомнительная необходимость звонка

не останавливала меня, а скорее, наоборот, подстегивала. Сама мысль, что никакой спешки нет, позволяла мне выбрать спешку. И вообще, позволяла выбирать.

А выбор мой между тем обернулся проблемами, потому что, когда справа от меня остался пустой загон с удалившимися на ночлег страусами, а над головой среди сгустившейся тишины зашелестел от ветра платан, я обнаружил, стоя на набережной Сен-Бернар, что уже очень поздно. Близилась полночь, звонить Одри надо бы прямо сейчас, да и то с риском побеспокоить ее хозяев. А для этого найти автомат.

Впрочем, телефонной карточки у меня не было все равно. Мобильника тем более. Никогда не понимал, зачем он нужен.

Дальнейший мой расчет не оправдался. Добраться до дома и позвонить оттуда Одри в приличное время я не успевал, а потому решил пойти вдоль набережной в надежде наткнуться на прохожего, который одолжил бы мне мобильник. Нежность этой ночи позволяла предполагать, что на берегу реки я кого-нибудь да встречу.

На склонах парка Тино Росси под жидкими купами деревьев и в самом деле обнимались кое-где парочки, скрывая от глаз лишь перспективу своих желаний; мне довелось встретить молодую пару, а потом одинокого мужчину, впереди которого бежала его собака, не обошедшая меня своим вниманием, за что я погладил ее по загривку, но попросить телефон у хозяина не осмелился, равно как и у другого мужчины, шагавшего торопливо и, как видно, спешившего восвояси, куда-то далеко от этих необитаемых берегов, если только он не жил на барже; кстати, сам я, так и не попросив ни у кого телефона, приближался, между прочим, к плавучему жилищу Одри, отчетливо сознавая, что в такой час этого никак не следовало делать.

Но я все-таки это сделал, как делают набросок еще не оформившегося замысла или, вернее, как вырисовывают карандашом на бумаге деталь, когда целое еще неясно и заранее известно, что жирные линии тут придется потом стереть и начать все сначала.

Я прошел под мостом, основание которого избрали себе местом жительства лица без оного, они спали, примостившись среди металлических опор на матрасах, кое-где отгороженных занавесками, рядом лежали одеяла, кастрюли, стояла ржавая жаровня, складные стульчики и ободранные автомобильные сиденья. На дощечке красовались даже баночки с пряностями. Я никогда не бывал здесь прежде, разве что очень давно, не спускался на берег, окаймляющий парк, словно бы дальше парка ничего и не существовало, словно бы, начинаясь за тихой улицей, он поглощал все окружающее пространство; мне казалось, я заново открываю город, собор Нотр-Дам, сливающийся в ночи с островерхим силуэтом Святой Женевьевы на мосту Турнель, развилку реки, сквер на мысу между двумя ее рукавами, в один из которых вплывал ослепительный прогулочный кораблик.

Я отсчитал три баржи, на одной из них над самой водой горели огни, свидетельствуя о том, что там есть люди. За этими тремя стояла баржа, где жила Одри, я узнал ее не по растениям, скрывавшим палубу и, как объяснила Одри, выделявшим суденышко среди остальных, а просто по названию, которое Одри, разумеется, мне тоже сообщила, но я предпочту его не воспроизводить, настолько оно банально и даже

некрасиво. Оно нисколько не соответствовало моему настроению. Короче, баржа стояла тут, и на ней не светилось ни огонька.

Все, наверное, уже спали или, может, еще не вернулись. Я подождал немного без особой надежды, потому что баржи без огней ночью у причала выглядят заброшенными, покинутыми насовсем, такими, по крайней мере, они виделись мне и будут видеться всегда, хотя, конечно, я не собирался торчать тут всю жизнь и караулить, не обнаружатся ли на палубе какие-нибудь признаки жизни. Возможно, думал я, у меня появятся другие дела, если все пойдет успешно или даже неуспешно, все равно, ни при каком раскладе, я не представлял себе, что буду нести пожизненную вахту возле темных барж, сидеть как пришитый в траве на склоне парка Тино Росси под звуки тамтама, доносившиеся сквозь теплый воздух с противоположного берега; нет, повторял я себе, погружаясь мысленно в муаровые воды реки, все уладится. Проявлять упорство я не стал. Все равно было уже слишком поздно.

Я оторвал взгляд от пустой баржи. Поднимаясь наверх через парк, я не встретил Одри на своем пути. Домой вернулся на такси, от Сены это далеко, в общем, северный район, пока ехал, стало еще позднее, и вопрос о звонке отпал сам собой.

Получается, я мог с таким же успехом вернуться к Симону. Впрочем, нет, лучше все-таки домой, удостовериться, например, что на автоответчике нет новых сообщений. Сообщений, разумеется, не было, но это лишь доказывало, если тут требовались какие-то доказательства, что отныне все зависит только от меня, от меня одного.

Должен признаться, однако, что, возвратившись ночью в квартиру, которой определенно избегал, я ждал телефонного звонка, и не от Одри вовсе, с чего бы ей звонить, а от Клеманс, совсем теперь пропавшей. Я как бы давал ей последний шанс, с тем чтобы потом перестать ее ждать.

Я ждал ее, впрочем, на удивление спокойно и только то время — довольно долго, правда, — пока укладывался спать. Я мог бы и дольше и, в сущности, не столько даже ждать, сколько созерцать ее, застывшую в далеком отсутствии эдакой картинкой, которую мне не надо подносить к глазам, чтобы видеть, картинкой четкой, законченной, отобранной из лучших времен нашей жизни, я мог вызывать ее по своему желанию в любую минуту, и мне было не так уж нужно, чтобы она вдруг воплотилась в реальном голосе или лице, на ту картинку уже непохожих, ожидание превратилось у меня в привычку, и привычка эта, как и всякая другая, стала просто формой приспособления к жизни.

Я заснул, думая о Клеманс, лишь чуточку отпустив ее от себя, как бывает, когда спишь вдвоем и тела разъединяются, или, наоборот, когда тела сплетены, но ты забываешь о другом, утонув в его тепле; другого рядом нет, потому что ты с ним одно; он не существует для тебя как отдельный человек, к соединению с которым ты стремишься. Я хорошо поспал в забвении Клеманс и в мыслях о ней — я не ощущал разницы. И в мыслях, и в забвении я видел одну и ту же мумию.

Проснувшись утром, я подумал об Одри, теперь мне надо было ждать, чтобы не позвонить слишком рано. Я сделал над собой усилие, чтобы набрать номер не из дома, а только с работы, около половины двенадцатого, полагая, что, вернувшись поздно, она вместе с хозяевами проснется в одиннадцать от боя часов, а кроме того, я не обязан знать,

что она спит в такое время, равно как и ее хозяева, тем более в пятницу, интересно, кстати, живут ли они на ренту или работают, раз могут возвращаться так поздно, и что у них за профессия, если они позволяют себе спать до полудня. Между прочим, все хорошо в меру, ворчал я про себя, долго прислушиваясь к гудкам, но никто мне не ответил, даже автоответчик. Я набирал их номер целый день между деловыми звонками, пик пришелся на обед, по счастью, я никого не встретил и заглатывал сэндвич в телефонной будке, обзаведясь новой карточкой. Не тут-то было, у них по-прежнему никто не отвечал. Вот уже и вторая половина дня подкралась, пролетела, наступил вечер. Скверный день. Интересно, думал я, что делает Одри, а также ее хозяева, ну и этот, как его, мужчина, о котором я до сих пор и не вспоминал. Может, они отчалили, мелькнуло у меня в голове, но нет, что за глупость, это не помешало бы им снять трубку, даже наоборот. Я отправился к Симону. Прямым ходом. Не заглянув в кафе. С кафе покончено. Хотя дела мои не продвинулись. Ни в какой области. Я с горечью закрыл свой кабинет, будто захлопнул дверь в будущее. В профессиональное, понятно, закат которого начался, возможно, с моего опоздания и даже нерадивости, но и в личное тоже, поскольку свидание отдалялось по мере того, как приближалось назначенное для него время.

Симона я застал дома. Он был не один. Пока он открывал дверь, лежавший на ковре в гостиной барс Сарданапал стал медленно подниматься мне навстречу. Я замер на пороге, сочтя, что Симон повредился в уме, а мое свидание с Одри и в самом деле под угрозой срыва из-за неминуемых кровавых ран. Как мне себя вести? — тихо спросил я друга и протянул руку не к нему, а на всякий случай к зверю, вернее, простер ее в пространство. Что здесь делает этот барс? Погладить его? — спросил я еще, должен ли я его погладить? Да скажи ты хоть что-нибудь, рассердился я как можно сдержанней, а вместо Симона мне уже отвечал барс: понюхал мне пальцы, обнажил клыки и неожиданно зарычал, я подумал, что сейчас потеряю сознание, и закрыл глаза. Может, лучше сесть, мелькнуло в голове, падать будет не так высоко. Я нащупал локоть Симона и услышал его слова: он не опасен, к тому же, по-моему, ты ему нравишься; опираясь одной рукой на Симона, я нашаривал подлокотник кресла, куда бы сесть, или дивана, куда бы лечь, чтобы отдаться на съедение со всеми удобствами. Добравшись до кресла, я опустился в него, открыл глаза, и замершее было сердце снова забилось: барс мирно лежал на ковре. Я привел его детям, объяснил Симон, они его обожают, но предпочли бы собаку, они хотят собаку, а я собаку не хочу, не люблю собак, сказал он. Не волнуйся, сейчас я уведу его в клетку, мальчики у себя в комнате, они поиграли с ним пятнадцать минут, и им наскучило.

Симон выглядел огорченным. Я понемногу приходил в себя, разглядывал барса, совсем не злобного и словно бы домашнего, слышал его размеренное дыхание, он перевернулся на ковре и снова принял умиротворенную позу, в глазах его светилась бездонная, таинственная и холодная глубина, красивый зверь, подумал я, уже совершенно успокоившись, а Симон, ведь надо же, привел его сюда ради детей, как он старается, как прекрасно держит удар, говорил я себе, но, с тех пор как мы встретились, любил его все меньше, полагая, что, если я ему нужен, он мог бы принять меня и получше, проявить понимание, не требовать от меня так много, короче, он стал мне не врагом, нет еще, но стремитель-

но отдаляющимся другом, вынуждающим меня вдобавок разбираться с его женой, у каждого своя судьба, впрочем, нет у меня никакой судьбы, просто я рад хоть чем-нибудь заняться, а потому от Симона все-таки есть какой-то толк.

Он оставил меня с детьми, уведя с собой барса, как если бы отправился на прогулку с собакой, разница лишь в том, что барса он не прогуливал, а, наоборот, отводил домой. Шок у меня все еще не прошел, барс находился около меня недостаточно долго, чтобы я мог как следует ощутить его отсутствие, нет, впечатление все еще было вполне живо: белая в черных пятнах шкура на бежевом ковре, пасть, касающаяся моей руки, медленное движение мускулов, когда он поднялся навстречу, тощий, и двинулся ко мне, застывшему на пороге, его детская удовлетворенная расслабленность, когда он, шумно дыша, повалился на пол, бездонный взгляд, подобный мысли, и глуховатое предвестие рыка.

Я приготовил ужин, сидеть с детьми Симона было просто, они только готовить не умели, в общем, я сидел с детьми Симона без напряга, но с воспоминаниями о барсе, оставившими странный след, подобно иным мгновениям в жизни, которые пролетают так быстро, что доходят до сознания лишь позднее, когда уже промелькнули, и восстановить их невозможно. В отношении свидания с Одри складывалась обратная картина, я хорошо его себе представлял, а между тем оно могло не состояться, то же и в отношении детей, я сидел с ними, но их не видел, они находились у себя в комнате и ждали, когда я их позову, короче, я и реальность, мы пересекались, но не имели власти друг над другом, жизнь словно бы ускользала от меня из-за того что я не пытался ее поймать. Я и в самом деле не жил, но все-таки ждал, надеялся, действовал даже, только все утекало сквозь пальцы, потому что не было любви, была только эта женщина, позвонившая мне, хотя она мне никто, однако я боялся с ней не встретиться, мне казалось, что встреча с ней — единственная возможность грамотно перейти к завтрашнему дню.

Теперь я ждал, пока дети улягутся, чтобы позвонить их матери. Мне хотелось отправить их спать пораньше, так как свидание было назначено на десять. Эти мысли не способствовали нашему общению. Я не задавал им никаких вопросов, не спрашивал, как они провели день, кем хотят стать, во что играли в комнате, не пытался шутить, чтобы они чувствовали себя непринужденно. По счастью, они и так чувствовали себя вполне непринужденно, говорили спасибо, когда я передавал им соль или наливал воды, тихо заглатывали рыбу с пюре, обменивались намеками, но смысла их от меня не скрывали, всячески старались меня не волновать, а после фруктов как бы невзначай спросили, почему я не ночевал накануне. Дела были, ответил я, ничего особенного, просто у меня своя жизнь, свой дом, но сегодня я еще останусь на ночь. А завтра уже не придешь? — спросил Александр. Не знаю, ответил я, может быть. Если хотите, я в любом случае загляну к вам. Хотите? — повторил я, радуясь, что могу предложить им хоть такую малость. Да, да! — закричали они, и я понял, что покорил их сердца, непонятно, правда, чем, разве только достойным восхищения молчанием, редкостной способностью исполнять обязанности кормилицы, в остальном предоставляя их самим себе. Воспользовавшись своей популярностью, я отправил их спать. А почитать можно? — спросил Антуан. Пятнадцать минут, не

больше, ответил я, и не забудьте почистить зубы. Спокойной ночи, свет погасите сами.

Мы еще не приняли душ, вставил Александр.

Душ пропустим, сказал я. Вы от этого не умрете. Надевайте пижамы.

Тут я, конечно, рисковал, зная, как строго у них выдерживаются правила гигиены. Мальчики, однако, послушались. Я поцеловал их в лоб, затолкал в комнату и кинулся к телефону.

Как бы не так. Телефон не отвечал. Было уже четверть десятого, дети не спали, а через сорок пять минут у меня было назначено свидание на барже. И не просто назначено, я обязан был на него прийти. Или связаться с Одри и предложить ей навестить меня у нее дома.

Главное сейчас, решил я, это чтобы дети заснули. Я намеревался бросить их, чтобы вовремя встретиться с их матерью. Но они не должны были знать, что остаются одни.

Я заглянул к ним в спальню. Они тихонько переговаривались при потушенном свете. Я велел им замолчать и спать. Предупредил, что выйду на минутку взглянуть на барсов, дескать, Симон просил. Просил посмотреть, хорошо ли Фоли спит по ночам, объяснил я, он беспокоится, Фоли, похоже, играет вместо того, чтобы спать, а это ей не на пользу.

Моя ложь произвела, вероятно, впечатление, но вопросов задавать они не стали.

Спите, сказал я. Я прикрою дверь, потому что в гостиной свет. Но совсем закрывать не буду. Хорошо?

Хорошо, ответил Александр.

Не волнуйся, сказал Антуан.

Я собрался, надел куртку и с ключами в руке набрал номер. Никого. Время — девять сорок пять. Я вышел.

Миновав ограду Ботанического сада, я нажал кнопку светофора, перешел набережную Сен-Бернар и проделал по берегу тот же путь, что прошлым вечером, только быстрее. Баржа стояла без огней. И только на покатой лужайке, где я сидел накануне, я заметил женскую фигуру, тоже сидящую, и пришел к выводу методом исключения, что это Одри. Ее освещал фонарь. Она мало походила на женщину, которую я видел в последний раз месяца четыре назад в присутствии Симона и Клеманс. Круги под глазами оттеняли ее взгляд, взгляд этот терялся, но не в пустоте, а, как мне показалось, на пути к моему — пути трудном, рискующем вот-вот оборваться на стадии избирательной слепоты, которая помешает ей меня увидеть. Она и в самом деле не вставала, это я шел к ней.

Взгляд, отделившись от нее, летел посланником, облеченным всеми полномочиями, которыми наделила его подпертая сцепленными ладонями поникшая усталая голова на таких же усталых плечах. В этом взгляде я прочитал то же стремление к узнаванию, какое чувствовал сам, она как будто ждала, когда я подойду ближе и она окончательно убедится, что это я, словно бы, приближаясь к ней, я разорвал тонкую пелену сна, ее и моего тоже, и попал в реальность, где мы родились друг для друга в самую минуту нашего свидания.

Наклоняясь к ней для поцелуя, я украдкой взглянул на часы и констатировал ровно десять. Теперь я узнал ее окончательно, точнее, удостоверился, целуя, что это она, хотя уже не видел ее целиком, а еще точ-

нее, понял, что она не совсем та, с которой я был знаком, и что мы встретились впервые. В этой встрече было что-то волнующее, как если бы она и в самом деле ждала меня не для разговора, а для того, чтобы родился скрытый от посторонних глаз ночной поцелуй в щеку, родился вдали от городской суеты, вне времени, ибо время все сосредоточилось в настоящем, не связанном с нашими жизнями, но наполненном ими, будто бы они слились в одну совсем еще короткую жизнь, новую и непредсказуемую.

Меня заносит. У нас было обыкновенное деловое свидание, и поцелуем мы лишь вознаградили друг друга за пунктуальность. Кроме того, Одри, вероятно, еще и благодарила меня за готовность оказать ей помощь. И все же ощущение возникшей близости — ощущение встречи — не исчезало, возможно, потому, что, будучи едва знакомы, мы неожиданно оказались связаны доверительностью разговора, который нам предстоял.

Я ждала тебя, сказала она, поднимаясь с травы, видимо поняв по моему поведению, что я не собираюсь рассиживаться, а, наоборот, намерен увести ее отсюда, куда-нибудь подальше от темной баржи; я взял ее под руку и увлек направо, объясняя, что оставил мальчиков одних.

Скорей, сказал я.

Мы шли быстро, я вел Одри к ее собственным детям, которых она покинула, не сказав ни слова, но возможность увидеть их, похоже, мало ее волновала. Она, судя по всему, как я и думал, не собиралась будить их, если, конечно, и в самом деле не решила вернуться к Симону, но последнее, по мере того как сокращалось расстояние до зверинца, казалось мне все менее вероятным. Какое-то сомнение или просто физическая усталость вынуждали Одри то и дело замедлять шаг, и мне приходилось ее слегка подталкивать; узнав, что сегодня вечером я сижу один с ее детьми, она никак не отреагировала, словно это было совершенно естественно с моей стороны; но какие бы чувства она ни питала к детям, я видел, что она безо всяких угрызений совести оставила их на попечение Симона, доверилась на время его слову, будто бы открыла скобку и закроет, когда сочтет нужным; только вот возвратиться к Симону даже сегодня вечером, когда его нет, было выше ее сил. И, разумеется, только отсутствие Симона позволяло мне чуть ли не насильно тянуть ее к дому.

Тут можно возразить, что я приписывал ей мотивы поведения, не заботясь об их достоверности, или попросту думал за нее. Это справедливо. Да, я вел ее, и я же заполнял своими мыслями ее молчание. Меня мало беспокоило, ошибаюсь я или нет. Я испытывал совершенно новое ощущение, новое не только по отношению к ней, но и вообще в моей жизни, Одри казалась настолько покорной, настолько безропотной, что я невольно отдавал ей все: руку, которая ее вела, время, силы, мысли. Я словно бы шел с женщиной, выздоравливающей после тяжелой болезни, она ждала меня, чтобы поговорить о другом человеке, но не говорила о нем. Наверное, нужно было довести ее до дома и наконец остановиться, потому что ходьба, как видно, несмотря на то что я сжимал ее руку, или, может, именно поэтому, мешала ей найти слова, которые она через меня предназначала Симону, и выстроить их так, чтобы они обрели смысл, она словно бы полагала, что неподвижность тел послужит им опорой и тогда они впишутся в тишину, которая невозможна при ходьбе.

Я тебя ждала, повторила она, когда мы по проложенной среди кочек парка Тино Росси лестнице поднимались к набережной Сен-Бернар. Я ждала тебя три дня.

Она высвободила локоть и сама взяла меня под руку. Сжала мне локоть. Я понял, что происходит что-то ненормальное. Отстранился слегка. Не то чтобы я хотел от нее освободиться, вовсе нет, мне даже понравилось, что она взяла меня под руку, это было трогательно, но замедляло ходьбу. И потом, насчет трех дней тоже не очень понятно.

Надо было позвонить раньше, сказал я. Я бы пришел.

Мы стояли теперь на тротуаре набережной Сен-Бернар, от зверинца нас отделяла лишь бешеная скорость проносившихся мимо автомобилей, такая, что, несмотря на их малое количество, мы не могли перейти улицу без риска. Я нажал кнопку светофора. У края проезжей части теплой ночью мы стояли одни и ждали, когда светофор позволит нам двинуться дальше. Я нервничал. Из-за детей.

Я не хотела звонить тебе раньше, сказала Одри, отпустив мою руку. Это трудно объяснить.

Для машин наконец зажегся красный.

Объяснишь потом, сказал я. Переходим.

Я ступил на проезжую часть. Ей пришлось последовать за мной. Хочешь не хочешь. Открыл ворота своим ключом. Мы вошли в сад. Звери все уже попрятались, кроме, понятно, птиц по правую руку, спавших на открытом воздухе. Шум набережной остался позади, нас встретила темнота. Одри молчала, ожидая приглашения заговорить.

Мы обогнули фонтан, поднялись на крыльцо с колоннами, пошли по лестнице, ключи от квартиры я держал в руках. Я впустил Одри к ней домой. Дети, похоже, спали. Одри принялась шагать взад-вперед по комнате. Проблема ходьбы не решилась.

Не хочешь присесть? — спросил я.

Нет, она явно не хотела. Наши взгляды скрестились. Разошлись. Сошлись снова. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я смутился. Одри тоже. Мы оба не знали, что делать.

Ты говори, говори, сказал я. Я сяду. Можешь на меня не смотреть. И я на тебя не буду, если не хочешь.

Я отвел глаза, сел, подождал. Одри прошествовала мимо меня к окну.

Не говори ничего, стоя ко мне спиной, заметил я. Так обычно делают в кино. Мне сейчас смешно станет.

Вообще-то мне было не до смеха.

Так лучше, сказала она.

Ну, спиной так спиной.

Хорошо, сказал я, стой, как хочешь.

Она произнесла фразу, выражавшую, судя по всему, законченную мысль. Но я ее не расслышал.

Я не расслышал, сказал я.

Одри обернулась.

Я ушла, чтобы ждать тебя, сказала она.

Она снова заходила по комнате. Я остался с ее фразой на руках. Фраза кое-что весила. Хорошо еще, я сидел и мог спокойно разглядывать свои ботинки. В этом удовольствии я себе не отказал. Наконец Одри тоже

села, думаю, чтобы сменить положение. Села в кресло и, к счастью, не напротив меня.

Кажется, я что-то понимаю, сказал я. Но не совсем. Если тебя не затруднит, объясни поподробнее. Возможно, правда, я требую слишком многого. Тогда тоже скажи.

Я был совершенно открыт. Готов был даже ошибиться. Меня не смущало, что я могу ошибиться. Одри держалась очень мило.

Что ты понимаешь? — спросила она.

То, что ты сказала. Ты ушла, чтобы ждать меня.

По моему виду нельзя было сказать, чтобы я много понимал. Собственно, кроме этой фразы, я ничего не понимал.

Ушла откуда? — спросил я.

Думаю, это был правильный вопрос, даже если она на него уже ответила.

Из дома.

Она села. То есть нет, она уже сидела. Просто задвинулась поглубже. В мягкое кресло.

Я больше не могла выносить Симона, сказала она мне. Когда я начала тебя ждать, я перестала его выносить. Нет, не так, я не выносила его и раньше. До того как начала тебя ждать. Но тебя я жду уже довольно давно. Год. Полгода. Особенно с тех пор, как ушла Клеманс.

Три месяца, уточнил я.

Я реагировал вяло. Регистрировал информацию, и только. Предполагал обобщить ее. Но позже.

И тогда я стала тебя хотеть, продолжала Одри. (Она обращалась вовсе не ко мне.) А Симона не хотела. И ждать тебя у него дома тоже не хотела. Тем более что ты перестал приходить. Я решила ждать тебя в другом месте.

На барже, догадался я.

Я пытался обозначить для нас точки отсчета.

Все равно где, сказала Одри, по-прежнему не глядя на меня. К счастью. Все равно где, но не в его доме, добавила она, куда ты перестал приходить. В таком месте, куда бы ты сам ни за что не пришел. Но где я могла бы ждать тебя. Я ведь прождала целых три дня. Только потом позвонила.

Эта идиотка, конечно, напомнила мне о Клеманс. Я встал.

Ты единственный, сказала она мне.

Я предпочел спросить, не хочет ли она взглянуть на детей.

Неудачный вопрос. Не дожидаясь ответа, я поинтересовался, что должен передать Симону.

Не знаю, ответила она. Я ничего не знаю о своей жизни.

Я, вероятно, выглядел растерянным. Я и был растерян. Она тоже.

Думаю, для начала надо успокоиться, предложил я.

Наступило молчание. Немного помолчать было просто необходимо. Мы сидели в креслах лицом к дивану. На диване я на мгновение вообразил Симона с нянькой. Когда-нибудь потом, позже.

Причем сильно позже, сказал я себе. Я чувствовал, что не готов. Надо было подумать. И все-таки посмотреть на Одри. Увидеть ее. Чуть-чуть позже, сказал я себе.

Взглянул на часы. Половина двенадцатого. Интересно, когда вернется Симон. Вот не догадался у него спросить.

Я не знаю, когда вернется Симон, сказал я. Тебе нельзя больше задерживаться. А я должен остаться.

В сущности, я и обдумать ничего не успел. Это меня нервировало. Для спокойствия придется выбрать другое время.

Одри встала.

Ты хочешь увидеться со мной еще?

На самом деле да, я хотел увидеться с ней еще. Просто потому, что сейчас элементарно не хватало времени. Чтобы созреть.

Детям надо что-то сказать. Например, что ты отправилась в путешествие, предложил я.

Симон, наверное, им уже что-нибудь сказал.

Ты права. Наверняка сказал.

Ты завтра не работаешь? – спросила она.

Нет. Завтра суббота.

Если ты не занят, мы могли бы завтра увидеться.

Да, сказал я.

Можно встретиться на набережной.

Чуть подальше, сказал я.

На барже, предложила она. В каюте. Их не будет.

Тогда в час.

Не знаю точно, почему я сказал "в час".

Да.

Я проводил ее до двери. Она протянула руку к моей шее. Дотронулась до воротника. Воротника куртки. Поправила его. Я ведь не снял куртку. Она отняла руку.

Симон может вернуться с минуты на минуту, сказал я. Подожди. Я гляну в окно.

Подбежал к окну. Нигде никого.

Иди, сказал я. До завтра.

И закрыл за ней дверь.

Симон вернулся поздно. Один. Я спал. Заснул с трудом. После его прихода заснуть уже не смог. Притворился спящим. Боялся, что Симон заглянет в комнату для гостей, захочет со мной поговорить. Он не заглянул. Меня его судьба теперь не слишком интересовала. И видеть его физиономию хотелось пореже. Одри пришла сюда ради меня. И ушла тоже.

Я сам не понимал, что я для этого сделал. Разве что любил Клеманс. И ждал ее. Ничего больше. Это примерно все, что Одри знала обо мне. Что я люблю. Даже про ожидание не знала. Она и видела-то меня раза четыре-пять. С Клеманс. А после я у них не бывал. Я ее не увидел. Или едва-едва. Скрытная. Это я заметил. Она что-то скрывала. Но она меня тогда не интересовала. Я ее не ждал. Я ждал ее только со вчерашнего дня. И не ради себя. Разве что чуть-чуть. Но ждал. И с какой-то все-таки целью. Этой целью была она сама. Стала теперь она сама. Словно бы формальное ожидание наполнилось содержанием.

Существовала женщина, которая меня хотела. Я ее не любил. Но.

Но она поправила мне воротник.

Вот так взяла и поправила.

У Клеманс ушло на это три года.

У Одри нет.

Она не стала ждать, чтобы поправить мне воротник.

Она ждала для этого только меня.

И просто поправила.

Я ее не любил, нет. Но жест мне понравился. Он меня тронул. Меня тронула женщина, которую я не любил. Которую я ждал для другого. Может быть. Посмотрим, сказал я себе. Завтра. В любом случае у меня завтра свидание. Это хорошо. А то сегодня я ее даже не разглядел. Едва взглянул.

От Симона я ушел утром, на три часа раньше, чем нужно. Об Одри мы больше не говорили. О няньке тоже. Я поцеловал детей, чувствуя, что больше не вернусь. Отдал Симону ключи.

Ты позвонишь? — спросил он.

Да, ответил я.

Зная, что лгу. Я шел на встречу с его женой.

Возможно, я даже пересплю с его женой. Все к тому идет. Почему бы нет? Раз она этого хочет. Видимо, хочет. И тогда все станет ясно.

Нужно, наверное, чтобы я ее захотел.

Но спешить совершенно некуда. Разумнее сначала ее полюбить. Зачем делать ей больно? Ведь она меня любит. Ну, как я ее понял. Само собой, я мог ошибаться.

Последнее предположение я отбросил. В своей жизни я слишком часто его допускал. И оно слишком часто подтверждалось. Но сейчас нет, сказал я себе.

Итак. Она меня любит. Надо спросить ее почему, подумал я. И как. Словом, ситуация не из худших.

Но это все равно что идти на свидание без цветов. Хорошо бы ей что-нибудь принести. Немного любви, подумал я. Капельку для начала.

Это было не очень сложно. Любви у меня в запасе хоть отбавляй. Все, что я недодал Клеманс, лежало мертвым грузом, или нет, не так, я слишком много отдал Клеманс, и от этого во мне образовалась пустота, но если вложить в нее чуточку надежды, какую-нибудь крупинку, может, пустота и заполнится.

Я шел как по угольям. Попутно думал о том, почему предложил час дня. Скорее всего потому, отвечал я себе, что имел смутное намерение пообедать с ней. Чтобы мы не сидели просто так друг против друга, а были чем-то заняты. Я рассмотрел бы ее в подходящей обстановке. Время от времени она глядела бы себе в тарелку. А я тогда видел бы ее со стороны.

Предполагалось, разумеется, что она приготовит на барже обед. Или нет, подумал я, лучше мы где-нибудь еще пообедаем. На берегу.

Я опережал события. До баржи я еще даже не дошел.

Но, как это и бывает, — взять хотя бы мое возвращение домой накануне, — можно выйти раньше или позже, можно медлить и тянуть, все равно придешь, куда шел.

Я поднялся на палубу, она была совершенно пустынна. Я так говорю пустынна — понятно, я не ожидал увидеть там толпу. На той стороне, что обращена к реке, стояли два пустых шезлонга, скрытые кадками с бамбуком. С плывущего по Сене речного трамвайчика доносился приглушенный рассказ экскурсовода, на стульях рядами сидели люди и фотографировали солнце, они меня видели.

Я постучал в дверь каюты, я гордился в душе, что солнечным днем спускаюсь в недра стоящего на причале судна. Не могли же те люди знать, что я здесь в первый раз.

Моя первая баржа, говорил я себе. Я пытался смотреть на вещи со стороны. Моя первая баржа и женщина на ней, женщина, которую я не люблю, зато она любит меня и специально решила ждать меня тут, зная, что я сюда не приду.

И вот я пришел.

Пришел туда, где она меня ждет.

Замечу, она упростила себе задачу, взяв и позвонив мне по телефону.

Она сжульничала, сказал я себе.

Но и я тоже.

Я тоже жульничал. Когда ждал ее.

С Симоном.

Как если бы.

И вот.

Постучал в дверь каюты.

Совсем как если бы.

Я нес маленький запас любви, так сказать, в ручном багаже, а именно в голове или, может, в сердце, для меня это одно и то же, я словно бы прихватил его с собой в короткое путешествие, дня на два, не больше, как раз на уик-энд.

Одри, разумеется, появилась снизу, иначе и быть не могло. Она поднималась мне навстречу. Я ее не слышал. Надо же, какая глубокая штука баржа, подумал я. Целое дело подняться.

Я увидел ее в круглое дверное окошко. На долю секунды. То есть, можно сказать, и не увидел вовсе. Только улыбку. Но улыбка эта говорила, что сейчас она мне откроет и уже открывает, что она рада открыть мне дверь, а если рада, значит, на что-то надеется.

Ну, например, что я пришел не напрасно. Она даже была в этом уверена. Так мне показалось. Я же нет. Я был уверен только в том, что пришел.

И то не совсем. Хотелось бы увидеть себя, чтобы в этом убедиться.

Она открыла дверь. На мгновение дверь загородила ее лицо.

Потом она появилась снова. Появилась вся целиком. Сказала: входи.

Увидишь тут ее, как же. Она пропустила меня вперед. Мы вошли в рубку. Она указала на лестницу. Добавила: осторожно, не стукнись головой. Я стал спускаться.

Внизу, и не так уж глубоко, помещалась гостиная, ковры, какие были у меня в детстве, и мебель, которая могла бы принадлежать моей матери. Круглый стол, на нем газеты, свежие, диванчик, обитый ситцем, картины с изображением лошадей и окна. Настоящие окна. В гостиной было светло. Мы находились выше уровня воды.

Хочешь что-нибудь выпить?

Я ответил: да. На самом деле я хотел есть. От всего происходящего у меня разыгрался аппетит. Она сунулась в буфет. Хоть бы она села, подумал я. Она стояла наклонившись, я видел ее в три четверти. Потом она повернулась ко мне с двумя стаканами и, соответственно, бутылкой в руках. Но продолжала молчать, и тишина мешала мне сосредоточиться. Хорошо бы навести ее на какой-нибудь банальный разговор, например, о жизни на воде, такой неподвижной, если не считать качки, а вода

течет себе и течет, ну, во всяком случае в реке, короче, казалось бы, подходящая тема, но не получилось. А ведь мне как раз хотелось сидеть спокойно и смотреть на нее, думая о другом.

Все это так странно, сказал я.

Для банального разговора не слишком удачное начало.

Что тебя удивляет?

Ты, сказал я. Ну, что ты мне позвонила. Что именно ты. И что я.

Я встретился с ней взглядом. Н-да.

Ты хочешь сказать "мы".

Я опустил глаза. Я пока еще не ощущал себя внутри этого "мы". Я не прочь был подойти поближе и, собственно, уже подошел и вглядывался в пейзаж, где якобы должен был находиться вместе с ней, но ничего определенного не видел, все расплывалось.

Как вода за окнами.

Чем я это заслужил? — спросил я. Разве я что-то такое сделал? Мы едва знакомы.

Я не решаюсь говорить с тобой о Клеманс, ответила она.

Теперь она уже сидела за столом, держала стакан, я тоже. То есть мы сидели вместе, рождалась какая-то атмосфера, но я ее, эту женщину, пока еще видел смутно и говорил себе, что торопиться некуда. Кстати, сообразил я вдруг, упоминание о Клеманс не сделало мне больно. Что за поразительные минуты.

Не понимаю, при чем тут Клеманс, заметил я.

И подумал: надо же. Я это имя вслух произношу. И ничего. Я чуть было руки не потер от удовольствия. Кажется, эта девица начинает мне нравиться. Я такого не предполагал. Что она мне просто понравится. Что мне с ней будет приятно. Вот так спокойно говорить о Клеманс. Я грежу.

Не заводись. Выслушай сначала, что она скажет.

Ты на нее так смотрел, сказала она. Что же она должна была чувствовать! Я воображала, что́ она чувствует. И что́ чувствуешь ты. Я тебя видела.

Я взглянул на нее. Трудно, сказал я себе, как следует видеть женщину, которая на вас смотрит. Смотрит, как вы смотрите. На другую. Оставаясь к ней в профиль.

Но я не мучился. И даже начинал всерьез ощущать голод.

Мне хотелось оказаться на ее месте, сказала она. Под твоим взглядом. А будь ты один, я бы этого взгляда не увидела.

А если бы я смотрел на тебя? — спросил я.

Чтобы поддержать разговор. Я на нее тогда не смотрел. И сейчас не смотрел тем взглядом, какой подразумевался в моем вопросе, и это могло ей не понравиться. Но ведь и не предполагалось, что я ее люблю. Не все сразу.

Если вот так, как сейчас, это не произвело бы на меня впечатления, подтвердила она. Не тот взгляд.

Пока у меня другого нет, сказал я.

Я не то чтобы упрямился специально. Но я не умею лгать. И потом, все было чуточку сложнее. Она видела, что я ее не люблю, и я на нее за это сердился. И оттого любил еще меньше. Она меня даже раздражала слегка. Что меня нисколько не огорчало. А я-то еще думал, что эта женщина мне нравится.

Можно пойти куда-нибудь пообедать, предложил я.

Можно перекусить здесь, сказала она. Как насчет салата?

Я ничего не имел против. К салатам я привык. Мы уже сидели за столом. Оставалось его накрыть.

На суденышке имелась и кухня. К ней из гостиной вел коридор. Я пошел следом за Одри. В окне над раковиной качался какой-то утлый парусник. Парусник без парусов. Его проржавевшая палуба то поднималась, то опускалась, мы тоже покачивались. Справа по борту шел прогулочный теплоход.

Я предложил ей помочь. Порезать помидоры. Открыть консервы. Она давила чеснок. За неимением иных вариантов я взглянул на ее руки. На нее саму решил пока не смотреть. Подумал, что еще будет время. Наступит минута, когда я решусь сделать это спокойно. За едой, например. Как и предполагал изначально.

И такая минута наступила: увидев одни только ее руки, ну, правда, еще и профиль немного, я заметил, что мне нравится ее рот, в профиль, понятно, а также посадка глаз, особенно веки, я раньше не обращал внимания на ее веки и на форму глаз под веками, особенно сбоку, форму того, что называется, кажется, глазным яблоком, и я подумал, что женские глаза можно любить за их рельеф, в общем, наступила минута, когда мы снова сели за стол, но теперь мы не только пили, теперь приходилось подолгу жевать, и я использовал это время для размышления, в частности, о том, какое впечатление производит на меня эта женщина. Однако она меня прервала и спросила, почему я пришел.

Я на секунду замялся, мне самому это было еще не совсем ясно, я только начал открывать для себя ее лицо в фас, и она мешала мне сосредоточиться, потом я ответил, что просто исключил причины, по которым мог бы не прийти. Нельзя ли точнее? — спросила она.

Нет, ответил я, помешкав. Ну то есть главное, что я был свободен и имел возможность выбирать. А не приходить — это не выбор. Это ничто, даже не отказ. Хотя нет, поправился я, то-то и оно, что всего-навсего отказ, эдакий скучный никчемный отказик. Не уверен даже, что в нем был бы хоть какой-то смысл. Из него каши не сваришь.

Значит, ничего особенного ты ко мне не испытываешь, сказала она.

Если честно, ответил я, еще рановато. Нет, я не говорю, что ты мне не нравишься, вовсе нет. У меня даже складывается впечатление, что ты мне нравишься, да-да, мне кажется, ты мне нравишься, но ты на меня давишь, объяснял я, ты слишком торопишься, я тебя еще толком не увидел, мне нравятся твои глаза, это правда, и рот, да, теперь и рот, и то, что ты меня ждала, не буду скрывать. Я уже начинаю тебя видеть, и голос твой мне тоже нравится, в тебе много такого, что меня трогает, я чувствую, что мог бы взять тебя, например, за руку чуть ниже плеча, сжать, видишь, я говорю тебе все как есть, вот сейчас мне даже захотелось тебя поцеловать, и я тебе об этом говорю, но я не знаю, совершенно не понимаю почему, за исключением, может быть, взгляда, в общем, не знаю, давай доедим.

В действительности же я пытался успокоиться. Возбуждение мое достигло такого накала, что мне необходимо было немного остыть, чтобы не наделать глупостей.

К несчастью, Одри почему-то как раз в этот момент перестала работать вилкой. Отложила ее совсем. Наверное, я отбил ей аппетит. Сам же я деловито продолжал вилкой орудовать, цепляя салат и отдельные его

ингредиенты, чтобы снять напряжение, которое, если по правде, только нарастало во мне. Я просто хотел утолить голод, дабы хоть чуть-чуть успокоиться.

Каким же я все-таки бываю лжецом, сказал я себе. Потому что на самом деле я теперь сознательно тянул время, чтобы все как следует созрело. Одри между тем поднялась, обогнула стол, встала позади меня и положила руку мне на плечо.

Доедай, не спеши, сказала она, торопиться нам некуда.

Одной рукой я продолжал есть, другой поглаживал ее руку, и ясно было, что остается только соскользнуть вместе с ней в сторону желания, уложить ее куда-нибудь, что ж, говорил я себе, нет проблем, это превосходит все мои ожидания, она меня возбуждает, мне нравится, когда она до меня дотрагивается, бог с ней, с любовью, после разберемся, в конце концов, я не каждый день забываюсь, забываю Клеманс и, кстати, уже забыл ее, словом, я выпил еще стакан вина, чтобы запить последний кусок, и уже собрался встать, но нет. Одри просунула мне руку за ворот рубашки.

Теперь ей было наплевать, что мой воротник в беспорядке. А вот мне следовало догадаться еще вчера, когда она мне его поправила, что кончится это плохо, женщины делают вид, будто вас одевают, а на самом деле вот вам результат, ее рука уже пробирается к моему торсу, хорошо ли это, сказал я себе, но, с другой стороны, не буду же я себя всего лишать, если она мне нравится, я же не специально так делаю, чтобы она мне нравилась, а теперь она уже расстегивает мне рубашку, даже перестала меня гладить из-за этого, расстегивает пуговицы обеими руками, а я ничего не делаю, я жду, пусть погладит меня еще, пусть разденет, я, пожалуй, предоставлю всю инициативу ей, такая, похоже, сейчас фаза, даже раздевать ее не буду, сейчас, по крайней мере, — судя по началу, она сама это сделает, все сделает сама, коли на то пошло, мне кажется, ей не нужно, чтобы я шевелился, она предпочитает, чтобы я оставался за столом и она сама мной распоряжалась, что ж, пусть так, сказал я себе, я согласен, нет проблем, подойди теперь с другой стороны, стань на колени, прижмись головой к моему животу, да, я не против, и как только я это подумал, в ту же самую секунду, она именно так и поступила, прижалась головой к моему животу, губами, стало быть, тепло ее губ, моя расслабленность, ее решительность, и сразу пальцы тянут за ремень, возятся с пряжкой, теперь опять расстегивают, сжимают, снова губы, голова не наклонена, просто на одном уровне, жар ее рта, языка, пальцев, и я весь там, где она так старательно трудится, весь на краю себя, напряженный, ожидающий, полный желания, я даже вмешиваюсь, помогаю ей, использую ее, не заботясь ни о чем, ни о ком, лишь бы кончить, выплеснуться, и вот кончаю, отдавая ей все, что имею, не очень много в сравнении с тем, сколько можно накопить любви за целую жизнь, но все-таки, извержение, радость, успокоение, неподвижность, ее сомкнутые губы, еще немного содроганий, а потом только нежность и тепло, мне хорошо, проговорил я, положив руку ей на голову, хорошо, слышишь? М-м, промычала она. Нет, погоди, сказал я, мне кажется, сюда кто-то идет. Ага, сказала она. Пошли.

И потащила меня по коридору, толкнула какую-то дверь, там оказалась спальня, кровать, ложись, сказала она. По-прежнему слышались шаги,

кто-то прошел через гостиную, крикнул: ты здесь? Да, ответила Одри через закрытую дверь, она пока еще стояла, я же укладывался, ничего другого мне не хотелось, хотя, конечно, кофе, думал я, чашечку кофе, пусть даже и с этим типом, впрочем, нет, лежи, она сейчас придет к тебе, вернется, а тот, хозяин, обойдется. Я здесь, продолжала Одри, но не одна, увидимся позже. Конечно, конечно, не беспокойся, отвечал голос, я, может, пока отключусь, вы не против?

Что он говорит? — не понял я.

Он отключится, объяснила Одри, тросы там всякие, провода, водопровод, телефон, электричество, думаю, он собирается отплыть, это в честь твоего прихода, видишь, он оставляет нас наедине, но будет сопровождать, я ему про нас рассказала. Про нас? — спросил я. Ну, про себя, поправилась Одри, и про тебя, про ожидание. Он знал, что ты придешь, понимаешь? Нет, ответил я не слишком решительно, он это с какого времени знал? С тех пор как ты сказал, что придешь, проговорила Одри, присаживаясь на край постели. С тех пор как мы назначили свидание. Ну конечно, как это я сразу не догадался, и, стало быть, он ушел, пока ты меня ждала, и вернулся, когда я тут, причем вернулся без жены, что ж, нормально. Не знаю насчет жены, возразила Одри, а сам он появился, конечно, чуть рановато, но он хотел тебя увидеть, я им о тебе рассказывала, это мои друзья, и он мой друг, он хотел с тобой познакомиться. С ума сойти, сколько людей жаждут вдруг меня видеть, заметил я, сраженный аргументом, не многовато ли, но что это, шум мотора? — спросил я. Он нас увозит? Кормчий любви?

Не ерничай, ответила Одри, лежи спокойно, поспи, если хочешь, не обязательно тебе о нем думать, он решил отшвартоваться, чтобы нам не мешать, вроде как оказать гостеприимство, но ненавязчиво, ты увидишь, он симпатичный парень и к тебе хорошо относится, не забивай себе голову, забудь о нем, он у штурвала и на самом деле просто обожает плавать по реке.

Хорошо, сказал я и добавил: знаешь, я не ерничаю, я удивляюсь, я никогда прежде не бывал на барже, просто на барже, стоящей на приколе, а тут она вдобавок еще и отчаливает, это слишком, понимаешь, берет и отчаливает, я даже не знал, что такое возможно, без гальки, без песка, без предупреждения, и ты, и я в твоих руках, а я тебя даже не поцеловал, сейчас мне хочется тебя поцеловать, мне нравится еще и твоя способность все устроить, твоя деловитость и расторопность, видишь ли, ты спешишь, но это меня возбуждает, да, мне это безумно нравится, не говоря уже о твоих глазах, заключил я. И губах.

И об остальном. Что я увидел. Она разделась с моей помощью, в общем-то, она довольна была, что я ей помог, я как бы тоже положил свой камень в фундамент, который она закладывала, одновременно разбрасывая одежду там-сям по комнате, баржу слегка покачивало, но не сильно, единственное, о чем я жалел, хотя, конечно же, и не жалел вовсе, так это что не остался на берегу и не видел, как баржа выплывает на середину реки, не видел ее зеленую с желтым палубу и бамбук, потому что находился внутри, а объять необъятное нельзя, и нельзя видеть все одновременно, говорил я себе, так же и в любви, я имею в виду физической, нельзя находиться внутри и видеть снаружи, где ты находишься, всякий раз приходится выбирать, выбор не трагический, но все-таки выбор. Я вошел в нее спереди, потому что хотел видеть ее лицо. Меня

даже тянуло ее поцеловать, но только немножко. Потому что мне особенно хотелось видеть рот и говорить себе, что сейчас коснусь губами ее губ, хорошо, думал я, что у нас есть пальцы и две руки, по крайней мере у тех, кому повезло, ведь существуют еще и однорукие, однорукие поневоле экономнее в движениях, итак, пальцами я коснулся ее губ, разжал их, в то время как другая рука пребывала в основании ее ягодиц, наши тела составляли острый угол, мы лежали на боку, новым искушением оказались раскоординированные таким положением груди, одна округлилась, другая вытянулась в неудачной попытке соединиться с первой. Ты мне нравишься, сказал я, ты мне действительно нравишься, ты так хороша, красива, так меня возбуждаешь, что я даже не знаю, с чего начать, но ты уже начал, отвечала она с улыбкой, напоминаю тебе, ты уже там, я тебя чувствую, любовь моя, а ты — нет? Я тоже, сказал я, подавив улыбку, если честно, безо всякого труда, поскольку никогда не поддаюсь пагубному соблазну острить в подобной позиции, секс, на мой взгляд, находит пищу лишь в богатом субстрате серьезного или даже торжественного, конечно же, я тебя чувствую, продолжил я и взглянул на ее грудь, оторвавшись от глаз, посмотрел на грудь и собрал ее в ладонь, не сжимая, но лишь поддерживая большим пальцем, ощутил ее вес, отложив прикосновение губами на потом, погрузив свою партнершу целиком в забвение любви, любви нарождающейся, которой я хотел дать созреть в процессе наслаждения, я наслаждался, не заботясь ни о ней, ни о своих ощущениях, и чувствовал, как от пульсации желания набухает мое сердце, как занимается мысль, чувствовал, что эта женщина будет мне нужна теперь, да, теперь, отныне, что я не просто вошел в нее, но и готов идти с ней дальше. На какое-то время я замер, и мы лежали обнявшись, соединившись, я что-то произнес, но слова растаяли в ее коже, она уловила лишь дыхание, переспросила, нет, ничего, ответил я, а на окно тем временем опустилась тень моста, под которым мы проплывали, теплая дневная тень, хранящая воспоминание о свете.

И я понял, что уже борюсь, впрочем безнадежно, с желанием любить ее, и борюсь не из осторожности, наплевать мне на осторожность, а потому, что желаю любить ее сильно, так сильно, как только могу, и я уже близок к этому или хочу приблизиться, меня сдерживали не сомнения, а уверенность, я знал, что мы снова и снова будем заниматься любовью, потому что нам этого захочется, потому что нас нечто связывает, начинает связывать, а потом снова будет приходить нежность и спокойное ожидание, неостывающий жар от соприкосновения тел — как след, оставленный, чтобы не потерять друг друга. Так и случилось. Усталые, мы лежали друг на друге, "на" лежал я, придавив ее животом и всем телом, опустив голову ей в волосы, уткнувшись губами во впадинку под плечом, упираясь подбородком в ключицу, моя рука, так и оставшаяся у нее под попой, ощущала не только ее вес, но и мой, два наших веса вместе, два наших тела как один груз, продавливающий матрас под моей рукой, поддерживающей нас обоих, словно бы мы летели вниз, падали мягко, удобно, устремившись к покою, но не к вечному, а к такому, где мы ощущали падение и радость от сознания, что падаем вместе. Так, проговорил я, не отрываясь от нее, только чуть отклонив голову, чтобы воздух поступал в рот, ты представляешь себе, где мы находимся? В каком месте Сены, уточнил я.

Ответа мне, собственно, не требовалось, мы поравнялись, я полагаю, с Консьержери или каким-то другим сооружением, обремененным давней историей, потом плыли вдоль высоких зданий, вдоль города, протянувшегося по берегу, скользившего мимо нас, как картинка, которую заслоняли время от времени другие суда, двигаясь в сопровождении волн и гула моторов. Убаюканный, я был готов провалиться в сон. У меня не было ни малейшего желания выходить, гулять по палубе, общаться с нашим хозяином, но хотелось, чтобы баржа плыла и плыла еще долго, а мы бы сидели в этой комнате посреди реки, чтобы пошел дождь и мы сорок дней не высовывали носа из ковчега, созданного специально для нас, только вот без зверей, сообразил я, звери пусть остаются там, где они есть, у Симона, Симон никого спасать не собирается, а вот мы спасаем себя, спасаем от тоски и отчаяния, находим друг друга, не искав, потому что умели ждать.

Мы пошевелились. Я по-прежнему лежал в ней, удобно, без напряжения, мышцы мои расслабились, за исключением, правда, правой руки, она почти отнялась, во всяком случае, начинала отниматься, и я, чуть приподнявшись, извлек ее наружу, чтобы употребить для ласки, погладить лицо Одри, пальцы мои снова обрели чувствительность, а глаза стали видеть — видеть, как я ласкаю ее лицо, да и само лицо, проступающее под моими пальцами, и ее губы — я посмотрел на них минутку и чуть прикусил. Итак, мы шевельнулись, сохраняя горизонтальное положение, перекатились на бок, обнявшись, мой член превратился теперь в воспоминание, в какого-то маленького тщедушного зверька, которому от соприкосновения с ее кожей грезилось наслаждение, так вот, мы перекатились на бок, и я упал в пустоту, падение неопасное, но все-таки падение, короче, падение на этот раз настоящее — с высоты сорока сантиметров на пол, если ты не ушибся, предложила Одри, мы могли бы заодно встать и пойти с ним поздороваться.

Она встала, я поднялся с пола. Хозяин разворачивал баржу. Я выглянул в окно, увидел справа крупным планом Эйфелеву башню, на которую мне, как обычно, совсем не захотелось подниматься, но я поднялся бы ради нее, если бы ей заблагорассудилось, потому что поднялся бы с ней куда угодно теперь, когда начинал любить ее всерьез, и даже спустился бы хоть в катакомбы, хоть в канализационный люк, о чем ты думаешь? — спросила она. Ни о чем, ответил я, я только подумал, что с удовольствием прошелся бы с тобой даже по ровному месту, а она переспросила с удивленной улыбкой: как это, по ровному месту? Ты имеешь в виду по улице? Да, да, по улице, пойти с тобой, держа тебя за руку и останавливаясь, чтобы поцеловаться, а это значит, уточнил я, что я хочу увидеть тебя снова. Но почему снова, спросила она, ведь мы не расставались. Верно, ответил я, но в конце концов расстанемся же когда-нибудь, если только не... поправился я и замолчал, потому что в голову пришла мысль, которую я не решался сформулировать, что мы, в сущности, не обязаны расставаться, что Симон, судя по всему, не спешил вернуть Одри и у нас с ней времени сколько угодно и, если бы не дети, мы могли бы оставаться вместе, надо только подумать как, и тогда довольно скоро наступит момент, когда мы будем гулять с ней, а это так прекрасно, вспомнил я, потому что еще помнил, что такое идти с женщиной в ногу все равно куда по свету, в обнимку или под руку, из одного места — любого — в любое другое, и сам выбор направления дает воз-

можность ощутить, что такое роскошь в жизни, где все вдруг стало просто. Так думал я и говорил себе, что эта жизнь уже для меня началась, что я тороплюсь не меньше, чем Одри, а то и больше, я смотрел на нее краешком глаза, но она, как мне показалось, отстала от меня, что в конечном счете нормально, сообразил я, ведь я ничего не сказал ей вслух, только намекнул, что мы расстанемся и увидимся снова, я не все ей сказал. И тем не менее.

Мы шли знакомиться с хозяином баржи, и я думал, что хочу поглядеть на этого парня, который везет нас назад к Новому мосту, хочу, чтобы Одри меня с ним познакомила, чтобы ввела меня в свою новую жизнь, жизнь на реке, я хотел с ним встретиться, мне было что ему сказать. Мы вошли в рубку, где он, как и следовало ожидать, находился, познакомься, это Франсис, сказала она.

Франсис — это я, его звали Макс, на вид чуть старше меня и добрый той добротой, которая не вызывает немедленного недоверия, не кажется подозрительной, потому что не выпирает, не вылезает на свет божий нагишом, не прикрывшись, а добротой одетой, застегнутой на все пуговицы и даже холодноватой, словом, сдержанный такой кормчий, ну и что еще, джинсы, футболка, плоская панама блином. Очень приятно, сказал он. Мне тоже, ответил я. Скажите, а как ею управляют?

Это очень просто, ответил он, проще некуда, вот штурвал, вот здесь газ, а там, под полом, мотор, спускаешься по трапу, включаешь. Хотите попробовать?

М-м, сказал я, у меня нет прав, и потом, река загружена, если только вы останетесь рядом. Разумеется, останусь, ответил он, я же не совсем чокнутый, держите.

И я взялся за штурвал. По правде говоря, все, что от меня требовалось, это смотреть вперед и немного по сторонам, пока что меня никто не обгонял, но, между прочим, поинтересовался я, у вас нет зеркала заднего вида? Он, похоже, не понял вопроса. Чтобы смотреть назад, пояснил я и добавил: разумеется, это совершенно лишнее, хотя на самом деле уверенности у меня не было. Он не ответил, я, стало быть, держал штурвал и вроде как бразды правления, тем временем мы уже подплывали, сейчас будем сворачивать, сообщил Макс, хотите сами? Спасибо, достаточно, ответил я, я понял принцип и передаю штурвал вам, предпочитаю видеть вас на этом месте. А вы давно так живете?

Пятнадцать лет, сказал он, приступая к делу и плавно поворачивая налево, я развернусь, чтобы встать как надо, объяснил он, носом на восток, мне так привычнее. Рассказать вам, как я здесь живу?

Да-да, конечно, ответил я.

И он рассказал. Я слушал вполуха, наблюдая за маневром, он говорил про сырость, про то, что сколько стоит, само собой, но еще про чаек, бакланов, про самоубийц, которые почти все начинают жалеть в последний момент, что прыгнули в воду, и, пытаясь спастись, плывут против течения, вместо того чтобы отдаться на волю волн, будто в верховье лучше, чем в низовье, и в итоге действительно тонут, и про гребцов, которые проплывают мимо, но про них нечего особенно сказать, а вот спасатели — это да, как они работают, как тренируются в красных резиновых комбинезонах, как плывут за своими "зодиаками", карабкаются прямо из воды на мост, будто гостиничные воры, в общем, спаса-

тели на Сене великолепны, а спасательницы еще великолепней, женщины, которых невозможно представить себе на реке, но больше их нигде не увидишь, эксклюзив. Понимаю, сказал я, а он уже отпустил штурвал, причалил, подключил коммуникации, предложил: не попить ли нам кофе на воздухе?

Отличная мысль, сказал я. И вот тут наконец, пока мы пили кофе на палубе под бамбуком, а мимо скользили взад-вперед речные трамвайчики, я смог спокойно разглядеть Одри. Как это я раньше не догадался, говорил я себе, ведь вот что мне было нужно, нужен был кто-то третий, чтобы пролился свет. Потому что теперь я ясно видел Одри, она любила меня, я продолжал любить ее или только начинал любить, и ничто в ее лице и в ее молчании не противоречило моему ощущению, что это, наверно, и есть она, что это будет она, если я захочу, а я хотел, по-прежнему хотел, спокойно, без волнения, с помощью Макса, игравшего роль человеческой фигуры, которую фотографируют у подножия архитектурного памятника, чтобы зрители оценили его масштаб. Рядом с Максом Одри приобрела наконец совершенно отчетливые очертания: прелестная, обаятельная, взгляд наполненный, рот ненапряженный, она была фотографией любви, которую мне оставалось только сохранить, и даже видеть оригинал уже не требовалось. Я отвел глаза, обменялся дружеским взглядом с Максом, предвкушая мгновение, когда подарю Одри тот самый взгляд, или почти, какой она некогда у меня перехватила, он одинаков для всех женщин, которых любишь, тот же порыв, то же ожидание, короче, взгляд один и тот же, а вот объект — объект иной, он наполняет собой взгляд, окрашивает его и меняет, только это незаметно, происходит словно бы незначительная перемена освещения, разницы не видно, она скрыта в сознании, а Одри разницы и не хотела, она хотела в точности тот самый взгляд, и я ей его дарил, тот мой прежний взгляд, но направленный теперь на нее, — сосущая тоска, уже, и зов, которые могли бы быть обращены к кому угодно, но сейчас были обращены к ней и ни к кому другому, никого другого здесь, насколько я знал, не было, она не могла этого не видеть, да и Макс, впрочем, тоже, отчего чувствовал себя, судя по всему, немного одиноким. Пожалуй, я вас оставлю, сказал он.

Нет, ответил я, нет. Это мы вас оставим. Спасибо за кофе. Все было просто чудесно. Мы пройдемся по набережной.

И добавил еще какие-то подобающие слова. Впрочем, я собирался вернуться, увидеться с ним — во-первых, сегодня же, а во-вторых, разумеется, потом, когда мы будем вместе, я и Одри, — я, понятно, не представлял себе, как бы мы начали жить с ней вместе прямо сейчас, у нее же дети, Симон, тут куча проблем, сначала надо поговорить, обсудить кое-что, а пока мы сойдем с баржи на набережную, я возьму ее за руку, и мы пойдем по городу вдвоем.

Итак, Одри подчинилась моему решению, мы сошли на берег, держась за руки, двинулись по набережной, потом вверх по лестнице на улицу. Наверху я сказал ей: вот, теперь, когда мы идем рядом, это уже на что-то похоже, на что-то нормальное, пусть она правильно поймет, для меня нормальное — это любовь, а ненормальное — ее отсутствие, и доказательством служит тот факт, что с отсутствием любви невозможно смириться, а к любви привыкаешь, но привыкнуть не значит разлюбить, наоборот, начинается потом стадия обустройства, даже домашние

тапочки, брякнул я, когда живешь вместе, надеть тапочки — естественное дело, тем более что потом их снимаешь, главное снять так, будто это туфли, вопрос стиля, кроме того, тапочки можно скинуть так, что они улетят. Не преувеличивай, сказала мне Одри, то есть я не против, чтобы у тебя однажды слетели тапочки, нет, не против. Надеюсь, сказал я. Еще мне хочется смотреть с тобой телевизор, вечером, фильмы особенно, я не говорю о передачах, ничего сентиментального, я говорю о близости, мне нужна близость, но я могу сидеть и в носках. Ты меня удивляешь, сказала она. Я не стремлюсь тебя удивлять, ответил я, ты сама виновата, сама затеяла всю эту историю с любовью, и вот результат, добавил я, ты мне нравишься и ты меня любишь, это почти как если бы я тебя уже любил, да я тебя и люблю, ты победила, и я иду дальше, обожаю забегать вперед, воображать, что мы живем вместе, что нам не надо расставаться, дай мне, пожалуйста, договорить, не перебивай. Мне просто интересно, как далеко ты зайдешь в конце концов, сказала она, но не беспокойся, я от тебя не отстаю. Вот именно, ответил я, не отставай и слушайся, достаточно я тебя слушался, у меня потребность проявлять инициативу, понимаешь, вообще-то, скажу тебе, я хотел бы командовать тобой во всем и чтобы ты мне подчинялась, чтобы ты была покорна, так ведь я покорна, Франсис, а если так пойдет дальше, сказал я, предупреждаю тебя, ты как пить дать сделаешь меня счастливым, и добавил: впрочем, это уже совершилось, кажется, я счастлив. Н-да, интересно, выдержишь ли ты мой темп и дальше, а, выдержишь?

Выдержу, ответила она. Поцелуй меня.

Я остановился и поцеловал ее. Потом целовал не останавливаясь. Обнимал за талию, гладил ягодицы, но мы находились на улице, и я перестал. И целовать перестал. Мы пошли дальше. Позднее я спрашивал себя, почему мы стояли перед Нотр-Дам, в смысле, почему именно там. Наверно, потому что мне хотелось повести ее наверх, на башни, просто чтобы повести куда-нибудь немедленно, хотя в субботу, сказал я себе, там будет чудовищная очередь, так оно, кстати, и оказалось. Вернемся лучше на баржу, произнес я вслух, попрощаемся с Максом, ты заберешь свои вещи.

Вещи? — спросила она. Что ты собираешься делать?

Я бы предпочел, чтобы ты не задавала вопросов.

Ладно, сказала она. Мне очень нравится, что не надо задавать вопросов. Можно я только скажу одну вещь?

Да, ответил я.

И она сказала. Сильнее я бы сказать не смог. Мы двинулись в сторону набережной. По дороге Одри вернулась к заинтриговавшему ее вопросу о тапочках. Я объяснил, что не нужно понимать тапочки в буквальном смысле. Это образ. Сексуальный фантазм. Сексуальный? — переспросила она. В широком смысле, сказал я. В очень широком. Есть еще халат. Это немного другое. Чулки. Тоже немного другое. Насчет тапочек постараюсь тебе объяснить. Вот ты приходишь. Домой. Со мной, разумеется. Мы одни. Я хочу тебя. Ты хочешь меня. Ты сразу снимаешь уличные туфли. Но остаешься не босиком, а надеваешь тапочки. Заметь, в данном случае речь идет о твоих тапочках. Не о моих. Это чтоб тебе понятней было. Ты надеваешь тапочки, потому что так удобней. Предположим, у тебя кафельный пол. Босиком холодно. Итак, ты надеваешь тапочки и прижимаешься ко мне. На тебе юбка. В сочетании

с тапочками это очень неудобно. Юбка мешает. Тебе тоже. Ты ее снимаешь. Остаешься голой. Я тебя обнимаю. Ты в одних тапочках. Сними их, говорю я. И ты их скидываешь.

Все-таки я тебя люблю, сказала Одри. Твой рассказ совершенно неубедителен, но я тебя все-таки люблю. Объяснись понятней.

Дело в том, что я ошибаюсь, сказал я. Насчет тапочек, я думаю, ты права, а я нет. Но тебе нравится, когда я ошибаюсь.

Мне нравится, что ты меня хочешь, сказала она. Вот и все.

В сущности, сказал я, я на этих тапочках не зациклен. Просто мне хочется зайти с тобой действительно очень далеко. Пройти через привычку, сохранив любовь. Меня теперь ничто не пугает. Я так тебя хочу, что мне на все плевать.

Мы подошли к барже. Поднялись на палубу. Макс сидел в гостиной, похоже, отдыхал с журналом в руках. И с женой. Познакомьтесь, Жанна, сказал он. Франсис. Добрый день, сказала Жанна. Очень приятно, ответил я.

Одри нам много о вас рассказывала, добавила Жанна.

Себя видеть я не мог, но полагал, что взгляд мой исполнился ответной приязни.

Она, наверно, говорила вам также, что мы уходим, продолжил я.

Женщины переглянулись. Я видел только одну из них. Одри повернулась ко мне. Не знаю, что бы она наговорила, предоставь я ей такую возможность.

Мы уходим сейчас, обратился я к хозяевам. От всего сердца благодарю вас за теплый прием. Все было восхитительно. А баржа ваша — чудо что такое.

Спасибо, сказала Жанна.

Нет, правда, продолжил я. Макс показал мне, как ею управлять. А теперь извините нас.

Я покосился на Одри. Она пошла в свою каюту.

Мне очень жаль, сказал я Жанне, которую видел очень отчетливо, не так, как Одри вначале. Жанну я мог бы нарисовать. Рот, глаза, овал лица. Красивая женщина, соблазнительная. Это приятно, подумал я. И продолжил вслух: мне правда жаль и не хотелось бы показаться невежливым, но нам с Одри непременно надо идти. И потом, я не знал, что вы будете тут.

Нет проблем, вмешался Макс.

Я был бы рад встретиться с вами еще, выпить по стаканчику. Правда.

Заходите поужинать, предложила Жанна. На следующей неделе.

С удовольствием, ответил я.

Она попросила у меня номер телефона и протянула блокнот. Я записал. Одри вернулась в гостиную. В руках она держала большую набитую сумку, из которой торчал, как я понял, приглядевшись, рукав джемпера.

Погоди, сказал я.

Я склонился над сумкой, открыл ее, запихнул рукав в крошечное свободное пространство, какое всегда находится, ну, может, не всегда, но тут нашлось, теперь сумку можно было закрыть до конца с рукавом внутри.

Ну вот, сказал я.

Жанна подошла ко мне, поцеловала, потом все поцеловали друг друга по очереди. В конце концов мы распрощались. Хозяева проводили нас через рубку на палубу, где и остались. Мы сошли на берег, они смотрели нам вслед. Мы обернулись, помахали им, и они спустились вниз.

Возьмем такси, сказал я.

Такси мы поймали на набережной Сен-Бернар. Прямо против зверинца. Видна была даже лужайка для пикников с большим платаном. Я открыл заднюю дверцу.

Мне надо позвонить домой, сказала Одри. Я хотела бы поговорить с детьми. И с Симоном.

Позвонишь от меня, ответил я. Часа не пройдет, как будем на месте.

Она согласилась. Мы поехали. Радио рассказывало о положении дел в мире. Водитель молчал. Одри спросила — как будто хотела удостовериться, а на самом деле, просто чтобы услышать это еще раз, — действительно ли я везу ее к себе. Я ответил "да". Она держала меня под локоть.

Увидишь, сказал я, квартирка небольшая и в ней никто не живет.

Я сразу сообразил, что фраза моя совершенно непонятна, в частности, водителю, хотя вряд ли он слушал. Я подразумевал, безотчетно разумеется, что я в своей квартире еще всерьез не жил. Или что она там еще не жила, поскольку мы только туда ехали. Там сейчас никого нет, но будет. Она. И, следовательно, я. Вот как много народу сразу. Но я не стал ничего объяснять. Пусть сама поймет, когда приедем.

Итак, вскоре мы оказались довольно далеко от Сены, и от зверей тоже, поскольку живу я, как уже говорил, совсем в другом месте, в Париже, разумеется, но скорее на окраине, где нет ни парков, ни зоопарков, хотя есть кафе, не дыра какая-нибудь, просто не центр. Мы вышли из такси, это здесь, проговорил я, указав на дверь дома, довольно даже красивого, не в этом дело, и набрал код.

Мы пересекли двор, тоже вполне симпатичный, первый этаж, сказал я. Повернул ключ в замке, в замке своей двери. Слегка утопленной в стене холла. Я отпер, включил свет, пошел открыл ставни, нажал еще несколько выключателей, чтобы стало светлее. Затем обернулся к Одри и спросил, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Одри стояла посреди комнаты — гостиной и кухни одновременно, — и я сказал ей: стой, дай я на тебя посмотрю. И посмотрел.

Передо мной была молодая женщина с каштановыми волосами, красивыми серо-зелеными глазами, и тут впервые я заметил ее нос, не такой правильный, как казалось, из тех носов, что называются одухотворенными, хотя в действительности они прежде всего чувственные, по крайней мере, в данном случае это бросалось в глаза, и я даже забыл про ее рот — в том смысле, что между глазами и ртом обнаружил еще и нос, — короче, лицо этой женщины, даже если не обращать внимания на обворожительный овал, имело три влекущих точки, которые, хотя и находились в гармонии, поочередно оттягивали на себя взгляд, сбивали его с толку, вынуждали сосредоточиться на чем-то одном, мешая охватить образ в целом. Красота ее требовала от вас работы или, по меньшей мере, времени, не допускала простого созерцания, взгляд не ложился на ее лицо, а всякий раз тянулся к нему, как рука, обнаруживающая в миг прикосновения, что ее самой не существует.

Что до остального, то Одри была в джинсах и красной кожаной куртке, тонкая, высокая – мне показалось, самая высокая из всех женщин, с кем я был знаком, наверное, метр семьдесят пять или около, и, кстати, выше Симона. Он, мало того что невысок ростом, констатировал я, так еще ничем, кроме зверей, не интересуется, походя обзавелся семьей, двумя, между прочим, детьми от этой женщины, на что, разумеется, имеет право, именно право и только. Итак, Одри была здесь, садись, сказал я, что ты хочешь выпить?

Она хотела воды, я налил ей стакан из-под крана на кухне, обогнул бар, она сидела на диване, который я купил три месяца назад, купил наспех, особенно не выбирая, потому что после разрыва с Клеманс спешил обосноваться один, все равно в какой обстановке, лучше даже без обстановки вовсе, но когда где-то живешь, поневоле обзаводишься мебелью. Короче, квартира моя была ни на что не похожа, хотя, впрочем, в данную минуту диван выглядел не так уж скверно: женская рука на подлокотнике, скрещенные женские ножки, складки обивки, расходящиеся веером из-под бедер, – да, собственно, и старое кожаное кресло напротив, изодранное незнакомым мне котом, тоже оказалось ничего, кресло, куда я сел сейчас лицом к ней и куда не садился еще ни разу, а потому обнаружил на спинке свитер и брюки, брошенные накануне, и еще, что сижу на рубашке, тут не убрано, сказал я.

Теперь, когда она пришла ко мне, я начал ощущать ответственность, потребность оберегать ее, заботиться о ее удобстве, но она ответила, что это не имеет значения. Тем лучше, сказал я, что будем делать?

Я не хотел ее прямо сейчас, был в этом смысле спокоен, но и выходить никуда тоже не тянуло, я предпочел бы остаться здесь, сидеть против нее и смотреть, что произойдет в этих четырех стенах между мной и женщиной, которая теперь слушалась меня во всем. Что захочешь, сказала она. Хорошо, ответил я, тогда пошли, и повел ее в спальню.

Она вошла, легла, я от нее ничего такого не требовал, хотя нет, на самом деле я именно этого и ждал, я лег рядом, обнял ее рукой за талию и развернул к себе, чтобы поцеловать, вполне подходящее занятие после любви. Во всяком случае, на первое время, потому что дальше все стало серьезнее, и нам пришлось раздеться, учитывая напряжение, которое рождалось между нами, затем мы долго шли к разрядке и только потом смогли, наконец, лежать бок о бок, неподвижно или почти, будоражило лишь искушение погладить друг друга и вялое желание этому искушению поддаться, мои пальцы описывали круги на выпуклости ее бедра, ее же пальцы норовили коснуться моего запястья, касались его, мы лежали с закрытыми глазами, словно собирались спать, но не спали. Мы дождались минуты, когда одному из нас захотелось встать, к моему удивлению, это оказался я, но я опередил ее всего на несколько секунд. Погода хорошая, сказал я, пойдем куда-нибудь, что-нибудь выпьем, можно и газету купить, а?

Она согласилась. Мы оделись, и я вышел с ней из квартиры, во дворе даже встретил соседа, которого не видел месяца два, он вполне мог предположить, что я живу с ней уже два месяца, а я сделал вид, будто ничего особенного не происходит, и Одри тоже. Все было так, словно мы живем вместе уже давно, и не только для соседа, нечего на соседа валить, нам и в самом деле казалось, что мы знаем друг друга очень давно. Послушай, а дети, сказал я, ты им не позвонила.

Она чертыхнулась. Мне нравилось, что у нее есть заботы и проблемы, это сближало ее с окружающим миром, а поскольку я собирался жить с ней в этом мире, получалось очень кстати, тем более что у меня у самого в скором времени могли возникнуть заботы и проблемы — например, с работой, которая перестала меня интересовать и даже угнетала, потому что отнимала много времени.

Короче, мы вернулись в квартиру, и я объяснил ей, как пользоваться телефоном, это была новая модель. Заодно решил задним числом удостовериться, что на ответчике нет новых сообщений, оказалось, есть, извини, сказал я. Прослушал сообщение, и она вместе со мной, от Симона. Симон, судя по всему, говорил обо мне, а не о ней. Я немного смутился, а впрочем, нет, все логично. Симон спрашивал, что новенького — новенького у меня, предположил я, хотя я в его фразе не упоминался. Он не мог знать, что я нашел его жену, и тем более, что нашел ее для себя, чтобы забрать у него, и мне не хотелось ему перезванивать. Не то чтобы я чувствовал себя виноватым. Просто его вопрос пришелся не ко времени, заявлять о себе по телефону, когда здесь его жена, было с его стороны неуместно, даже вульгарно. Я протянул трубку Одри, как если бы все это меня не касалось, а касалось только ее, хотя в действительности не касалось и ее, но надо же ей было позвонить домой, и я сказал, что подожду в другой комнате.

Разговор у них немного затянулся, я боялся, как бы не случилось осложнений, истерики — там, на другом конце провода. Одри голоса не повышала, говорила спокойно и четко, до меня долетали обрывки фраз, иногда я ловил лишь интонацию, менявшуюся в зависимости от собеседника. Теплый тон с детьми, воображал я, сухой — с Симоном. Сухой, как мне показалось, звучал довольно долго, словно бы Симон ей возражал. Впрочем, не сухой, скорее нейтральный. Оказывается, подумать только, голос Одри мог звучать нейтрально, меня это насторожило: если когда-нибудь она заговорит со мной таким голосом, я сразу пойму, в чем дело, сказал я себе.

Потом все смолкло, и почти сразу Одри зашла за мной в спальню. Все в порядке, сказала она все тем же нейтральным голосом, и я отреагировал на него немедленно. Я никогда прежде не слышал у тебя такого голоса, сказал я, и может, не так уж все и в порядке. Нет, ответила она, все отлично, а голос остался от телефона, таким голосом я разговариваю с Симоном, я с ним расстаюсь, уточнила она, не меняя тона, и он со мной, кстати, тоже, в общем, мы с ним уже некоторое время расстаемся, оттого у меня и голос такой, и потом, есть еще дети, они хотят меня видеть, и мне хочется их видеть, не думай, что все так просто. Не думаю, ответил я. А что до детей, то я пекусь о них с самого начала, сказал я, и вот сейчас тоже, это ведь я тебе напомнил, что надо им позвонить, мне, наоборот, совсем не по душе, чтобы все было просто, я рад, что нам предстоит поработать, рад, что у тебя есть дети и даже Симон, рад, что у тебя была своя жизнь и ты ее меняешь, у меня ведь тоже была другая жизнь, хотя и нет детей, и я ее меняю, мы, кажется, собирались пойти что-нибудь выпить?

Мы снова вышли на улицу, купили газету, расположились на террасе кафе, вдоль тротуара плотными рядами ехали машины, стоял страшный шум, мы плохо слышали друг друга, но и говорили мало, больше нам пока нечего было сказать, и мы с интересом читали газету. Лично я имею при-

страстие к международным новостям, катастрофам, войнам, беззакониям, Одри же выбрала культуру и социальные проблемы. Мы легко поделили странички и время от времени перебрасывали мостики из одной области интересов в другую, там вопрос, тут комментарий, не разнимая особенно рук, даже чтобы перелистнуть страницу. Просто-напросто нам требовалась передышка, и мы не видели причин себе в этом отказать, не такая передышка, чтобы совсем забыть друг друга, нет, и даже если мы, как я уже говорил, разнимали иногда руки, то главное было суметь их вовремя снова соединить — не на самом, разумеется, увлекательном абзаце статьи и не в разгар какого-нибудь интересного разговора за спиной, за соседним столиком, разговора, который одному из нас был, естественно, слышнее, чем другому. Одри, на мой взгляд, проявляла больше любопытства, оно вернулось к ней быстрее, чем ко мне, потому что сам я тоже любопытен, но когда на меня обрушивается любовь, предпочитаю немного переждать, представляя себе, как заинтересуюсь со временем чем-нибудь еще, понимая, что это у меня впереди, и радуясь мысли, что это впереди, что я не окончательно погиб для общества, нет, вы увидите, когда я как следует окунусь в любовь и доплыву до середины, я буду слушать и вас тоже, у меня найдется для вас масса времени.

Потому что все-таки я, естественно, чуть-чуть боялся. Было бы слишком хорошо, если бы и дальше все шло так же прекрасно. Я не опасался, что это оборвется, не оборвется, нет, но я чувствовал, что мы идем по проволоке: не расставаться ни на секунду в течение четырех часов — это равносильно многим годам, а мы уже не очень молоды и можем в любой момент умереть. Умри мы сейчас, нашу любовь уже можно было бы назвать долгой.

Когда мы покончили с газетой, Одри предложила решить кроссворд, я их не особенно люблю, но мысль, что я буду решать кроссворд с ней, признаюсь без стыда, наполнила меня абсолютным счастьем, с ней вместе я был готов делать что угодно, а решать кроссворд — это как заниматься любовью, я не преувеличиваю, кстати, любовью я предполагал заняться снова, в разгадывании же слов я, в отличие от нее, разумеется, не блистал, но какую-то помощь оказывал, время от времени находил нужное определение и дарил его ей, как драгоценность.

Так пролетел день, клонившийся теперь к вечеру, мы вернулись домой, купив по дороге готовой еды на ужин, чего попроще, чтобы не стряпать, и хлеб, который она легко и изящно отламывала кончиками пальцев, будто срывала ягоды. Очаровательна, да, ко всему прочему я начинал находить ее очаровательной, и чего тебе еще надо? — спросил я себя.

Потому что мне было надо что-то еще. Я сам не знал, что именно, но понял позднее вечером, когда мы посмотрели вместе наш первый фильм, старый фильм в "Техниколоре" — с полицейскими, сумасшедшим ученым в тергалевом костюме и актрисой в розовом, ловившей муху детским сачком для бабочек, фильм пересказывать не стану, его надо смотреть, и лучше всего вместе с ней, впрочем, не буду никого расхолаживать, — короче, вечером я понял, что если мне чего и не хватает, так это чтоб мы провели вместе ночь. И мы провели ее вместе, спали, правда, не очень хорошо, слишком много точек соприкосновения, но не скажешь, что первый блин комом, к утру, как оказалось, мы все-таки

добрых три часа проспали, оставалось только выпить кофе и снова лечь в кровать.

В итоге воскресенье получилось укороченным. Мы вышли поздно, пообедали в кафе, потом прогулялись пешком, поговорили о детях и даже о Симоне. Чтобы поцеловать первых и объясниться со вторым, Одри решила ближе к вечеру заглянуть к себе, причем неизвестно, на сколько это могло затянуться. Может, ты тоже зайдешь? — предложила она. С тобой? — удивился я. Ну да, не без меня же, ответила она. А дети? — спросил я. А Симон? И вообще, недоумевал я. Знаешь, мне нужно кое-что тебе сказать, проговорила она.

Мы шли по бульвару неподалеку от площади Клиши, это чуть южнее моего дома, здесь было шумно, я почувствовал, что разговор важный, и увел ее в тихую улочку, где мы остановились под козырьком какого-то подъезда, поскольку не знали входного кода. Тут, в укрытии, Одри могла говорить спокойно, если, конечно, кому-нибудь не вздумается пойти домой, такой риск существовал, однако пойти домой, рассудил я, исходя из личного опыта, не так уж просто, не так уж часто это случается. Но желающий, разумеется, появился немедленно и набрал код, я почувствовал в нем сообщника, поскольку выглядел он прилично и его наверняка ждала женщина, мне даже захотелось ему поаплодировать. Когда он зашел в подъезд, Одри сказала: послушай, Симону уже все про нас известно, предпочитаю, чтобы ты это знал.

Ты ему вчера по телефону сказала? — спросил я.

Нет, ответила она.

Н-да, сказал я. Ясно. Ясно, что ясности никакой. Была и пропала. А ведь я мог бы и дальше полагать, что она есть. Что же, ладно. Но все-таки не понимаю, как это? Как это? — повторил я. И что, собственно, ему известно?

Я видоизменил вопрос: что ты хочешь сказать? — спросил я. Я мог бы перестраивать этот вопрос снова и снова, лишь бы она не отвечала, лишь бы не договаривала фразу, когда бы ей пришло в голову таковую начать, потому что, если Симону все было известно еще позавчера или раньше, то я не понимал и понимать не хотел, довольно с меня людей, которым все известно. И тогда Одри сразила меня наповал, легко и изящно, как давеча отламывала хлеб, слишком уж легко, сказал я себе, но я себе много чего говорил. Я ушла с его согласия, объяснила она, он меня не ждал, это ты меня ждал, и даже дети знали, знали, что я уехала на некоторое время, они видели, как я выходила из дому, только, конечно, не знали, куда и зачем. Они меня ждали, но не беспокоились, единственное, чего они не знают, это про нас с тобой и что мы с Симоном собираемся расстаться, но скоро узнают, не сегодня, разумеется, особенно если ты зайдешь. Погоди, сказал я, мне, в сущности, непонятно, зачем бы мне туда идти, и потом, можно задать тебе один вопрос?

Мне стало тесно в нише подъезда, она не вмещала моего замешательства — за неимением лучшего назовем это так, пока я не определю, что именно я испытывал, — было ясно лишь, что здесь нам не хватает пространства, мы стоим слишком близко и не можем выявить то, что вырисовывается, проступает, как при проявке снимка, на котором мне предстояло увидеть самого себя. То есть проявиться должен был я, такой, каким меня видел Симон, сейчас или раньше, точнее, несколько дней

назад. Как же это? — спросил я, ведя Одри по улице в сторону от бульвара. Давай присядем здесь в сквере, предложил я, так будет удобнее.

Мы присели, рядышком, напротив пустой песочницы и горки, по которой никто не съезжал, на горизонте — ни одной мамаши, и никого во всем сквере в разгар воскресного дня, только она да я, но руку ее я все же выпустил, куда важнее было послушать. Если не считать городского гула, место оказалось тихим, и заговори она, я бы ничего не упустил.

Как же это? — повторял я. С каких пор? Что, собственно, он знает?

Что я ушла ждать тебя, сказала она.

Я даже шока не испытал. Я пытался понять, понять во что бы то ни стало, а уж после разобраться, какое это на меня производит или могло бы произвести впечатление, лишь бы понять, остальное приложится, видно будет, я бы хотел, чтобы ты объяснилась, сказал я.

Я говорила ему о тебе, сказала она. То есть обо мне.

В сквере по-прежнему ни души. Нас будто намеренно оставляли одних. Будто весь город был в курсе и нарочно не вмешивался.

Что значит говорила? — спросил я. Что ты могла ему сказать?

И вечно у меня эта потребность все уточнять, раскладывать по полочкам, чтобы самому не запутаться, потому что, разумеется, я ее по-прежнему любил, подумать только, уже "по-прежнему", мелькнуло в голове, и если нужно пройти еще какой-то путь, я его пройду, это не помешает мне ее любить, я не о том, тут проблема иного рода, мне требовалось связать все воедино, не знаю, кто сказал, что логика и любовь несовместимы. Очень даже.

Я сказала ему, что ты мне нравишься, ответила Одри, что я хочу встретиться с тобой и предпочитаю уйти. Я бы все равно ушла, но в данном случае так получилось даже лучше. Симон считал, что лучше мне уйти не просто так, а с какой-нибудь целью. С тех пор, как мы начали расставаться, он мне сочувствует и старается помочь.

Допустим, сказал я. До сих пор понятно. Более или менее.

Скорее менее. Со мной разговаривала в эту минуту совсем другая женщина. Н-да. Я ее едва узнал, а она уже меняется. Я смотрел на нее, пытаясь разгадать секрет перемен, но ничего не получалось, у нее было в точности то же лицо, и это лицо я любил.

Теперь мне предстояло любить другую. В том-то и фокус.

Ладно, утрясется. Еще одно усилие. Ну, чтобы любить ее так же. Дело даже не в усилии. Я уже к ней привык, и, хотя я не против неожиданностей в качестве закваски, мне сейчас надо было приспосабливаться заново. Прибавить ей какую-то черту. Ну так не жадничай, прибавь, сказал я себе. Дополни ее.

К тому же меня смущал Симон. Не терплю, когда мне врут. И когда лезут в мои дела. А теперь оказывается, я ему еще и обязан. Уж лучше бы я его обманывал сам.

Чего я не понимаю, добавил я, так это зачем он меня пригласил ждать вместе с ним.

Затем, чтобы ты меня ждал, ответила она. Я сама попросила. Чтобы мне помочь. Чтобы ты подготовился. Говорю тебе, мы с ним хорошо ладим с тех пор, как стали расходиться.

А потом он позволил мне вернуться вечером домой и получить твое сообщение, сказал я.

Нет. Домой ты вернулся сам.

Приятно слышать.

В таком случае объясни мне, возразил я, почему на следующий день он пытался воспрепятствовать нашей встрече, посадив меня с твоими детьми вместо...

Няньки? — спросила она.

Да, сказал я. Почему он пытался нам помешать?

Потому что ты ему был нужен, ответила Одри, она давала наконец разъяснения, и я это ценил. Не так уж важно, встретились бы мы в тот вечер или в какой-нибудь другой. Главное, чтобы встретились. Мы и встретились, кстати. Но даже если б и нет.

Что?

Ты меня ждал.

Да.

Я никогда не думала, что тебе обязательно меня любить, сказала она.

Да, ответил я. Но желательно.

И весьма.

Мне самому так больше нравится, сказал я. Мне нравится тебя любить. Воображаю, если бы сорвалось.

И что же ты воображаешь?

Ничего, сказал я. Вообще-то, так только кажется, что у меня богатое воображение. Я просто живу и всё, когда получается. Никогда не мог бы себе представить, что Симон в курсе.

А теперь?

Теперь представляю, не мудрено, в сущности.

И что?

А то, что без этого все было бы как час назад.

То есть иначе?

Да.

А теперь?

Не знаю, сказал я. Привыкнуть надо. Привыкнуть, что мой личный выбор оказался частью коллективного замысла. Твои друзья с баржи, Симон, ты, и я к шапочному разбору, хотя, если все получилось так, как кажется, а оно, кажется, так и получилось, то я все-таки существую, похоже. Существую с тобой. Только инфраструктура тяжеловата. Народу много. Чувствуешь себя пешкой.

Ты меня больше не любишь, сказала она.

Да нет же, сказал я. Люблю. Это как бы испытание. Махонькое испытаньице. Преодолеть такое — одно удовольствие. Симона, впрочем, предпочел бы разлюбить, хотя не важно. Я собираюсь стать открытым для общения. Могу начать с него.

Ты зайдешь сегодня вечером?

Зачем? Что еще за идея? Зачем мне туда идти?

Это не идея, сказала она. Просто мне не хочется с тобой расставаться.

Я был потрясен таким объяснением. Оно выглядело правдоподобно.

Предпочитаю все-таки не заходить, сказал я. Я тебя провожу. Ты надолго?

Не знаю. Подожди меня дома, так будет проще. Я тебе оставлю сообщение.

Заманчиво. Я никогда еще никого не ждал дома.

Я думаю пойти часам к шести, сказала она.

А если их нет?

Подожду.

Звонить не будешь?

Страшновато как-то. С тех пор, как ты тут, мне действительно надо многое им сказать, но сейчас я не собираюсь ничего говорить. Не сегодня, сегодня я просто загляну. Это моя семья.

Хорошо, сказал я.

Впереди еще два часа. Пойти в кино? Не успеем. Нужно попасть на другой конец Парижа, подходящего сеанса наверняка не окажется, к тому же я совершенно не представлял, что смотреть.

Она представляла, но ничего привлекательного для себя не находила. Оставалось просто быть вместе.

Мы вышли из сквера. Скверик этот мы уже использовали на все сто. Дорогу пешком я знал смутно, но времени было предостаточно. Я держал ее под локоть и шел, чуть поотстав, чтобы не мешать ей сосредоточиться, подумать, как там у них все сложится. Я и сам об этом думал, но не особенно. Больше о будущем. Пропускал этот вечер. Прикидывал, как они там все решат, с кем останутся дети, кто будет с ними сидеть. Я живу далековато. Кроме того, Одри не работает. С точки зрения материальной перспективы не лучшие.

Тебя что-то беспокоит?

Так, пустяки, ответил я, просто я подумал, что мог бы переехать поближе.

Было бы здорово.

Успеем еще обсудить.

Не хотелось сразу начинать с размеров жилплощади. Мальчики меня примут, сомнений нет, собственно, уже приняли, а вот чтобы увеличить площадь, придется напрячься.

На тротуарах было людно. Нас толкали. Мы брели вдоль закрытых магазинов. Одри остановилась посмотреть куртку. Сочла, что дороговато. По мне, тоже. Я уже думал о новой квартире.

Мы вышли на берег Сены. Намного западнее, чем предполагали. Отклонились порядочно. Но время позволяло, и я предложил что-нибудь выпить.

Она не возражала. Вот только пить не хотелось. Заказали кофе. На террасе.

Тебе не скучно? — спросил я.

Нет. А тебе?

Нисколько.

Нам нисколько не было скучно. Нам удалось даже помолчать какое-то время, хотя оставались нерешенные вопросы. Нам просто было хорошо. Никогда еще не было так хорошо. Даже несмотря на то, что Симон все знал. И несмотря на то, что она переменилась. Степеннее стала. Экзальтации меньше. Разве только страх, легкий страх в зародыше, что все это пройдет. Мой страх. Что у нее пройдет.

Возникла потребность немедленно спросить, любит ли она меня. На всякий случай, на этом этапе. Я спросил.

Она меня успокоила. И тоже спросила, чтобы успокоиться самой. Мы оба успокоились.

И оказались у входа в зверинец.

До скорого, сказала она.

Я буду ждать тебя не дома, а на набережной, сказал я.

Она миновала ворота. Поздоровалась с кассиршей. Я проводил ее взглядом. Она обернулась. Я помахал рукой. Потом развернулся к Сене, пересек набережную и стал ждать.

Затем сказал себе, что прямо сейчас она не выйдет. Пересек набережную в обратном направлении. Купил входной билет в зверинец. Прошел под ее окнами, обогнул здание, оставив страусов по левую руку. Остановился перед яком. На обезьян смотреть не стал, чтобы не отвлекаться. Я думал о ней. Внимание мое привлекли зебры, они красивые, даже если голова занята другим. Я направлялся к розовым фламинго, да все не попадал. Зоопарк невелик, но дорожки очень петляют. Короче, я заблудился и фламинго не нашел. По зоопарку гуляли посетители, все больше семьями, иногда они разъединялись по интересам в животном мире, но, похоже, один я искал что-то с потерянным видом, впрочем, не слишком потерянным, не то чтобы дело жизненной важности.

Я брел вдоль большого вольера с мостиком посередине. На мостике кто-то стоял, подняв голову. Женщина смотрела на цаплю.

Это была Клеманс.

Я ее сразу узнал. Осанку, профиль. Сумочку. Она была такой же красивой, как в моих воспоминаниях. В точности такой же. Словно я ее туда поместил да и позабыл.

Или нет. Предположим, не забыл. Вот она тут. Но это на случай, если бы я ее еще ждал. А ждать мне ее теперь было незачем.

Я свернул в сторону. Она меня не видела.

О переводчике

Роман, который вы только прочли, — последняя переводческая работа Ирины Радченко. Ее не стало ровно год назад. Это утрата не только для близких, не только для друзей и коллег, это огромная утрата для читающей публики — есть писатели, которых следовало бы переводить только ей.

Берясь за новый перевод, она каждый раз словно шла на риск — долго прислушивалась к тексту, выверяла соответствия — автора себе и себя автору. За "несвоих" авторов не бралась никогда. Она переводила Флобера и Камю, Селина и Сартра, Саган и Жироду. А в последние годы занималась в основном литературой самой современной, сегодняшней, и печатала в "ИЛ" по несколько переводов в год: Мишеля Уэльбека, Виржини Депант, Мари Деплешен, романы Жан-Филиппа Туссена — в том числе знаменитый "Фотоаппарат", — выбирая вещи, порой почти непереводимые. Ей было интересно заниматься лишь той прозой, которая требует тонкой и головоломной работы. И если кто-то думает, что стимулом для перевода может стать заработок, то это верно лишь для километров ширпотребного чтива, а в случае настоящей литературы, которая переводится по двадцать страниц в месяц, не мечты о гонораре толкают переводчика к письменному столу. Толкает желание передать нечто, что существует лишь в языке, в тексте, — и чаще всего при переложении утрачивается. Чем больше этой неуловимой субстанции удастся переводчику сохранить, тем больше шансов у книги выжить в другом языке. И тут с Радченко мало кто мог сравниться. "Свидания" Кристиана Остера — тому пример. Что осталось бы от истории, рассказанной автором — "бесстрастным насмешником", как назвал его один из французских критиков, — если бы не словесные кружева?

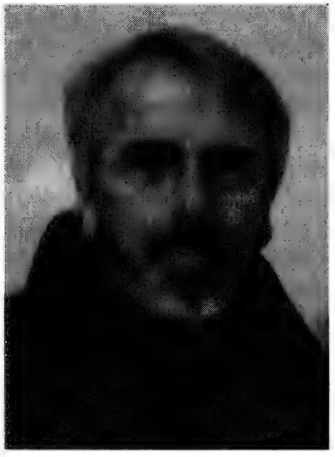
Кристиан Остер, действительно, принадлежит к группе писателей (Жан-Филипп Туссен, Жан Эшноз, Эрик Шевийар), которых иногда именуют "бесстрастными", но чаще "минималистами" — за использование самых простых материалов и инструментов, какие есть у прозаика: минимум тропов, минимум сюжетных перипетий. Повествование выстроено вокруг какого-нибудь камерного события или просто череды незначительных происшествий и решено, как правило, в ироническом ключе. Здесь нет прямого описания эмоций, нет авантюрной интриги с неожиданными поворотами, что могло бы, теоретически, спасти от провала посредственно написанный — или посредственно переведенный — роман. Словесный рисунок решает все. И в передаче этой графики Ирина Радченко достигла, по сути, идеала: перевод верен оригиналу до мельчайших стилистических и смысловых деталей, сохранены все ассоциации и намеки, и даже то, что должно прочитываться "между строк".

Она нашла полный русский эквивалент для французского минимализма. Но прежде "нашла" само это течение, когда оно еще только зарождалось. В середине восьмидесятых, когда его признанный ныне лидер Ж.-Ф. Туссен был всего лишь подающим надежды молодым автором, она обратила на него внимание, писала рецензии на его книги и много лет безнадежно искала издателя, который согласился бы опубликовать их по-русски. Первый перевод Туссена, роман "Месье", она напечатала только в 2001 году в "ИЛ". Потом перевела еще два — "Фотоаппарат" и "Любить". Все они вышли затем в книжных изданиях, теперь по ним ставятся спектакли.

Разумеется, Ирина Радченко минималистами не ограничивалась. Известен ее жесткий — под стать авторской манере — перевод "Платформы" Уэльбека или романа "Guignol's band" Л.-Ф. Селина. Она умела перевоплощаться в переводе, как актеры, играющие много ролей. Но, в какой бы стилистике она ни работала, она старалась переносить тексты из французского языка в русский живыми. И этим отчасти напоминала персонажа ее любимого Туссена из романа "Фотоаппарат: "...Один среди совершенно пустого пространства, я смотрел, как пробуждается день, и думал только о настоящем, о текущей минуте, снова и снова стараясь удержать ее ускользающую красоту, как пытаются острием булавки закрепить на картоне бабочку еще живой. Живой".

Ирина Кузнецова

Филипп Делерм



Мини-рассказы из книги "Диккенс, сахарная вата и другие лакомства"

Перевод Натальи Мавлевич

Настоящее пюре

ПОСТЕПЕННО пюре превратилось в легкий гарнир. Особенно в ресторане. Картофельное — так просто изгнано с позором. А другие... Конечно, разноцветные кляксочки на большой тарелке смотрятся довольно мило. Цесарка с тремя пюре: из сельдерея, земляной груши и гороха. Или иногда из моркови. Три круглых островочка мягкой теплой кашицы. На пару ложек каждый. Вот тут-то и кроется нелепость. Что это за пюре, если его всего две ложки? Пюре — это что-то погуще и посущественнее.

И вот однажды дома берешь и делаешь себе настоящее пюре. Сначала расстилаешь на кухонном столе газету — для очисток. Отлично подойдет старый номер "Экип". Срезаешь кожуру с картошки специальным ножиком и с удовольствием читаешь между делом, что говорил Зидан перед матчем с Монако, сыгранным полгода тому назад. Похоже на прогноз, который строили в начале двадцатого века на начало двадцать первого. Работаешь без спешки. Очень тщательно моешь картош-

© Gallimard, 2005
© Наталья Мавлевич. Перевод, 2006

ку холодной водой, потом раскладываешь посушиться на белоснежной салфетке. Это, может, и необязательно, все равно же бросишь в кастрюлю вариться, но так оно как-то правильнее.

Варится картошка почему-то всегда дольше, чем ожидаешь. Тычешь ее вилкой — надо, чтоб клубни были не слишком твердые, не слишком мягкие, и очень важно вовремя снять с огня. Но еще важнее, уже после того, как сольешь воду, добавить молока и масла в должной пропорции. И наконец, самое приятное — разминать толкушкой. Усилия никакого, и мускулы, и ум работают едва-едва: лишь краем уха слушаешь, как радио курлычет новости.

Можно было бы еще сварить сосиски или поджарить кровяные колбаски — но нет! Наесться пюре в чистом виде, наложить себе полную тарелку — гораздо лучше. А главное, уж я-то знаю, что не удержусь: собью пюре в ровную круглую лепешку и вилкой расчерчу косыми полосками или квадратами, как крещенский пирог с бобом. Неизбывное детство!

Гаронна с мятным духом

БУТЫЛКУ воды с мятным сиропом заворачивали в мокрую тряпку. Укладывали, чтоб сохранить прохладу, на самое дно корзины, и отправлялись на Гаронну. Сначала долго топали по жаре. За фермой Форно переходили по висячему мостику через канал с изумрудно-зеленой водой. А там уж рукой подать до Гаронны. Шли тополевой аллеей, по выгоревшей траве, вскоре крепкий запах разогретой земли и палой листвы сменялся другим, но таким же густым: дикой мяты и подсохшей тины, от которого сладко и тревожно замирало сердце — вода близко! Останавливались и устраивались под большим платаном, на краю каменистой бухты. Река тут довольно быстрая. У нас в семье часто вспоминали, как мой брат решил переплыть Гаронну и еле выбрался на другой берег — его снесло далеко вниз по течению. Видевший все это бакенщик сказал отцу, что брат чуть не утонул. Но сам пловец пожимал плечами и уверял, что просто искал местечко на берегу, где нет колючих кустов.

Я о таких подвигах и не помышлял. Мне хотелось в воду, но я ее боялся. Отец учил меня плавать брассом: раз — два, три — четыре! Однако мои водноспортивные достижения ограничились тем, что, обзаведясь маской и трубкой, я героически засовывал голову в реку, натужно пыхтел и смотрел, как мечутся на мелководье мальки. И эти упражнения, и мучительный подъем к платану по камням, сначала мокрым и скользким, потом скрипучим и раскаленным, — все эти предусмотренные заранее испытания придавали особую цену долгожданной мятной водичке. Берег Гаронны благоухал дикой мятой, и я пил воду с мятным сиропом. Сиропа добавляли не скупясь — на дно стакана оседали густо-зеленые завитки, а выше оставалась зелень посветлее, посмотришь сквозь стакан на солнце — вот он, настоящий цвет наливного летнего дня. Мятная вода! Летняя жажда для меня навсегда окрашена этими зелеными переливами, от темных и мутных глубин к прозрачной, устойчивой ясности, к натруженной гармонии сладости и жути.

Сахарная вата

САХАРНАЯ вата из тех вещей, о которых говорят: неужели такое еще есть на свете! Хотя никаких воспоминаний она не вызывает: в детстве я ее не покупал. Предпочитал разжиться еще одним билетиком на карусель, потом на автодром или даже лишним десятком пулек в тире. Эта штуковина похожа на свисающий с лотка слой резинистого суфле-маршмеллоу: кажется, вот-вот плюхнется на прилавок, но продавец успевает подхватить и поправить. Минута — и белая масса снова поползла вниз. У киоска со сладостями приятно постоять и посмотреть, тут пахнет вафлями, фритюром от пончиков. Продаются и яблоки в сахарной глазури. Такое я однажды попробовал; ярко-красная блестящая глазурь ужасно соблазнительна, но прокусишь сладкую корочку, а под ней просто-напросто кисловатая яблочная мякоть; кажется, тебя нахально провели, всучили самое обыкновенное яблоко, которое еще и не съешь нормально — красная шелуха крошится на зубах. Аппарат для взбивания сахарной ваты стоит на краю прилавка. Продавец держит палочку концом вниз и чуть ли не благоговейно наблюдает за неизменно повторяющимся волшебством: за тем, как стремительно нарастает гигантский кокон.

Бывает, и взрослым, когда они приводят детей на ярмарку и подолгу ждут их перед каруселями, вдруг придет в голову побаловаться сахарной ватой. Не то чтобы для этого нужен был особый предлог, но уж очень вписывается в общую картину: сам Бог велел глядеть на карусель с сахарной ватой в руке. Выбираешь себе цвет: розовый, как наряды Барби, лиловый, как платье пожилой дамы с пышной укладкой, зеленый, как бархатный лягушачий животик, — забавно! На тебя поглядывают с усмешкой, но тебе не обидно, отчасти ты на это и рассчитывал.

Сахарную вату не просто едят, ее обкусывают понемногу, начиная с самой толстой части. Сперва это довольно приятно, будто хватаешь ртом рыхлый снег. Но очень скоро надоедает. Чувствуешь себя по-дурацки, спешишь уничтожить улику и отрываешь большие клоки. Тут-то вата и превращается в липучую сладкую паутину, пристает к губам и щекам, и уже не знаешь, куда деваться. Глотаешь через силу, чтобы не выглядеть совсем смешным. Но срок ожидания кончается, небрежно прячешь за спину руку с клейким комком — скорей бы от него избавиться! — а другой машешь своему слезающему с карусели чаду. Яблоко в глазури, оно хоть пахнет яблоком.

Чтение и анорексия

“ПАРМСКАЯ обитель”, “Виконт де Бражелон”, “Господин де Камор”[1], “Векфилдский священник”, “Хроника времен Карла IX”, “Земля”, “Лорензаччо”, “Отверженные”... Вот неполный перечень того, чем питается Жюльетта, “длинноволосая сестра” Колетт. Об этом говорится в “Доме Клодины”. Этот отрывок выделяется из остального текста. Как будто среди источников, питающих дет-

1. Роман французского писателя Октава Фёйе (1821–1890). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

скую душу, таких, как утренняя свежесть, живая прелесть родников, глициний, спелых абрикосов на шпалерах, было и некое место затворничества, лихорадочной страсти. Комната Жюльетты.

"В двенадцать лет я повадкой и речью напоминала смышленого, но угрюмого мальчишку, однако же во внешности моей ничего мальчишеского не было: вполне явственное женское сложение и, главное, две длинных косы". Так Колетт описала себя, стоящую на пороге знакомой, но оставшейся в далеком прошлом комнаты. Довольно двусмысленная фраза. Автор как будто смешивает в ней мужественность и женственность. В том возрасте, когда ребенок осознает и принимает свой пол, один из двух, слишком любящая жизнь героиня не может разделить их. Начало рисует ни на кого не похожую дикарку, в конце же, где появляются длинные косы, она словно становится двойником Жюльетты.

Что она такое, Жюльетта? Существо в женском телесном обличии, изнуряющее себя безумным поглощением книг. Она не спит, не ест; чашка какао, которую сварила для нее Сидо, остывает зря. В конце концов она уходит в зазеркалье, путает родных с любимыми писателями, посещающими ее в бреду. Легко представить себе, как ужасала и притягивала юную Сидони Габриель Колетт эта обитель ненасытного чтения, в которую заточила себя Жюльетта. Вы пожираете книги, или книги пожирают вас. Со слишком близкого расстояния наблюдая такое чтение, этот жуткий, манящий наркотик, эти захватывающие странствия, Колетт не могла не испытывать к нему тяги. Но в ней одержала верх другая сила. Ведь можно так же страстно поглощать жизнь. Чтобы потом, быть может, претворять ее в книги.

Сладкий Хоппер[1]

ФАСТФУД — извращенное удовольствие. Прежде всего для ума: страшно приятно окунуться в "неполиткорректность". Что касается чувств, стиль фастфуд — часто, быстро, небрежно, — конечно, должен их притуплять. Но для того, кто посещает такие забегаловки раз в год, а то и реже, антураж сохраняет всю свою свежесть.

Все дело в антураже. Без него вещь — не вещь. Что общего между кока-колой, принесенной по нелепой прихоти домой, — в стандартной пластиковой бутылке, сильнее или слабее газированной, — и кока-колой в фастфуд? Здесь сам смысл напитка меняется в зависимости от размера тары: вам какую колу? обычную? большую? Иначе говоря, вы сибарит или янсенист по части колы фастфуд? Надо сделать выбор в сторону изобилия или умеренности. Стаканы будут разными по величине, но одинаковой формы и одинаково ярко раскрашенными. Увидеть содержимое мешает крышка. Несправедливо? Наоборот: невидимая кола — это редкостная квинтэссенция напитка, вы пьете кока-колу в идеальном, а не банально-материальном виде. Свободно закрепленная в крышке коленчатая соломинка превращает колу в изысканный коктейль, который не пьют, а потягивают. Ну, а самое главное — как посту-

1. Эдвард Хоппер (1882–1967) — американский художник, предтеча гиперреализма.

кивают такие же невидимые льдинки, когда берешь стакан: словно освежающее полярное дыхание проникает с каждым глотком в знойные недра жажды.

Картошка фри тут тоже особенная. Вы можете любить ее воздушной, порезанной потоньше и прожаренной поменьше. Но все эти качества исчезают, когда вам подают хрустящие палочки в пакете вроде сигаретной пачки: вы и подносите ко рту уже не кусочки картофеля, а длинные легкие сигареты.

А гамбургер со сладковатыми потеками кетчупа по краям половинки и без того сладкой булочки! Слово "сладкий" в мире фастфуда теряет тот пренебрежительно-отрицательный смысл, который вкладывают в него взрослые люди. Даже мороженое с клубникой и шоколадом — строберри-сандей — здесь ешь, утопая в блаженстве, которого не портят ни ватный слой взбитых сливок, ни пресный запах пломбира. Потому что в здешней атмосфере витает тот же дух, что на картинах Хоппера, а простота столов и стульев его еще подчеркивает. В закусочной фастфуд изображаешь одиночку-горожанина, проезжего, который заскочил перекусить лишь бы чего на скорую руку. На фирменном подносе все расфасовано и запаковано: кола-невидимка в стакане, гамбургер в целлофане, палочки фри в пакете. Тебе все это нравится, но признаваться неприлично, хороший тон велит ругать фастфуд. Вот потому-то удовольствие и извращенное. Америка!

"*Книги иного рода... под замком*"

ГАЗЕТЫ, книги и альбомы на низеньком столике в гостиной лежат не просто так. Что вы хотите: удивить гостя или в точности оправдать его ожидания? Ну, это, конечно, смотря по тому, кто к вам придет. Если совсем свои, достаточно убрать подальше телепрограмму с хорошенькой дикторшей на обложке да вырезанный из "Пари-Норманди" кроссворд, а остальное просто-напросто сложить поаккуратнее, ну разве что выложить на видное место последний номер "Гео", посвященный Брюгге, и внушительный кирпич о повседневной жизни римлян. Его формат, почти квадратный, и коричневая с палевым обложка будут отлично сочетаться с кофе и сдабривать его итальянским ароматом. Но для всех остальных, людей не слишком близких или малознакомых, требуется тонкий расчет.

Тут настоящая гомеопатия. Какой имидж должен создавать журнальный столик? Вот этот сборник литературных хулиганов — долой, несолидно! А "Прогулки с Марселем Прустом" в самый раз: всем известно, что это ваш любимый писатель. Штука в том, чтоб показать себя не совсем таким, какой ты есть, но и не совсем другим. Не повредит чуть-чуть эротики, разумеется, самой изящной: альбом Дельво[1] или Леонор Фини[2]. Фотографии Хельмута Ньютона[3] — это уже рискованно, если только книга не куплена на благотворительной распродаже. Не стоит

1. Поль Дельво (1897–1995) — бельгийский художник-сюрреалист.
2. Леонор Фини (1908–1996) — французская художница-сюрреалистка аргентинского происхождения.
3. Хельмут Ньютон (р. 1920) — классик современной европейской фотографии, "король эротики".

маскироваться Бэконом[1], если вам явно больше к лицу Валлоттон[2]. Сампе[3] годится на любой вкус. Однако в этом есть свое "но": он ничего не скажет о вашем собственном вкусе. В глянцевых журналах по интерьеру на низких столиках в гостиной всегда разложены... глянцевые журналы по интерьеру. Такая головокружительная композиция хороша с комплектами "восточного стиля", когда вам хочется оттенить пражско-снежно-туманную составляющую вашей личности, ну а обложки "западного стиля" — фон в буржуазно-католическую строгую полоску — только испортят впечатление. Естественно, не обойтись без романов, но их функция в основном декоративная. Голубые бумажные обложки "Меркюр де Франс" почему-то дольше не выцветают, чем желто-соломенные томики "Грассе". Как лучше: сложить все книги ровными стопками или инсценировать легкую небрежность — бросить сверху парочку как придется?

В этой продуманной тактике есть толика привычного в любом обществе лицемерия. Бывает, взглянешь в зеркало и вдруг уложишь прядь волос повыразительнее. Не такой уж большой грех подобное лукавство, вспомним Онуфрия у Лабрюйера: "В комнате у него всюду лежат книги; откройте их, и вы увидите, что это 'Духовная борьба', 'Христианский дух' и 'Святой год': книги иного рода он держит под замком"[4].

Что ж, у каждой эпохи свой журнальный столик.

Настоящий музей Бальзака

ЭТО совсем рядом с моим коллежем. Иногда в хорошую погоду, как выдастся свободная минутка, я захожу туда посидеть на траве у кладбищенской стены. И каждый раз словно слышу голос из другого века, произносящий длинный монолог. Примерно так: взору случайного путешественника, совершающего прогулку среди холмов, живописный, купающийся в зелени городок Берне с рядами серых шиферных и красных черепичных крыш предстает образчиком провинциальной безмятежности, порядка и гармонии. Но стоит ему спуститься к берегу Конье тропой, ведущей меж скромных белых домов с наружными балками, окруженных садиками на каменных ступенях, как он услышит глухой рокот громадных машин...

Похоже на Бальзака. Словно начало какого-то романа. Что будет дальше? Контраст мирного деревенского пейзажа и клокочущей человеческой алчности. Герой, нормандский вариант Гранде, бывший фермер, который променял своих коров на печатное дело и нажил, не стесняясь самых беззастенчивых махинаций, немалое состояние. Дом за высокими кирпичными стенами, построенный на бывшем пастбище; запуганная жена, строптивая, заносчивая дочка, которая бренчит на фортепианах и мажет бездарные акварельки. Отвергнув любящего воздыхателя, девица попадает в лапы проходимца, который разоряет всю семью дотла. Всегда одна и та же, до обидного однообразная, жестокая история.

1. Фрэнсис Бэкон (р. 1909) — английский художник сюрреалистического толка.
2. Феликс Валлоттон (1865–1925) — швейцарский художник-эклектик.
3. Жан-Жак Сампе (р. 1932) — французский иллюстратор комиксов.
4. Жан де Лабрюйер. Характеры. Перевод Э. Линецкой и Ю. Корнеева.

Нет, пусть лучше будет самое начало; смотришь и думаешь, что вся эта панорама, собор Сент-Круа, обе речки — Шарантон и Конье — все родилось под взглядом и под пером великого кофемана. Берне — не Илье-Комбре[1] и не Эпиней-ле-Флерьель[2], он же Сент-Агат, здесь нет и не было Большого Мольна или Свана, нет никаких соприкосновений с вымышленными мирами. Однако прогулка по здешним холмам напоминает о Бальзаке больше, чем действительно связанные с ним места и вещи. Настоящий, живой музей писателя всегда располагается под открытым небом, такие музеи — места, в которых он никогда не бывал, но которые нам оставил.

Поздняя вишня

КОГДА прожита вместе вся жизнь, супругам случается подолгу молчать или вести одни и те же, ставшие почти обрядом, споры. И часто молчание много хуже перепалок, они же, наоборот, бывают благотворны. Взять, например, вот эту пожилую пару: муж и жена скандалят из-за вишни, следят друг за другом, хитрят. У них на глазах маленькое деревце выросло в огромное и раскидистое, накрывающее ветвями почти весь сад. Вишни позднего сорта, вызревают до черноты в самом конце июля. Их уже не достать, но муж не может смириться и каждый раз упрямо пытается обобрать хотя бы нижние ветки. Жена боится за него, он стар, в прошлом году уже свалился. Ну что ж, он чинно и невинно гуляет по саду, заложив руки за спину, и только поглядывает на вишни. Но вдруг — нет сил терпеть! — хватает стремянку и лихорадочно устанавливает под деревом, между ветвями. И непременно в этот самый момент распахивается застекленная дверь кухни. Она почуяла и не ошиблась! Опять за свои подвиги! Вот дурень, что тебе неймется! Хочешь вишен — иди да купи килограмм! Муж что-то бурчит: не то огрызаясь, не то соглашаясь. Но все равно от своих вишен не отступится! Ничтожный повод для войны, но под знаком этих баталий каждый год проходит конец июля. Плюнь он на эти вишни, им было бы спокойней жить. Спокойней? Да. Но вряд ли они стали бы счастливей. Ведь в глубине души она довольна тем, что ей приходится бороться с его вишневой страстью. Тем, что у них в саду вскипает страсть.

Как хорошо

"КАК хорошо..." Отец пьет гренадин и одобрительно кивает: "Как хорошо..." Услышать такое от моего отца — большая неожиданность. Не помню, чтоб ему хоть раз в жизни случилось произнести такие слова. И вдруг теперь, в восемьдесят девять лет, прикованный к креслу (болезнь Альцгеймера), он шепчет: "Как хорошо". И пьет со вкусом, мелкими глоточками. Но постепенно удовольствие слабеет. И допивает он стакан из чувства долга, оно-то не покидало его никогда. Допить-доесть все, что дали, — непременная обязанность. В по-

1. Городок, описанный в романе Марселя Пруста "В поисках утраченного времени".
2. Городок, описанный Аленом-Фурнье в романе "Большой Мольн".

следние годы, когда он еще был в полном сознании, он подолгу мрачно просиживал над полными тарелками, которые ему подавали дома или уж тем более в ресторане. Аппетита не было, но он насильно заставлял себя есть, да еще с хлебом — как приучили с детства, — и терпел эту добровольную пытку до конца. Оставить что-то на тарелке — немыслимо, недопустимо. Так диктовала строгая мораль его крестьянских предков: всякое изобилие, пусть даже ненужное, следовало свято почитать.

Еще три-четыре года назад он поднимался по утрам, шел на трясущихся ногах к столу, садился перед своей чашкой кофе с молоком и бормотал: "Провались все пропадом". Теперь же, когда у него помутился рассудок и он погрузился в какое-то безответное, безразличное забытье, — теперь он говорит: "Как хорошо".

Как хорошо. Эти слова много значат. У отца, каким я знал его прежде, не повернулся бы язык выговорить такое. Помню, у нас дома, в Аквитании, в изнурительную летнюю жару он целыми днями возился в саду и заканчивал работу только к вечеру. Я в это время возвращался, наигравшись в футбол или накатавшись на велике. Прислонял велосипед к стене и подходил к дому, как раз когда он мылся под краном во дворе. Он никогда не упрекал меня, но смотрел с убежденным превосходством, какое дает чувство выполненного долга, и громко отфыркивался, демонстрируя усталость не от баловства, а от серьезного дела. Мать подносила ему стакан пива с лимонадом, он выпивал, благодарил, но никогда не говорил "как хорошо".

Теперь все позади, он выпустил вожжи из рук — его перевели сегодня в другую комнату, чтобы перестелить пол в его прежней, а он даже не удивился, — какой же смысл в этом довольном восклицании, которое он повторил за ужином, отведав ванильного десерта?

"Как хорошо", — сказал он два раза за сегодняшний день. Два раза за полвека. Может, ему стало лучше, оттого что ослабло напряжение, в котором он держал себя всю свою сознательную жизнь? Или это, противное его натуре, выражение удовольствия вызвано неимоверной усталостью и вырвалось невольно? В конце концов, не важно. Он говорит "как хорошо", он любит сладкое, ему нравится гренадин и ванильный десерт. Он говорит "как хорошо", и может быть, он часто это думал, но вслух не говорил. Так что же, он стал самим собой или изменил себе? Он говорит "как хорошо"...

Натали Саррот

Иссм, или То, что не имеет названия

Пьеса

Перевод и вступление Марии Аннинской

От переводчика

Знаменитый канадский пианист Глен Гульд, начав в 60-е годы делать радиопередачи и стремясь отразить в них окружающую сумятицу звуков, использовал наложение и перемещение звуковых планов, полифонию, контрапункт.

Натали Саррот, в сущности, делала то же самое: она изобрела прием перекрестных диалогов (понятно, почему она писала за столиком в кафе, никогда — дома) и разложила хор человеческих голосов на составляющие. Тем самым она максимально приблизилась к истокам речи, заставив читателя совершать своего рода синтез, восстанавливать ситуацию и характеры персонажей. Вообще-то говоря, эта тенденция появилась в искусстве еще в конце XIX века, когда художники-дивизионисты (они же пуантилисты) стали дробить на составляющие цвет и свет, рассчитывая на то, что синтез произойдет в глазу зрителя. Впрочем, все искусство XX века, кажется, готово было вовлечь зрителя (читателя, слушателя) в творческий процесс, сделать его соучастником созидания.

Саррот хорошо известна в России: на русский язык переведены ее роман "Золотые плоды", книги "Тропизмы", "Здесь", "Откройте" ("ИЛ", 1999, № 5), повесть "Детство" ("ИЛ", 1986, № 12) и др. К ее манере привыкли, и все же позволю себе напомнить, что в своих текстах писательница прослеживает драматургию человеческих отношений, столкновение позиций и мировосприятий, зарождение неприязни, формирование мысли. У нее всегда звучит гул голосов: это спор, поиск истины, докапывание до мелочей, до нюансов, первопричины. Это, как пра-

© Editions Gallimard, 1970
© Мария Аннинская. Вступление, перевод, 2006

вило, диалог, даже если звучит лишь один голос, даже если этот диалог ведут сами мысли или рождающиеся в сознании слова. Персонажи обычно не произносят законченных фраз, они лишь нащупывают мысль — и бросают ее, фиксируют возникшее чувство — и спешат дальше, перебивая друг друга.

В 60-е годы Натали Саррот написала серию радиопьес. Это небольшие диалоги для нескольких персонажей: "Молчание", "Ложь", позже "Это прекрасно" и "Она тут". Впоследствии все эти пьесы ожили на театральной сцене.

Пьеса "Иссм" ("Isma") была впервые опубликована в 1970 году, поставлена в 1973-м. В центре ее — конфликт, возникший как следствие некоего факта, чего-то "что не имеет названия", и персонажи, условно обозначенные М. и Ж. (во французском, надо заметить, это выглядит не так комично, как в русском), сами не очень хорошо понимают, о чем речь. Причина долгих разбирательств — неприязнь к отсутствующей на сцене супружеской паре, и именно это чувство объединяет и заставляет спорить персонажей. Как и в других пьесах Саррот, хор голосов обсуждает то, что, по существу, является "ничем" (вспомним провозглашенный Роб-Грийе принцип новой литературы — "Из ничего, из пыли"). Это "ничто", вынесенное в заглавие, в конце концов оказывается суффиксом, произносимым не так, как принято!

Интерес к языку для Натали Саррот не случаен: манере говорить она посвятила не одну книгу. Например, сборник, озаглавленный "Дар речи", где в каждом из десяти эссе анализируется какое-нибудь часто употребляемое выражение. Или одна из поздних книг, "Откройте", где действующими лицами являются спорящие между собой слова. (Любопытно отметить, что нечто похожее написал в 1968 году итальянский классик Томмазо Ландольфи, его рассказ так и называется "Взбунтовавшиеся слова".

Вот ведь как, оригинальные идеи буквально носятся в воздухе.)

Пьеса впервые поставлена в феврале 1973 г. в Театре Пьера Кардена.

Режиссер-постановщик – Клод Режи.

Исполнители:
Он – Мишель Лонсдаль.
Она – Доминик Бланшар.
М.1, М.2, М.3 – Франсуа Дарбон,
Жерар Депардьё,
Мишель Робен.
Ж.1, Ж.2, Ж.3 – Николь Исс,
Паскаль де Буассон,
Татьяна Мухин.

Он. Уничижение? У-ни-чи-же-ни-е. Да, именно так: уничижение. Мы занимались уничижением. Вы могли бы также назвать это злословием. Или сплетнями. Но вы предпочли "уничижение". Понимаю... Сказать по правде, я этого ждал. Ты ведь тоже этого ждала, разве нет? Мы оба этого ждали. И довольно давно...

Она. Да... Я видела, к чему все идет. Все было слишком уж хорошо...

Он (*со вздохом*). Что ж теперь делать? Надо смириться с обстоятельствами. Ничего не попишешь. Видите, какой у всех смущенный вид?

Они как будто не знают, куда себя деть. Их смущение могло бы заставить вас сдержаться... Ведь так бывает, разве нет? Хотите смутить кого-нибудь... но от этого сами смущаетесь, и настолько, что лучше уж оставить все как есть... Я не очень складно объясняю, но вы ведь меня понимаете — все это так, замечания по поводу.

Она. Откровенно говоря, я рассчитывала на что-то в этом роде. Но, кстати, вы же не смутились.

Он. Я? Не смутился? А может, все же смутился? Да, пожалуй, есть немного.

М.1. Посмотрел бы я на вас, если б вам пришлось услышать такое в свой адрес... Нет, это выше моих сил.

Ж.2. Должна признаться, я тоже... когда слышу такое, всегда думаю: и меня, верно, разбирают по косточкам за моей спиной.

Он. Вот видите, она уже пришла в себя. Вы нас пробудили. У нас открылись глаза. Просто удивительно, как все сразу сделалось обычным, нормальным... Чуточку пресным... Или мне только кажется?

М.1. Ничего подобного. Я, знаете ли... такого рода возбуждение... я нахожу его отупляющим.

Ж.2. Мы вообще-то... занимались тем, что перемывали косточки этим несчастным Дюбюи... Пожалуй, мы немного увлеклись.

М.1. Так забудем их, ради всего святого! Давайте найдем другую тему для разговора.

Он. Да-да, вы правы. Я и сам об этом думал. Я легко могу переключиться на любой другой сюжет.

Ж.3. Только не надо смотреть друг на друга с таким видом...

Он. Ну-ну, полно, не будем преувеличивать. Мы просто хотели всех развлечь, блеснуть остроумием, покрасоваться, выплеснуть наружу агрессию, чувство вины... Мы хотели пощекотать себе нервы, сделать приятное... слиться воедино, разделиться... убить, сожрать, освободиться... Да что толку перечислять, все это знакомо до боли. Этим занимаются все. Незачем бить себя в грудь. Все уже позади. Нас призвали к порядку. Это заслуга месье: он проявил мужество. Теперь мы подойдем к делу спокойно и творчески.

Молчание.

Он. Ну так что? Чего мы ждем? Похоже, возникло затруднение с выбором. Ну же, смелее, сделайте кто-нибудь первый шаг.

Ж.3. Не так-то это просто, по заказу...

М.3. Вам больше нравится, когда все молчат?..

Ж.1. О нет, только не это... Тем более сейчас...

Ж.3. Нет, конечно, что угодно, только не это...

Молчание.

Ж.1. Ангел пролетел.

Ж.2. Да, ангел.

Он. Прекрасно. То, что надо. Идеально для такого рода ситуаций. Ну, а теперь...

Голоса

– Прелестно.

– Удивительно.

– Ничего общего с его прежним стилем.

– Какая жалость! Представьте, я не видел...

– Я тоже. Всё откладывали, откладывали... и вот пропустили...

– Так всегда и бывает.

Голоса переходят в гул, на фоне которого слышны отдельные реплики.

– (*По слогам.*) С у-ма сой-ти...

– (*Медленно и протяжно.*) В подобных вещах я, знаете ли...

– (*Сухо и решительно.*) Мнения могут расходиться.

Смех.

– Невозможно.

– Совершенно с вами согласен.

– Что вы говорите!

– (*Сквозь зубы, пренебрежительно.*) Кошмар. Ни крупицы таланта.

– (*Заискивающе, торопливо.*) О да, я тоже так считаю. Мне бы больше понравилось...

Фоновый гул голосов. Смешки. Вскрики.

М.2. Не забудь, ты подаешь сигнал.

Ж.2. Знаю, еще рано. Еще нет и четверти двенадцатого.

М.2. Будь внимательна: ты всякий раз говоришь, что еще рано, а потом затягиваешь...

Он (*обращаясь к ней, тихо*). Они больше не могут...

М.1. Что вы там говорите? Они больше не могут?

Он. Да нет же, я этого не говорил...

М.1. Говорили-говорили, я слышал.

Он. Вовсе нет. Я хотел сказать, что...

Она. О нет, пожалуйста... только не теперь...

Он (*обращаясь к ней, тихо*). Тебе не стыдно? Изменница! Предательница! (*Вслух.*) Знаете, о чем я сейчас подумал?

Голоса

– Нет...

— Расскажите.

— О чем?

Он. Я не решаюсь. На меня опять все набросятся.

М.1. Значит, опять про Дюбюи. Что, угадал? Неужели снова заведете старую шарманку?

Ж.3 (*устало и разочарованно*). Ну хорошо. Значит, Дюбюи тут ни при чем... Что же тогда?

Он. Будьте покойны. Больше никаких Дюбюи. Ни за что. Но месье только что навел меня на мысль.

М.1. Весьма польщен. Хотя не вполне понимаю. Вы ведь не считаете, что мы тут снова, как и недавно, занимались тем...

Он. О нет, конечно, нет. И потом, собственно, не мне говорить об уничижении. Хотя, признаюсь, был момент...

Ж.3. Это когда мы вспомнили про Валери?

М.1 (*с достоинством*). Никакой связи. Прежде всего, Валери мертв. К тому же это великий писатель.

М.3. Немаловажная деталь, в ней-то все и дело.

Ж.2. Безусловно. Тут и добавить нечего... Каждый имеет право... Более того, это долг...

Ж.1. Плата за гениальность.

Ж.2. Вот именно. Нельзя всех мерить одной меркой... Они выше... они за пределами...

Он. Согласен, бедняги Дюбюи не относятся к числу тех, кто "за пределами". Они внутри, целиком внутри, как мы с вами... именно так...

М.1. Только не начинайте все сначала.

Он. Да нет, не волнуйтесь. Речь вовсе не о них.

Ж.1 (*с печалью в голосе*). О ком же?

Он. Да, в общем, ни о ком.

Ж.3 (*разочарованно*). А, ни о ком... Значит, опять будет то же самое?

Он. Ну уж нет. Я как месье. Какое-то время я крепился, а теперь буду делать, как он.

М.1. Что же вы будете делать, как я?

Он. Я тоже позволю себе призвать всех к порядку, я, как и вы, отважусь высказать вслух свое скромное мнение о том, что происходит вокруг.

Она. Нет, умоляю, остановись! Я этого не вынесу.

Он. А я очень даже вынесу. По мне, так это даже полезно. Ну, а теперь хватит, в конце концов, это утомительно... Вы не чуете, каким нафталинным душком веет от наших разговоров? Мы будто копируем копию, вы не находите?

М.1. Копируем копию?

Она. Он хочет сказать, что недавно, когда мы говорили, ему показалось, что мы подражали кому-то... Ты ведь это хотел сказать, правда?

Он. Должен сознаться, меня это и в самом деле приводит в замешательство... После всего, что мы видели... после всего, что нам демонстрируют каждый день, на каждом шагу... в театре, в литературе... и что мы сами иной раз заявляем... с такой серьезностью... Немудрено испытывать некоторое смущение...

Она. И вправду удивительно, вы не находите? Сколько бы писатели ни разоблачали, ни срывали маски... так что даже порой тошно становится... нам всё нипочем, продолжаем как ни в чем не бывало...

М.1. Это естественно. Какая же связь? Там — искусство. Тут — жизнь. Два совершенно разных мира. Ничего общего.

Он. Ну, что касается меня (*валяет дурака*), то теперь, когда мне всё показали.. В общем... ничего не поделаешь: я это вижу повсюду. Едва люди начинают рассуждать в таком духе — я сразу же реагирую на это, как на...

М.2. На что же именно?

Он. Как вам сказать... обмен избитыми фразами. Банальностями, одним словом. Вы понимаете, о чем я? Вам ведь достаточно об этом твердили? Всё уже, поди, наизусть выучили... И вас не смущает, что вы опять влезли в это по уши?

Ж.2. Чего ж вы хотите? Иначе было нельзя. Надо же чем-то заполнять молчание.

Ж.1. И притом быстро. Ждать было некогда. Надо было хватать, что попадало под руку. Пришлось воспользоваться готовым.

М.1. И все же я не понимаю... На что вы, собственно, сетуете? В театре слушаешь такое часами и даже получаешь от этого в некотором роде наслаждение. Или читаешь длиннющие романы — и все ради того, чтобы, страница за страницей, во всех подробностях...

Ж.1. О да, я обожаю...

Ж.2. В персонажах узнаешь себя. Или же не узнаешь.

Ж.1. В самом деле. Как будто видишь себя... но при этом не видишь... Смешно.

М.3. Только смех какой-то невеселый.

Ж.2. Ну, не то чтобы невеселый... Просто смеешься смеха ради, не понастоящему... Это так упоительно.

Ж.1. Все это знакомо. До боли знакомо. И в то же время немного странно, будто впервые сталкиваешься...

Ж.3. Точно пелена спадает...

Он. Какая еще пелена? Что там спадает? Чепуха какая-то. Ничего подобного. Небылицы. Так сказать, литература... Ни крупицы правды.

М.2. Прямо-таки ни крупицы? И избитых фраз тоже нет? Чем же тогда обмениваются?

М.1. Да почему? Как это нет? Избитая фраза — это общее место, то есть место, где сходишься с другими...

М.3. И делишься своими скромными запасами.

Она (*смиренно*). Ну да, вот то самое приданое, что нам готовят с детства...

Ж.3 (*с иронией*). И откуда мы берем, что нам надо, в случае необходимости.

Она (*со вздохом*). Совсем как недавно...

М.1. Вот именно. Как недавно... И я, со своей стороны, нахожу, что это очень даже хорошо. Во всяком случае, лучше, чем ваши мелочные нападки... на этих Дюбюи...

Он. Лучше? Вы так полагаете?

М.1. Конечно лучше. Чище. Невинней.

Она. Послушай, месье прав, не спорь с ним. Обмен банальностями — это что-то чистое, без примесей. Тут нет никакого подвоха.

Ж.2. Конечно, это всем известно. Так, одна видимость... впрочем, в этом есть свое очарование.

М.3. Нет, моя дорогая, видимость — не то. Видимость предполагает невидимую часть, глубину... а глубина, как известно...

Ж.2. Да, знаю: что-то старомодное.

М.1. Истрепанное до крайности.

Ж.1. И все же порой...

Он. Порой вы чувствуете... как изнутри... поднимается что-то вроде... волны... Так ведь? Вы будто слышите милый старый напев? И не можете с этим совладать, верно? Вы не в силах ничего изменить... Чтобы далеко не ходить за примером, вот недавно: достаточно было чуточку напрячь слух... Из ваших реплик, друзья мои, какой получился концерт! Впрочем, нечто подобное происходит со всеми избитыми фразами. Взять, к примеру, любую, самую плоскую, самую невинную. Что-то вроде: "Ну и погодка! Лето от зимы не отличишь!" Или: "О-хо-хо, как время-то летит! Да и мы не становимся моложе". Или еще: "Мне нравится эта книга. Поистине литературный памятник". Во всем этом... сквозит... Если бы мы только захотели... если б осмелились... Только вы не хотите. Не будем трогать избитые фразы. Они для того и существуют, чтобы... смягчать... приглушать... А что касается этих Дюбюи... у них по крайней мере было то преимущество...

М.1. Довольно. Вы же обещали.

Ж.3. Пусть... оставьте его... пусть немного... Дюбюи все же... должна признаться...

Он. Согласитесь, это было недурно, а? (*С видимым удовольствием.*) Согласитесь, что в Дюбюи... было что-то такое...

М.1. Да у вас просто навязчивая идея. Наваждение какое-то. Кстати, это лечится.

Он. Ничего не выйдет. Поздно. С этим покончено. Не начинайте все сначала. Один раз я уже пошел у вас на поводу...

Она. Иначе было просто нельзя. После вашей выходки... Пришлось действовать силой.

Он. Прямо-таки путч! Зато теперь они увидели, в каких ежовых рукавицах их держали... Все с облегчением вздохнули, когда исчезли эти Дюбюи.

М.1. Все хотят вернуться к перемыванию косточек?.. К пересказу сплетен?.. Вам нравится?..

Он. Как видите, это уже никого не приводит в ужас, вы можете сколько угодно твердить: сплетни, уничижение. С них все как с гуся вода.

Ж.2. Если хотите знать, я считаю, что это было очень некрасиво. Пусть лучше меня убьют, чем я стану...

М.3. И я... Чем изображать из себя... судей...

Он. Вот видите. Все настроены против вас. Я же говорил.

М.1 (*с возмущением*). Но вы же сами недавно...

М.3. Нет, я совершенно не переношу скандала... Это выше моих сил. Я всегда отступаю... Во всяком случае, это моя первая реакция...

М.2. Да и я тоже... Все эти одергивания, призывы к порядку... Я, конечно, стараюсь не участвовать... но все равно терпеть этого не могу.

М.1. А я нахожу возмутительным именно то...

Он. К чему этот спор? Никто вас не слушает.

Она. И никто вам не верит.

Он. Нет, почему же? Я ему верю. Я думал, он ломает комедию: всякие там чистота, нравственность... но я пришел к выводу, что не прав: Дюбюи действительно его не интересуют. Ему до них нет никакого дела.

М.1. О да. Абсолютно никакого. Более того — и вас это, наверное, шокирует, — Дюбюи мне скучны.

Она. Дюбюи вам скучны? Не может быть!

Он. Еще как может! Уверен, что это правда. Я понимаю: поверить трудно. Очень редкий случай...

М.1. Редкий случай!.. Вот-вот...

Он (*серьезно*). Именно. Очень редкий. Я говорю о *настоящих* случаях. Потому что притворщиков не счесть. А вот такие подлинные случаи, как ваш... Нет, они, конечно, встречаются... Хотя бы даже в

произведениях мировой литературы... Возьмите, к примеру, Данте... Достоевского...

М.1. Данте? Достоевский?.. Это становится любопытно...

Он. Ну да, я хочу сказать, умеренные. Равнодушные. Те, кто в первом круге Ада, о ком сказано в Апокалипсисе... Как это ни грустно, но вы из их числа.

Она. Да нет же, оставь его в покое. Ты отошел от темы... Зря теряем время...

Он. Хорошо-хорошо, не буду. Слушайте: попросту говоря, надо принять решение... Выбирайте. Кто не хочет, чтобы мы обсуждали Дюбюи? Кто хочет продолжить обсуждение?.. Кто хочет вернуться к безобидному разговору о высоких материях?

Голоса

— Нет, не хотим.

— Только не это.

— Ни в коем случае.

Он. Вот видите. Они сделали свой выбор. Вы остались в меньшинстве. А кто молчит, тот просто не решается... Вы в одиночестве. Вам ничего другого не остается...

М.1. Вот именно. Мне ничего не остается, кроме как уйти. Впрочем, завтра мне все равно рано вставать... Ивонна, ты идешь?

Ж.1. Нет... кажется...

М.1. Что с тобой?

Ж.1. Ничего. Прости, но я останусь.

Он. Вы отказываетесь следовать за вашим супругом, мадам? Вы понимаете, что такими вещами не шутят? Мне бы не хотелось, чтобы из-за меня...

Ж.1. Я так решила. Я остаюсь.

М.1. Ивонна, заклинаю тебя, одумайся. Я не прощу тебе этого.

Ж.1. Ты мне не простишь... Очень хорошо! Вы только послушайте! Он мне не простит... потому что я отказываюсь возвращаться в его мир чистоплюйства, достоинства, целомудрия... к его молочной диете с протертыми кашками... Только высокие материи. ПОЛИТИКА. ИСКУССТВО. Или мертвецы. Великие мертвецы. Жид. Валери. Де Виньи. Шатобриан. Вечно ходить задрав голову, глядя в туманную даль. Не приведи Господи опустить нос и принюхаться, почуять что-нибудь... Сразу — шлеп по спине!.. Вернись, мол, к порядку!..

М.1. Ты отвратительна.

Ж.1. Я? Отвратительна? Знаете, что я вам скажу: я всегда это предчувствовала, с самого начала, только выразить не могла. Нужно было, чтобы кто-нибудь это произнес, непременно... нужно было

как-то это назвать. И вот наконец... какое облегчение! Он умеренный. Равнодушный. Аморфный. И Данте тут! И Апокалипсис! Мне даже не надо столько. Даже чересчур. Благодарю. Разумеется, я остаюсь.

М.1 уходит. Обрывки прощальных фраз. Молчание.

Ж.3. Ангел пролетел.

Ж.1. Не надо. Уже не поможет.

Она. Не надо, прошу вас... Слава богу, всё позади...

Ж.3. Вы правы, простите. Старая привычка.

Молчание.

М.2. М-да... Ну-с... Значит, так, вот что я вам скажу... Коль скоро теперь можно спокойно, ни на кого не оглядываясь...

Ж.1. Да-да, скажите скорее...

М.2. В общем, у меня такое впечатление, что в любом случае, даже без этого инцидента...

Ж.2. К тому же еще в дурном вкусе...

М.2. ...У меня впечатление, что мы в любом случае достигли бы цели.

Она. Как это?

М.2. Мы были от нее в двух шагах. Я как раз собирался вам сказать, что вы нашли наконец то, что искали. Что-то очень подходящее для вашего случая. Да не смотрите на меня так... Я думал, вы не хотите знать. Вам больше нравится мучить себя. Вы ведь это любите.

Она. Очень тонкое замечание... Хотела бы я, чтоб вы оказались на нашем месте. Ну, так что же это такое? Говорите, не томите.

М.2. Ан-ти-па-ти-я.

Она (*разочарованно*). Антипатия?

М.2. Именно. Антипатия. Дюбюи вам антипатичны. И добавить к этому нечего. То, что вы в них чувствуете... непонятное, невыразимое... что вас в них притягивает... что вам мерещится... Все это вызывает у вас то, что именуют антипатией. Ну? Ведь именно это вы искали? В десятку. Прямо-таки на заказ. Общепризнанно. Официально разрешено. Совершенно законно. Что тут можно возразить? И к чему голову ломать? Ну, авось теперь страсти поутихнут.

Он. Антипатия!.. Так вот что вы нам приготовили. Только привереда тут найдет к чему придраться! Только какой-нибудь придирчивый капризник! Что еще нам нужно? Да за кого вы нас принимаете!

Она. Помилуйте, мой бедный друг, это же первое, что пришло нам в голову. Мы подумали об этом с самого начала.

Он. Ну конечно, с самого начала. В тот момент, когда попытались успокоиться. Остановиться...

Она. О да, поверьте, мы сделали все, что в наших силах. Даже, помнишь, мы до того дошли, что стали сравнивать себя с этими помешанными... с этой парой маньяков. Помнишь, у Жанэ: когда на них находило, они спускались в подвал и, взявшись за руки и раскачиваясь, повторяли хором: "Раз, два, три, хватит чертовщины".

Он. Верно, хватит чертовщины. Дюбюи? Ну и что? Что в них такого? Есть, однако, нечто, что все это охватывает. Всё. Смотри. Видишь? Это называется антипатией...

М.2. Ну и чего вам не хватало? Что было не так?

Она. Ну-у... просто, сколько бы мы ни повторяли... никакого результата. Что мертвому припарки... Нет, наоборот... как раз парило будь здоров, без передышки. Даже больно было. Но твердить: антипатия, антипатия — от этого ни холодно ни жарко.

М.2. Есть тут кто-нибудь, кто в состоянии все это понять?

Она. Да кто угодно может это понять. Помните, в "Меловом круге"[1]? Старый муж восьмидесяти лет и его престарелая жена пришли к судье и хотят разводиться. Судья спрашивает: "Вы давно женаты?" — "Пятьдесят лет". — "Так в чем же дело?" — "Дело в том, что между нами возникла антипатия".

Смех.

Вот видите, вы смеетесь.

Он. Вы и сами видите, что "антипатия" не подходит.

Ж.1. Разумеется, после пятидесяти лет брака!

Она (*с жаром*). Совершенно очевидно, что "антипатия" — это слишком туманно, слишком... отдаленно... Она может быть только первое время... Но потом...

Ж.2. Она права. Потом ее неизбежно сменяет что-то другое...

Она. Вот именно. Ах, бедные, как я их понимаю... Что же им пришлось вынести... за всю-то жизнь... только представьте себе... И так ничего у них и не вышло...

Он. Совсем как у нас. Что за наказание...

М.2. Да вы просто обманщики. Гнусные заговорщики. Вы хотите, чтобы вам помогали, а сами всех обманываете. "Антипатия", видите ли, им не подходит... Значит, Дюбюи вам очень близки? Вы хорошо их знаете? И давно?

М.3. Признайтесь, это ваши родственники?

Она. Ну... в общем... да. Дюбюи, это... так сказать... для отвода глаз... своего рода перенос, проекция... В сущности, речь идет... ну да, о родственниках... вернее, о свекре со свекровью... Просто Дюбюи очень на них похожи...

Он. Ты с ума сошла, что такое ты говоришь?

1. Имеется в виду пьеса Б. Брехта "Кавказский меловой круг" (1949).

Она. А что я должна сказать? Что это наши дети?

Он. Ты вконец потеряла голову! Представляешь, куда нас это может завести?..

Она. Ой, я сама не знаю, что говорю... Да нет же. Конечно, не родственники. И не дети вовсе... Нет-нет... Ох, пощадите... Нет, это не комплексы. И не подавленные инстинкты. И не регрессия. Не детские фиксации... Да нет же, это собирательный образ. Мы сами их создали. Проходные персонажи. Продукт серийного производства... Впрочем, нет, извините, я все это придумала.

Молчание.

На самом деле это наши соседи. Мы уже много лет постоянно с ними встречаемся. В общем, вы понимаете...

М.2. Ну что ж, пусть так. "Антипатия" лучше всего подходит для вашего случая: соседи. С ними сталкиваешься на лестнице. Здравствуйте. До свидания. Антипатия оправдывает желание держаться от них подальше... хотя оправдываться незачем...

Она. Вот видишь... Соседи тоже не годятся. Вообще-то, вы правы. Речь идет о родственниках... о брате и его жене. Такие добросердечные люди. Они очень нам помогали. Когда они рядом, все прекрасно... И ничего особенного вы не чувствуете... А потом они уходят... и тут начинается...

М.2. Это ваш старший брат?

Он. Да нет, что вы! Вовсе даже не он. Я понимаю, почему вы спросили. И прекрасно вижу, к чему вы клоните... Но вы ошибаетесь. Это не проекция. И не зависть. И не комплекс неполноценности. О боже, что ты им наговорила! Короче, мы снова попытались вас обмануть. Должен сказать вам всю правду: нас с ними ничего не связывает. Решительно ничего...

М.3. Так в чем же дело?

Она (*жалобно*). В самих Дюбюи. Которых вы прекрасно знаете. Потому-то мы вас и спрашивали... Но только "антипатия" не подходит... а вы не хотели понять... Вот и пришлось что-то придумывать...

Ж.1. Знаете, мне кажется, есть еще что-то... чего вы нам не говорите... Все же вы что-то от нас скрываете...

Ж.2. Они не решаются сказать, что́ именно эти Дюбюи им сделали. Давайте попробуем догадаться...

Ж.3. Скажите, в самом деле, что они вам сделали? Скажите же, ну! Наверное, что-то такое, в чем трудно признаться? Я имею в виду, перед всеми... Скажите мне на ушко, я никому не передам.

Она. Да нет же. Ничего они нам не сделали. Ничего такого, о чем стоило бы рассказывать...

Ж.1. Значит, это то, о чем не стоит рассказывать. Ну сделайте же над собой усилие, если хотите, чтобы мы вам помогли.

Она. Нет, речь вовсе не об этом...

Ж.1. О чем же тогда?

Она. Дело в том... дело в том...

Он. Дело в том, что они существуют.

Ж.3. Существуют?

Он. Конечно. Они есть. Неустранимые. Неискоренимые.

Ж.1. Ну и что из того? Не вижу, из-за чего тут с ума сходить. Если из-за всего на свете...

Ж.2. Даже из-за самого что ни на есть отвратительного... Хотя, по правде, Дюбюи не вызывают у меня отвращения. Если из-за всяких там жаб, змей или крыс...

Ж.3. Верно, очень хороший способ. Успокаивает как нельзя лучше. Я знала одного человека, который таким образом пытался отделаться от собственных детей... Они его мучили... точно так же... приходили к нему по ночам и пугали... нелепо... бессмысленно... по-идиотски... А он только за голову хватался... Он мне рассказывал: "Я просто говорю себе: *ну что ж, как есть*. Ничего не поделаешь. Так уж они созданы... просто живут себе... как мартышки. Или попугаи..." И ему становилось легче.

Пауза.

Ну что? Тоже не подходит?

Он. Нет-нет. Это невозможно.

Она. Совершенно невозможно. Дюбюи, они... Сколько бы мы над ними ни колдовали, сколько бы ни превращали в жаб, змей или крыс... Или в прекрасных принцесс... это ничего не меняет...

Он. Все равно от них будет исходить...

Она. Они что-то такое вокруг себя распространяют... Это "что-то" просачивается... добирается до вас... поднимается изнутри... пробирает до костей... оно рождается из ничего...

Он (*строго*). Источник этого — в них самих... скрытый источник... Это рождается, выходит наружу, заполняет нас, распространяется на все вокруг...

Пауза.

Ж.3. Тогда вот... моя версия вам понравится... Я вас понимаю... В этих Дюбюи есть нечто... (*Присвистывает.*) Просто они насквозь лживы. Такие притворно-слащавые. А она... она не говорит, а воркует...

Ж.1. Ничего она не воркует. Пищит, как...

М.3. Ну, хорошо. Если хотите... она такая простушка...

Ж.1. Немного инфантильна... И строит из себя дурочку.

Ж.2. Почему это "строит"? Она и *есть* дура, уж можете мне поверить.

Ж.3. Ничуть она не дура. Она себе на уме... Исподтишка за вами наблюдает.

Она. Вот как? Исподтишка? И себе на уме?

Он. Продолжайте, прошу вас.

Ж.1 (*передразнивая*). "Ах, пьявда? Это вы сеёзно?" И глазами своими хлопает...

Ж.2. И эта ее манера...

Она. Какая манера?

Ж.2. Не знаю...

Молчание.

М.3. А я вот знаю. Они пытаются встать с нами на одну доску. Снисходят до нас...

Ж.2. Это вы верно подметили. Только они плохо рассчитали и спустились слишком низко.

М.3. Я-то знал Дюбюи и раньше... Тогда он, наоборот, все стремился подняться повыше... Становился, можно сказать, на цыпочки... на задние лапки... перед сильными, перед "старшими"... Его презирали, ни во что не ставили... Это надо было видеть... А он все терпел, будто так и надо. Но с другими... Ничегошеньки не спускал... Обиду вовек не забывал... Я позволил себе однажды... так он...

Ж.1. О нет, простите, это никуда не годится.

М.3. Почему же? Что не так?

Ж.1 (*поворачиваясь к Нему или к Ней*). Простите меня, вы видите, я была готова вам помочь. В какой-то степени я вас понимала... я говорила, что эти Дюбюи... мне тоже при них как-то не по себе... (*После паузы, твердо.*) Но та область, в которую хочет нас затянуть месье, извините... я туда не...

М.2. И я тоже не желаю. А вы?

М.3. Что-то не так? Очередной моральный кризис местного значения?

М.2. Да нет же, нет.. Просто она права.

М.3. Ну, тогда я ничего не понимаю. Меня попросили помочь, я сделал что мог. Я признал, что она не бог весть что. Но теперь вижу, что ошибся: это чересчур лестный отзыв.

Он. Лестный! Да как у вас язык поворачивается! Вы лили воду на свою мельницу.

М.3. Что? На свою мельницу? Что вы хотите сказать?

Он. То, что сказал! Не прикидывайтесь, будто не понимаете. Вы прекрасно меня понимаете. Что, зудит? Почешемся публично. Стыдто какой!

Она. Вы всего лишь свели свои личные счеты...

Ж.2. Как это некрасиво. Воспользоваться именем Дюбюи, чтобы безнаказанно... чтобы втянуть нас...

М.3. Что, не понравилось? Слишком уж прямо: я позволил себе без обиняков... показать то, что каждый...

Ж.2. Да вы только посмотрите на него... он становится опасным...

М.2. Не беспокойтесь, сейчас мы во всем разберемся. Итак, мой дорогой друг, вы находите, что у Дюбюи обостренное чувство иерархии?

М.3. Да. Я всегда это замечал.

М.2. И он раболепствует перед "старшими"?

М.3 (*с сомнением*). Ну, да... Мне казалось... он вьюном вьется...

М.2. Есть тут кто-нибудь, кто разделяет эту точку зрения?

Молчание.

Ну же, покажитесь... Никого. Так я и думал...

Ж.3. Дело в том... что касается меня... должна признаться, что все эти тонкости...

Она. Вот-вот, и я тоже — для меня это темный лес.

Он (*простодушно*). А в чем, собственно, суть?

М.3. Ммм, не знаю даже... Но это же всем известно...

М.2. Всем известно, говорите? А мне — нет.

Ж.1. И мне нет.

Ж.2. И мне.

М.2. Объясните же нам, это любопытно. Это основано на репутации? На деньгах? На связях? Мы вас слушаем...

М.3. Ну, по-разному может быть... не знаю даже...

М.2. Дюбюи пресмыкался перед теми, кого вы называете "старшими". Вы ведь это утверждали? Ну так вот, кто были эти "старшие", хотелось бы знать?..

Смех.

Повернитесь сюда. Посмотрите туда. Кто здесь "старшие"? А кто "младшие"?

М.3. Здесь? Да речь вовсе не о "здесь".

М.2. Но те, кто, как вы, различают иерархию, они же видят ее повсюду.

Он. Ты, старина, ты — "старший", это точно. И именно поэтому — а тебе было и невдомек — я счастлив быть твоим другом. И я перед тобой вьюном вьюсь...

М.2. Бога ради!.. Вы не представляете, куда это нас заведет... если все, как вы... Да со стыда сгореть можно...

Ж.2. К счастью, эти... возмутительные интерпретации... это самое мягкое, что можно о них сказать...

Ж.3. К тому же в них нет ни крупицы правды! Это поверхностное впечатление. Чистая условность.

М.2. Перед кем же, вы говорили, Дюбюи...

М.3. Перед... перед... Рудье...

М.2. Рудье! Впрочем, это и так ясно. Не нужно далеко ходить... Но ведь это совсем другое. Рудье — натура сангвиническая. Он любит выпить. Любит поесть. А Дюбюи — хилый. В чем только душа держится.

Ж.1. Ну да. Ничего удивительного, что Рудье его притягивал.

Ж.3. Более того, он внушал ему почтение... в некотором смысле... Почему бы нет?

Ж.1. И еще: Дюбюи привлекают натуры беспокойные.

М.3. Беспокойные? Это Рудье-то беспокойный? Вы меня удивляете.

Ж.3. Да, да. Именно так: его привлекает горячность. Беспокойные не могут без допинга: преуспеть в делах, сделать деньги. У Дюбюи они должны вызывать сострадание. Он, знаете ли, в глубине души такой нежный...

Она. Конечно. Он нежная натура. Золотое сердце, правда? Всякий раз заново в этом убеждаюсь. Ну все, хватит. Хватит чертовщины. (*Смеется.*) Мы любим его. Да-да, мы его любим. Любим.

М.2. Вам, наверное, стало легче?

Он. О да, это успокаивает. Внутри как будто все маслом смазано. Все разгладилось. А потом вдруг снова... как накатит... Точно струна натягивается... Ах, нет, вы не поймете, и ничего с этим не поделаешь...

Молчание.

Ж.3 (*робко*). Вот что вы примете. Это вам подойдет, я знаю... Сами увидите, вас это никак не коснется, не принизит... даже наоборот...

М.2. Что? Что вы еще придумали?

Ж.3. Во мне самой этого нет и в помине. И ни в ком из вас тоже. Да и не было никогда. Это есть только в них. В Дюбюи... кое-что, что могло бы оправдать...

Она. Что же это? Говорите.

Ж.3. Нечто неопровержимое. Факты.

Она. Что за факты? Да говорите же скорее...

Ж.3. Я знаю из достоверного источника. У них жила девушка, постоялица... Такое нарочно не придумаешь... В общем, по вечерам, когда она уходила спать, они залезали на стул и... вытаскивали... из-за стопки тарелок... Или еще вставали на колени и... из-под кровати... доставали сундук...

Он. Сундук? Прямо Мольер какой-то. И что же, там были деньги?

Ж.3. Нет. Еда. Консервы в банках... консервированные трюфели... шоколадные конфеты... Они начинали все это уписывать... Как-то ночью девушка услышала грохот посуды... Это у них вся стопка тарелок рухнула... варенье разлилось по полу... Они принялись скорее мыть, драить... А сами с виду такие строгие, принципиальные... всех поучают... Как это омерзительно! (*Говорит все быстрее, все возбужденнее, захлебываясь.*) А люди вокруг слушают... верят... "Нежная натура"! Это Дюбюи-то!.. Ха!

Она. Вот видите, вы попались на удочку. Вас это задевает. Дюбюи и вас поймали.

Ж.3. Поймали? Меня? Я-то тут при чем?.. Нет, вы только послушайте! Дюбюи — нежная натура! Куда хватили! Лицемер — согласна. Эксплуататор. Сума переметная. И к тому же еще позволяет себе учить других... А сам... втихаря... Да об этом надо кричать, их надо вывести на чистую воду, заклеймить позором.

Он. Успокойтесь. Вряд ли это у вас получится.

Она. Поверьте, вы только сами себе нервы треплете. Что толку локти кусать... стоять на своем?..

Ж.3. Самозванцы... Мерзавцы...

Он. Ну-ну, образумьтесь... Нелегко это, я знаю, когда в ловушку попадешь...

Ж.3. И это говорите мне вы. Вместо того чтобы помочь. Вот он каков, ваш "скрытый источник"... который вы чувствуете... Вот он... теперь я поняла... за стопкой тарелок, в сундуке с продуктами... Они обжирались... в то время как все вокруг...

Он (*твердо*). Возьмите себя в руки. Хватит. Вы сами себя мучите. К чему это?

Она. Эти ваши сеансы... когда вонзаешь булавки в сердце восковой куклы... Ах, какая пустота потом, какое разочарование...

Ж.1. Да, прямо с души воротит.

Ж.2. Особенно подобные истории... с вареньем и гусиным паштетом...

Она. Вот мы и вернулись к началу.

М.3. В самом деле? И что же, легче не стало?

Она. Нет. Нисколько. Все, что мы знаем о них от третьих лиц... понаслышке... ничего не дает.

Он. Это информация извне, понимаете? Она пришла со стороны. Не сравнить с тем, что проявляется само... что проникает в вас... что вы ощущаете... что поднимается у вас внутри... точно шерсть на спине у кошки... прежде, чем вы успеете с этим совладать...

Она. Или придумать что-то в свое оправдание... И вот вы уже способны на... Если б только можно было...

Он. Если б это не было наказуемо...

Она. О, какой ужас.

Молчание.

М.2. Они правы. Я их понимаю. Варенье и сундуки с припасами — нам это не подходит.

Она. Да-да, вот именно. Не подходит. О, вы же понимаете...

Ж.3. Но почему? Разве это неправда?

М.2. Не в этом дело. Возможно, что и правда. Но поймите, они хотят, чтобы, ничего не зная, основываясь на одних только ощущениях...

Она. Вот-вот. На одних только... какими бы незначительными, ничтожными они... Исключительно на них... чтобы не было выбора...

Он. Чтобы иметь полное право...

М.3. Ну что ж, тем хуже... Я дам вам то, что вы ищете. Я поделюсь с вами... Думаю, на этот раз вы будете довольны. Это именно то, что вам нужно... И даже больше... Признаюсь, я тоже... по отношению к Дюбюи... я тоже. (*Шепотом, торжественно.*) Я уже давно почувствовал...

Она. О, вы тоже почувствовали?

М.3. Тоже. Нечто ужасное, кошмарное.

Она. Что же?

Он. Да помолчи, дай ему сказать.

М.3. При них возникает ощущение...

Она (*с жаром*). Не правда ли? Ощущение... И на чем же оно основано?

М.3. Честно говоря, не знаю...

Он. На чем? На чем же? Попытайтесь понять!

М.3. Да ни на чем. Ни на чем, чему можно было бы дать название.

Он. А еще на чем?

М.3. Возможно, что... Или нет... не то чтобы... А может... у них это что-то вроде порыва, движения...

Она. Ага. Что-то вроде колебания? У нее в глазах... вы замечали?.. Вроде как огонек...

Ж.1. Да, и вправду. Недобрый огонек... я тоже заметила. У нее глаза как из матового стекла... Временами кажется, будто там, внутри, что-то зажигается...

М.3. Нет, не то...

Он. А чего стоят одни только перекаты его смешка, а?

Ж.2. О да. Я тоже заметила. Фальшивый такой смешок, от него делается не по себе.

Ж.1. Ледяной смех... ха-ха-ха... он держит вас на расстоянии...

М.2. Именно. Такое впечатление, что вас щелкают по носу.

М.3. Нет, грубовато...

Она. Ну, тогда... может быть... Вы тоже заметили... такие вещи, как... *иссм... иссм...*

Он. Прекрати, ты всех напугаешь...

Она (*в волнении*). Иссм. Иссм... Капиталиссм. Синдикалиссм. Структуралиссм. Как он произносит это "иссм"! Будто приподнимает краешек... проскальзывает... крадется дальше... дальше... И так до сердца... Точно яд. Иссм... иссм...

М.2. Тут мне придется вас остановить. Есть одна очевидная деталь... появляется некий дополнительный смысл...

Она. Что еще?

М.2. Эта манера произносить "изм" на конце слов — она вам действует на нервы, не так ли?

Она. Ну да, иссм... в конце слов...

М.2. А не возникает ли у вас образ перешейка?

Она. Перешейка?.. Нет, никогда.

М.2. Ну ладно. Я все прекрасно понимаю. Просто вы не хотите. Слушайте же... я помогу вам. Только не сопротивляйтесь. Ну же... расслабьтесь... Скажите, какие у вас возникают ассоциации?

Ж.2. Истм... Кажется, древнее название Коринфского перешейка?

М.2. Нет, я серьезно... Скажите первое, что приходит на ум.

Он. Вот видишь, я тебя предупреждал. Теперь выкручивайся, как знаешь.

Она (*подчиняясь*). Иссм... Ну да, истм... что-то узкое... горлышко... пересекать... океан...

М.2. Очень хорошо. Продолжайте. Кажется, мы подбираемся к сути.

Он. Нет. Ни к чему мы не подбираемся. Речь вовсе не об этом. *Иссм.* Важнее всего это "ссм". Обскурантиссм. Романтиссм. Дюбюи произносит такие слова по-особому.

Она. Да, у нас это вызывает... иногда... Ах нет, вам не понять...

М.3. Ну, тогда бросьте все это. Мы не понимаем. Вы совсем нас запутали. "Истм" или не "истм", мне-то что до этого? Чепуха какая-то. Украшательство, орнамент. Мне это ни к чему.

Он (*изумленно*). Ни к чему? Даже такие вещи, как эта?

М.3. Даже. Мне не нужно "ничто". То, что не имеет названия. Мои ощущения не основаны ни на чем... Ни на чем, что можно было бы хоть как-то назвать... Это навело меня на мысль...

Она. О чем?

М.3. О преступлении. Идеальном преступлении.

Она. Преступление? Дюбюи?

М.з (*шепотом*). Да, преступление. Они совершили его когда-то давно. И подготовили с холодным расчетом. Однажды я это увидел так же отчетливо, как вижу теперь вас.

Он. Но все же, что дало вам основания так думать?

М.з. Никаких "дало". Это вас уводит в сторону. Забудьте. Я почувствовал, вот и все.

Ж.з. Это особый дар, между прочим. Он либо есть, либо его нет. Я знала людей с таким даром...

Ж.1. Ясновидение — в самом деле дар...

М.з. Ой, только не делайте из меня ясновидящую... прорицательницу... Вы прекрасно можете почувствовать это сами... Надо просто отбросить некоторые привычки... Забудьте о внешних признаках...

Он. Обо всех вообще? Ну, это вы чересчур.

М.з. Вовсе нет. Признаки так обманчивы. Вы ведь знаете, что в этот час повсюду бродят... тысячи, десятки тысяч убийц... да каких! Они убили, замучили, уничтожили сотни тысяч... Да рядом с ними Дюбюи — просто младенцы... Когда смотришь на них, поддаешься очарованию... ни тени колебания, ни одной фальшивой ноты, ни проблеска... ничего, ну решительно ничего... Громкий, искренний смех, взгляд... да не только это... Они оба так и лучатся добротой... подлинной... душа нараспашку. Для меня, знаете ли, все эти признаки... они для меня ничего не значили. И что же?.. В один прекрасный день у меня вдруг открылись глаза...

Он. То есть как открылись?

М.з. Вот так и открылись. И не осталось никаких сомнений. Я больше вам скажу. Временами я чувствую, что они знают, что я знаю.

Ж.2. Знают?

М.з. То-то и оно. Знают. Только понимаете, им на это плевать. Они приняли это раз и навсегда. Взяли на себя вполне сознательно... Тяжкую ношу взялись нести. Вот что в них такого... Тяжеленная плита с клеймом.

Ж.1. Да, теперь и я... Это ведь как ружье охотника, притаившегося в кустах... знаете, на рисунках... Теперь уж всё, я тоже это вижу. На них давит тяжелая плита. Очень тяжелая.

Ж.2. Могильная плита!

М.2. Дюбюи! Невероятно. Просто в голове не укладывается.

М.з (*с нетерпением*). Вы прекрасно знаете, мой дорогой, что в жизни...

Ж.з. Да, конечно, но только это не аргумент. Всем известно, что в жизни невероятное поджидает нас на каждом шагу... Если я скажу, что...

Ж.1. Давайте в другой раз. Не будем отходить от темы... (*Обращаясь к М.з.*) Что это за преступление, как вы думаете?

М.з. Этого я и сам не знаю. Настоящее. Вот и все.

Ж.1. Ребенок... у них был сын. Я заметила, они никогда о нем не говорят.

Ж.2. Верно. Никогда ни единого слова...

Ж.3. Или мать. Меня это поразило... после ее смерти...

Ж.1. Она была им в тягость...

Он (*обращаясь к Ней*). Как ты себя чувствуешь?

Она. ...не лучшим образом...

М.3. Вы недовольны?

Ж.1. Недовольны? А я-то думала, что нам всем хорошо...

Ж.2. Да. Мы вместе. В совершенном согласии...

М.2. Все заодно. Такое единодушие... Тихо и мирно.

М.3. Действительно. Мы как будто сплотились. Мы были единодушны в своей неприязни, в своем отвращении... И не нужны были ни тень... ни огонек в глазах... ни колебания... Ни "иссмы"... Но, боже правый, что вам еще нужно?

Она. Да поймите же меня. (*Стонет.*) О нет, это ужасно, с этим ничего нельзя поделать...

М.3. Я в самом деле ничего не понимаю.

Она. Попытайся еще раз, растолкуй им...

Он. В общем, так... вы тут упомянули об украшательстве. Об орнаменте. Огонек в глазах, колебания... "иссмы" — для вас все дело в этом. Для нас — совсем наоборот: "Иссмы" — вот главное. Единственно важное — это "иссмы". Преступление, оно лишь для отвода глаз... в дополнение... оно ничего не дает. "Иссм" само по себе уже...

Она. "Иссм". И ничего больше. "Иссм"... В нас это вызывает что-то такое... Я могла бы, кажется, только из-за этого поставить к стенке. Отправить на виселицу... Изничтожить. Стереть в порошок... Без снисхождения. Без жалости. Меня это мучит, понимаете? Я не должна. Это стыдно.

Он. Нам бы хотелось избавиться от этого, забыть... Мы стараемся изо всех сил, из кожи вон лезем... Мы готовы...

Она. Понимаете, мы бы хотели их любить. И когда мы их видим... у нас получается, мы их любим... Тогда их "иссмы" нам нипочем... так, чуть-чуть щекочут...

Он. Но как только они уходят, начинается... Впечатление усиливается. И мочи нет терпеть... От одной только мысли, что придется снова с ними встречаться...

Она. Я не теряю надежды, внимательно слежу... Иногда я просматриваю газеты... а вдруг какой-нибудь несчастный случай... Увы. Они по-прежнему живы. И всегда будут живы. Это сидит где-то глубоко внутри...

Пауза.

Ж.2. Честно говоря, когда я вас слушаю... Я не в состоянии понять. Просто головоломка какая-то! Вы слишком пристрастны. Слишком строги. Мне жаль вас. Вот если бы, скажем, оттопыренные уши...

Она. Оттопыренные уши?

Ж.2. Ну да. Вы не ослышались — оттопыренные уши. Вполне достаточно. Чего же больше? Необходимое и достаточное условие.

Она. Как! И из-за этого вы даете волю ненависти?

Ж.2. Ненависти? К чему громкие слова? Ненависть — это утомительно. Слишком много чести. Оттопыренные уши... Не все, конечно, *некоторые*... именно *некоторые*, потому что уши ушам рознь... Бывают такие уши... наверное, форма тут тоже важна. Еще важен цвет и, как я уже говорила, угол, под которым они... В общем, в результате я устраняю...

Он. Устраняете? Но как вы это делаете?

Ж.2. О, в рамках дозволенного, разумеется, иначе просто нельзя: я держу их владельцев от себя на расстоянии. Даже больше, чем на расстоянии: я попросту их *не замечаю*. Как будто их вовсе нет. Зачем мне их терпеть, если мне это неприятно?

Ж.3. Если вдуматься, вы правы. Уши, зубы... Зубы тоже могут вызывать...

Ж.1. Да. Стать определяющими.

Она. А если вам некуда деться?

Ж.2. Как это некуда деться?

Она. Ну, если, к примеру, вы едете в одном купе или сидите вместе на работе? Или лежите в одной палате в больнице? Или делите камеру?..

Ж.2. Я стараюсь не обращать внимания. Мои глаза смотрят, но не видят.

М.2. В самом деле. Так поступают все. Не фокусируются. Нет этого — и всё тут. Не существует.

Он. Весь человек не существует?

Ж.1. Вообще-то говоря... если у человека такие уши или зубы, значит, и в нем самом...

Ж.2. Возможно. Только я не трачу время на рассуждения. Зачем усложнять себе жизнь? Я отделываюсь от таких людей, вот и все. Я их ликвидирую. Так, во всяком случае, поступаю я. Может, кому-то и нравится... всегда есть любители...

Она. А вас это не смущает?

Ж.2. Почему это должно меня смущать? Я, знаете ли, небольшая охотница рассуждать, не интеллектуалка... Я подчиняюсь инстинкту...

Ж.3. Как и все женщины...

Ж.1. Или художники. Особенно великие. Так или иначе, все сильные личности... Завоеватели...

Он. Ты знаешь, что нам мешает? Мы слишком робкие. Непритязательные.

Ж.2. Совершенно верно.

М.2. К тому же у вас отсутствует логика. Вы доверяете исключительно тому, что чувствуете. А когда это подводит вас к каким-то выводам... вы упираетесь... "Ой, нет, только не это!"... Вы пугаетесь, говорите, что не должны... Судите сами: из ничего, поддавшись одному только чувству, он сотворил преступление... А в самом деле, почему бы нет? Он прав...

Она. Настоящее преступление. А ведь здорово. Преступление как таковое. Нечто грандиозное. Предусмотренное всеми законами. А мы тут... со своими "иссмами"... Ни к чему серьезному они нас не приведут...

Он. "Иссм"... если исследовать корни... можно прийти...

Она (*совсем тихо*). К невыразимому. К тому, что не имеет названия. Что нигде не оговорено. Никем не запрещено.

Он. Что-то ускользающее... проскальзывающее между пальцами...

Она. Уловить это можно лишь на мгновение. Романт*иссм*... Капита*лиссм*. Синдикал*иссм*. Структурал*иссм*. Окончание "иссм". Они его растягивают, произносят как-то с присвистом... Оно напоминает хвост скорпиона. Жалит нас... впрыскивает яд... будто в наказание... за эти самые слова... за эти окончания...

Он. Они исподволь пытаются уничтожить в нас... О, это, конечно, безумие, совершенное безрассудство... уничтожить в нас жизненный импульс...

Она. Потихонечку, украдкой, незаметно.

Он. Они пытаются уязвить в нас... попрать... что-то другое...

Она. То, что они всеми силами своей души ненавидят... оба ненавидят...

Он. Определенный стиль жизни... образ мысли... (*Приглушенно.*) Самою мысль... Они хотят свести на нет... изничтожить...

Она. И чтобы им это сошло с рук. Чтобы мы не могли и пальцем шевельнуть... чтобы не посмели... чтобы сами себя безумцами считали...

Он. И никто! Никто не может нам помочь.

М.2 (*со смехом*). Вы никогда не пытались поговорить с ними об этом?

Он. Поговорить об этом? С Дюбюи?

М.2. На вашем месте я бы взял быка за рога, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я бы сказал ему: "Произносите 'изм', а не 'иссм', дружище. Ваше 'иссм' действует мне на нервы".

Она (*со смехом*). Я даже подумать об этом не могу, меня нервный смех разбирает. Да он после этого вызовет "скорую помощь" и отправит нас в больницу...

Он. Вот уж точно. В соответствующую больницу... (*Смеется.*) Нет, об этом нечего и думать...

М.3. Они правы. При наших законах они заранее обречены на поражение. Что им нужно, так это...

М.2. Я думал об этом. У них так развито чувство... у вас так развито чувство законности, что вам следовало бы...

Он (*понизив голос*). Надо, чтобы этот способ попирать, уязвлять... чтобы эта особенность речи... каралась законом.

Она. Да-да, именно, этот затаенный порыв, стремление уязвить, уничтожить... потребность сделать гадость... именно за это... при всеобщем одобрении... схватить их... держать...

Он. Заставить признаться...

Она. Ах, какое это было бы облегчение...

Он. Да, искоренить в них... Выставить на всеобщее обозрение... Вытравить... Сжечь...

Она. Это бы всех нас очистило. Излечило бы. И их. И нас. Мы могли бы даже простить...

Ж.3. Простить? Нет, думаю, тут вы ошибаетесь. Это немедленно вылезет в другом месте. Вместо "иссмов" будет что-нибудь другое. Поверьте, появится что-нибудь новое...

Ж.1. В самом деле. Подобные вещи — их вырывают с корнем в одном месте, так они пробиваются в другом.

Ж.2. Вы думаете?

Ж.1. Я совершенно убеждена. Это как метастазы... "Иссм" — это лишь признак. Симптом.

Она. Да-да. Иссм... иссм... Как маленький прыщик, возвещающий о начале чумы...

Ж.3. Как ничтожное отступление от правил приличия, которое свидетельствует об отсутствии воспитания....

Ж.1. Вот-вот. И позволяет мгновенно и безошибочно распознать человека...

Он. Именно, вы абсолютно правы. Распознать. Отнести к особой категории. К закрытой категории. Поместить в клетку. Мы останемся снаружи. А он будет в карцере.

Она. И мы... мы будем наблюдать за ним в окошко. Вон он, обвиняемый: бритая голова, одежда арестанта, бирка с номером... А что он такого сделал? Он говорил "иссм", упирая на "ссм". Он специально так делает, чтобы низвергнуть, уничтожить... Отныне это наказуемо — официально. "Иссм" — этого довольно. Других доказательств не требуется. Теперь вы никуда не денетесь. И не думайте сбежать. Вас крепко держат. Вас раскусили. Доподлинно известно: вы — враги. Вы осмелились... исподтишка, как всегда, полагая, что никто не заметит... Ведь именно так вы поступали

прежде, а? Когда думали, что вам все дозволено? А теперь вас разоблачили, теперь всё как на ладони: вас определили, классифицировали, дали название. Это называется зло. Вы и *есть* зло.

Он тихонько смеется.

Она. Что ты смеешься?

Он. Ты смешная. Напоминаешь лягушку. Раздуваешься, раздуваешься... Достаточно, чтобы перед тобой были они... И вот ты уже готова их растерзать, испепелить... Забавно... Когда они здесь... Если б только кто-нибудь позволил себе с ними... хоть малейшее... Я уж не говорю о каком-нибудь несчастном "иссме"... Ты бы тут же вмешалась... как заботливая мамаша... Только не при мне, я этого никогда не допущу... стыдно... они такие добрые, такие милые... (*Передразнивая ее.*) "...Это наши друзья, не забывайте об этом... Помнишь, как мы гуляли по берегу и вдруг он наклонился... низко-низко... и так порывисто... В этом чувствовалось какое-то особое почитание.... Но не сорвал... а только наклонился, чтобы рассмотреть... Помнишь?.. Уже только за это..."

Она (*с грустью*). Вы правы... Я любила его.

М.2. Так любите и сейчас.

Она. Да-да, благодарю за совет... но вот тут-то... я вам уже говорила... когда мне кажется, будто мне это наконец удалось... тут вдруг... точно волна какая-то, что-то вроде запаха... от них... что-то неприятное...

Ж.2. Вот видите, оттопыренные уши — это чудо что такое. Успех гарантирован. Уши — или зубы — первоклассное средство. И возразить-то нечего. Они говорят сами за себя. И никуда от них не денешься. Никакая жалость не поможет. Никакое умиление. Никакой весенний цветочек. Уши сами по себе вызывают у тех, кому с ними повезло, ощущение чего-то основательного, определенного, чистого. Уверяю вас, когда это чувствуешь, то и сам себя воспринимаешь иначе: будто сделан из вещества без примесей.

Ж.1. И вправду — ты как бриллиант... А вот у кого уши оттопырены...

Ж.2. Уже сам по себе этот факт — без всяких там "иссмов", без всего остального... Они даже сами могут не замечать... И не нужно их ни в чем обвинять, незачем заставлять их признаваться...

М.3. Всё, решительно всё, что вы чувствуете, имеет под собой основание. Все "иссмы", все особенности произношения...

Она. Да, я понимаю. Но у Дюбюи, у обоих, нет оттопыренных ушей. И потом, нам-то что с того?

Он. Действительно, ничего. Мне от этого ни холодно ни жарко.

Ж.2. Заметьте, это не единственное. Я взяла как пример оттопыренные уши, потому что имела в виду кого-то определенного... Но и слишком длинная верхняя губа, положим... для кого-нибудь и она...

Ж.1. Для меня. Терпеть не могу.

Ж.3. Или выдвинутая вперед нижняя челюсть... Вот так, видите... Признаться, я... бр-р-р... А вы нет? У вас не так?

Она. Честно говоря, нет... Почти нет... Не могу сказать, чтобы мне это очень нравилось... Но, в сущности... А ты?

Он. Да в общем тоже нет. В этом есть что-то аморфное, пассивное... никакого яда... ничего, что даже отдаленно имело бы отношение...

М.3. К вашим "иссмам". Знаете, тут есть одна тонкость...

М.2. Я же вам говорил... А вы смеялись надо мной, когда я пытался им помочь...

Ж.1. Ах да, с Истмом, Коринфским перешейком...

Она. О нет, только не это!

М.2. Вы слышите? Сколько страсти! Какое упрямство! Поверьте, вот она, пѐрвопричина. Что до меня, то... чем больше я наблюдаю, тем больше убеждаюсь. Сомнений быть не может: зло именно *здесь*.

Она. Вслушайтесь: роман*иссм*. Капитал*иссм*. Синдикал*иссм*... *иссм*... *иссм*... прямо шипение.

Он. Они задерживаются на этом иссм... смакуют его.

Она. Оно скользит, это иссм... точно край режущей травы.

Он. Иссм... иссм...

Она. Оно взрезает кожу... проникает в плоть...

Он. И там... Разве вы сами этого не чувствуете?..

Она. Попробуйте, прошу вас... скажите, растягивая... *иссм*... *иссм*... Вы слышите?

Ж.3. Ну, может быть, если очень постараться...

М.2. Да, надо очень постараться. Для меня, откровенно говоря... синдикал*иссм*, структурал*иссм*... Сколько ни повторяю... иссм... иссм... Хм, может быть... ну разве, при желании... может быть, действительно...

М.3. Пожалуй, да. Я чувствую...

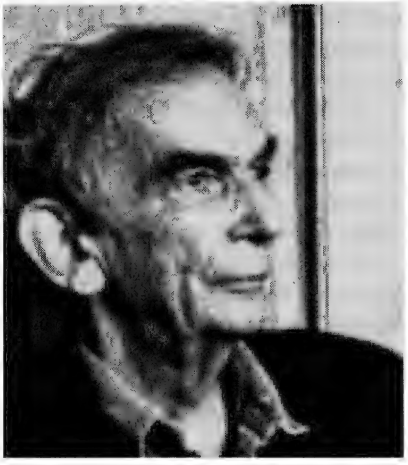
Она. Как! Не может быть! Вы почувствовали!..

М.3. Мм... Мм... м-да... В общем, как бы это сказать...

Она. Как бы сказать?

М.3 (*колеблясь*). Н-нет... не то чтобы... Вообще-то... да нет... Собственно, это то, что не имеет названия.

Луи-Рене Дефоре



Два рассказа из книги "Детская комната"

Перевод и вступление М. Гринберга

От переводчика

В нашей стране Луи-Рене Дефоре и его произведения практически неизвестны — они даже не упомянуты, скажем, в объемистом томе "Французская литература 1945—1990", изданном в 1995 году Институтом мировой литературы РАН. На Западе — прежде всего, разумеется, во Франции, но не только — этого автора знают хорошо, хотя он никогда не был знаменит; его известность росла медленно и на протяжении почти всей его жизни ограничивалась пусть не самым узким, но все же замкнутым кругом писателей, философов, историков литературы. Первый и единственный роман Дефоре "Попрошайки" (1943), написанный им в деревне, где он поселился после "странного поражения" и демобилизации из армии, не был замечен критикой, зато принес ему дружбу таких писателей, как Раймон Кено и Андре Френо. В сущности, и следующая его книга — повесть "Болтун", изданная в 1946 году, после окончания войны, во время которой Дефоре не только работал за писательским столом, но и участвовал в Сопротивлении, — привлекла к себе внимание не сразу, но это внимание дорогого стоило, поскольку "Болтуна" необычайно высоко оценили мыслители, задававшие тон в интеллектуальной жизни послевоенной Франции, — Жорж Батай и Морис Бланшо (с ними Дефоре спустя несколько лет после выхода в свет "Болтуна" и переезда в Париж тоже сдружился). Собственно, Бланшо и начинает свое известное послесловие к изданию "Болтуна" 1963 года, позже не раз цитировавшееся другими критиками, с рассказа о том, как Батай, перечитывавший повесть молодого Дефоре незадолго

© Gallimard, 1960
© М. Гринберг. Перевод, вступление, 2006

до смерти, признался, что это одна из самых поразительных книг, какие он читал, и выразил желание, чтобы Бланшо когда-нибудь написал о ней[1].

Сам Дефоре, долгие годы — с 1953-го по 1983-й — работавший в скромной должности литературного консультанта издательства "Галлимар", кажется, сделал все, чтобы оставаться в тени: к литературным школам и направлениям не примыкал, крайне редко давал интервью, да и печатался нечасто — после "Болтуна" он в течение пяти лет писал роман "Зимний путь", но уничтожил готовую рукопись; в середине 1960-х почти исчез из литературы, сосредоточившись на занятиях графикой, так что пауза (если не считать нескольких журнальных публикаций) затянулась более чем на двадцать лет: поэма Дефоре "Морские мегеры" была издана в 1967-м, а следующая его книга "Стихотворения Сэмюэла Вуда" — только в 1988-м. Тень эта рассеялась, пожалуй, лишь незадолго до смерти писателя благодаря успеху "Ostinato" (1997) — небольшого тома, в котором были собраны прозаические фрагменты, часто называемые автобиографическими, а иногда, более точно, антибиографическими, поскольку обычных примет автобиографии в этой книге, как и в других произведениях Дефоре, нет и, в соответствии с его взглядами на язык и литературу, быть не может. И хотя ранняя его проза со временем тоже снискала признание — Дефоре был награжден несколькими премиями, среди которых премия Критики за сборник рассказов "Детская комната" (1960) и Большая национальная литературная премия 1991 года; еще важнее то, что он оказал существенное влияние на писателей своего и более молодого поколения (Бланшо пишет о несомненных признаках такого влияния в "Падении" Камю), — все же критики единодушно считают, что этот автор пока не оценен по достоинству. Так или иначе, интерес к творчеству Дефоре в последние годы постоянно растет: ему посвящают диссертации, монографии, коллективные труды, специальные номера журналов и отдельные статьи, которые явно превысили общим объемом немногочисленные сочинения самого писателя, составляющие два-три небольших томика; его основные вещи переведены на другие языки, и не только на европейские; известны также несколько попыток перенести их на театральную сцену и, как ни трудно это вообразить, на киноэкран.

Упоминаемые всеми мемуаристами скромность и сдержанность Дефоре, его редкая, превзойденная, вероятно, лишь тем же Бланшо способность "окунаться в неизвестность", его взыскательное отношение к себе, причем не только в повседневной жизни, но и в писательском деле (уже в "Болтуне" он последовательно развенчивает все формы нарциссизма, нерасторжимо связанного с письмом как таковым), вовсе не означают, что этот своеобразный мастер избрал для себя роль затворника, меланхоличного одиночки, сознательно избегавшего любых коллективных форм общественной или литературной деятельности. Дружить во всяком случае он умел и на недостаток друзей пожаловаться не мог: к их числу, кроме названных выше писателей, принадлежал Робер Антельм — вместе с ним Дефоре в 1954 году основал Комитет против войны в Алжире и в 1960-м подписал известный "манифест 121-го", а также Андре дю Буше, Гаэтан Пикон, Ив Бонфуа, Жак Дюпен, Пауль Целан, Мишель Лейрис, вместе с которыми он создал и в течение нескольких лет (1967—1972) издавал журнал "L'Éphémère"; стоит сказать, что в этом журнале были напечатаны "Майские заметки" Дефоре, отклик на события весны 1968 года.

Любопытное обстоятельство, имеющее отношение уже не к французской, а к российской литературной ситуации: из всех писателей, входивших в редколлегию "L'Éphémère", кажется, только Луи-Рене Дефоре до сих пор не представлен ни единой строчкой на русском языке. В ближайшее время этот пробел будет отчасти вос-

1. Maurice Blanchot. La parole vaine // L'Amitié. Gallimard, 1971. P. 138.

полнен: в "Издательстве Ивана Лимбаха" готовится к печати книга избранных произведений Дефоре, в которую войдут повесть "Болтун", сборник рассказов "Детская комната", поэма "Морские мегеры", а также более полный очерк жизни и творчества их автора. Для настоящей публикации в "ИЛ", предваряющей эту книгу, выбраны два рассказа, написанные в 1950-х годах. Выбор именно двух и именно этих рассказов не случаен: хотелось построить в рамках журнального формата минимальную композицию, которая давала бы представление о непрерывности смысловых линий, намеченных уже в "Попрошайках", ясно прочерченных в "Болтуне" и пронизывающих всю прозу Дефоре. Линии эти определяются прежде всего интересом автора к отношениям человека со временем и с языком, то есть принадлежат к числу магистральных или, по меньшей мере, чрезвычайно значимых для многих писателей XX века — Дефоре, конечно, был не одинок и в литературе, он сам существовал и развивался в поле определенных влияний. В краткой заметке невозможно рассказать о причудливой, если не уникальной форме преломления и даже растворения "личной библиотеки" Дефоре в его сочинениях, о его странных и до сих пор вызывающих споры приемах латентного и распыленного цитирования; скажу только, что в ближайшем фоне его прозы различимы: из классиков XIX века — Достоевский и Клейст, а из старших современников автора — Кафка, Джойс, Беккет, Бретон, Фолкнер и, разумеется, Батай, Бланшо и Лейрис. (Здесь уместно было бы вспомнить не только о литературе, но и о критической мысли 1950—1970-х годов, времени "смерти автора", "лингвистического поворота", "интертекстуальности" и других концепций, имеющих самое прямое отношение к поэтике Дефоре; не вдаваясь в существо дела, все же замечу, что "Попрошайки" и "Болтун", написанные еще в середине 1940-х, по-своему и крайне интересным образом предвосхищают эту эпоху.)

Итак, в центре публикуемых рассказов, как и других произведений Дефоре, — человек, напряженно вглядывающийся в зеркало языка и отчетливо сознающий, что эта амальгама, в которой его голос нерасторжимо сплавлен со множеством чужих голосов, не столько отражает, сколько искажает любую реальность, особенно же сильно — "лицо" самого говорящего/пишущего (или, если угодно, ту сверхценную для новейшей европейской культуры, но непроясненную и проблемную категорию, которую принято называть "личностью"). Отсюда принципиальная невозможность для Дефоре традиционного автобиографизма, о которой сказано выше. Вместе с тем все его тексты в известном смысле предельно биографичны — я имею в виду не столько косвенное отражение в них каких-то элементов жизненного опыта писателя (для публикуемых рассказов подобным опытом служило, очевидно, пребывание юного Дефоре в закрытом католическом коллеже-интернате в 1931—1936 годах), сколько претворенную, *внутреннюю* биографию: недаром в издательской аннотации к сборнику "Детская комната", принадлежащей, возможно, перу самого писателя, отмечается, что четыре рассказа, включенные в эту книгу, могут быть прочитаны как последовательные версии такой биографии, описывающей "наиболее тайные формы нашей жизни, связанные со снами, галлюцинациями, навязчивыми идеями и, как следствие, всегда несущие в себе оттенок призрачности, отчего подлинность всего, что говорится, постоянно ставится под вопрос самим рассказчиком".

Именно в фигуре рассказчика, а точнее — в повествовательной структуре обоих рассказов, о которых идет речь, особенно ясно прослеживается единая художественная стратегия автора. Имитируя отстраненно-объективный тон, сводящий эту фигуру на нет, размывая ее в нейтральном, отчасти загадочном голосе, повествующем от третьего лица, и вставляя в эту раму голоса остальных "персонажей", Дефоре в этих двух текстах испытывает разные варианты одной и той же логической конструкции, предполагающей резкую смену точки зрения в

конце, когда "завеса нейтральности отводится в сторону, и за анонимным голосом повествователя обнаруживается раздвоенный субъект, испытывающий головокружение, поскольку он не может обрести тождество с самим собой"[1]. При этом в обоих рассказах концовка лишь отчасти приоткрывает фикциональное пространство, но не просвечивает его насквозь, — самоидентификация расщепленного субъекта повествования, казалось бы, намечается, но остается неполной и нестойкой, его попытки соединиться через слово с собственным прошлым и собственным детством выглядят не то чтобы абсолютно безнадежными, но, в любом случае, не имеющими успеха, скорее наоборот. Финальная точка не наводит и не может навести на резкость зыблющуюся перспективу, которая в этом своем качестве продлевается за пределы текста. Так, в последней фразе "Детской комнаты" улыбка "Поля", символизирующая ностальгически воскрешаемое детство, остается для вроде бы опомнившегося рассказчика "далекой, непроницаемой"; сходным образом действует и модальное слово *возможно* из последней фразы "Обезумевшей памяти": подобно встроенному в повествование вечному двигателю его смысла эта модальность лишает "я", внезапно всплывшее из глубин отчужденно повествовавшего третьего лица, надежной опоры в реальности, она продолжает терзать "обрамляющее сознание" — в котором, важно заметить, слиты воедино и автор, и рассказчик, и читатель — указанием на сомнительное, не могущее быть ни удостоверенным, ни опровергнутым тождество гордого ребенка и комичного "литератора".

Среди писателей минувшего века, трезво относившихся к собственному делу и неразрывно связанным с ним иллюзиям, Луи-Рене Дефоре выделяется тем, как искусно он включил эту рефлексию в самую ткань своих произведений, сделав их чем-то вроде калейдоскопа фантасмагорий на свету яви, как тонко сумел подорвать машинерию литературного письма изнутри ее же средствами, используя игру подлинного и мнимого, единства и множественности, правды и лжи. Не случайно Бланшо видел в его прозе проявление "почти бесконечного нигилизма", "нигилизма вымысла, редуцированного к своей сути", не случайно называл ее "рассказами о привидении, в которых отсутствует и само привидение". Но можно ли исчерпать этими формулами творческие задачи Дефоре? Даже из рассказов, публикуемых ниже, видно, что этот суровый ум не склонен довольствоваться чистым отрицанием, что в сердцевине луковичных одежек, которые он одну за другой сбрасывает с "литературы", мы находим не разрушенное и атомизированное "я", а новый опыт концентрации этого "я" на границах опустошенного литературного пространства, опыт любви и стремления к полноте отношений с другим (вспомним хотя бы беседу с одноклассником на морском берегу из "шестого эпизода" или встречу с матерью на перроне из мнимого финала "Обезумевшей памяти"). Сам Дефоре остро чувствовал этот парадокс, но не пытался спрямить пути, которыми продвигался к своей, может быть, недостижимой, но вполне реальной цели, — и вел, или, скорее, направлял к ней читателей. Как он сказал в интервью журналу "Tel Quel" (1962), у писателя "есть лишь один способ освобождаться от лжи — это ставить все ее многочисленные ресурсы себе на службу... Придавая лжи некое реальное выражение и перенимая ее язык, он стремится лишь к тому, чтобы создать мир истины. Иначе говоря, язык литературы не может осуществить свое назначение без тех средств, какими пользуется ложь, и, парадоксальным образом, только так он и может это сделать, ни в чем не погрешая против истины"[2].

1. Dominique Rabaté. Portrait de l'écrivain en troisième personne // Critique, 2003, № 668–669. P. 74.
2. Louis-René des Forêts. Voies et détours de la fiction. – Fata Morgana, 1985. P. 36–37.

Детская комната

НЕЛЬЗЯ передать, какую растерянность, какой стыд он чувствует из-за того, что, забыв о всяком такте, стоит, словно вкопанный, рядом с приоткрытой дверью детской комнаты. Конечно, разумнее было бы вернуться к себе: он поражен тем, что не может заставить себя пройти в обратном направлении эти несколько шагов, сделанных только что без какой-либо цели, если вовсе не в полусне; но еще больше он поражен этим тягостным состоянием духа, несопоставимым с вызвавшей его причиной: ведь хотя он до сих пор ни разу не отваживался подходить к детской — и, вероятно, никто из детей никогда не приближался к его комнате, — существуют ли нравственные нормы или правила домашнего обихода, которые запрещали бы ему подобные действия? И теперь, когда он оказался рядом с их дверью, можно сказать, случайно, ему приходится лишь удивляться, отчего это странное замешательство, не имеющее ничего общего с сознанием, что он попрал какой-то закон, нарушил чью-то тайну, повел себя не лучшим образом, властно удерживает его на месте, а не гонит прочь; он знает, что ни за какие блага не согласится отсюда уйти, знает, что так и будет стоять, хитроумно оправдывая свое решение отсутствием выбора: ему-де необходимо выяснить опытным путем, почему он должен был бы уйти и почему все-таки не смог.

Он знает также, — ибо ему кажется, что он знает все, — насколько это нечестный довод. Да, ему кажется, что он все знает и ничего не может: именно в этой прозорливости и в этом бессилии он черпает самое острое наслаждение и в то же время чувство вины, для которого, впрочем, нет никаких оснований. Он мог бы с полным правом сослаться на непредумышленность своего поведения, освобождающую его от ответственности. У него не было и доли секунды для колебаний, некогда было размышлять, допустимо подслушивать или нет: слишком неожиданно завладели его вниманием детские голоса, не оставив ему возможности своевременно удалиться, а потом было уже поздно, — так единственный взгляд, исполненный вожделения, вменяется в грех. Но даже если бы этот, более веский довод показал ему всю беспочвенность столь сильных угрызений совести, они все равно не исчезли бы, — чтобы их не испытывать, ему нужно было бы незамедлительно отказаться от подслушивания у двери детской, а это невозможно, поскольку его непомерный интерес к тому, что говорят школьники, болтающие друг с другом после уроков, вызван не чем иным, как желанием прояснить для себя природу этих угрызений.

— Нет, еще рано! Сохраняем спокойствие!

Ничего не говорящая и вместе с тем чрезвычайно значимая, эта первая услышанная им фраза пробудила в нем непостижимое любопытство: именно она помешала ему вернуться к себе.

— Спокойствие, вот так так! То есть будем просто разговаривать?

— Никто тебя не заставляет разговаривать, все только рады будут, если ты помолчишь. Бери пример с Жоржа!

Он узнает голос Поля, своего племянника, но кто такой этот Жорж?

— Может, заставим Жоржа говорить — чем не забава?

— Прекрасная мысль! Скажи-ка, Жорж, почему ты вдруг онемел?

— Он вовсе не онемел, он не хочет говорить.

— Ну ладно! Жорж, почему ты не хочешь говорить?

— Не будет он говорить. Он говорит только на уроках. Вот увидите, он вам не ответит.

— С тех пор как он замолчал, я поняла, до чего же мне хочется услышать его голос.

— Поль из его класса, он может нам этот голос описать.

— Вы же знаете: все, кто повторяет заученное, говорят одинаково.

— Поль прав. Рассказывать затверженный урок и говорить — совсем разные вещи. Почему ты все-таки не хочешь ничего сказать, Жорж, ответь!

— Жорж, к тебе обращаются, отвечай, слышишь!

— Сказано вам, он не ответит.

— А если мы начнем его бить, мучить — ответит или нет?

— Только заплачет, и все. С таким же успехом можно его щекотать, тогда он засмеется. Лучше оставить его в покое.

— Но похоже, он явился сюда, чтобы выдержать какое-то испытание. А мы — чтобы его этому испытанию подвергнуть.

— Ничего подобного. Вид у него очень благодушный.

— Благодушней, чем у нас. Обидели его, а обижаться впору нам — ведь это не хочет он с нами говорить.

— Так он молчит потому, что обиделся?

— Откуда нам знать, Жаннета, если он этого не сказал?

Жаннета? Но он не узнает ее голоса, а что касается голоса Поля, тот звучит в ответ на слова, которые Поль произносит голосом какого-то другого ребенка. Может быть, Поль поочередно играет роли всех предполагаемых участников разговора? Но если так, с какой целью он говорит за других своим голосом, а за себя — чужим? Или, наоборот, в комнате действительно находятся несколько детей — тогда этот неизвестный Жорж, чье молчание они обсуждают, как раз может быть единственным вымышленным персонажем, которого они якобы лишили слова, поскольку того требует игра, а затем стали хитренько делать вид, будто упрашивают его заговорить, как если бы это молчание и впрямь было следствием его каприза, а не стержнем их спектакля. Нет, если кто из детей и присутствует в комнате, то это, скорее всего, Жорж: его молчание обладает какой-то силой несомненности, тогда как остальные, заимствуя голоса друг у друга, словно сливаются в одной и той же призрачной фигуре, все время зыблющейся, неопределенной. Уже этого достаточно, чтобы счесть малоубедительной гипотезу о двойном притворстве детей.

— Откуда нам знать, Жаннета, если он этого не сказал?

— А по-моему, обида у него на лице написана.

— Придумаешь тоже! Ничего там не написано, разве что усмешка. Он над нами потешается, а мы, дурачки, ему помогаем. Жорж, можешь молчать сколько хочешь!

— Мы тебя прямо умоляем, Жорж: молчи! Наверно, еще лучше велеть ему стать лицом к стене...

— Может, и уши пусть себе заткнет? Ну нет! Я против! Все равно что вытолкать его из комнаты, а с чего бы? Он же никогда не отказывался приходить сюда, не отказывался с нами играть.

— Постой, Поль: в этот-то раз он не мог ни отказаться, ни согласиться!

— Пришел — значит согласился, я так считаю.

– И правильно сделал, что пришел: если бы отказался, то нарушил бы свой обет. Он ведь каждый четверг приходит. В том, что он здесь, нет ничего особенного: вот не было бы его, тогда другое дело.

– Ничего особенного, но мы почему-то только о нем и говорим! Сегодня мы слишком серьезно настроены, мне до смерти скучно!

– А ты как, Жорж? Тебе тоже скучно?

– Еще рано его об этом спрашивать. Скучнее всего на свете то, о чем я буду говорить сейчас. Особенно для Жоржа: он не хуже меня знает, что это такое. Речь пойдет об уставе нашего коллежа. Слушайте внимательно.

– Нет, Поль, мы пришли сюда не для того, чтобы ты нам рассказывал о своем коллеже!

– А кто предлагал заставить Жоржа говорить?

– Не вижу никакой связи. И Антуан, кажется, тоже. А ты, Жорж?

– Перестань теребить Жоржа! Думаешь, он тебе ответит?

– Я считаю, мы должны все время ловить его, ждать, когда он потеряет бдительность.

– Если он заговорит по неосторожности, тебя и поздравлять будет не с чем. Это совсем не то, что говорить по-настоящему. К тому же он после этого еще опасливее станет, да и обмана не простит. Нужно играть по правилам, Жаннета.

– Что еще за правила? И о какой игре ты говоришь?

– Поль! Поль! По-моему, тебе пора приступить к рассказу о коллеже. И это юное создание, и я – мы умираем от желания выслушать твои поучения, вследствие чего, надо полагать, мы умрем от скуки.

"Вследствие чего! Вследствие чего надо полагать!" – все дети, за исключением того или той, чье слово было последним, и, вероятно, Жоржа, наперебой передразнивают этого ребенка – мальчика или девочку, – который, подделываясь под назидательный тон Поля, выразил желание слушать поучения, – а затем все разражаются смехом. Этот дружный смех сменяется столь продолжительным молчанием, что в какой-то момент он спрашивает себя: может быть, дети украдкой, так что он и не заметил, перешли в соседнюю комнату, предназначенную для приема гостей? Но тут же вспоминает: нет, из детской можно выйти только в коридор, где он стоит сейчас в засаде. Он напряженно вслушивается, и ему кажется, что за дверью происходит нечто похожее на мышиную возню, тихую, но весьма оживленную; там как будто с величайшей осторожностью двигают мебель, сопровождая эти перестановки краткими приглушенными указаниями: "Сюда! Нет, вон туда! Давай, давай! Быстрее!" Перешептываясь, перемещаясь из одного конца комнаты в другой, дети действуют аккуратно и бережно, как если бы то были рабочие сцены, снующие во время смены декораций за опущенным на мгновение занавесом. Наконец слышится голос Поля – твердый, строгий, исполненный важности: не будь он таким тоненьким, можно было бы подумать, что речь держит взрослый. Каждое слово Поль не просто произносит, но чеканит, как человек, не намеренный терпеть ослушания и повторять сказанное дважды: это язык власти, говорящей устами ребенка. Усиленный царственной интонацией, его голос словно льется с высоты – с горной кручи или с балкона; вполне вероятно, что для лучшего воздействия на слушателей Поль решил влезть на импровизиро-

ванные подмостки, которые под его руководством соорудили из предметов обстановки другие дети.

— Излишне объяснять, почему я не буду говорить о том уставе, что некогда был изложен в восьмидесяти с лишним статьях основателем коллежа: выслушать столь длинный перечень и не расхохотаться могли бы только наши учителя; мы же — ни Жорж, насколько мне известно, ни я сам — не знаем священного текста наизусть, первоначальный дух из него давно выветрился, даже самый придирчивый учитель ссылается на этот устав только в крайнем случае, если ничем другим нас уже не проймешь, и всегда, я заметил, делает это с большой неохотой! Надо вам знать, что в действительности не существует иного устава, нежели тот, который все мы, включая самых больших озорников, несем внутри себя, когда входим в двери коллежа, — именно поэтому мы, сколько бы ни твердили обратное и ни кричали о том, как нам отвратителен подобный гнет, не можем ускользнуть из-под его власти, давая тем самым законный повод важничать нашим учителям, а те ошибочно считают себя создателями этого устава и волей-неволей становятся его исполнителями. Так что соблюдать его много труднее и обходить много тяжелее, чем любой устав, навязанный учителями. Для начала скажу: хотя любое отступление от устава дает основания наказать нарушителя...

— Постой, Поль, ты, кажется, переходишь на сторону учителей.

— ...тем не менее нам нужно делать что-то, чтобы проштрафиться, ведь неукоснительное следование уставу означало бы его фактическую отмену, а без устава...

— Не было бы удовольствия, которое приносят только нарушения? Браво, Поль! Ты заставил Жоржа улыбнуться!

— Жорж смеется над твоим невежеством! Да будет тебе известно, дурья башка, что в самом по себе нарушении никакого удовольствия нет, но есть, и подчас очень сильное, удовольствие в том, чтобы суметь навлечь на себя наказание.

— Вот как? Лично мне совсем не нравятся наказания — все равно, заслуженно меня наказывают или нет.

— Сами наказания тебе не нравятся, но явно нравится, когда их тебе назначают — и заслуженно, и незаслуженно!

— Неправда!

— Допустим, что Поль говорит правду, и посмотрим, к чему он клонит.

— А вот к чему... Но вы меня сбили! Жорж, помоги мне: ты единственный, кто слушал не перебивая!

— Так он и попался на такую грубую уловку, жди! Нет, мой бедный Поль, чтобы усыпить бдительность Жоржа, тебе еще придется попотеть! А пока ответь-ка нам, почему ты все-таки переметнулся на сторону учителей...

— По-моему, я уже объяснил: заставляя учителей нас наказывать, мы как бы делаем еще более прочным тот устав, который создан нами, и тем самым превращаем их в наших слуг.

— Может быть, он и создан вами, но соблюдать его вас заставляют учителя! А если так, к чему все эти тонкости? Для начала скажи лучше, что это вообще за штука, ваш хваленый устав?

— Со временем ты подрастешь, поступишь в коллеж и все узнаешь, а пока что мы с Жоржем попытаемся дать тебе о нем хотя бы приблизительное представление.

– И Жорж тоже? Интересно будет послушать!

– Жорж говорит моими устами!

– Ну ты хватил! Или это еще одна уловка, чтобы рассердить Жоржа? А сам упрекал Жаннету, что она нечестно играет!

– Перестаньте браниться! Давай, Поль, рассказывай про свой устав...

– Так слушайте!

Наверно, думает он, Поль хочет придать своей речи как можно более торжественный характер и оттого делает столь длинную паузу. Или он застыл с разинутым ртом, как актер, забывший первые слова монолога? Или дело в том, что, решив наконец сбросить с себя серьезность, он присоединился к внезапно развеселившимся приятелям, чей приглушенный смех просачивается сквозь дверь? Может быть, дети молча, знаками, сговорились затеять импровизацию на первую попавшуюся тему, чтобы посрамить нежелательного свидетеля, о присутствии которого за дверью они догадались, а теперь почувствовали, что запал иссяк, что больше не удается выдержать этот церемонный, строгий тон, совсем не подобающий их возрасту, и давятся со смеху? Может быть, тягостное чувство, до сих пор его не отпустившее, объясняется смутным подозрением, что стайка детворы попросту морочит ему голову? Но не успевает он подумать о том, чтобы бежать со своего поста и спастись от позора, которого не миновать, если он даст себя застигнуть на месте преступления, как в комнате снова, развеивая все его опасения и подогревая любопытство, звучит серьезный, солидный и по-прежнему наставительный голос Поля:

– Переступая порог колле́жа, начинаешь соблюдать особые правила дисциплины – они не записаны нигде, только в тебе самом. Стоит лишь пожелать от них освободиться, как тут же почувствуешь вину, вне зависимости от того, накажут ли тебя учителя или вовсе не заметят твоего прегрешения. Иначе говоря, с этой минуты ты становишься пленником обязательств, которые налагаешь на себя сам, и уже это доказывает, что устав, сочиненный учителями, – вещь бесполезная, туманная и непригодная для практического использования.

Но вернемся к уставу, созданному нами. В отличие от преподавательского, это устав неписаный, а потому его нельзя заучить наизусть. Когда переступаешь порог коллежа, словно надеваешь школьную форму, делающую тебя похожим на всех, кто внутри, и отличным от всех, кто находится снаружи. Снять эту форму – все равно что выйти на улицу.

– Объясни, каким именно образом устав взял тебя в тиски, едва ты переступил порог?

– Вне школьных стен устав перестает нас терзать. Сколько бы мы ни старались вызвать его в памяти, он, как всякое воспоминание, остается неясным, расплывчатым. Но, чтобы удовлетворить ваше любопытство, позвольте мне с помощью Жоржа представить для вас несколько сценок, которые помогут его воссоздать. Давайте вообразим... вообразим, что вот эта комната и есть место, где обнаруживает свое действие наш устав. Жорж будет учителем.

– А мы – твоими одноклассниками...

– Оно бы ничего... но вы же видите, милые детки, как я на вас непохож. Сцену, которую мы сейчас разыграем, по-настоящему можем вообразить и пережить только Жорж и я – вам отводится лишь роль зрителей, в лучшем случае статистов.

Итак, пусть эта комната будет местом, где обнаруживает действие наш устав, а мальчика, который впервые входит в нее через эту дверь, мы назовем Жаком. Ты выйдешь из комнаты под своим настоящим именем, а затем войдешь под именем Жака, представляя себе, что Жак здесь никогда не был, – ведь мы должны опираться на допущение, что он входит сюда первый раз в жизни.

– Если только он не возвращается в коллеж после каникул...

– Верно, но для него эта комната все равно должна быть местом, где действует устав, и только, – он ни в коем случае не должен узнавать в ней место, где мы собираемся каждую неделю. Итак, приступаем! Сейчас мы увидим, как через эту дверь входит Жак!

Сразу же после этих слов, произнесенных голосом Поля, дверь распахивается, и он едва успевает прижаться к стене, чтобы его не заметили дети, собравшиеся в комнате, хотя и не может спрятаться от ребенка, вышедшего в коридор. Он удивляется, но в первое мгновение чувствует радость, поскольку не узнает своего племянника в этом школьнике в коротких штанишках, который смотрит на него отсутствующим взглядом, как будто в коридоре никого нет, или, во всяком случае, не проявляет к его странному поведению ни малейшего интереса. Однако затем он чувствует замешательство, потому что черты этого личика ему бесконечно знакомы, а выражение, напротив, совсем незнакомо, и он ощущает почти полную уверенность, что никогда раньше его не видел. Молчаливое противостояние длится несколько мгновений, которые нужны мальчику для того, чтобы закрыть за собою дверь и вновь ее открыть, но их оказывается вполне достаточно, чтобы он утратил самообладание; дрожа всем телом, он смотрит прямо в глаза юному существу, чье равнодушие показалось бы ему оскорбительным, не будь оно следствием какой-то – впрочем, совершенно необъяснимой – слепоты (если бы этот ребенок видел его или хотя бы подозревал, что из полумрака коридора глядит притаившийся взрослый, то не сумел бы перебороть недовольство и растерянность: даже попытавшись скрыть свои чувства с помощью бравады или деланной беззаботности, мальчик все равно бы выдал их самим этим усилием; но в детских глазах, смотрящих сквозь него, нет вызова: они отражают лишь его отсутствие; в приостановленном жесте руки, не отпускающей дверную ручку, в выжидательном, как бы настороженном повороте торса, бедер, колен, нет скованности, искусственности, в них проглядывает разве что некоторая угловатость, свойственная столь юному возрасту).

– Входи! – приказывает из-за двери голос Поля. В тот миг, когда, пользуясь благоприятным случаем, он вытягивает шею, чтобы разглядеть хотя бы краешек открывшейся сцены, дверь безжалостно захлопывают у него перед носом, и он вынужден отскочить назад: эта неудача выводит его из равновесия, огорчает до глубины души и почти лишает способности примириться с прежней ролью невидимого слушателя. Разочарование так велико, что он думает просто-напросто войти в комнату, но отказывается от своего намерения, боясь, что этого вторжения не заметят, точно так же, как, судя по всему, не заметил его присутствия в коридоре только что ушедший ребенок.

– Как мы видим, в эту дверь вошел Жак! – комментирует происходящее голос Поля. – И теперь Жак ответит на вопросы, которые, желая облегчить ему задачу и раскрыть перед всеми происходящую в нем борьбу, мы будем задавать. Жак, где ты?

— Во дворе, — отвечает голос, принадлежащий вроде бы тому же Полю; правда, теперь он звучит неуверенно, тихо и довольно жалобно.

— Чего ты так боишься?

— Ну и кутерьма тут! А крику, крику!

— Отвечай на мой вопрос, — строго приказывает голос Поля.

— Я боюсь, что чересчур отличаюсь от детей, играющих вокруг, ведь я не знаю правил, — голос Поля вновь звучит испуганно, как у заблудившегося ребенка.

— Ты не знаешь правил? А может, наоборот: ты никак не перестанешь о них думать, потому что чувствуешь себя новеньким? Ты так боишься нарушить устав, что позволил страху связать тебя по рукам и ногам?

— Да, я хотел бы вести себя так же, как те, кто уже набрался опыта, — непринужденно, беззаботно. Если бы я мог просто играть, как они, мне не пришлось бы сносить их попреки и насмешки!

— Наберись терпения: со временем ты будешь играть точно так же, в свое удовольствие!

Слышится пояснительная реплика в сторону, вновь произнесенная голосом Поля:

— Итак, устав, тревожа совесть Жака, взял над ним власть. Жака подавляет объем новых обязанностей, страшит их суровость: как, с его-то слабыми силами, соблюсти все до точки, как не мучиться постоянным сознанием вины, без конца перебирая эти предписания в уме и приходя в ужас от мысли, что можно нарушить их по неведению, — хотя, войдя в дверь коллежа, Жак стал знать их не хуже одноклассников и куда лучше учителей, одергивающих его лишь затем, чтобы выказать служебное рвение. А теперь посмотрим, что происходит спустя несколько дней. Жак, как твои дела?

— Разве мне удастся объяснить это вам, никогда не переступавшим порог нашего коллежа, разве сумею я сделать для вас настоящим то, что может быть описано только в прошедшем времени, — как, например, пахли плесенью бумага и чернила, как от железного умывальника разило чужой зубной пастой и хлоркой, как затихали, перемежаясь с нестройным трезвоном колокола в конце перемены, волны криков в школьном дворе, как хлопали брошенные со всего маху крышки парт, — разве могу я надеяться внушить вам, совершенно чуждым всему этому, представление о вещах, которые я описываю именно так, а не иначе, лишь потому, что воссоздаю перед вами то, что чувствовал и слышал еще сегодня утром, однако совсем не то, и вы прекрасно это знаете, что ощущаю теперь, когда говорю с вами?

— Но я обращался к Жаку! — взбешенно ревет голос Поля. — Не к тому, кто исполняет здесь роль Жака, и не к тому Жаку, который покинул стены коллежа и с грустью предается воспоминаниям о былых запахах и звуках, а к Жаку, живущему в коллеже именно сейчас и постепенно привыкающему обходить те правила, какие он сам учредил и каким подчинялся с того дня, когда впервые пришел в коллеж. Если ты будешь так отклоняться от роли, мы только потеряем время. Нужно играть всерьез!

— Я никогда не был так серьезен, как сейчас. Разве можно сказать, что я говорил от себя, а не от имени Жака? Неужели Жак не должен реагировать ни на запахи, ни на звуки?

— Даже если он на них реагирует, мы не просим его описывать свои ощущения, поскольку, как ты сам заметил, это подразумевает возврат к прошлому, а мы условились, что он будет говорить только о настоящем. Итак, продолжим. Пусть теперь Жак станет перед Жоржем, словно тот его преподаватель, и мы послушаем, как беседуют друг с другом учитель и ученик.

— Давайте-ка разберемся... Коль скоро вы признаете свою вину, объясните мне, почему вы так поступили?

— Э-э... я не знаю, господин учитель...

— Ах вот как, вы не знаете? Лгунишка! Вы заслуживаете двойного наказания!

— Я сделал это не нарочно, господин учитель.

— Старо как мир! Все школьники так говорят. Если бы я доподлинно знал, что вы сделали это нарочно, я бы просто поставил вас в известность, что вы наказаны, я бы не требовал ответить, почему вы навлекли на себя эту вполне заслуженную кару.

— Нельзя все время вести себя правильно, господин учитель.

— Спору нет, это не так просто, тут я с вами согласен, но неужели вы думаете, что я удовлетворюсь этим ответом? Мне не нравится ваша улыбка — вы как будто надо мной насмехаетесь, право! Уж не хотите ли вы, чтобы я надрал вам уши?

— Надерите, господин учитель! Делайте свое дело!

— Какое нахальство! Не думайте, что я дам сбить себя с толку, наглец этакий! Допустим, что я ничего не слышал. Теперь отвечайте: почему вы провинились?

— Чтобы вы могли делать свое дело, господин учитель.

— Вы опять дерзите! И еще хуже: вы опять увиливаете!

— Я не увиливаю и тем более не думаю дерзить, у меня просто не нашлось лучшего ответа на ваш вопрос, господин учитель.

— Так что же, вы совершили дурной поступок только для того, чтобы у меня был повод вас наказать?

— Ах, господин учитель, вы же только орудие...

— Орудие? Час от часу не легче! Орудие, которое вы используете по своему произволу, орудие, предназначенное для того, чтобы регулировать ваше поведение... Значит, вы просто захотели удостовериться, что это орудие исправно?

— В некотором роде так, господин учитель.

— Ну, это уж слишком! Ступайте вон!

— Браво! Прекрасная сцена! И разыграно хорошо!

— Так хорошо, что, похоже было, Жорж сам задыхается от возмущения!

— И вот-вот вмешается в диалог!

— Значит, это ты говорил и за учителя, и за ученика?

— Да, но слова учителя внушал мне Жорж, и тебе казалось, что они исходят из его уст.

— Таким образом, нельзя сказать, что Жорж хранил молчание.

— Но нельзя и утверждать, что он говорил. Впрочем, даже если бы он открыл рот, то все равно выразил бы недовольство учителя, а не свое собственное. Рассказывать заученный урок и исполнять чью-то роль — велика ли разница? Выходит, Жорж и тогда был бы верен своему обету.

— Интересно, допускает ли сам Жорж, что можно открывать рот и в то же время ничего не говорить.

— Его молчание показывает, что не допускает.

— В целом из этой сцены следует, что власть учителей слаба, а их влияние на учеников ничтожно.

— Не совсем так. Скорее всего, без надзора учителей мы соблюдали бы наш устав ничуть не хуже, но признаемся честно: ужас, который их присутствие наводит на всех учеников, придает уставу подлинную реальность. Конечно, кот со двора — мыши в пляс, всем это известно; но если бы кот в один прекрасный день действительно ушел и больше не вернулся, разве стали бы они плясать, а не погрузились в дремоту, пресытившись скучной безопасностью? Мы этого чувства не ведаем, мы все время начеку, мы постоянно хитрим, изворачиваемся. Вот тема, которую Жак, по нашей просьбе, разовьет на примере расписания дня, введенного в коллеже без особой надобности. Вы сами убедитесь: преподаватели сделали все, чтобы не дать нашей бдительности притупиться. Любой нерадивый или дерзкий ученик, куда-либо опоздавший, карается лишением свободы на целый день, до вечера. Но лучше послушаем Жака.

Теперь исполнитель роли Жака, говорящий голосом Поля, бубнит с тупой машинальностью крестьянского ребенка, одинаково равнодушного и к сути затверженного урока, и к тону изложения:

— Разбуженные звоном колокола, мы спешим встать, умыться и одеться, прежде чем надзиратель дунет в свисток, приказывая нам построиться и отправиться на уроки, причем весь смысл этих практических занятий, с которых мы начинаем день, заключается лишь в том, чтобы напомнить нам о существующих правилах и уберечь от постыдных одергиваний со стороны того, за кем мы признаем право вести надзор и направлять нас на путь истинный. Мы тщательно умываемся под критическим взглядом учителя только потому, что в противном случае он упрекнет нас в нежелании следить за нашим внешним видом.

— Но если так... Позвольте мне на минуту прервать Жака... Если так, что получается? Когда учитель ослабляет надзор, в той же мере слабеет и ваше рвение. Иначе говоря, если бы не боязнь получить выговор, вы не стали бы соблюдать правила гигиены, ибо видите в них ненужное ограничение вашей свободы, — значит, вы сами, как это ни парадоксально, свидетельствуете в пользу учителей.

— Жак не совсем точно выражает свои мысли. Положим, правила не были бы навязаны нам учителями — из этого еще никак не вытекало бы, что мы хорошо выполняли бы свои обязанности только в присутствии учителей, а без них — плохо. Мы выполняли бы их самым обычным образом: ни хорошо ни плохо. Просто выполняли бы, и все!

— Я решительно перестаю понимать, для чего нужны учителя!

— Неужели тебе не ясно, что они наделили устав плотью и кровью, придав нашим отношениям с ними — а эти отношения фактически заменяют устав — характер постоянного конфликта? Именно учителям мы должны повиноваться, именно они назначают нам наказания — и, разумеется, именно учителей мы всегда норовим ослушаться, чтобы дать им возможность, как дерзко выразился наш школьный товарищ, "делать свое дело". Украдкой противодействуя их распоряжениям, выскальзывая из-под их надзора, мы навлекаем на себя справедливые наказания:

тем самым мы непрестанно порываем с беспечной покорностью, способной нас убаюкать, но в то же время признаем неодолимую власть устава, тяготеющего над нами только благодаря нашим частым проступкам. Да и кто другой, как не учителя, исподволь подталкивает нас эти проступки совершать – и напоминаниями о наших обязанностях, и карательными мерами, которыми они постоянно нам угрожают? Впрочем, пора вернуть слово Жаку.

– И когда после уроков мы готовим задания, то старательно выучиваем новый материал и делаем упражнения единственно ради хороших отметок: идя навстречу требованиям преподавателей, мы обеспечиваем себе приятное освобождение от наказаний. Точно так же во время классных занятий мы болтаем о посторонних вещах не для того, чтобы избавиться от чувства порабощенности, а для того, чтобы его усилить. И если затем приходится каяться перед лицом более робких одноклассников, которых учитель ставит нам в пример, мы не испытываем бессильной ярости побежденных и даже не думаем протестовать, ибо эта недозволенная болтовня и была рассчитана на то, чтобы подставить себя под удар.

– Постой, постой! Не кончится ли это тем, что вы начнете отождествлять учителей с уставом, а устав с учителями?

– Конечно, все функции, какие учителя берут на себя, присвоены ими самочинно. Однако сами учителя считают, что мы попали бы из огня в полымя, если бы избавились от их опеки, – ведь, не будь подлого давления с их стороны, обязательств, которыми они нас опутывают, и всевозможных наказаний, которым они подвергают нас за нарушения дисциплины, от устава не осталось бы даже названия, а коль скоро мы больше не имели бы права назвать его уставом...

– ...Он попросту прекратил бы свое существование? Стало быть, подчинение этим прохвостам, этим учителям-мучителям – лучшая гарантия вашего подчинения уставу?

– Хватит, Поль, надоело! Этот твой Жак, твой устав, учителя... ты хочешь нас со свету сжить?

– Ладно, ладно! Больше ни слова об уставе.

– Скажи уж честно, Поль: больше ни слова о том, чтобы заставить говорить Жоржа! Смирись со своим поражением, признайся, что ты рассчитывал пронять Жоржа, изводя его, как и всех нас, нудными софизмами, но он выстоял, он не проронил ни звука, хотя в какой-то момент, во время этой красочной сцены в коллеже, когда ты подсунул ему роль преподавателя и Жорж пару раз поморщился, могло показаться, что он готов клюнуть на твои фокусы! Сознайся, Поль: ты просчитался! Сделаем лучше по-другому: сами попробуем молчать. Увидишь, Жорж не сдержится и в свою очередь попытается вытащить нас из молчания, но не сможет этого добиться, пока не заговорит!

– Так он теперь все знает! Неужели ты, простофиля, надеешься переиграть Жоржа, заранее открыв ему карты?

– Разве из того, что я вижу цену всем этим жалким ухищрениям, этим сразу же бросавшимся в глаза ловушкам, которые ты понаставил в своих пространных речах, следует, что я непременно проиграю? Думаешь, если твои слова не смогли выбить Жоржа с его позиций, так мои заставят окопаться еще глубже? Как же ты наивен! Мы уже видели, чего ты добился мудреными рассуждениями насчет устава – и то сказать, чем

не предмет для казуистики? — видели, как все они кончались пшиком, а потом и вовсе захлебнулись, встретив отпор Жоржа, сумевшего, как это для нас ни грустно, сохранить полное самообладание!

— Хорошо, будь по-твоему. Объявляй нам правила новой игры!

— Игра будет та же самая, но мы поменяемся ролями. Пусть теперь Жорж заставляет говорить нас.

— Жорж научен горьким опытом Поля. Не думаю, что он согласится!

— К тому же мы только что это видели, он предпочитает роли без слов!

— Ты лучше скажи, кого объявят победителем: Жоржа, который, разговаривая с нами, заставит нас говорить, или нас, которые, не разговаривая с ним, заставят говорить его?

— Поймите наконец: когда мы хотели победить Жоржа с помощью слов, ошибочно считая, что этого оружия достаточно, ему, видимо, было совсем нетрудно противопоставлять свое молчание нашей болтовне, — но не так-то легко часами крепиться среди упрямых молчунов, если, конечно, дело не происходит в общине, соблюдающей безмолвие постоянно. Напомню: эта комната никогда не была местом, где действуют уставы подобного рода, мы сделали ее такой лишь условно, на краткое время! Зачем без конца толковать о том, кто из нас перехитрил другого, добился своего, дал отпор, потерпел поражение? Я утверждаю, что Жорж все поймет и как бы в силу естественной необходимости откажется от своего молчания, чтобы вырвать из молчания нас; я утверждаю, что при этом его нельзя будет обвинить в нарушении обета — он нарушил бы его лишь в том случае, если бы включился в нашу лживую игру, где все остаются в дураках. На этот раз нам не понадобится изощренной аргументации, чтобы вытянуть из него слова: они самопроизвольно прорвут его молчание, взывая к молчанию нашему, — и это будет призыв столь же душераздирающий, как молитва, столь же повелительный, как вопль сердца!

— Нет, вы только послушайте! Оказывается, дальше будет еще скучнее! Мало того, что мы вытерпели неудобоваримые поучения Поля, нас теперь молчать заставляют!

— Интересно, как долго мы сможем удержаться от смеха.

— Если вам хочется смеяться, кто мешает?

— А можно будет хоть как-то развлекаться? Я хочу предложить Полю партию в шашки, но разве мы сумеем играть в полной тишине?

— Может быть, попросим Жоржа продемонстрировать его таланты: он такой замечательный мим... Мы бы с удовольствием посмотрели...

— Пора бы вам понять: мы собрались здесь совсем не для того, чтобы веселиться!

— Ну, мне это уже давно понятно!

— Поль, по-моему, сделал все, чтобы мы это поняли!

— Здесь есть некто, кому не по вкусу ваши шуточки.

— Жорж, что ли? Не думаю: он, похоже, упивается каждым нашим словом.

— С каждым вашим словом он еще глубже погружается в молчание. Если вы этого добиваетесь...

— Мы и впрямь ведем себя не совсем серьезно, но только потому, что хотим набраться сил для серьезного дела.

— Очень полезно отдохнуть после уроков, прежде чем взяться за подготовку к завтрашним занятиям!

— Да, можно подумать, что мы находимся в коллеже, описанном Жаком. Поль наш преподаватель, а надзиратель, который следит за выполнением заданий, — вот он!

— Если так, то этот надзиратель сейчас дунет в свисток и велит вам угомониться!

— Значит, мы теперь будем зависеть от прихоти Жоржа и не говорить друг с другом, как он не говорил с нами?

— О Жорж, о святой Георгий Молчальник! Помоги нам в скорбях наших! У нас был дар речи, теперь он отъемлется, ибо мы употребили его во зло, но в твоей власти нам его возвратить! Да будет так!

— Жорж улыбается: значит, он не остался глух к нашим мольбам.

— Сколько вы еще будете валять дурака? Может, все-таки начнете слушаться...

— Если начнем, то помешаем тебе делать твое дело — по дерзкому выражению Жака, которое тут же подхватил Поль. И я в свою очередь подхватываю: хочу показать, что урок пошел мне на пользу.

— Ты сначала пойми его как следует, этот урок! Не забывай: здесь мы не в коллеже...

— Разве? Все, что происходит сегодня, доказывает как раз обратное!

— Тогда берегись! Ведь если это так, я, твой учитель, имею право выставить тебя за дверь, потому что ты отвлекаешься и болтаешь! Но может быть, вы все-таки устали молоть языком? Говорить, говорить — и все попусту?

— Мы никогда не можем выговориться до конца, чтобы наконец умолкнуть, и всегда говорим слишком много, чтобы сказать хоть что-нибудь дельное!

— Неужели это выше ваших сил — вообразить, что вам пришлось замолчать навеки?

— Хорошо! Возьмем пример с Жоржа: ему это явно по силам!

— И вы будете вознаграждены! Запомните мои слова: Жорж начнет говорить, Жорж спасет нас всех!

Так же, как он не смог бы покинуть свой пост до тех пор, пока за дверью слышались голоса детей, — точно так он чувствует теперь, что его почти до обморока заворожило их молчание, и приобщается к их надежде на освобождение, которое должно освободить и его самого. Каждый из них, говоря, обращался к нему, но ему кажется, будто это он обращался ко всем детям, причем с жаром, чрезмерным для столь пустячной, хотя и витиеватой беседы, представлявшей собой, по-видимому, лишь тонкую пародию на претенциозное многословие учителей. Когда же дети говорить перестали, он будто сам отказался говорить, но его присутствие за дверью при этом утратило всякий смысл и, похоже, оправдывается лишь тем, что вот-вот наступит какая-то развязка. Тем не менее, вовсе не считая себя сколько-либо обиженным из-за того, что дети замолчали, он был бы склонен думать, что они теперь разрешили и ему принять участие в их игре, если бы тишина, поглотившая их речи так давно, что от них не осталось и воспоминания, наконец не перестала быть молчанием, которое хранят дети, и не стала молчанием, которое хранит он сам. Значит, восстать против этого молчания и прервать его, чтобы принести спасение им и одновременно себе самому, должен именно он, а не этот Жорж — ведь, разделив их участь, Жорж утратил выгодное положение, даруемое бессловесностью, поскольку был обязан им

лишь тому обстоятельству, что другие дети говорили. Молчание встает перед ним подобно воинственному исполину, с каждым мгновением набирающему силу. Молчание, очень быстро разрастающееся до такой степени, что, кажется, оно сейчас взорвет слишком тесное пространство комнаты, где его держат в плену, молчание тяжкое, накаленное добела, как приливающий гнев: перестав быть молчанием послушных или на редкость хитрых детей, оно теперь стало его, только его молчанием, никто другой к нему отношения больше не имеет! А может быть, именно его, нескромного соглядатая, дети решили подвергнуть этому испытанию безмолвием, чтобы поднять на смех и принудить к саморазоблачению? Но разве они еще подстерегают его за дверью? Удостовериться в этом он может не иначе, как попав в их западню. Впрочем, может ли он утвердить и свое собственное присутствие, в котором уже сомневается, иначе, как заявив о нем во весь голос? Ибо он-то сам, в конце концов, — здесь ли он еще? Находится ли он по-прежнему в этом коридоре, где тишина, похожая на тревожный гул крови, стучит у него в висках?

"Вы здесь, дети? — кричит он, в исступлении толкая дверь. — Вы еще здесь?"

В этот момент он пришел в себя и с чувством радостного облегчения вспомнил, что его зовут Жорж. Открыв глаза, он увидел, что в его комнату врывается Поль. Увидел, как тот склоняется к его уху и, улыбаясь, сообщает, что внизу кто-то ждет и хочет с ним говорить.

"Говорить со мною, мой мальчик? Ты сказал — говорить со мною?"

И, торопливо вставая, он видел, как ребенок ему все еще улыбается, но теперь эта улыбка была далекой, непроницаемой.

Обезумевшая память

КОГДА-ТО он был слишком юн, чтобы сознательно предаваться этому волнующему и дерзкому упражнению. Слегка повзрослев, он возобновил его лишь для того, чтобы бросить вызов природе, и последствия были губительны. Обстоятельства внушили ему героическую решимость, гордость ее укрепила — та беспримесная, похожая на спирт, гордость, что заменяет иным подросткам физическую силу. Исходный его замысел состоял в том, чтобы обезоружить чрезвычайно могущественного противника, с помощью хитроумного молчания оказаться вне пределов его досягаемости, — и замысел этот привел к непредвиденному, чудесному результату. Беда была в том, что подвиг удался ему лишь один раз. Всего один раз, еще ребенком, он ощутил, что достиг своей внутренней вершины — состояния целительной отрешенности — и познал воистину незабываемый восторг. Он чувствовал себя так, будто ему вложили в руку талисман, делающий его равнодушным к насмешкам, нечувствительным к упрекам, он обнаружил, что ему ничего не стоит вырваться из рабства — для этого понадобилось лишь отказаться разговаривать со сверстниками, считавшими послушание более разумной, более приятной формой поведения и приходившими в ужас от его выходок, из-за которых он так часто выслушивал грубые и однообразные нравоучения, а затем подвергался унизительным наказаниям.

Два месяца он хранил молчание, а на третий бежал, чтобы не поддаться искушению и не нарушить свой обет; вскоре, когда ему исполни-

лось пятнадцать, он был вынужден признать этот обет мальчишеским и безрассудным, с досадой сознавая, что исполнил его лишь благодаря бегству. Именно эту слабость, только ее, он сурово осудил позже. В дальнейшем возникали ситуации, благоприятствовавшие новым попыткам, но ни одна из них не позволила ему испытать такой же восторг, как в первый раз, — он пришел к выводу, что преднамеренность всегда оборачивается неудачей, точно так же, как вглядывание в прошлое всегда остается ловушкой, однако давал себя поймать: с угрюмым наслаждением он запутывался все больше, упорствуя в своем заблуждении.

Еще позже ему никак не удавалось вспомнить причину своего тогдашнего решения: он извелся, стараясь ее отыскать, словно ключ, необходимый для того, чтобы вновь испытать состояние, которое он не мог определить, — блаженство? обморок? Отчасти он вроде бы понял, с чего эта история началась, но тут же удивился: все свелось к воспоминанию о какой-то жалкой распре между школьниками. Тем не менее он попытался восстановить это воспоминание во всех подробностях, сделать таким же красочным, отчетливым, живым, как если бы дело шло о ярчайшем событии совсем недавнего прошлого — или даже о чем-то, что совершается в настоящем. И опять им овладело сознание беспомощности: как отчетливо ни видел он истоки своего раннего и неповторимого опыта, это отнюдь не значило, что ему будет дано вновь пережить то же самое. Лучше было бы все забыть, тогда, возможно, он удостоился бы этого переживания еще раз.

Так он постепенно дал себя сбить с пути своей необычайно деятельной памяти, которой позволил воздействовать на четко выделенный, но узкий фрагмент прошлого, а все предшествующее и все последующее предал решительному забвению. День за днем, ночь за ночью он производил мысленный учет событий, а затем тщательно расставлял их в хронологическом порядке, пока наконец, завершая эту инвентаризацию — всегда, впрочем, оставлявшую возможность уточнения, — не оказывался перед необходимостью добавлять с помощью воображения то, чего припомнить уже не мог. Его чувства, истощенные неустанной работой мозга, совсем атрофировались: он стал равнодушен к вкусовым ощущениям, к запахам (они могли отвлечь от навязчивой идеи), а взгляд жадно приникал лишь к некоторым детским лицам, чем-то напоминавшим его собственное в том же возрасте. Он растрачивал последние силы на мучительное воссоздание мельчайших деталей, хотя в конце, возможно, его ждало то, что и любого другого, — отупение и легкая усталость.

Он как будто наяву видит место, где совершил свой подвиг: череду похожих залов, отличающихся в его воспоминаниях друг от друга только своими размерами, а еще — расстановкой мебели, до того однообразной, что перебрать ее в уме задним числом не так-то просто; лестницы, коридоры, снова коридоры, где он без труда нашел бы дорогу и сегодня; двор, заполненный играющими детьми, среди которых он пытается разглядеть единственного ребенка, чей облик его память не могла сохранить, ведь этого ребенка он никогда не видел, он никогда не слышал его голос так, как слышал, как может при желании вновь услышать голоса других детей, помнящихся ему очень ясно, — забылись только их имена. С помощью некоторых ухищрений он постепенно превращает главное действующее лицо — ребенка, которым он был, — в конкрет-

ный, хотя и не вполне достоверный образ (достоверны лишь колени, руки, одежда; все остальное — вымысел): он наделяет его наиболее подходящими чертами и манерами, каких, возможно, тот не имел, хмурым лицом, на котором лежит отсвет пугливой гордости. Он представляет его себе таким, каким тот должен был быть и каким тот, возможно, никогда не был в действительности. Без зазрения совести он поселяется в теле, которое ему не принадлежало, и, возникнув в результате методической работы воображения, остается инородным среди других, безукоризненно точных воспоминаний, но при этом более реальным, чем былая реальность, более наличным, чем любая ее деталь, относящаяся к прошлому, и только к прошлому, короче говоря, более живым, чем пережитое, — и он забывает о его чуждости, о его незаконном происхождении. Это было его высшим успехом и в то же время первым симптомом сумасшествия. Ложь наверняка примешалась здесь к правде, но целое приобрело окраску подлинности.

Вот в общем виде его полувоспоминание-полугреза, за вычетом нескольких возможных вариаций, которые не меняют ни ее существа, ни структуры. (Только последовательность событий каждый день могла оказаться под сомнением, если обнаруживалось — всегда желанное, всегда неожиданное — новое звено, помогавшее уточнить хронологию. Что же касается движений его души, его чувств, то они, все более полно воскрешаемые благодаря этим ежедневным изысканиям, природы своей не меняли: это были беспечное простодушие, гнев, гордость, отчаяние, вновь гордость и, наконец, то, чего он никогда не испытывал позже, то, что делало его пленником собственной судьбы.) Первый эпизод сводится к единственной картине, проносящейся с быстротой молнии: некто, опознаваемый только по атрибутам своего сана — черная сутана, скуфья, галликанские брыжи, — набрасывается на ребенка, которым он был — которым он, возможно, никогда не был, — обвиняя его в каком-то проступке, но этот ребенок тут же указывает на истинного виновника, и того, не успевшего в свою очередь возразить, осуждают и наказывают.

Тягостная сцена: впоследствии он на ней не задерживался, не пытался ее пополнить или довершить, ибо если и ощущал угрызения совести из-за того, что наябедничал, то угрызения эти были менее острыми, чем ребяческое удовольствие, с каким он отвечал на заслуженные оскорбления встречными оскорблениями и какое продолжал испытывать, припоминая эту отповедь в свои последние дни. Затем он видит самого себя — еще одна картина прошлого, на этот раз с большей примесью вымысла или, может быть, не столь точная, как предыдущая, вся ценность которой заключается в ее полной достоверности, — видит свои насупленные брови, челку, косо срезанную школьным парикмахером (пользуясь незрелым возрастом клиентов, тот привык делать свое дело спустя рукава), видит затылок, стриженный, как и положено по уставу, наголо, видит колени, белеющие под партой, и еще — совсем юную, детскую руку: дрожа, эта рука выводит на клетчатом тетрадном листке слова, диктуемые ему злостью или настоятельной потребностью утвердить себя наконец с помощью какого-либо практического действия — высмотреть изъян в доспехах врага и поразить его раньше, чем вражеский клинок найдет щель в его собственной броне, вызвать в жертвах ярость, которая станет чем-то вроде славословия его силе, громогласным признанием его достоинств. Если только не допустить, что он уже в этот момент

понимал, какой путь приведет его к величественному отчуждению, способному защитить от любых ударов. Или еще проще: он мог вдохновляться тогда чистым ребячеством, безудержной любовью к игре, не сознавая или, напротив, слишком ясно сознавая опасность, которую навлекал на него вызов, брошенный всем остальным. А может быть, и так: желая наказать себя за нарушение общепризнанного кодекса товарищеских отношений, он инстинктивно стремился быть изгнанным из круга одноклассников, усугубить свое падение новым бесчестным поступком, покрыть свой грех еще более черным грехом и с этой целью воспользовался единственным оружием, которым так хорошо владел. Но эти гипотезы, как и множество других, следует отклонить хотя бы потому, что он не может с уверенностью отдать предпочтение какой-либо одной. Он запрещает себе толкования, интерпретации, все гипотетическое, все, что внушает сомнения. Ему, всеведущему, нельзя ни в чем сомневаться, как нельзя и строить предположения: его задача — превратить прошлое в нескончаемое настоящее, его судьба — и его проклятие — переживать вновь и вновь, до полного умопомрачения то, что было пережито один-единственный раз.

Именно для того, чтобы не отступать от фактов, он и разрешает своей памяти творить произвол в пределах очерченного поля: там, где она ему изменяет, можно, считает он, прибегать к вымыслу, в основе своей более правдивому, чем любой ретроспективный анализ, искажающий образы прошлого, фальсифицирующий их суть, спутывающий хронологическую последовательность событий. Не отступать от фактов в данном случае — то же самое, что вновь наполнять эти воспоминания жизнью, а в третьем эпизоде они чисто звуковые, причем предмет давнего спора, в отличие от слов, которых уже никогда не воспроизвести точно, сохранен без изменений (хотя память и устраняет излишние подробности). Место, где разворачивается третий эпизод, то же, что и в эпизоде первом, — под еще более темным и как будто давящим небом. Четверо детей осыпают бранью пятого, которым, вне всякого сомнения, является он сам, и происходит это вскоре после того, как он отправил им оскорбительное письмо. “Разве вы не поняли? Этот доносчик не смог вынести нашего презрения, потому-то он и делает вид, будто презирает нас. Ему бы сидеть тихо, чтобы о нем не вспоминали, а он...” — “Он издевается над человеком, которого высекли вместо него!” — “Который ставит мне в вину то, что вместо него не высекли меня!” — “То, что он подло наябедничал, испугавшись наказания!” — “Но оно было незаслуженным!” — “Что ж, мы устроим ему другое, сейчас-то он уж точно его заслужил”. — “И вот какое: в его присутствии мы будем все время говорить о нем, да так, чтобы ему опротивели его тело и душа, его жесты и голос, чтобы он захотел умереть, только бы не оставаться больше тем, в кого мы его превратим!” — “Вы хотите превратить меня в кого-то другого?” — “Мы ему и вздохнуть не дадим: в тех местах, где по уставу запрещено разговаривать, будем шептать ему в уши, а там, где разрешено, — кричать во весь голос”. — “Вам не сделать из меня того, о ком вы будете говорить”. — “Мы от него не отвяжемся: наши голоса будут звенеть у него в ушах даже в бессонные ночи, даже во сне они не дадут ему покоя”. — “Врите сколько угодно, для любого из вас я всегда буду человеком, о котором вы ничего не можете рассказать”. — “Но для себя самого — человеком, о котором мы будем говорить”. — “А что, если я с вами попросту

перестану разговаривать?" — "Это он-то перестанет разговаривать! Интересно, что мешало ему помолчать раньше?" — "А что, если я откажусь вас слушать, если я вас и замечать не буду? А что — ведь я сильнее вас, — что, если я... если я вас..." Он не в состоянии выговорить, а может, и вспомнить слово, которое заставило бы врагов прикусить язык, — но в тот самый миг, как они встречают это лепетанье смехом, ему внезапно, будто его посетило вещее видение, открывается нечто, чего никакими словами не выразить. Задохнувшись, он умолкает. Он молчит, и хотя кажется, что над ним взяла верх минутная обида, может быть, именно в этот миг он уже принес тайный обет молчания. Да, он оборвал свой ответ умышленно, он схитрил, чтобы не поддаться отвращению к самому себе, которое одноклассники хотят в него вселить с помощью своей жестокой методы, подобной наведению порчи; с самого начала в его молчании есть что-то от сознательно избранной аскезы: он должен заслужить то, что ему сейчас открылось, даже если увиденное не поддается определению и, может быть, уже недостижимо. Слезы бегут по его щекам, но это не слезы унижения или страха, он плачет от радости — надменной, чрезмерной, почти безграничной...

Как во сне, которому спящий не верит, он видит зловещие физиономии своих гонителей, двор, где резвятся другие дети, которые иногда останавливаются рядом с ним, чтобы смерить его взглядом и рассмеяться ему в лицо, — но, странным образом колеблясь на грани между тем, кем он перестал быть, и тем, кем еще не стал, испытывает лишь чувство полной невиновности, гордости, наслаждения. В буквальном смысле находясь вне себя, он созерцает происходящее со стороны и так, словно он не жертва, а хозяин положения — никогда этим ничтожествам не выжать слез из камня... впрочем, он на самом деле плачет... Тут, возвещая конец перемены, звонит-надрывается школьный колокол, безжалостно разрушающий его уверенность в собственном всемогуществе. Хмель улетучился: шагая в строю учеников, возвращающихся в класс, зажатый между истязателями, которые без передышки, точно грызуны, делают свое мерзкое дело, шепчут за его спиной всяческие оскорбления, он в первый раз теряет самообладание. Старание, с каким он утирает слезы, выдает его слабость: вновь сознавая себя изгоем, он вынужден прятать чувство стыда, сохранять под градом насмешек невозмутимое выражение лица и, вспоминая о своем ослепительном видении, с преувеличенно безмятежной улыбкой позволять, чтобы его терзали, обливали грязью...

Униженный, растоптанный, падший... но что-то в нем изменилось; теперь, увидев, пусть и в далекой дали, чем все кончится, он не дрогнет перед испытанием, приобретающим в четвертом эпизоде черты добровольного мученичества — более того, мученичества желанного, потому что без этого испытания он не мог бы выполнить свой обет.

Четвертый эпизод многогранен: он состоит из неисчислимых частных эпизодов, в которых местом действия служит столовая, а содержанием становятся его мучения. Вчерашний эпизод никогда не совпадает во всех подробностях с завтрашним, а тот отличается от позавчерашнего и от послезавтрашнего. Видоизменяются они слишком медленно и слишком незаметно, чтобы ему было дано вспомнить каждый в его пол-

ноте и реальной длительности. Память, не способная воспроизвести все случайные вариации, заставляет его считать неповторимым то, что бесконечно повторялось, и видеть бесконечное повторение в том, что могло быть одинаковым лишь дважды. Вновь пережитые в ускоренном темпе и как будто одновременно, вариации эти спрессовались в один-единственный эпизод, разделяющийся на три четко отграниченные части, причем каждая из них соответствует определенному этапу его мученичества, ибо в ней раскрывается один из трех главных мотивов, с которыми оно сопряжено: сумрачный гнев, вскоре вытесненный еще более сильным чувством, помогающим ему спокойно, не обращая внимания на оскорбления и издевательства, двигаться к цели; неколебимая, царственная гордость, обескураживающая его врагов, никак не могущих объяснить себе, почему все их предложения о перемирии наталкиваются на отказ; наконец, блаженное состояние, достигнутое им благодаря героической стойкости и словно по волшебству совпадающее во времени с полным и несомненным крушением всех, кто стремился его унизить, — жестоких одноклассников, бездушных учителей.

Он видит зал, где за столами молча сидят дети, а чуть в стороне возвышается на помосте стол преподавателей, сервированный намного богаче (сегодня зал представляется ему более просторным: из-за полумрака, регулярной расстановки мебели, наготы беленых стен, монотонности ежедневной процедуры, давности лет). Он слышит щелчок сигнальной хлопушки: теперь дети, прежде сидевшие без движения, со сложенными на столах руками, могут брать еду из больших блюд и наполнять свои тарелки, могут разговаривать друг с другом. Он видит мальчика, сидящего за одним столом с дюжиной других детей; мальчик молчит и точно окаменел от боязни сделать лишнее движение. У него гордая осанка и гневный взгляд, которому, впрочем, придает слегка мечтательный характер его нежелание встречаться глазами с кем-либо из соседей: ведь если бы это произошло, он, наверно, поддался бы неодолимому движению души, восстал против их клеветы и тем самым нарушил свою тайную клятву.

Он обладает двойной способностью: быть этим ребенком, на котором скрестились взгляды других, и смотреть, как тот играет у него на глазах свою немую роль, — как если бы он сидел напротив него за столом. Именно эта оптика, объективирующая продукт его воображения — так что он одновременно является и главным действующим лицом, и единственным трезвым наблюдателем, — дает ему видеть от начала до конца и словно в ракурсной съемке то, что он испытал давно, но давний опыт воссоздается столь бережно, переживается заново столько раз и с таким внутренним жаром, что в настоящем ничто не может удержать его от этого маниакального всматривания в прошлое: как будто там обретается — и по-прежнему бесконечно вершится — единственное подлинное событие его жизни.

Он видит справа от себя глуповатый профиль мальчика, то ли из оппортунизма, то ли из продажности (в их заведении преобладает натурально-вещественная форма подкупа) решившего действовать заодно с тремя его соседями, которые сидят всего ближе и принадлежат к числу его врагов. Он слышит, как тот сопровождает каждую реплику хулителей, составивших дружный хор, визгливым, ехидным смехом. Он встречается глазами с ним, потом с другим мальчиком, который смотрит на

него с почтительным любопытством и дружески улыбается, как бы заклиная отказаться от избранной им однообразной стратегии. На заднем плане он видит лица других детей, склоненных над столом: они следят за происходящим с разной степенью внимания, с разной степенью сочувствия наблюдают последовательные фазы его мученичества. Он видит нависающее над тройным частоколом детских голов, как некий гипнотический образ, — он не в силах не смотреть в эту сторону, — бледное лицо одного из преподавателей: глядя свысока, со всем бездушным превосходством взрослого, тот внимательно изучает его своими мутно-серыми глазами. Освободиться от гнусного взгляда этого священника он мог бы только с помощью крайней дерзости — вызывающе ему подмигнув (однажды ночью он освободится от него, совершив во сне убийство; сейчас же он освобождается, рисуя это убийство мысленно, так что оно вопреки истине и правдоподобию становится кровавой развязкой его воспоминания-грезы).

Поначалу, связанный обетом молчания, он едва сдерживается, слушая топорные обвинения, сыплющиеся на него почти беспрерывно: как только силы одного истца приходят к концу, тут же вступает другой, чтобы еще больше опорочить его перед этим судилищем, где защита немотствует. Он не делает ничего, чтобы разорвать этот круг, он успокаивает себя никчемными рассуждениями: мол, в один прекрасный день, когда наступательные ресурсы врагов иссякнут, он окажется вне их досягаемости, — но затем, напротив, начинает желать, чтобы пытка, которая должна стать для него болезненным продвижением к открывшейся на миг свободе, длилась и длилась. Как только его ни называют: клеветником, наушником, лгуном — без устали перечисляют его давно забытые прегрешения, обсуждают его причуды, любимые словечки, физические и нравственные недостатки (представляя их, вне зависимости от того, подлинны они или вымышленны, в карикатурном виде, чтобы пообиднее его задеть), громоздят беспочвенные упреки, стараясь выманить его, вытащить наружу из молчания, которым он себя окружил; при всех попирают его репутацию, его достоинство, да только это ничего им не дает и не даст — пройдет время, и, вовсе не запятнав, но, напротив, обелив свою жертву в глазах остальных, палачи исполнятся сочувствием (тогда они будут умолять его заговорить, чтобы избавить их от чувства полного бессилия) и, наконец, начнут безмолвно ею восхищаться (тогда настанет их очередь молчать, униженно, но тщетно выжидая, что он скажет какие-то слова, возвращающие им первоначальный статус добрых приятелей). Однако в первой фазе, когда искус лишь начинается, он все время чувствует, как к глазам подступают слезы, и ему хочется капитулировать — то ли потому, что не хватает сил и дальше сносить издевательства, то ли потому, что, высвечивая его беспощадным светом, враги внушают ему желание отступиться от слов, сказанных прежде, воскликнуть, подчиняясь неодолимому порыву: "Да, да, я такой, как вы говорите, это я и есть" — и даже, перекрывая их ядовитые голоса своим голосом, возвести на себя еще большую напраслину.

"Это я и есть!"...Однако на его лице, не столь податливом, не столь уязвимом, написано совсем другое: "Я вас не слушаю, я не знаю, о ком вы говорите". Оно остается для них неприступной, пусть и с внутренними трещинами, крепостной стеной, о которую, к их великой досаде, разбиваются, словно набегающие волны, самые неистовые атаки. И все

же ему на глаза навертываются слезы ярости, когда священник, задумчиво жующий скверную школьную пищу, вперяет в него с высоты помоста бесстыжий взгляд, рассматривая его с лукавой прилипчивостью, как человек, который видит все насквозь, держит его в своей власти и, видимо, подвергает какой-то непонятной угрозе, так что его сердце начинает биться чаще и все тело, даже колени под столом, охватывает до того сильная дрожь, что ему не удается ее подавить.

Здесь в этом бесконечном эпизоде зияет нечто вроде разрыва: какая-то сцена выпала или не может встать на свое место, какой-то фрагмент заплутал, уклонился в сторону от монотонного хода событий, непрестанно повторяющихся и, видимо, ни к чему не ведущих.

Столовая лучше всего подходит для ежедневных поношений, ведь во время еды дети могут свободно разговаривать, а в любом другом месте они обычно заняты игрой, учебой или молитвой. Отданный на растерзание одноклассникам, чье соседство за столом было ему навязано с первого дня нового учебного года, он, не зная, как от них отделаться, решает умышленно навлечь на себя одно из практикуемых в коллеже наказаний. Он притворно усмехается во время торжественного чтения "Benedicite", слышится грозный окрик, и ему велят стать на колени посреди столовой, где, согласно уставу, осужденный должен простоять до конца обеда, сложив руки крестом на груди и повернувшись лицом к столу классных надзирателей. Ему нравится видеть глубокое разочарование врагов, но приятное чувство сразу же вытесняется гадливостью — так тяжело сознавать, что твое тело выставлено на общее обозрение, да еще в столь унизительной позе, а затем — стыдом от этого унижения, хотя он и пошел на него по собственной воле. Вскоре гадливость и стыд сменяются страданием другого свойства, столь острым, что он даже отшатывается и зажимает рот ладонями, чтобы не закричать (с высоты помоста его отчитывают за двойное нарушение: нельзя шевелиться, нельзя разводить скрещенные руки). Он видит, он не может повернуться так, чтобы не видеть устремленный поверх стола хозяйский взгляд одного из преподавателей, который, то прожевывая очередной кусок, то прихлебывая из стакана вино, между делом холодно осматривает его, словно вещь, и дает понять, что может обойтись с этой вещью как угодно, или, если ему заблагорассудится, не делать с нею ничего. Неподвижный, скованный гипнотическим действием, какое, вопреки его внутреннему сопротивлению, оказывает на него этот священник, в свою очередь впавший в транс, он, дрожа от ярости, опускает голову, но тут же поднимает ее вновь: так отдаются в руки палача. Воочию наблюдая собственную казнь, он видит себя оцепенело застывшим на голом кафельном полу столовой, обреченным на заклание и от макушки до колен служащим услаждению этого взгляда, от которого нельзя спрятаться, разве что закрыть глаза; однако едва он это делает, как ощущает мерзостный ожог, пронзающий все его тело, а когда вновь разжимает веки, его щеки пылают; но отвернуться не дозволено, нельзя и заслониться руками, ибо их нужно прижимать к груди. Он то держится твердо, слегка наклонив плечи вперед и дерзко уставясь в это властное лицо, оживляемое лишь звериным движением челюсти, то, чувствуя слабость, весь съеживается, безуспешно старается вырваться из поля зрения жующего, если не вовсе свести себя на нет. Но, так или иначе, его колени приморожены к ледяному кафелю, и он чувствует, как кровь бросается ему

в лицо, вновь обращенное навстречу этому пугающе ласковому взору, где, словно в зеркале, с мучительной точностью отражается его поруганное детское тело и предстает постыдно обнаженным самое глубокое, самое тайное, что в нем есть. Именно это небывалое испытание внушает ему мысль об убийстве, которое он будет иногда совершать в своих мечтах, а затем вполне логичным образом включит в завершающий эпизод, где уже не останется ничего достоверного, если не считать тех картин, какие он, страдая, набрасывал тогда в уме.

Еще одна сцена разрывает цепочку этих эпизодов, каждый из которых похож на периодическое возвращение предыдущих, — впрочем, в один день ромбы высоких окон окрашивает в желтый цвет солнце, в другой, может быть несколько раньше, он с отвращением разглядывает содержимое своей тарелки; иногда он склонен относиться к происходящему драматически, иногда — иронически; встречая ежедневное испытание, он, как правило, чувствует страх, но бывает и так, что молчание, требующее от него героизма и мужественности, придает ему сил, укрепляет его решимость (каждое воспоминание имеет свой специфический оттенок, они так многочисленны, так разнообразны, что и при идеальной памяти этот мысленный перечень был бы практически бесконечным). Всем эпизодам сопутствует накаленная, предгрозовая атмосфера, но шестой составляет исключение: здесь он слышит собственный детский голос, от долгого молчания огрубевший и, возможно, слишком громкий, как если бы он звучал в безлюдном месте, — и голос этот, мешаясь с шумом волн, набегающих на морской берег, с нестройным гомоном птиц, отвечает на вопросы, которые вполне дружелюбно задает ему одноклассник, неловко шагающий рядом по скользкой гальке. Он слышит звук этих быстрых шагов; он вспоминает и голос спутника: рассудительный, простодушный басок юнца, вошедшего в переходный возраст; он видит пристальный взгляд его синих глаз, видит, как жадно тот всматривается в его лицо, словно пытаясь разгадать мучительную тайну. Четыре часа дня, их вывели прогуляться на берег океана, где затяжными порывами дует резкий апрельский ветер.

"Сколько ты еще намерен... Слышишь? По-моему, ты не совсем прав, что так..." — "Продолжай, не бойся. Ну же!" — "Будь осторожнее. Они очень сильные, очень хитрые, они от тебя не отстанут". — "Ошибаешься. Им несладко приходится, да и тебе, я вижу, тоже — иначе зачем бы ты вдруг стал со мной говорить, наводить мосты?" — "Как наводить мосты? Я же на твоей стороне!" — "Да, со мною ты против них, а на деле — против меня". — "Но тогда я был бы твоим врагом. Разве это так?" — "Так. Ты не лучше других". — "И тем не менее со мной ты разговариваешь!" — "Я бы и с ними разговаривал, если бы они ко мне обращались. Они хоть раз пробовали? Они же со мной не говорят, да что там — они и обо мне не говорят; вообще непонятно, о ком они говорят все время! Они слышат только себя, но их самих кто станет слушать?" — "Что ты! Они только и говорят, что о тебе!" — "Вот как? А может быть, о себе? Ты думаешь, тот, о ком они говорят, действительно я?" — "Постой: но я-то уж точно говорю с тобой, ведь мне ты отвечаешь". — "Да, ты говоришь с тем, кого видишь, — он тебе и отвечает". — "Ах так? Тогда скажи, как именно я тебя вижу?" — "Ты приглядываешься к тому, кто перед тобой, ты хочешь подступиться к нему как можно ближе..." — "И понимаю, что ему не нужен ни я, ни кто-либо дру-

гой!" — "Так или иначе, ты видишь меня, а для них — уже и для них! — я давно перестал быть тем, кого они изо дня в день смешивают с грязью! В этом моя сила: они больше не верят собственным словам, им самим надоело все, что они городят". — "Так ты считаешь, что победил?" — "Когда я уже не буду ни тем, кем я был, ни тем, кто я есть, ни тем, в кого они хотят меня превратить, когда они больше не смогут говорить обо мне..."

Он подозревает, что здесь его мысль поддалась риторическому соблазну. Стараясь воспроизвести этот диалог в исходной форме, он растворил его в бесчисленных вариациях, ставящих под сомнение подлинность результата (самая первая, еще не ретушированная версия была, возможно, наиболее правдивой); и все-таки, даже если каждое отдельно взятое слово двух детей, звучащее в его ушах, недостоверно, в совокупности эти слова не искажают смысла беседы, состоявшейся между ними в то апрельское воскресенье, когда им не было и четырнадцати, они служат ее точным переводом на язык, доступный пониманию человека, размышляющего о своем прошлом, — ведь никак иначе взрослый не способен передать то, что говорил в детстве. Только сами звуки, только предметы и фигуры могут без конца возвращаться к нам такими, какими они были, и становиться, при всем различии их выпуклости или яркости, подобием живых ориентиров во времени: кайма желтого снега, трепещущая воланами над линией прибоя, неустанный грохот волн, планшир затонувшего корабля, ботинок, натерший лодыжку, крики птиц, доносящиеся с моря, голоса беседующих, его собственный, по-детски пронзительный голос — все то, что, поднимаясь из глубин памяти, тревожит чувства напрямую, минуя разум, как речь, истинное значение которой зависит от тембра, от интонации говорящего и скорее от выраженных эмоций, нежели от способа их выражения. Если слова и не те же самые, их содержание в точности то же, так что эту версию, пусть несовершенную и, видимо, предварительную, надо признать одной из наиболее верных. Впрочем, остается еще фраза, для которой память не может найти должного места, то ли потому, что она вырвалась из его детской груди каким-то неудержимым воплем и дышала чисто мальчишеским пафосом, то ли потому, что он ошибается, связывая ее с этой ситуацией, когда вроде бы мог сказать именно так: "И я улечу, оставив моих врагов далеко позади!" Дерзкая фраза, брошенная лишь затем, чтобы произвести впечатление на собеседника, но потрясшая его самого, как иные стихотворения, логический и грамматический смысл которых проясняется уже после того, как мы насладились их очарованием. Возможно, в этом крике следует видеть не только признак душевной слабости, поскольку сказанное подтвердится в седьмом и восьмом эпизодах, где, чудесным образом воспарив, он ускользнет от недругов, общими усилиями добивавшихся его поражения, где он будет по-прежнему слышать ранящие слова и видеть озлобленные лица, но уже на правах надежно защищенного человека, который, ловко взобравшись на неприступную высоту и чувствуя свою неуязвимость, может спокойно развлекаться панорамным обзором вражеских войск, бессильных его оттуда прогнать, — он вознесется над местью, ненавистью, угрозами, оскорблениями и этим величественным освободительным полетом повергнет в смятение всех: и своих учителей, и одноклассников, посмевших назваться его судьями.

Еще одно воскресенье, на этот раз в мае, в часовне, где ослепительное солнце блестит на дарохранительнице, окутанной дымком ладана. Он видит со спины, на фоне резных барочных хоров, придающих службе театральную торжественность, склоненного перед алтарем священника в сверкающем праздничном облачении. Себя он видит среди одетых в белое детей, расставленных полукругом возле органа; капеллан одной рукой извлекает звуки из рокочущего инструмента, другой же, гуттаперчево-бескостной, водит перед своим лицом, со скрупулезной точностью выписывая в воздухе овал за овалом, а иногда размашистым движением срезая их наискось. Окруженный другими хористами, он ощущает извечное стихийное ликование, каким наполняет любого человека причастность к общему пению (если же поют в церкви, этому восторгу покоряются и самые далекие от религии умы), но вместе с тем инстинктивную боязнь отдаться своей радости до конца, позволить ей перерасти в бездумное упоение, когда рассудок, ослабев, уже не сможет сопротивляться чувству, способному его погубить. И он старается петь еле слышно, почти до неразличимости растворяя свой голос в хоре, — но все же, чтобы его не упрекнули в недостатке усердия, делает вид, будто поет всерьез, подчеркивая это мимикой, напрягая мышцы и шумно переводя дыхание во время каждой паузы. Скованный плотным одеянием, тяжело падающим на его небрежно зашнурованные ботинки, он превратился в иератическую фигуру, он отделен пропастью от обычных людей — безликой толпы подростков в школьной форме и учителей в сутанах, низведенных до положения статистов, — и в то же время соединен тайным родством со священником, облачающимся, дабы со всей торжественностью исполнить свои высокие обязанности, в позолоченную ризу, подобно тому как сам он, готовясь петь в хоре, надевает белоснежный стихарь. И когда щемящие, нежные голоса детей, поддержанные мощными органными раскатами, взмывают ввысь, он перестает себя сдерживать и присоединяется к ним, ибо вдруг сознает, что ревностное участие в службе более всего поможет ему слиться с тем, что священник именует Богом, с тем, чему сегодня он не может дать названия, поскольку слова слишком ничтожны и беспомощны, чтобы выразить неповторимую суть тогдашнего откровения, похожего на слепящую вспышку молнии (к тому же, вспоминая происшедшее, он был вынужден ходить вокруг да около, а значит, некоторые детали восстановленной им картины могут быть порождены более поздними фантазиями). В это мгновение как будто налетает сильный ветер, все отступает прочь. В нем разверзается громадная пустота, она же и верх наполненности. Благодаря странной волшебной силе, смысл которой ему наконец доступен, он чувствует себя заново родившимся, внезапно извергнутым из пространства и времени в иной, насквозь ясный мир, где находят разрешение все мучительные противоречия, лишавшие его покоя. Священная песнь сопровождает это удивительное перемещение, и он, зная, что принадлежит к числу самых незначительных участников хора, тем не менее с гордостью представляет себе, будто она исходит от него одного — будто он и есть сама эта песнь. И действительно, каждый раз, когда его голос вроде бы достигает своих пределов, оказывается, что он, словно вовлекаясь в какое-то постоянно ускоряющееся движение, может их преодолеть, продолжить этот бесконечный головокружительный подъем. С легкостью удесятеряя свою мощь, его голос нако-

нец перекрывает голоса других детей: их он больше не слышит, пронизанный до мозга костей собственным пением. Так, в ходе превращения, которое теперь припоминается с большим трудом, поскольку в нем было что-то непонятное и магическое, его голос постепенно становится орудием его власти, свидетельством его победы. Все, чего, казалось, можно было достигнуть только с помощью долгой и методичной практики молчания, он стяжает в одно мгновение, неожиданно найдя опору в старинном гимне, посвященном столь избитой теме, как слава Творца и немощь его созданий. Но кого-кого, а его немощным больше не назовешь, и если он кого-нибудь славит — во все горло, с безрассудной растратой сил, — то лишь самого себя: как если бы его детский голос обрел невообразимую звонкость, как если бы то, о чем он кричал небу, было особым счастьем, которому не будет конца. И в то время как этот голос, взлетевший высоко-высоко над хорами, гремит, наполняя часовню непререкаемо-повелительными звуками, от всего его тела исходит нечто солнечное: кажется, что пение покрывает его пламенеющим плащом. Он видит свое сомнамбулическое и, хотя губы его чеканят латинские слоги, внутренне окаменелое лицо, которое делает его похожим на статую в перекрестье прожекторных лучей, стоящую на высоком постаменте и устремившую взгляд в недостижимую высь; время от времени он проводит рукой по лбу, по глазам или приподнимает свой белый стихарь, чтобы потереть ногу, но эти непринужденные мальчишеские жесты не умаляют, а напротив, лишь оттеняют его достоинство. Поддавшись здесь, возможно, ретроспективной мании величия, он видит, как все дети ошеломленно глядят на ребенка, которым он был, как учителя, наклонившиеся к пюпитрам молитвенных скамей, чтобы не упустить ни одной подробности этого влекущего и тревожного зрелища, жадно внимают его голосу, словно тот принадлежит какому-то демиургу, да и сам священник, поначалу остававшийся для него лишь силуэтом, лишь пятном сияющей ризы, дважды, в нарушение чина литургии, до тех пор строго соблюдавшегося, поворачивается едва ли не кругом, чтобы лучше слышать это блистательное песнопение, ибо оно его неодолимо притягивает и даже заставляет качнуться на алтарных ступенях, — впрочем, вместо того чтобы впиться взглядом в чудесного певца (сейчас он не узнал бы в нем мальчишку, чьи постоянные смешки во время школьных занятий выдают крайнюю непочтительность), он закрывает глаза и все то время, пока обращен к участникам богослужения, не разжимает век, держа свои большие ладони перед лицом, как будто хочет ими заслониться, чтобы вновь сосредоточиться, чтобы скрыть подступающие слезы. И когда детские голоса наконец слабеют, истаивая в заключительном "Amen", которое капеллан подкрепляет и длит последним движением застывающего в воздухе пальца, воцаряется тишина — точь-в-точь такая, какая разлита в небесной выси над грозовыми облаками. Тут священник снова, на этот раз в соответствии с чином, поворачивается, чтобы протянуть слабым, потрясенным голосом: "Ite missa est"[1], и слова эти, пришедшие, кажется, из какого-то безблагодатного мира, самым жалким образом завершают богослужение, которому обычный ребенок сумел придать на миг нечеловеческое величие.

1. Ступайте, месса кончена (*лат.*). (*Прим. перев.*)

Достигнув этой кульминации своего воспоминания-грезы, он всякий раз удивляется тому, как беспомощна его память, сохранившая лишь наиболее зрелищные аспекты событий, но не удержавшая почти ничего от их подлинного содержания, которое было двойственным — возможно, из-за того, что соединяло в себе факты и вызванные ими чувства. Ни в коем случае не предумышленный, хотя подготовленный длительной и трудной аскезой, этот взлет свершился с молниеносной быстротой — он не поддается объяснению, потому что у него не было ни прошлого, ни будущего. Каким образом самая будничная ситуация (хоровое пение, столь привычное для религиозного учебного заведения) могла все перевернуть? Почему в бесцветном гимне, который он десятки раз пел без малейшего одушевления, внезапно излилось столь страстное притязание? И почему это притязание, выраженное столь откровенно, да еще и в неподобающем месте, не произвело скандала? Как вообще он посмел выступить против власти, отрицая и ее, и всех, кто ей служит, самим этим взрывом блаженного неповиновения и, следовательно, возвысившись до полного к ней безразличия, то есть крайней формы отрицания? Еще более поразительна магнетическая сила его тогдашнего пения, подчинившая себе слушателей и долго, очень долго не отпускавшая их после того, как он перестал петь: этот день радикально меняет ситуацию, заклятые враги становятся льстецами, которые стремятся вновь завоевать его благосклонность, а сам он — неумолимым тираном, верным своему обету и не склонным даровать ее кому-либо даже в малой мере.

Здесь, перед предпоследним эпизодом, где вымысел заместит реальное прошлое, начисто им забытое (понятно одно: то, что он забыл, было более правдоподобным, не столь многозначительным и, видимо, не имело отношения к предмету его одержимости), располагается эпизод восьмой: эта произвольная вставка оправдана тем, что вносит свой вклад в гармоническую симметрию целого, ибо строгость и точность изложения остаются лишь средствами, закрепляющими отдельное воспоминание, но утрачивают свою действенность там, где требуется вновь нащупать общее движение и довести его до конца, который должен быть кровавым. Почему сегодня он видит "будто на самом деле" то, чего никогда не видел иначе как в воображении? Только потому, что покорен, зачарован этой вереницей картин, по его мнению вполне достоверных, и напротив, считает, что случайных происшествий, помешавших ему дойти до края, в действительности не было: ведь они исказили смысл опыта, глубочайшим образом связанного со смертью, и внесли непоправимое отклонение в линию его судьбы.

Точно так же, как шестой эпизод, и по тем же причинам, восьмой протекает в гипотетическом времени, но, в отличие от шестого, в разных местах.

В раздевалке, снимая спортивную форму, он видит, как к нему обращается один из гонителей, чье имя стерлось из его памяти. Он вспоминает его серые глаза, близорукие и потому как будто испуганные. Он слышит, как тот произносит нечто, что впоследствии ему повторят не раз, в тех же самых или несколько иных словах. Видит, как тот делает жест, который позже не раз будут делать другие. Видит, как сам он опускается на одно колено и молча развязывает шнурки на ботинках, словно не слышит примирительных фраз (так не замечают протянутой ру-

ки) — неукоснительно соблюдая свой обет. Говорящий выражает сначала растерянность — гримасой, затем досаду — пожимая плечами, наконец, возмущение — поворачиваясь спиной. Свою попытку он повторит дважды (в дальнейшем так же будут вести себя и остальные), но оба раза безуспешно.

В столовой сидящий с ним рядом одноклассник прибегает к новой, более тонкой тактике, взывая к его разуму: когда живешь среди людей, все время молчать непозволительно, так можно поступать разве что в шутку, но шутка эта уже приелась.

В спальне, спустя долгое время после того, как погасили свет, гонец в ночной сорочке подкрадывается к нему, останавливаясь возле кровати, над которой еще не так давно чей-то — возможно, тот же самый — голос нашептывал гнусную ложь, омрачавшую до утра, в соответствии с вынесенным приговором, его сновиденья. Повернувшись в сторону прохода, он видит всклокоченную голову, склоненную к его голове; нисколько не удивляясь, слышит, что участники травли готовы пойти на действительно потрясающую уступку: они не только снимут с него обвинения, но и признают перед всеми собственную вину. Согнувшись в три погибели, с трудом преодолевая волнение, путаясь, гонец заклинает его смиловаться, без нужды громоздит грубую лесть, а затем умолкает, словно сознавая неисполнимость своей миссии.

Во время праздника, пользуясь радостным настроением, царящим в коллеже (для учеников приготовили роскошный обед, на столах стоит неразбавленное вино), еще один из былых гонителей, объявив с громким смехом, что их ссора нелепа, призывает его отказаться от утомительной роли и присоединиться к общему веселью, но, как ни стыдится он своей чрезмерной серьезности, нарушить клятву слишком трудно. Видя оживленные лица, улыбки, побуждающие его опомниться, он думает о том, насколько фальшива его поза, которую он не смог, да и не захотел бы сохранять, если бы ему не мешало заключить мир более сильное чувство, чем обычная гордость или недоверчивость; но даже сознавая, что ведет себя смешно, неловко, противоестественно, может быть, внушает всем отвращение, он не в состоянии изменить своему обету, и эта рабская зависимость парадоксальным образом принуждает его — на то время, что длится праздник, кажущийся бесконечным, — стать именно тем, кем они хотели и слишком рано отчаялись его сделать: изгоем, парией. Мог ли он после всего этого не совершить непоправимого поступка, который освятил бы его отверженность и тем самым избавил от позора клятвопреступления? Поступок этот приснился ему ночью того же дня, и теперь он претворяет свой сон, с годами не потускневший в памяти, в развязку детской драмы: изо дня в день он переживает ее снова и снова, всякий раз словно впервые и почти всякий раз подменяя подлинные детали такими, которые выглядят более правдоподобно, или делая выбор в пользу более патетической версии: пусть память ее и опровергает, зато ум возносит на высоту неопровержимой истины.

Итак, конечный эпизод похож на сон, в точности повторяющий тот, что приснился ему в ночь после праздника, однако начинается этот эпизод банальным происшествием, не имеющим со снами ничего общего: его отчитывают за то, что он без разрешения покинул школьный двор; возможно, желая скрыться от своих бывших гонителей, докучавших ему непрестанными мольбами, он хотел спрятаться в каком-нибудь пустом

классе; возможно также, что, уязвленный публичной выволочкой, он разработал план мщения, который компенсаторным образом породил сначала сон, где он привел этот план в исполнение, а потом вымышленную развязку, призванную замаскировать изъяны жизненного опыта, так и оставшегося неполным. Его не секли, но логика требует, чтобы первопричиной свершенного им акта возмездия стал страх перед поркой.

Он чувствует болезненное биение в груди, а рука его сжимает запечатанную записку, в которой изложены и хорошо известная ему причина осуждения, и угадываемый приговор. Не поворачивая головы, он видит, что на него смотрят с любопытством, сочувствием, испугом, как если бы весь класс догадывался о его отчаянном замысле. Теперь нужно пройти от учительского стола до двери, ведущей в коридор, где чувство стыда тут же сменяется страхом. Он с трудом переставляет свои ботинки, подбитые гвоздями, по ромбам кафельного пола. Еще раз повторяет про себя составленный план, держа руку в кармане и поглаживая припасенное орудие мщения. Он думает, что завершающая фаза будет менее мучительной, ведь он предусмотрел все до мелочей; напоминает себе, что должен сделать свое дело отчужденно и неторопливо — так же, как действовала бы его жертва, если он оставит ей для этого время. Тщетно старается припомнить лицо человека, с которым должен вступить в схватку, и эта неспособность вызвать его в памяти не приглушает, но, напротив, обостряет в нем чувство страха. Он намеренно поднимается по лестнице как можно медленнее, чтобы все же попытаться вспомнить эти лицемерно кривящиеся губы, этот злобно-насмешливый взгляд, который, чего доброго, перехватит его руку, лишит ее способности двигаться (если бы он мог мысленно увидеть эти глаза со всей ясностью, то, наверно, отказался бы от своего плана). Он хотел бы уже сейчас быть тем, кем станет потом, но при этом избежать испытания, которое в эту минуту, когда оно приблизилось вплотную, кажется ему непосильным. Он с гордостью думает, что его возбуждение сродни состоянию героя накануне подвига. Затем чувство гордости бесследно исчезает, уступая место неуверенности, сомнениям: план был составлен искусно, но реальность не всегда совпадает с замыслом. Может быть, овладевшее им замешательство лишь подтверждает известный закон природы, согласно которому всякое намерение уравновешивается противным намерением, всякое действие — противодействием: случается, что человек, готовый совершить поступок, определяющий его будущее, в последний момент содрогается и в ужасе идет на попятный, но случается и наоборот — панический страх парадоксальным образом придает ему сил и, вместо того чтобы связать по рукам и ногам, побуждает осуществить-таки в лихорадочном угаре все, что он придумал заранее, на трезвую голову.

Он срывается с места и бежит по коридору, сворачивает, бежит по другому коридору, затем, прыгая через ступеньки, поднимается по витой лесенке и оказывается еще в одном коридоре, мрачном, полутемном; пробегая по нему, он видит в наклонных мансардных окнах тот же опустелый двор, который с разной высоты и под разными углами видел чуть раньше. Остановившись перед дверью, он чувствует — еще острее, чем потребность защитить свою оказавшуюся под угрозой честь, — желание покончить с этим тягостным делом. Слышит, как он стучит в дверь. Мало того, что до сих пор все обстоятельства — пережитое унижение, начальная минута слабости, бег по трем коридорам, нереши-

тельность, стремление осуществить задуманное как можно скорее и эти два удара в дверь — были точно такими, как он ожидал, столь же неизбежны и обстоятельства ближайшего будущего: все, что произойдет, как будто уже произошло. Он узнает брюзгливый голос за дверью, разрешающий ему войти, видит, как уже видел в воображении, свои пальцы, с дрожью — хотя он больше не чувствует страха — стиснувшие дверную ручку. Священник стоит за письменным столом, опустив голову, его сутана наполовину расстегнута, терракотовая трубка зажата в чудовищной, гигантской руке, — все происходит именно так, как он предвидел. Это прерывистое хрипение астматика — тот самый звук, который он слышал, представляя себе сцену мщения. В наполняющем комнату запахе эвкалипта, смешанном с запахом отсыревших книг и журналов, тоже нет ничего неожиданного. Предвидел он и вялое движение руки, принимающей записку, которую, как и полагается, он подает учителю, но которая в этот раз — в этот последний раз — не будет ему возвращена с пометой об исполнении наказания, ибо наказанию он не подвергнется. Он видит, как тот неловко поправляет пенсне, роняет его на колени, вновь водружает на нос, после чего распечатывает записку и, прочитав ее, напускает на себя недовольный вид, хотя на самом деле эти грязные обязанности его забавляют и, возможно, доставляют тайное удовольствие: с радостным чувством он вновь убеждается, что все обстоятельства, которые предвидеть было никак нельзя, совпадают с его предвидением буквально по пунктам.

Теперь в цепи его догадок возникает нечто вроде лакуны, но лакуна эта не обесценивает их, а подтверждает. Как он опять-таки предвидел, обжигающе-тяжелый взгляд, который мгновением раньше ему не удалось вызвать в памяти, приходится встретить со всей твердостью, иначе он не смог бы реализовать составленный план в первую же минуту и безвозвратно растратил свой запал: он стоит неподвижно, безмолвный, завороженный, словно оледеневший от ужаса и лишь с большим усилием заставляет себя вложить руку в карман куртки, чтобы подготовиться к финальному акту.

Здесь его сон начинает таять. Помнится, они очень долго стояли друг против друга, словно собаки, прикованные к месту внезапной оторопью. Он видит, как священник властным жестом указывает ему на скамью. Слышит слова отказа, произносимые им с откровенным вызовом. Лицо священника кривится, бледнеет, искажается от страха. Может, он и не успел помешать ему схватиться за эту дурацкую линейку, но уж точно не дал хлестнуть: два мощных удара складным ножом опережают встречное движение, сутана трещит, большая черная фигура теряет равновесие и валится набок, пенсне, падая на пол, хрустит, губы, из которых бежит струйка крови, лепечут что-то невнятное (кажется, по-латыни), закатившиеся глаза смотрят на него теперь с удивлением, без гнева...

Чьи-то шаги в коридоре напоминают ему, что он все еще не может восстановить силы после двенадцати бессонных ночей, в течение которых обдумывал свое преступление. Он убирает лезвие, прячет нож в карман, наклоняется и, чувствуя себя так, словно решил надругаться над мертвым телом, застегивает сутану, поднимает обрызганное кровью пенсне и аккуратно кладет его на письменный стол, почтительно складывает еще теплые пальцы на кожаной рукояти линейки, потом, как если бы ситуация утратила всякий драматизм и неожиданно обрела для

него привкус клоунады, разражается смехом: пал на поле брани, с оружием в руках!

Этим сомнительным сарказмом отмечено его пробуждение; с облегчением, с отвращением он видит вокруг прежний мир: гнетущую явь, где все осталось таким же, каким и было.

В ту ночь он не спал и, когда, прерывая его бессонные размышления, зазвонили подъем, принял решение. Именно таким было начальное звено последнего эпизода: он его сознательно устраняет, но вытравить это звено из памяти не могла бы никакая мысленная подтасовка. Ни разнузданное воображение, ни желание что-либо непреложно доказать не способны исковеркать и даже слегка трансформировать прошлое: оно не поддается изменениям. Тем не менее он не боится связать с приснившимся событием событие реальное, происшедшее позже, спустя несколько недель или, может быть, месяцев. Недель или месяцев, когда он доблестно не отступался от брошенного вызова, когда довольствовался тем, что со всеми подробностями рисовал в мечтах свой сумасшедший поступок, как теперь довольствуется постоянным обдумыванием давно минувшего. Он опускает другие детали, которые якобы забыл, — которые забыть невозможно: вот он прощается со своей железной койкой, вот выводит каллиграфическим почерком торжественные и дерзкие прощальные слова под последней строкой своего сочинения, вот улыбается соседям по столу, и в его улыбке нет язвительности, но и уступчивости тоже нет, это лишь еще один знак прощания. Ему кажется невероятным, что именно этот трудовой, обычный, ничего не предвещающий день станет днем, когда он осуществит свой план. Он наспех строчит свидетельство об исповеди, не без грусти обводит взглядом лица детей, которых больше не увидит, но постоянно видит в настоящем, выходит из классной комнаты, куда больше никогда не войдет и где сегодня может пребывать так долго, как пожелает. Все эти действия, врезавшиеся в его память, он, вопреки истинной хронологии событий, отбрасывает, желая связать то, что он делал позже, с тем, что сделал в своем сновидении.

Итак, он должен быть юным убийцей, хладнокровно покидающим место преступления. Он стоит рядом с дверью, за которой простерто тело убитого, и внимательно разглядывает обшарпанный и сумрачный коридор, затем спокойным шагом уходит. Иногда он вспоминает, что ему немного мешал идти чемодан в руке, но сразу же отбрасывает эту несообразную подробность. Не спеша спускается по винтовой лестнице, которую в страшном возбуждении мгновенно одолел несколькими минутами раньше. Иногда ему все-таки удается забыть, что это было во сне. Шагая по пустынной галерее, он снова видит, как под его ботинками скользят зеленые и красные ромбы. Слева от него отворяется стрельчатая дверь, в полосе солнечного света неожиданно возникает черная фигура с молитвенником в руках. Проходя мимо священника, он приподнимает фуражку, и тот добродушно улыбается ему в ответ. О фуражке он вспоминает с легким удивлением, ему кажется, что эта случайная встреча не могла помешать его плану. Такой же мерной, решительной поступью, как если бы он был незрим для учеников, озабоченно бегущих вверх или вниз, сходит по сорока шести ступеням парадной лестницы. Но все-таки он не может, увидев себя выходящим из дверей коллежа, сразу же не вспомнить с досадой: в тот день и другие школьники беспрепят-

ственно из них выходили. Не может, услышав звук своих шагов, оглашающих улицу, не услышать, как рядом по тротуару шагают другие дети. Как придать правдоподобие цепочке не согласующихся друг с другом действий, если даже тому, кто их совершает, она кажется невероятной? Откуда взять слепую веру в то, что ты убийца и за тобой гонятся, если убийство ты совершил лишь во сне? Да, некоторые образы, застрявшие в памяти, разрушают иллюзию, но все же его бегство, пусть и обросшее вымыслом, в основе своей реально: он действительно был гордым, одиноким, затравленным ребенком, которого гнал страх, — правда, боялся он не наказания, а того, что не сдержит свой обет.

Он вскакивает в трамвай, опускается на первое попавшееся сиденье (только бы никто не увидел его лица), выходит у вокзала — все эти действия сохранились в его памяти, хотя мотивы, которые он для них отыскивает, фиктивны и нужны ему лишь затем, чтобы обмануть себя, подкрепить свои мечтания. Дальше то же самое: покупает в кассе билет до города, название которого забыл; чувствуя непреодолимое волнение, меряет широкими шагами платформу; быстро идет по вагонному коридору в поисках свободного купе, где не придется отвечать на нескромные вопросы попутчиков. Обнявшиеся юноша и девушка, дама в трауре, сверстник-бойскаут, с головой ушедший в солидный иллюстрированный журнал, несколько шумливых дурачков-солдат: ничего не значащие картинки, занявшие в этой периодической сверке воспоминаний, может быть, не свое место, между тем как другие образы по необъяснимой причине видятся ему сквозь пелену и словно в отдалении, — впрочем, подлинность этих картинок удостоверена не чем иным, как отсутствием у них всякого значения. Он вспоминает одинокого пассажира, глядящего на него с улыбкой (но пассажир этот был одет в черное и держал на коленях молитвенник, но пассажир этот протягивал навстречу руку, и он услышал, как тот громким и насмешливым голосом желает ему хорошо провести каникулы, и это был голос убитого им священника).

Толчок, чей-то локоть, вонзившийся в бок, быть может, предчувствие вырывают его из дремоты: в окошке плывут, потом замедляют ход и, вместе с последним режущим лязганьем, неподвижно застывают городские огни. Он видит на перроне женщину в меховом манто, машущую ему рукой, слышит однозвучный и точно приглушенный густой темнотой голос, произносящий знакомое с детства название этого места — самого названия он не помнит, но помнит, что успел выпрыгнуть из вновь тронувшегося поезда, побежал вдоль перрона и, словно по оплошности, бросился в объятия женщины в манто, которая была его матерью и чей голос он слышит до сих пор, веселый, нежный голос, шепчущий ему трогательные и, возможно, ничем не замечательные слова, те слова, что он повторяет себе непрестанно, как будто они должны даровать ему абсолютное забвение всего, что произойдет, — почти неотличимого от того, что было раньше и будет потом, — эти три ласковых слова, замыкающих очередной виток его циклического бреда: мой дорогой малыш, мой дорогой малыш...

А теперь спрашивается: почему этот последний эпизод, подводящий черту под важнейшим для него опытом, свидетельствует уже самой своей скомканностью и путаностью, что он, видимо, потерпел поражение? Прежде всего надо сказать, что эпизод этот представляет собой сомни-

тельный сплав разноречивых воспоминаний, ложных измышлений, беспорядочной игры воображения: план бегства сочетается в нем с планом убийства, однако некоторые детали изобличают мнимость этого убийства и этого бегства, показывая, что все его действия были вполне легальными (тайными и недозволенными они могли представляться лишь его больному рассудку); всего же нагляднее это подтверждается финальной картиной: мать ждет его на станции, он ничуть не удивлен, что его встречают. Далее, сам опыт в целом, чтобы что-то доказать, не должен был завершаться столь искусственной развязкой — ни приснившимся убийством, ни воображаемым бегством, ни даже прозаическим отъездом на каникулы: защищаясь от искушения нарушить обет, он расписался в своем бессилии, а ссылаясь теперь, в оправдание тогдашнего срыва, на обстоятельства, он попросту лжет. Если от предыдущей эта версия отличается лишь мельчайшими вариациями, то с первой, начинавшей серию, ее, вероятно, объединяют только обстановка и тема; исходная версия была буквалистски точной, хотя и несколько схематичной, а в этой есть что-то призрачное, так как она является обманчивым продуктом некоей алхимической реакции: вымышленное прошлое подменило в ней прошлое действительное, о котором он в настоящий момент ничего не может сказать с уверенностью, не знает даже, действительно ли оно имело место. Наконец, в этой версии он впервые выводит свою ретроспекцию за рамки частного занятия, имеющего отношение к нему одному, — теперь, не ограничиваясь собственно воспоминаниями, столь же эфемерными, как все предыдущие, без конца корректируемые и вытесняемые последующими, она приобретает качественное отличие, поскольку отвечает новой и, возможно, неутолимой потребности. Страдая от того, что его память слабеет, все время чувствуя угрозу неминуемой смерти, он пожелал навеки запечатлеть свою тоску по прошлому, сделать так, чтобы о ней могли узнать другие — для других он и попытался здесь ее описать. Однако иные образы прошлого противятся фиксации еще сильнее, чем чистые порождения мечты или сна, и, хотя его опыт не поддается рациональному воссозданию, стремление передать и навязать его другим заместило собой начальное стремление пережить былое вновь во всей полноте, вплоть до мельчайших деталей. Он отдался своему труду столь безраздельно, что забыл, почему за него взялся: он превратил его не в средство достижения цели, а в самоцель.

Исчерпывающе представить то, что он пережил, устранив при этом любые посторонние воспоминания, сообщить ускользающим образам прошлого качество новой реальности, используя особую заклинательную технику, обеспечивающую длительный эффект с помощью одних лишь слов, употребить все ресурсы языка, причем не только для максимально осязаемого воспроизведения событий в их постепенном развитии, но еще и затем, чтобы поддерживать в возможном читателе иллюзорное ощущение, будто тот имеет дело со спонтанной импровизацией и как бы активно участвует в работе памяти, увлекаемой безумием, — вот, пусть не все, обязательные условия, которые он должен был соблюсти для полноценной реализации своего честолюбивого плана. Ни одного из них выполнить он не смог. Необходимость решать сложные формальные задачи сковывала его память, погружала его в химерическое пространство вымысла, в туманную субстанцию грез и, наконец, втянула в унылые абстрактные рассуждения. Он стремился вместить опыт, позво-

ливший ему, хоть и недолго, пребывать на вершине, куда впоследствии он не смог вознестись практически ни разу, в определенную форму, способную вызвать восхищение у него самого и быть воспринятой другими, но был вынужден признать, что трудился не ради описания этого опыта, а ради оправдания этого описания, не для закрепления посредством слов той недолговечной материи, из которой его опыт состоял, а для отыскания причин, в силу которых этот опыт надлежало спасти от забвения. Непрестанно, вновь и вновь, оживляя свои воспоминания, он мог бы в конце концов истереть их в прах, но получилось нечто иное, хотя и не совсем: они оказались погребенными под непроглядной лавой слов. Он нагромоздил излишние подробности, рассказывая о сущих пустяках (в других же местах, напротив, прибегнул к мошенническим умолчаниям), он обошел стороной или исказил некоторые ключевые сцены, не раз впадал в противоречия или грешил тавтологиями, он злоупотребил, маскируя недостатки своего изложения, риторическими приемами, подменил случайными конъектурами, софистическими глоссами или неуместными лирическими излияниями все то, чего не смог вытянуть из своей слабой памяти, — все, перед чем пасовало его перо. Почти в каждом из этих случаев он руководствовался не столько желанием сказать правду, сколько эстетическими критериями. Предоставив воображению полную свободу, он подчас терял из виду начальный замысел и даже усомнился в подлинности своего подвига, изображенного здесь лишь в самом общем и смазанном виде. Легко ли признать, что пищей для его больной памяти в течение долгого времени было не что иное, как раздутая реконструкция истории, имевшей крайне ограниченное, личное значение? Он метался между надеждой — явно чрезмерной, и унынием — может быть, преувеличенным.

Хроническая неспособность перебороть свою навязчивую идею, в сочетании с такой же неспособностью дать ей хотя бы отдаленное письменное выражение, внушила ему боязнь, что он до самой смерти не кончит свой нескончаемый труд. Тем не менее, из упрямства или просто не находя другого выхода, он не смыкал глаз даже ночами, чтобы формулировать непередаваемое, упорядочивать неизбывно-хаотичное. И как если бы ему была дана власть довести до конца то, что конца не имеет, придать совершенные очертания тому, что несовершенно по своей сути, он составил последнюю версию, которую счел окончательной, хотя она была столь же ущербной, как предыдущие наброски: изнывая от трусости, изнывая от боли, он отказался ее уничтожить и вообразил — попытался вообразить, — что увековечил в ней свое сумасшествие. Страстно желая его обессмертить, он познал смехотворные терзания литератора. Я этот литератор. Я этот маньяк. Но я, возможно, был этим ребенком.

Жан-Мишель ди Фалько, Фредерик Бегбедер

Я верую – Я тоже нет

Диалог между епископом и нечестивцем
при посредничестве Рене Гиттона

Фрагменты книги

Перевод Наталии Кисловой

Введение

Фредерик Бегбедер. Пожалуй, эта книга рискует превратиться в исповедь, во всяком случае, с моей стороны. Не припомню, когда в последний раз исповедовался, если не считать мои романы. Так что теперь мне представится случай вернуться к этому таинству.

Итак, мы встретились, чтобы поговорить о Боге. Должен сказать, что, простившись с парижской школой Боссюэ, где ты заведовал младшими классами, а я учился, я вскоре перестал соблюдать церковные обряды. Ты был моим духовником, но с той поры я отошел от веры, позабыл все или почти все. Я уже слабовато разбираюсь в том, что такое грех, и, если мы будем начинать каждую главу с обсуждения одного из грехов, которые я совершил, наш труд превратится в многотомник. Он не поместится в книжном шкафу.

В свете событий последних лет я хотел бы задать "работнику Бога" вопросы более насущные, чем те, что касаются моих прегрешений. Ты утверждаешь, что Бог существует. Предположив, что ты прав, и видя, какие катастрофы вызывает Бог, я задаюсь вопросом: а нужен ли Он?

Я по-своему критиковал капитализм и вовсе от этого не отрекаюсь. Думаю, что эта система исповедует религию денег, которая заменяет Бога товарами, комфортом, наслаждением и т. п. Это превращение всего на свете в товар, приватизация природы. Мои книги наполнены тотальным нигилизмом, абсолютным отчаянием, довольно-таки злой (как я полагаю) сатирой на нынешний материализм. И вместе с тем безудержным гедонизмом, упоением минутой. Подытоживая, можно сказать, что мои персонажи ищут скорее удовольствие, чем счастье. Но почему? Потому, что они неспособны найти счастье. Мой пессимизм, навеянный постэкзистенциализмом поколения тридцатилетних, род

© Calmann-Lévy, 2004
© Наталия Кислова. Перевод, 2006

поиска, бешено-безнадежного — влюбляешься, это длится три года, начинаешь все сначала с кем-то другим и т. д., — словом, вроде бы ты неплохо устроен в жизни, а в то же время чувствуешь пустоту — все это, по-моему, не чуждо метафизическим исканиям.

Вот чего я ищу в литературе — ответа на экзистенциальный вопрос: "Какого черта мы тут делаем?" Ответ я нахожу в искусстве, но это лишь слово. "Искусство" или "Бог" — разве это в конце концов не одно и то же? И (продолжу изливать желчь) разве многие не нашли для себя решение в наркотиках, сексе, ночных клубах?.. Разве не стали ночные клубы храмами для моего поколения? Те же обряды, та же униформа, те же церемонии... Танцплощадка — святая святых, house music — вместо песнопений, а водка с тоником несет "благую весть" и заменяет церковное вино, соединяя присутствующих в каком-то странном причастии! (Ладно, хватит, я успокоился.) Я упрямо критикую систему. Однако уже несколько лет мы наблюдаем, как подвергаются нападкам ценности, которые я хочу защитить: демократия, свобода слова и передвижения, свобода не закрывать лицо и волосы, если ты женщина... Вынужден признать: мне нравится система, которую я критикую, именно потому, что она позволяет себя критиковать. При любой другой, независимо от ее происхождения и местонахождения, мне бы заткнули рот, отрубили руки, подвергли бичеванию, а может, убили бы, лишь бы не дать высказаться. Покуда это еще возможно, я хотел бы поговорить с тобой о Боге — начистоту, без формализма, резко, когда надо, даже если я впаду в богохульство и признаюсь, что не прочь выступить обвинителем Бога, хоть и не собираюсь стать адвокатом черта.

Кое-кто во имя Бога себя не жалеет, чтобы укокошить побольше народа. Опять-таки во имя Божие совершались Крестовые походы, существовала инквизиция и немало иных бедствий было принесено людям — по инициативе или с одобрения Церкви. Мне кажется, твой Бог, которого нам представляют в качестве синонима любви, сегодня стал синонимом конфликтов, самоубийств, ненависти, кровопролития, смерти... Я читал выступление лауреата Нобелевской премии португальского писателя Жозе Сарамаго, который говорит, что виной этому насилию Бог, идея Бога. Он сожалеет, что Бог не умер, вопреки утверждению Ницше.

Мы с тобой знакомы, ты в значительной мере ответствен за мое религиозное воспитание и не производишь впечатления епископа-ретрограда, даже если твое слово должно быть словом Церкви, — в силу всех этих причин, казалось мне, нам обязательно нужно встретиться снова, чтобы я попытался разобраться в своем отношении к трансцендентному. Вот! Мне не терпелось выложить все это тебе — человеку Церкви... И я спешу услышать твои ответы.

Жан-Мишель ди Фалько. Другого вступления к нашей теме я от тебя и не ждал. Твоя горячность меня ободряет: она соответствует образу, в котором ты стараешься предстать. По крайней мере в этом ты себе не противоречишь.

Ты выдал мне все одним духом, но мы попробуем коснуться этих вопросов поочередно: грехи людей, твои, мои, бытие Бога, система, плодами которой ты пользуешься и которую одновременно разоблачаешь... Я считаю, что раз ты задаешь мне вопросы, желая знать, кто такой Бог

и где Он, поскольку ты Его не нашел, мой долг — тебе отвечать, признав тем самым, что́ мое поколение, очевидно, недостаточно потрудилось, чтобы дать возможность твоему поколению встретиться с Богом. Начиная этот диалог, мы взяли на себя обязательство быть искренними, не прибегать ни к уловкам или обходным маневрам, ни к казенному языку, высказывать свою собственную точку зрения как можно правдивее. Прежде чем приступить к сути дискуссии, я хотел бы уточнить, что́ нас побудило к этому обмену мнениями.

Через несколько дней мне исполнится шестьдесят три, тебе — тридцать восемь, и ты — отец маленькой девочки. Ты представляешь определенную часть своего поколения, и порой больше других склонен к крайностям. Думаю, наши дебаты обогатят каждого из нас внезапными открытиями, помогут что-то пересмотреть, что-то изменить — не в собеседнике, а в себе самом. Наверняка твои взгляды на многие вещи дадут мне понимание того, чего я до сих пор не понимал, что-то прояснят для меня, а может быть — шире, — и для читателей.

Вернемся к твоему поколению. Многие, подобно тебе, — равнодушны к Церкви, хотя и обращаются к ней в определенных обстоятельствах. Я хотел бы понять — возможно, с твоей помощью, — чем они живут. Что тобой движет, что тебя увлекает, побуждает идти дальше? Что вызывает у тебя желание мчаться во весь опор? Откуда ненасытная жажда жить в этаком вихре? Не может же быть, чтобы тобой руководило одно только честолюбие? Словом, я предполагаю... Есть же что-то другое, что заставляет тебя утром, когда встаешь, устремляться вперед! Этот ритм кажется мне подозрительным. Не похожа ли на отчаяние такая бешеная гонка? Я не могу в это поверить, а потому хочу, чтобы ты объяснил мне, в чем заключается для тебя стимул жизни.

Ф. Б. Иосиф Бродский говорил: "Есть только две поистине захватывающие темы, достойные серьезных рассуждений: сплетни и метафизика". Однако, работая в прессе "people", свою дозу сплетен я уже получил!

Глава II
О *смысле* Бога

Ф. Б. Приступим к главному. Поговорим о Боге в его отсутствии.

Для меня все сводится к словарю: "Бог" — слово. Некоторые предпочитают слова "случай" или "тайна". Но как бы то ни называть, зачем мы существуем? В чем смысл жизни? Можно было бы ответить: "Смысл жизни — Бог", но я, пожалуй, сказал бы: "искусство" или "любовь".

Ты спросил, что служит мне стимулом жизни, когда я просыпаюсь по утрам. Мой стимул — любовь к искусству, к красоте, просто любовь. Влюбляться, любить. Если подумать как следует, я не могу сказать, что верю в Бога, но и не могу утверждать, будто жизнь бессмысленна, ведь для меня очевидно: кроме того, чтобы есть, пить, заниматься любовью, существует нечто другое, и это дает мне стимул прожить день. Да, нечто высшее — думаю, это можно назвать абсолютом. Например, восхищение великими литературными произведениями. Когда я нахожу книгу, которая потрясает или заставляет смеяться, плакать, когда я смотрю гениальный фильм, когда я кого-то люблю... Мне кажется, все эти чувства

и составляют единственное оправдание жизни, и, чтобы доставить тебе удовольствие, можно было бы приложить к ним имя Бога. Видишь, я живу не только материальными интересами.

Ж.-М. Ф. Все, о чем ты говоришь, не чуждо Богу. Чуткость к Прекрасному, счастье любить кого-то или что-то — я тоже вижу Бога во всем, что ты описал. Восторг, с которым ты открываешь произведение искусства...

Ф. Б. ...Или красоту в природе...

Ж.-М. Ф. ... Для верующего все это есть в Боге.

Ф. Б. Большинство людей думают, что живут на земле без всякого смысла. Вот это и вызывает страх. Вспоминаю интервью Алена Роб-Грийе в "Фигаро литтерер", где он подчеркивал разницу между страхом и отчаянием: "В богатых странах люди испытывают страх, потому что у них есть выбор. В бедных или тоталитарных странах люди отчаиваются, потому что у них нет выбора". Действительно, мы — в западных странах — избалованы. У нас столько свобод, что это пугает. Но разве страх не объясняется еще и отсутствием Бога?

Ж.-М. Ф. Ты хочешь сказать, что люди не ощущают Его присутствия. Мы часто говорим о Его молчании и слишком редко — о нашей глухоте. Конечно, Холокост заставляет задуматься о Боге — ведь подобных крайностей не оправдывает никакая свобода выбора.

Ф. Б. Но если я говорю себе, что Бог — это искусство, красота, природа, любовь, так для меня проще.

Ж.-М. Ф. Да, красота выражает Бога. Однако, если ты этим ограничиваешься, твое представление слишком узко. Это больше похоже на бегство, чем на подлинную убежденность.

Ф. Б. Ты заметил, что, когда я был ребенком, религия являлась для меня как бы ответом на вопросы, которых я еще себе не задавал. По прошествии времени я бы скорее сказал, что она давала плохой ответ на самые важные вопросы. Сегодня мне думается так, и когда я слышу, как священники в своих проповедях говорят о верных, о святости, о Непорочном зачатии, — для меня это только слова, которые бьют мимо цели. Напротив, очевидно, что все основные вопросы, на которые должна отвечать Церковь, сегодня актуальны как никогда. Пока на них не будет дан ответ, дела в мире не наладятся.

На самом деле проблема в том, что Церковь дает мне плохие ответы на очень хорошие вопросы: зачем жить? Что с нами будет?

Ж.-М. Ф. Плохие ответы или ответы, которые тебя не удовлетворяют?

Ф. Б. Может, все дело в семантике. Наверное, в этом ты прав. Да простится мне банальность примеров, но почему бы не именовать так называемый "большой взрыв" "сотворением мира" или так называемый "случай" — "Богом"? Я уже говорил: я отдаю себя литературе, пытаясь понять, кто я, для чего мы живем, почему влюбляемся, любим... Возможно, то, что я вкладываю в литературу, другие вкладывают в религию.

Ж.-М. Ф. Каждый переживает поиск по-своему, в соответствии с собственными глубинными устремлениями. Мне известен случай с одним астрофизиком, для которого выбор профессии стал ответом на внутренние искания. Он углубился в научные исследования, руководствуясь стремлением к пониманию и самовоспитанию, к поискам Бога. Сегодня вместе с другими учеными он отмечает, что наука не только не дает ответа на все вопросы, но и показывает: чем больше делается от-

крытий, тем очевиднее, что в начале и в конце всех вещей стоит Бог. Поиски первопричины заводят в такой тупик, что наука может быть лишь способом размышления об этом, но она не дает категоричного ответа, доказывающего небытие Бога.

Ф. Б. Рациональное нуждается в иррациональном. Отсюда успех Гарри Поттера!

Однажды я повел свою дочь в Венсенский зоопарк. Насмотревшись на слонов и жирафов, я остановился у пруда, усеянного розовыми фламинго. Великолепное зрелище: фламинго разных оттенков — от бледно-розового до оранжевого, даже несколько красных. Их было там штук шестьдесят: они стояли на одной ноге, на двух ногах или спали, повернув голову назад... В такие минуты я становлюсь верующим. Да, когда я вижу розовых фламинго в Венсенском зоопарке, я верую. Перед такой красотой, такой возвышенной чистотой я верую в тайну. Некоторые обретают откровение в деревьях, другие в людях. Но поскольку я полагаю, что человек — не самое удачное создание, я выбираю розовых фламинго как доказательство тому, что есть нечто высшее. Завели бы вы по стае розовых фламинго в каждой церкви, и святош стало бы намного больше.

Ж.-М. Ф. Ты открываешь Бога в прекрасном зрелище — фламинго. Они становятся синонимом эстетизма, свободы. Другие испытывают те же эмоции, слушая Моцарта. Твои фламинго и Моцарт воплощают земное совершенство, которое стремится к Богу, бесконечно совершенному. Прекрасное не чуждо Богу.

Ф. Б. А как ты определяешь Бога?

Ж.-М. Ф. Я не могу Его определить. Самое большее, я хотел бы помочь тебе Его открыть, разделить с тобой явленное о Нем в откровении Христа, в том, что превосходит наше скромное человеческое понимание и относится не только к области разума. Ты ищешь доказательств — доказательств бытия Бога, но ты не видишь всех аргументов, "совпадающих и убедительных", которые приводят человека к истинной уверенности. Ты хочешь, чтобы я определил Бога. В этом опять проявляется твой материализм! Ну как на нашем языке дать определение Бога, когда мы так мало Его знаем? И потому нам трудно подобрать слова — ведь, чтобы говорить о Боге, в нашем распоряжении только бедный человеческий словарь. Некоторые из этих слов для меня прозвучат, а для тебя будут пустым звуком. У каждого свое восприятие Бога. Для меня это постоянное присутствие рядом. Я знаю Его по тому, что сказал мне о Нем Христос, и по тому, что переживаю в глубине души. Вера христиан непременно христологична. Христос — Бог, и вера находит опору в христологии, так как Божественное начало воплотилось в человечности Христа.

Ф. Б. Значит, это Кто-то, раз у тебя, по-видимому, есть потребность в воплощении Бога.

Ж.-М. Ф. Речь идет не о потребности. Это моя вера. Христос — это Кто-то, кто постоянно присутствует рядом со мной.

Ф. Б. Выходит, меня Он сопровождает к Режин[1], в модные клубы?

Ж.-М. Ф. Возможно, Он присутствует там скорее, чем где-либо еще.

1. "У Режин" — частный клуб в Париже, названный по имени хозяйки. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

Ф. Б. Однако Режин – далеко не Дева Мария! Я упоминаю клубы, так как это развлекательные заведения, которые как раз и символизируют эфемерный гедонизм.

Ж.-М. Ф. Если в подобных местах людям грозит нравственная опасность, тем больше оснований у Бога быть там, а не где-либо еще. Бог присутствует во всем, из чего состоит наша жизнь. Он всегда здесь! Когда я бывал на Каннском фестивале, выполняя функции, порученные мне Церковью, меня часто спрашивали, что я делаю в местах погибели. Я отвечал, что кино и Канны, на мой взгляд, не средоточие разврата, но когда бы и так, мое присутствие здесь как священника было бы более обоснованным, чем может показаться. Там тоже я был вместе с Богом.

Я верю в Бога и люблю Его. Но нередко я обрушиваюсь на Него с упреками, высказываю Ему свое возмущение.

Ф. Б. Как Фернандель в "Доне Камилло", дерзкий, но покорный.

Ж.-М. Ф. Я переживаю свою веру не как покорность. Нет. Просто я знаю, что Бог есть, и мне этого довольно. На вопрос, заданный Моисеем, Бог так и отвечает: "Я есмь". "Я есмь тот, кто есть"[1].

Ф. Б. Бог – великий писатель! Только у Германа Мелвилла есть столь же сильное высказывание – знаменитое "предпочел бы не" Бартлби[2]. "Я есмь тот, кто есть". На такое надо осмелиться! Тут я, конечно, умолкаю. Почему Бог Моисея, а не чей-то еще? Почему на главные вопросы о том, что мы здесь делаем, ответ обязательно должен быть: Бог, Христос, а не Будда, Магомет или даже несколько богов? Почему монотеизм, а не политеизм? У шумеров, египтян, греков и римлян были десятки богов. Каждый мог в них себя узнать. Это было практично. Почему надо выбирать твою модель Бога, а не какую-то другую?

Ж.-М. Ф. Потому что для нас, христиан, Бога явил Христос: Он пришел сказать нам, кто такой Бог, и это стоило Ему жизни.

Ф. Б. Вы думаете, что вы ближе к истине, чем те, кто верит в Магомета и в Аллаха?

Ж.-М. Ф. Здесь ты затрагиваешь болезненный вопрос, предмет серьезных внутренних споров. Истина – это Кто-то: Иисус Христос. Церковь не говорит, что она обладает истиной. Она говорит, что знает ее и старается жить ею. Иоанн Павел II, однако, добавляет: "В каждой из великих религий есть частичка истины".

Ф. Б. Но я-то спрашиваю Жана-Мишеля ди Фалько. Ты солидарен с этим утверждением Церкви и Папы?

Ж.-М. Ф. Я не обустраиваю свою собственную религию. Вера – это не универсам, где ты нагружаешь тележку, выбирая то, что нравится, и оставляя все прочее, как поступают некоторые, когда они называют себя католиками и церковными людьми, но заявляют, что не верят в Воскресение.

Как выясняется из опросов, значительный процент регулярно посещающих церковь католиков не верят в Воскресение, и этого я не понимаю. Если мы не верим в Воскресение, то все остальное – не более чем

1. Исх. 3:14 – "Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Иегова)".
2. Герой новеллы Германа Мелвилла "Писец Бартлби", в чьи уста автор вкладывает этот решительный и универсальный ответ в знак абсолютного сопротивления материальному миру. (*Прим. автора.*)

красивая история и Христос — просто мудрец, такой же, как другие мудрецы или гуру у буддистов: ни один из них не был Богом.

Ф. Б. Но для тебя и для Церкви Иисус пришел, чтобы воплотить идею Бога. Эту идею трудно концептуализировать. Быть может, ощущая необходимость в Боге, люди Его придумали, а христиане присоединили Христа, чтобы подкрепить эту весть, придав ей плоть.

Ж.-М. Ф. Чувство Божественного, духовное измерение — часть сущности самого бытия человека. Тот факт, что до Откровения существовали народы, которые сочиняли себе богов, для меня лишний раз доказывает фундаментальную потребность человека в установлении отношений с Божественным.

Ф. Б. Должна быть какая-то причина, объясняющая, почему мы оказались здесь! Я говорю о розовых фламинго, ты о — Моцарте. Но с тех пор, как родилась моя дочь, стоит мне услышать ее смех, увидеть ее — и меня затопляет любовь. Мне представляется, будто я больше, чем просто человек, будто во мне живет нечто высшее. Я сам для себя Бог! Потом я думаю, что невозможно жить спокойно, смирившись с тем, что всему этому наступит конец. Может, человек создал Бога из страха смерти? Именно об этом пишет в своем дневнике молодой Флобер: "Понятие бессмертия души придумали, скорбя об умерших".

Я родился в 1965 году и вырос в мире, где упразднили немало ценностей: семью, брак... Все разводятся, у меня есть ребенок, а я уже не живу с его матерью. Не будем говорить о глобализации, об отмене границ (понятие отечества, по сути, уже не существует), об унификации мира, о крахе коммунистической утопии... Все же это очень важно: крушение идеологий, религий, утопий. Нет больше Бога, нет больше надежды на равенство между людьми, остается только потребление. В мире, где я вращаюсь уже тридцать восемь лет, люди нуждаются в новой утопии или в объяснении. Нельзя же просто сказать им: рождайтесь, потребляйте и умирайте!

Никто не может этим удовлетвориться, потому-то люди больше ни во что не верят и отчаиваются. И тогда, как уже говорилось, они выбирают гедонизм, их привлекают цивилизация вожделения, реклама, секс. А также удовольствие, которое они находят в наркотиках. Человеку нужна мечта. Да, потребность в Боге сегодня вытекает из того, что человеку необходимо мечтать! Это прекрасно объясняет Режи Дебре в своей книге "Бог: путь в истории".

И здесь снова нас все разделяет, так как я не могу представить себе Бога таким, каким Его видишь ты, — как ЕДИНСТВЕННЫЙ ответ.

Ж.-М. Ф. Иначе говоря, я могу сделать вывод: тебе хотелось бы иметь веру, потому что это был бы некий ответ.

Ф. Б. Конечно, мне хотелось бы, чтобы я мог во что-то верить.

Ж.-М. Ф. Что касается меня, я верю в Кого-то. Меня удивляет, что ты такой нигилист. Читая твой роман "Windows on the World"[1], я обнаружил, что Бог появляется на каждой странице — для того, кто хочет Его видеть. Ты говоришь об "определенных ценностях", ты с нежностью вспоминаешь свою дочь; хотя ты утверждал раньше, что в человеке Бога нет, что он этого недостоин, однако в твоей дочери Бог присутствует?

1. "ИЛ", 2004, № 9.

Ф. Б. Да, потому что моя дочь — это Мессия! В самом деле, видя такую чистоту, я верю в мою дочь. Я в нее верую.

Ж.-М. Ф. Тогда ты пантеист. Твоя дочь, фламинго, природа... "Все, что существует, существует в Боге", — говорил Спиноза. В этом отношении я с ним согласен. Видя Хлою, ты чувствуешь: есть нечто выше тебя.

Ф. Б. Да, правда. Я вырос в городе и был лишен реального общения с природой. Когда я вижу небо, закаты, когда меня восхищает "Реквием" Форе[1], когда я понимаю, что писатель достиг вершин, что все слажено — форма, содержание, что он нашел единственный способ выразить мир, — я вдруг проникаюсь религиозным чувством.

Ж.-М. Ф. Ты говоришь, как святой Августин: "Спроси красоту земли, спроси красоту моря, спроси красоту воздуха, рассеянного в необъятном просторе, спроси красоту небес, спроси все эти явления природы... кто создал их, если не Прекрасный"[2] — то есть Бог, который есть порядок и красота мира.

Ф. Б. Меня потрясло рождение моего собственного ребенка, сам факт, что я дал жизнь. Я ощутил, как меня наполняет редкое, необыкновенное чувство. Думаю, пять лет назад, до рождения моей дочери я не стал бы задумываться над подобными вопросами.

Ж.-М. Ф. Ведь ты задумываешься над ними из-за нее.

Ф. Б. Да, именно из-за нее я задаю себе вопросы! В какой мир я ее привел? На эту опустошенную, лишенную смысла планету? Рожать ребенка — глубочайший эгоизм. Я чувствую себя тем более ответственным, что она здесь ни при чем. И если я говорю, что моя дочь божественна, — дело в том, что она прекрасна, как все дети, и представление о любви погружает меня в состояние благодати. Думаю, мне не захотелось бы сделать эту книгу, не стань я отцом.

Ж.-М. Ф. Ты хотел получить определение и нашел его. Ты сам к нему пришел. Бог есть любовь.

Глава III
О *пользе* Бога

Ф. Б. Ты веришь в Бога и, стало быть, говоришь, что Он создал людей. Но если Его придумали сами люди, не слишком ли большой ущерб принесла их выдумка? Иными словами, я возвращаюсь все к тому же вопросу: зачем нужен Бог?

Ж.-М. Ф. А всем, что дала Церковь: больницы, воспитание, помощь беднейшим, — ты пренебрегаешь; ну, ладно... Бог существует не ради того, чтобы приносить нам какую-то пользу, как и мы живем не для того, чтобы Его использовать. Однако некоторые задают себе такой вопрос, потому что мы устанавливаем между собой и Богом отношения утилитарного характера. На воскресных службах мне часто приходится говорить: "Сегодня утром вы пришли на мессу. У вас есть просьбы, с которыми вы хотите обратиться к Богу. Забудьте их. Молитесь за тех, чьи чаяния вам неизвестны, за тех, кто сейчас рядом с вами. Будьте увере-

1. Габриель Форе (1845–1924) — французский композитор, причисляемый к символистам.
2. Catéchisme de l'Église catholique, Saint Augustin, Sermon 241, 2. (*Прим. автора.*)

ны: если вы так поступите, другие станут молиться за вас, и вы обретете друг друга".

Ф. Б. Так ты занимаешься торговлей! Ты настоящий коммерсант. Молитесь за вашего соседа, а он помолится за вас. Это напоминает мне известное пари. Верьте в Бога, и если вы ничего при этом не выиграете, то, во всяком случае, вам нечего терять.

Ж.-М. Ф. Я просто пытаюсь помочь людям освободиться от личных забот, оторваться от самих себя и от утилитарного отношения к Богу. Так они немного повернутся к другим, пусть на мгновение. Чем больше я избавляюсь от самого себя, от всего эгоистического во мне, от того, что не дает повода гордиться, тем больше оставляю я места для Бога.

Ф. Б. Интересно. Метафизика, единственная цель которой — в конечном счете стать физикой. Трансцендентное существует затем, чтобы сделать нас более человечными. Фу ты, черт, жутко головоломный обмен!

Ж.-М. Ф. В молитве мы должны прежде всего просить Бога не о том, чтобы Он исполнил наши личные просьбы, то есть подчинился нашим желаниям, а, скорее, чтобы Он помог нам исполнить Его волю.

Ф. Б. Не скрывается ли за этим представлением о Боге своего рода низменная человеческая потребность подчиняться приказаниям кого-то или чего-то вышестоящего? Разве не пугает удел человеческий сам по себе? Так, может, Бога придумали для того, чтобы уйти от страха? Ведь, как говорит Паскаль в "Мыслях", идея смерти настолько невыносима для человека, что, убегая от нее, он предается развлечениям — и напрасно, ибо подлинный ответ — это Бог. Я-то убежден, что Бог и есть способ увильнуть от смерти, Бог и есть развлечение. Между прочим, как раз поэтому можно заметить, что люди становятся все более верующими и близкими к Церкви, начиная с определенного возраста, когда чувствуют, что стареют. Это несколько схематично, но верно: с приближением смерти старики активнее посещают церковь, задумываются о Боге чаще, чем в течение всей жизни. Подобное произошло и с Миттераном: на склоне дней духовные и метафизические запросы стали ему ближе, чем когда-либо прежде. Если бы с помощью клонирования удалось уничтожить смерть, церкви мигом опустели бы.

Ж.-М. Ф. Ты думаешь? Запросы эти связаны не со страхом приближающейся смерти, а с постепенным изменением взгляда на собственную жизнь. Когда бóльшая часть ее остается позади, пожилые люди ставят перед собой вопросы, не так сильно занимавшие их раньше, потому что они обретают определенную зрелость. Они по-другому видят самих себя в прошлом, так как действительно не закрывают глаз на единственную истину, в которой все уверены: однажды мы покинем эту землю. Но вообразим, согласно твоей абсурдной гипотезе, будто люди перестали умирать, — я убежден, они все же будут обращаться к Богу и черпать в Нем силы для самосовершенствования, которое может отвечать их потребности в бесконечном.

Ф. Б. Другая проблематика, столь же для меня несомненная, заключается в том, что человек XXI века живет в условиях смерти Бога или, по крайней мере, Его отсутствия, отсутствия смысла — "в условиях абсурда", как говорит Камю.

Ж.-М. Ф. Нет. Думаю, мы, скорее, свидетели своего рода смерти человека — гибели лучшего, что в нем есть. И в таком случае, возможно, у

Бога "есть шанс" вновь к нам вернуться. Но до чего страшно понимать это!

Ф. Б. Нам неустанно твердят о Боге, как о чем-то полезном, необходимом. Но если смерть, наряду с Богом, составляет капитал религий, то ее упразднение будет означать смерть Бога, разве не так? Смерть смерти стала бы смертью сразу всех религий. И все вы слиняли бы потихоньку. Впрочем, это случится нескоро...

Что мне больше всего нравится в религии, так это ее абсолютная бесполезность. В труде "О религии, рассматриваемой в ее источнике, формах и развитии" Бенжамен Констан утверждает, что только религия способна внушить человеку бескорыстие. Мне очень нравится эта идея немотивированности. Это очень важно. Польза Бога в том, что Он бесполезен.

Глава IV
Об использовании Бога

Ф. Б. Рассмотрим теперь основные претензии, предъявляемые к Богу. Если Он существует, мы обязаны Ему множеством разрушительных конфликтов, религиозными войнами, терроризмом, фанатизмом, фундаментализмом. У меня складывается впечатление, что во многих наших бедах повинен Бог. Неужели же Он, допускающий миллионы преждевременных смертей во всем мире, создал людей, чтобы с удовольствием наблюдать, как они убивают друг друга?

Ж.-М. Ф. Сегодня, если говорить об исламизме (но не исламе!), как бывало и прежде, в смутные времена христианства, встает вопрос о том, исходят ли эти бедствия от Бога или их причина в том, что́ люди сделали из Бога. В последнее время достаточно примеров тому, как люди во имя Его развязывают войну. Всякий раз виноват не Бог, а те, кто превращают Его в свое орудие. К счастью, результат никогда не бывает убедительным. Каждый раз, когда кто-нибудь стремился использовать Его, навязывая свою власть, свой авторитет, взгляд на вещи, этот человек рано или поздно терпел крах. Случаются события, перед которыми мы совершенно бессильны: например, болезнь, страдание. Но происходит и многое другое, за что несем ответственность лишь мы сами, а Бога обвиняем понапрасну. Хватит сваливать на Него нашу вину, прикрываясь фразами вроде этой: "Если бы Бог существовал, подобная ситуация была бы невозможна". Воюет не Бог, а люди.

Ф. Б. Не слишком ли просто: когда все из рук вон плохо, виноваты люди, а когда все хорошо, так это благодаря Богу?

Ж.-М. Ф. Нет. Когда все хорошо, в этом опять-таки заслуга людей — таких, как великие представители Церкви, прославившие ее историю святые. Конечно, они черпали силу в Боге, но вершителями дел был не кто иной, как они сами. Вспомним Мать Терезу — нет сомнения: действовала именно она, именно ей удалось мобилизовать вокруг себя людей и внушить им желание служить другим. Она черпала волю, всю свою необычайную энергию в вере. Прежде чем сказать: "Отдадим Богу Богово", следует отдать должное людям. Я говорю о святых, но мог бы назвать также мужчин и женщин, которые отдали жизнь ради других людей, хотя не имели веры.

Ф. Б. Вот именно, вспомним-ка некоторые недавние человеческие "подвиги". Вот уже целый век мы свидетели массового, "в промышленном масштабе" истребления человечества. Людей целыми составами везли на сожжение. Кое-какие печальные эпизоды XX века раньше были бы невозможны по техническим причинам, но технологическое развитие обогатило воображение разрушителей. "Нострадамус" во мне подсказывает, что скорей всего это еще не конец. Возможно, ядерное оружие, созданное во время "холодной войны", чтобы удержать противника от использования его собственных вооружений, сегодня начнут пускать в ход там и сям на планете, и, по всей вероятности, это будут делать во имя Божие: ведь именно так оправдывают войну, сражаясь обычным оружием. Человек XXI века не вызывает у меня иллюзий! И если одержимые Богом безумцы завладеют ядерным оружием, вряд ли Бог каким-то образом выручит нас.

Мне повезло: на башне Всемирного торгового центра меня не было. Но, сочиняя свой последний роман, я пытался представить себе положение жертв, их вопросы, обращенные в последние мгновенья к Богу. Должно быть, они спрашивали себя, где же Он, если Он есть. Зато они наверняка не сомневались в реальности черта. В любой момент повседневной жизни, стоит нам включить телевизор, мы увидим, как много у него дел. Сатана слишком загружен. Вот что тревожило Чорана: "Если допустить, что миром правит дьявол, тогда все объясняется. Напротив, если правит Бог, то понять ничего нельзя".

Ж.-М. Ф. Ты веришь в черта, хотя, по твоим словам, не веришь в Бога?

Ф. Б. Да, надо же с чего-то начать! Ясное дело, я считаю, что существуют добро и зло. Не всегда легко заметить равновесие между этими двумя понятиями. Иногда люди полагают, что творят добро, а делают зло, как, например, Джордж Буш. Тем не менее зло, которое я в шутку называю "чертом", существует, и мне кажется, оно вот-вот одержит верх. Сатана есть, его-то я встречал!

Ж.-М. Ф. Но кто совершает поступки? Мы.

Ф. Б. Опять ты стараешься внушить чувство виновности, как водится у католиков!

Ж.-М. Ф. Когда я обвиняю людей, ты утверждаешь, будто я внушаю чувство виновности, — уж не хочешь ли ты сказать, что веришь в черта, а не в безумство людей? Я всего лишь подчеркиваю нашу ответственность, не пытаясь вызвать чувство вины. Признаем, однако, что Бог, так же как и черт, добро, как и зло, действуют через нас. Именно от людей исходит их собственное добро или зло.

Ф. Б. Я думаю: а может, борьба идет между богом добра и богом зла, как говорит индуистская мифология? Конечно, мы все за то, чтобы победил бог добра, но вырисовывается нечто другое. Может быть, сейчас важно читать текст Апокалипсиса? У нас есть все основания страшиться будущего, но не являемся ли мы уже теперь свидетелями конца света?

Ж.-М. Ф. В таком случае, родится новый мир, и на подобный переворот можно смотреть только оптимистически. Одно из существенных условий нашего бытия — неравенство. Не привело ли к кошмару 11 сентября, среди прочего, свойственное людям восприятие несправедливости — даже если не считать отчаяние единственной причиной? Возмож-

но, мы слишком долго проявляли равнодушие к тем, кто умирает от голода без всякой помощи? Возможно, весь этот хаос — следствие того, что наше общество живет, полностью забыв, забросив обездоленных, хотя мы постоянно слышим об утопии эгалитаризма, которая на деле почти не пользуется поддержкой.

Ф. Б. Да, эта идеология сегодня умирает. А причина, быть может, в том, что еще раньше умер Бог, умерла религия?

Хватит с нас всяких "измов", утопий, стоящих стольких жизней, пусть даже все мы испытываем потребность в утопиях. У каждого должны быть собственные мечты, каждый должен пережить собственную революцию в душе. Но проповедь утопии Бога особого оптимизма в меня не вселяет. Видеть идеал в Боге? Всякий раз это причиняло немало вреда. Хотелось бы подчеркнуть два момента: во-первых, у меня нет необходимости верить в Бога, чтобы делать добро; во-вторых, в XXI веке от Бога, по-видимому, больше неудобств, чем преимуществ.

Ж.-М. Ф. Ты видишь зло, содеянное именем Бога! А добро? Я настаиваю: виноват не Бог, а идея Бога, то, во что Его превратили. Люди, всецело, совершенно бескорыстно преданные Богу, — святые. Именно они шли до конца, а не кто-то другой. Например, тибиринские монахи в Алжире[1]. Каждый из них был слугой, исполненным готовности, великодушия, молитвы. Они не обладали ни властью, ни богатством. Живя в мусульманском мире, они не пытались навязать ему христианскую веру. Эти люди отдали свою жизнь сполна и были до конца счастливы. Они познали, что такое подлинное счастье, хотя такое счастье тебя смущает.

Ф. Б. Да, потому что мне трудно принять христианскую идею жертвы, этот вкус к мученичеству. Ты говоришь о святости, прекрасно. Есть принципы великодушия, милосердия — они очень хороши, но не очень-то эффективны против тирании, ненависти, варварства, насилия. Тибиринские монахи явили пример мужества и достоинства, но они погибли. И когда передо мной люди, приверженные добру, а с другой стороны — зло, я задаюсь вопросом: почему дьявола мы слушаем чаще, чем Бога? Почему нам легче уступить черту, а не Богу?

Ж.-М. Ф. Ты сам сказал. Мы "уступаем" злу. Мы "уступаем", потому что так легче, поддаемся дурным наклонностям. Напротив, ответить Богу — это акт воли, поступок почти героический. С одной стороны, склон, по которому надо всего лишь скользить, с другой — усилие, требовательность к себе.

Ф. Б. Но тогда — повторяю свой вопрос, — если Бог есть, для чего Он нужен? Или зачем люди Его придумали?

Ж.-М. Ф. Бога не придумали. Он есть. Им и для Него создан человек. Неверие нередко объясняется страхом, непониманием возвышенной стороны Бога. И лишь тот, кто ищет Бога, может Его найти. Похоже на лото: только взявший талончик получает шанс выиграть. Бог вручил людям талончик, дал им "способность" Его найти, их дело — использовать эту возможность, этот шанс.

1. Речь идет о трагической гибели семи монахов-траппистов из монастыря Богоматери Атласа в Алжире (г. Тибирин): весной 1996 г. они были похищены и затем убиты группой террористов, принадлежавших к организации Вооруженная исламистская группа (GIA — Groupe Islamique Armé).

Теперь, раз уж ты настаиваешь на своем "для чего", скажу, что Бог нужен для того, чтобы найти истину, объединить людей. В нем — источник счастья, возрастающего даже в страдании. Увы, история постоянно доказывает, что некоторые создания Божии используют Его ради жестоких, дьявольских целей. Но можно пуститься в чисто умозрительные рассуждения и, исходя из соображения, будто Бог выдуман людьми, представить себе, что́ произошло бы в противном случае — если б Его не было. Вероятно, жизнь превратилась бы в сплошное зло, ведь тогда люди стали бы уступать лишь низким инстинктам, ничего иного не зная. Даже когда человек использует Бога, образ добра, для того чтобы творить зло, он обманывает только самого себя, а не историю. Все мы умеем по прошествии времени, учитывая реальность, распознавать ложность якобы альтруистических, якобы благородных намерений. И нам известно, что использование Бога как орудия в итоге никогда не приносит успеха.

Ф. Б. После этого ты упрямо продолжаешь верить в человека?

Ж.-М. Ф. Да, и, полагаю, ты тоже в него веришь.

Ф. Б. Я вырос в мире скорее материалистическом, лишенном идеала. Я построил своеобразную стену цинизма для самозащиты и, к несчастью, склонен считать, что окружающая реальность оправдывает такую позицию. Пессимизм — это, как мне кажется, вопрос выживания. Каждый день новые причины толкают нас к нему как к единственному способу избежать разочарования в жизни. Быть оптимистом, верить в победу нравственного начала, быть терпимым и открытым — все этого хотят. Вместе с тем во многих случаях эти качества вызывают огонь на себя и, добавлю, не вознаграждаются. Мы живем в обществе, где усиливаются эгоизм, индивидуализм, гедонизм. А рядом — те, кто строит соборы или мечети, кто верует, соблюдает религиозные обряды и молится. Я говорю себе: если люди столько потрудились для Бога, уж мог бы Он дать себе труд быть! Тем самым я с сожалением констатирую, что Он отсутствует. Да, видишь ли, я сожалею об отсутствии Бога, несмотря на то, что мне слишком очевидны связанные с Ним отрицательные последствия: насилие, войны, фанатизм... Все-таки я, наверное, вырос в ужасающем обществе. Самолетами, которые протаранили и разрушили Всемирный торговый центр, этими самолетами-убийцами управляли люди, верившие, как и ты, в Божественный абсолют, в Единого Бога, — и вот они бросили это в лицо миру, утвердили кровью. То же самое в Мадриде! Эти картины по-прежнему передо мной, как наваждение. Я вижу, как используют Бога эти одержимые, вижу, как американцы все решают именем Божиим, объявив себя избранным народом — пытая, они поют: "God bless America" ("Да благословит Бог Америку"). И я думаю: уж лучше бы Богу не существовать, тогда Ему не пришлось бы стать самым страшным из всех алиби.

Изо дня в день мне не дает покоя все тот же единственный вопрос: имеет ли смысл этот мир? Ты же в ответ твердишь мне только про Отца, Сына, Святого Духа, которые в действительности все трое суть одно и то же! И, как будто это еще недостаточно сложно, ты добавишь, что Дева является Матерью Бога: на самом деле оплодотворил ее не мужчина, да и вообще никто, и уж, во всяком случае, не муж — хоть Иосиф и единственный мужчина в ее жизни, но сыну ее он не отец! Проще некуда, элементарная вещь! И ты предлагаешь мне во все это верить?

Между вопросом "Имеет ли смысл этот мир?", вопросом жгуче насущным, и вот этой евангельской схемой, относящейся к Христу и, по-видимому, далекой от реальности, – огромный разрыв. Нет, мне не удается поверить во все эти принципы, в такую организацию Вселенной и человечества. Реальность сводится к следующему: я чувствую, что все мы живем в мире, конец которого близок (возможно, наша планета протянет недолго, и надо сделать все для спасения природы и окружающей среды), что все люди рехнулись, жизнь наша совершенно пуста и человек катится навстречу собственной гибели.

Вот почему меня разбирает смех, когда я думаю, что есть вещи куда неотложнее, чем твои истории про Бога и Его полезность, про Христа, Святого Духа и Деву Марию.

Ж.-М. Ф. Прежде чем отвечать по всем перечисленным пунктам, хочу подчеркнуть: есть любовь. Что касается твоего вопроса: "Имеет ли смысл этот мир?" – ответ: "Да, любовь". Любовь к Богу, любовь к ближним, любовь к самому себе...

Глава V
О *вере*

Ф. Б. Наша утробная привязанность к материализму – вот что порождает насилие, которое мы сегодня переживаем, и отличает западный разум от фанатизма террористов. Нашей системе – хотя она дает нам свободу и оставляет выбор – недостает конечной цели. Меж тем как в других частях света, в других обществах и других религиях первое и основное условие – духовность. Может, нам не хватает религиозного чувства? Или цель нашей системы – попросту саморазрушение? При капитализме потребление означает самоистребление. Отсюда – насилие, одиночество. Наш образ жизни напоминает позолоченную пилюлю для самоубийцы.

Ж.-М. Ф. От Бога отворачивается больше всего людей именно в самых богатых странах – аргумент в пользу ужасного утверждения, которое широко распространяют хулители веры, а я отрицаю: о том, что якобы для бедняков, потерявших надежду на лучшие времена, прибежищем служит вера в верховное существо, способное в тот или иной момент помочь им в испытаниях. Бог становится тогда их единственным упованием.

Ф. Б. Вот и я говорил: Церковь привлекает только стариков (потому что они боятся смерти) и бедняков (потому что им нечего терять). По словам Ницше, религия – результат озлобленности. То, что подходит для рабов.

Ж.-М. Ф. Разумеется, я опровергаю такие теории. А что делать с теми, кто не вмещается в эти категории? Множество примеров доказали бы обратное. Но разве подобные крайности чужды нашему обществу богатых? Всем пресытившись – деньгами, сексом, наркотиками, разве эти отчаявшиеся в какой-то момент не осознают: то, что они "ищут", что им нужно (бесконечность, полнота, полет, счастье), заключается в чем-то ином – в открытии Бога, в вере?

Ф. Б. Так мы приходим к парадоксу. С одной стороны, мы с нашей виной — оттого, что мы живем в богатых странах, а все остальные на планете подыхают от голода и болезней, и оттого, что наши страны переживают упадок, как Древний Рим, и, очевидно, ощущение Бога нами утрачено. С другой стороны, люди, готовые нас поубивать, доказывая нам свою правоту. И опять я делаю тот же вывод: Бог вызывает войны.

Ж.-М. Ф. Нет! Ты прекрасно знаешь: в этом случае Бог — только повод, алиби во оправдание недопустимых действий. Верующий служит Богу, а не приспосабливает Его для достижения целей, Им осуждаемых. После 11 сентября и всех самоубийственных терактов, поразивших Восток, Индонезию, Марокко, Испанию, я слышал кое от кого, что, несмотря на возмущение, вызванное кровопролитиями, эти акции были восприняты как подлинные свидетельства веры. Спешу уточнить, что абсолютно не разделяю такую точку зрения. Эти люди чуть ли не восхищались безоглядной верой фанатиков, готовых в своем ослеплении пожертвовать земной жизнью ради обещанного рая. Странная оценка веры! Тут-то и надо обратиться к рассуждению в христианском смысле слова — ведь Бог выражает себя через людей. Следует видеть относительность того, что́ эти самые люди, как они утверждают, берут от Бога. В трех религиях монотеизма мы имеем по меньшей мере общую веру в Бога, Отца, несотворенного, невидимого, создателя Вселенной. А для христиан вера — дар Божий, который человек свободен принять или отвергнуть.

Ф. Б. Я, со своей стороны, далек от восхищения больными людьми, которые убивают себя, стремясь искрошить как можно больше невинных граждан. Этих опасных маньяков надо бы срочно посадить под замок. Фанатик — тот, кто лишен сомнений. И потому он превращается в безумца. Для него невыносимо, что не все такие, как он. Он становится жестоким, боясь в глубине души, что Бога нет. Он убивает других и самого себя: раз не убедил — все, надоело. "Разума лишает не сомнение, а уверенность" (Ницше).

Ж.-М. Ф. Вполне согласен с твоим анализом. Разве у этих фанатиков больше веры, чем у их собратьев по религии? У нас нет барометра веры. Когда церкви были полны народа, это не значило, что у христиан было больше веры. Помню, в Марокко люди признавались мне, что во время рамадана некоторые соблюдают пост только потому, что боятся проблем с окружающими, в личной и профессиональной жизни. Такое же социальное давление знало и христианство. Сегодня более чем когда-либо, Бог — это наша свобода. Принудить к вере не может никакой закон.

Ф. Б. Для меня свобода и демократия — главное. И я задумываюсь: оставляют ли эти два принципа место для веры, для Бога. Ведь у католиков все диктует Церковь, так? Где же тогда личная свобода?

Ж.-М. Ф. Вера — это свободный ответ человека Богу, который открыл ему Себя. Это личный акт. Конечно, Церковь изначально выступает гарантом этой веры. Она хранит Слово Христово и апостольское, увековечивая его, она как мать, воспитывающая свое дитя. Но прежде и в основе всего — личная вера каждого, каждой личности.

Ф. Б. Верую — значит, существую.

Ж.-М. Ф. Сперва следовало бы сказать: "Я мыслю — значит, существую". С разумом соединяется духовное измерение, потребность в мета-

физике, что отличает нас от животных. Невозможно закрывать глаза на то, что стремление к Богу свойственно человечеству в целом. В любой цивилизации, в любой культуре, какой бы она ни была, всегда есть взгляд, направленный "ввысь", в инобытие, в недоступный нам иной мир. Обязательно найдутся люди, которые будут говорить, что религии придуманы теми, кто не в состоянии дать ответ на вопросы. Что в религиях ищут защиты, прибежища и что легко относить все на счет Бога. И вот тут вмешивается вера. У нас нет никакого способа достоверно объяснить появление человеческих существ на Земле, а ведь человек – неоспоримая реальность.

Часто, оказавшись на вокзале или в аэропорту, где снуют толпы людей, я пытаюсь вообразить историю, жизнь каждого человека. И думаю: не может быть, чтобы за каждым из них не стояла некая высшая, недоступная нам мысль. Не может быть, чтобы все сводилось к случайности. И именно потому, что я убежден в невозможности такой случайности, я вновь обращаюсь к своей вере, находя в ней единственный смысл, единственный – осмелюсь сказать – рациональный смысл!

Ф. Б. Конечно, против веры нет аргументов, это касается каждого из нас, и ставить веру в упрек кому бы то ни было невозможно. Наш диалог – диалог между глухими, между верой и разумом. Просто если считать, как я, что смерть окончательна, что после нее нет ничего, кроме небытия, то становится гораздо труднее принять все остальное. Быть может, Воскресение – это и есть точка расхождения между атеистами (или агностиками) и верующими. Между этими двумя представлениями – пропасть, потому что мы живем в обществе сциентизма. Я не святой Фома и готов прислушиваться ко всем теориям. Я тоже совсем не убежден, будто устройство мира – плод случайности. Если бы так, пришлось бы признать, что случаю все удается на славу. И это приводит в недоумение. Но не меньше смущает меня объяснение, будто Церковь, Бог и Иисус Христос существуют только ради того, чтобы мы могли преодолеть смерть или что-то там другое. Почему, к примеру, не предположить существование некой причинности и притом все же окончательной и необратимой смерти?

Ж.-М. Ф. Христос нужен не только для того, чтобы помочь нам преодолеть смерть, но и чтобы научить нас любить так, как любит Бог, научить нас жить, быть мужчинами, женщинами в соответствии с Божественным замыслом о человечестве. Где ты видишь свое место? В лагере атеистов?

Ф. Б. Я читал интервью с Робертом Крамбом, великим художником американского андеграунда. На вопрос: "Вы не атеист?" – он отвечает: "Нет, логично, чтобы существовали силы умнее нас. Но если того, кто сомневается в бытии Бога, называют агностиком, тогда я, скорее, гностик – признаю существование высшей силы, но не знаю, какую форму она принимает. И всю жизнь мы ее ищем".

Итак, вступив на путь поисков высшего знания, я присоединяюсь к этой интерпретации. Вот теперь я сказал бы, что я гностик. Это лучше, чем атеист, нет? Правда, течение гностицизма было решительно опровергнуто в III веке святым Иринеем, епископом Лионским, но Крамба это как будто не смутило, если только он в курсе дела.

Мне так же трудно верить в Бога, как в теорию о рыбах, которые превратились в динозавров, а потом в обезьян, а уж те сами собой сде-

лались людьми, и все это будто бы произошло случайно. Эти тезисы отстаивают законченные сциентисты. В то же время читаю я Бернаноса, Блуа, Пеги, Жюльена Грина, Клоделя, и меня берет досада. Они были куда умнее, чем я, и они верили! Тем не менее, разве они не говорят таких же глупостей, как и рационалисты? Верить в то, что все появилось без причины, такое же безумие, как верить в наличие причины.

Ж.-М. Ф. Ты недавно заявлял, что верят одни "старики" и "бедняки"; не думаю, что те, кого ты сейчас назвал, согласились бы причислить себя к этим разрядам людей. Любопытное наблюдение: как только верующие получают чуть заметный численный перевес над неверующими, иррациональное переходит в мощное наступление.

Ф. Б. Верно, в кино, в литературе... Совсем недавно — "Страсти Христовы" Мэла Гибсона, "Властелин колец", "Гарри Поттер" и особенно "Матрица" — в образе Нео есть что-то от Христа.

Ж.-М. Ф. То же и в более старых фильмах. Первый "Супермен" — там действие начинается, как в Евангелии. Отец посылает на землю сына, одаренного сверхъестественными способностями. То же относится к "Е.Т." — афиша фильма говорит о влиянии "Сотворения Адама" Микеланджело, где изображен перст Божий, направленный навстречу руке человека.

Ф. Б. А отношения отца и сына в "Звездных войнах"! Темная сторона силы и все такое...

Ж.-М. Ф. У всех этих режиссеров присутствует духовное измерение, осознанное или нет, в котором выражен вопрос.

Возможно, в наше время все увеличивается число людей, которые вопрошают себя о Боге. Среди интеллектуалов, например, Макс Галло, Режи Дебре, ты...

Ф. Б. Ну-ну, полегче! Что касается меня, я не интеллектуал. Вопрошать не значит примыкать. В то же время, столкнувшись с недостатком доказательств, совсем сникаешь. Может, я жертва диктатуры рационализма? Раз все недоказуемо, либо вера идет на убыль, либо остается одно: просто думать, что Бог есть, поскольку никто не в состоянии представить доказательства, что Его нет. Многие довольствуются принятием такого решения: credo quia absurdum. Верую, ибо абсурдно, по словам святого Августина. А вот что говорит Тертуллиан, основатель теологии: "Несомненно, ибо невозможно". Обожаю бредовые рассуждения вроде этих: великие богословы — большей частью дадаисты! Иной раз доказательства бытия Божия — просто халтура: Декарт, например, утверждает, что Бог есть, поскольку у нас возникло представление о Нем! Да уж, не перетрудился! А святой Ансельм заявляет, что раз Бог совершенен, Он существует — ведь совершенство предполагает бытие. Онтологическая насмешка над нами! Хватает примеров, объясняющих рост атеизма среди тех, кто отмел экзистенциальные и метафизические вопросы, чтобы жить спокойно.

Ж.-М. Ф. Думаю, тут скорее желание держаться подальше от учреждений, от Церкви: "В непосредственных отношениях с Богом мне не нужны священник и месса, и потому меня больше занимает религия человека". Тогда люди называют себя атеистами, забывая значение слова "атеист" — "отрицающий Бога". Ты сказал: "Верую — значит, существую". Но, наоборот, "Мыслю — значит, не верую" подразумевает: "Лучше объявим себя атеистами и тем докажем, что мы — умные люди".

Ф. Б. Да, тенденции изменились. Бога можно и отложить. В первую очередь нужно деньги зарабатывать, как-то выкручиваться, растить детей, ведь потом останется только подохнуть. Все те же пресловутые материализм и индивидуализм, которые, по-моему, взяли верх.

Впрочем, теперь уже так банально называться атеистом, что, мне думается, скоро будет считаться высшим шиком объявить себя католиком, верующим и соблюдающим обряды! Или гностиком, как я! Надеюсь, новая мода начнется с меня.

Перед лицом абсурда, перед лицом тайны Церковь предлагает нам верить в некий набор чудес — со Святым Духом, Девой и богатым ассортиментом красивых историй. И брать надо все в комплекте. Только я не желаю быть фарисеем.

Ж.-М. Ф. Я тоже! Церковь принимает каждого таким, какой он есть. Во всех приходах мы организуем группы размышлений, и вопросы, которые нам задают, доказывают, что люди задумываются о догматах, о Троице или о Воскресении. Никогда Церковь не скажет им: "Не старайтесь понять, верьте!" Мы пытаемся объяснять. Кстати, некоторые участвуют в этих группах анонимно, и кое-кто из них обращается. Придя к нам за разъяснениями, они уходят с твердым убеждением. Ведется ежегодный учет, согласно которому в 2004 году более 2,5 тысяч взрослых приняли католичество и более 9 тысяч человек подготовлены к этому.

Ф. Б. Откуда взялись эти обратившиеся люди?

Ж.-М. Ф. Это взрослые, перед которыми встает вопрос о вере, и они проходят подготовку к крещению. Люди, безразличные к религии, атеисты или те, кто оставил другую религию. Это стихийный процесс. Никакого прозелитизма. Приведу пример: один католик, человек церковный, имеющий детей, разводится и вступает в гражданский брак с разведенной, у которой тоже есть дети. Дама — неверующая, однако благодаря их совместной жизни ей открылся Бог. С этим случаем я столкнулся недавно.

Ф. Б. Разве не из любви к мужу она так поступила?

Ж.-М. Ф. Нет. Рядом с его верой настойчивее зазвучал вопрос в ее душе, и она открыла Бога. В случае если в брак вступают католик и некрещеный, Церковь не требует обращения второго из супругов. Если один из них принимает религию другого, потому что таково обязательное условие, как в исламе или в иудаизме, то о вере говорить не приходится.

Ф. Б. В моем роду несколько поколений назад все были протестантами. После брака с католичкой ветвь Бегбедеров, к которой принадлежу я, приняла католичество. Так я и стал католиком. Обращения не было. Убежденности — тоже. Все дело в моих предках. Это напоминает мне библейскую притчу — очень практичную. Всю жизнь я могу прожить гнусным эгоистом, а если обращусь перед смертью, со мной будет все в порядке, как сулит притча о блудном сыне: тебя примут, парень, добро пожаловать, ты слегка заблудился, но вернулся домой. Я держу в запасе одну карту — джокера, думая про себя: ах, я блудный!

Ж.-М. Ф. В притче подразумевается, что сын искренен, о расчете речи нет. Эта притча свидетельствует также о безграничности веры.

Ф. Б. А я и не собираюсь лгать. Состарившись, я, наверное, стану ближе к религии и буду искренним, помирать-то страшно. Есть еще пример святого Августина, раскаявшегося грешника. Сначала он распутни-

чал, а потом наступило озарение, и он услышал голос Предвечного. Это обнадеживает. Можно жить в пороке, а кончить святостью. Выходит, для прожигателей жизни не все потеряно! Нечто подобное было с Жаном Кокто: увлекшись Жаком Маритеном[1], он решил заменить опиум Богом. А римский император Константин крестился в самый день смерти: на всякий случай он постоянно держал при себе епископа...

Ж.-М. Ф. Вот видишь, главное чудо нашей веры — милосердие, прощение, стоит только искренне признать, что наши поступки и поведение не соответствуют тому, чего ждет от нас Христос. Возьми, к примеру, отношение Христа к женщине, уличенной в прелюбодеянии, или, как ты сам говорил, притчу о блудном сыне — одну из самых прекрасных страниц Евангелия. По дороге сын обдумывает, что́ сказать отцу, заранее подбирает слова, готовясь просить прощения. Но едва сын вернулся, отец обнял его, прежде чем он успел произнести хотя бы слово. Главное место, которое отводится прощению в нашей вере, — еще и свидетельство тому, что Богу хорошо известно, с кем Он имеет дело: Он знает, что ни один из нас не может всю жизнь неуклонно идти той дорогой, по которой мы следуем за Христом.

Ф. Б. Но повторяю: нам нужно доискаться смысла всего этого. Мы можем принять пари Паскаля: "Не делать ставку на Бога — значит, ставить против Него. Каков же ваш выбор? Взвесим возможный выигрыш и проигрыш, если вы решитесь поверить, что Бог есть. Выиграв, вы выиграете все, проиграв, не потеряете ничего. Ставьте же, не колеблясь, на то, что Бог есть".

В действительности вполне можно заключить противоположное пари, которое Франсуа Раклин[2] называет "пари Дон Жуана": я ставлю на то, что Бога нет и после смерти ничего нет... И живу по заповедям Дон Жуана или Казановы — веселюсь вовсю, ловлю момент, пока я еще здесь: я — мерзкий тип, легкомысленный гедонист, который всю жизнь упивается роскошью, грязным развратом и пороком.

Ты, по-моему, заключаешь пари Паскаля, а большинство людей — по крайней мере, в западных странах — держат пари Дон Жуана.

Ж.-М. Ф. Я верю в Бога, и мне не нужно спорить. Другие не делают никаких ставок, поскольку не задают себе такого вопроса.

Ф. Б. Нет-нет: как господин Журден, который, сам того не ведая, говорил прозой, они, не зная о том, держат пари, что Бога нет, что этим надо пользоваться и что, во всяком случае, потом нет ничего.

А ты? Ты никогда не сомневаешься?

Ж.-М. Ф. Разумеется, у меня бывают сомнения.

Ф. Б. Сомнения в том, что Бог есть?

Ж.-М. Ф. Да, конечно. Но вопрос в том, как мы преодолеваем сомнение. Если оно дает возможность продвинуться вперед в нашей вере, в конечном итоге оно оказывается позитивным.

Ведь Христос, будучи на кресте, сказал: "Отче, зачем Ты Меня оставил?" Не будем изображать из себя экзегетов и рассуждать о том, по каким причинам Христос произносит такие слова, однако это вопль сомнения. Так же, когда Иисус молится в Гефсиманском саду, мы чувствуем,

1 Жак Маритен (1882–1973) — французский философ-неотомист; Кокто и Маритен познакомились в 1924 г.

2. Франсуа Раклин (р. 1948) — французский ученый-экономист и писатель, автор романов и эссе.

словно идет борьба между Его человечностью и Божественностью. С одной стороны, Он говорит: "Отче, пронеси эту чашу мимо Меня", то есть избавь Меня от страданий, но в то же время: "Да будет воля Твоя". Есть муки, через которые проходим мы все, верующие и неверующие.

И если уж Христос сомневался, я не вижу, каким образом верующий может быть гарантирован от сомнений.

Ф. Б. Ты анализируешь и переживаешь свою веру только через Писание, через Христа. Но ты прежде всего человек, а потом уже — церковный деятель. Случаются ли разногласия между тем и другим? У меня такое ощущение, будто ты всегда отвечаешь мне с высоты своего сана.

Ж.-М. Ф. Если бы я не отвечал с высоты моего сана, я не признался бы в своих сомнениях и в том, что, подобно любому человеку, испытываю чувство протеста перед ужасными, несправедливыми ситуациями — например, в случае смерти ребенка, когда я реагирую так же, как и неверующий. Все мое существо или стремится следовать примеру Христа, или же порой не следует ему. Я не шизофреник: человек — и священник. Оба составляют одно целое. Я — это я.

Ф. Б. Ты очень убежденный человек. Но как ты убедишь другого, что нужно верить в Бога, по воле которого мы изначально неравны, рождаемся больными, инвалидами, в Бога, который ведет нас к смерти?

Ж.-М. Ф. Вопрос так не ставится: бывает, что больные, инвалиды излучают мир, а иногда, не побоюсь сказать, счастье — на зависть здоровым людям! Бог повел на смерть собственного Сына и через Него указал нам путь к Воскресению. "Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом" (святой Ириней).

Позволь, я процитирую определение веры святого Франциска Ассизского. Оно предвещает прекрасные перспективы: "Вера — это предвкушение знания, которое дарует нам блаженство в будущей жизни".

Ф. Б. Моего любимого богослова зовут Мишель Полнарефф: "Все мы отправимся в рай. Даже я!"[1]

Ж.-М. Ф. Я тебе этого желаю!

Глава VIII
О *ценностях*

Ж.-М. Ф. Как я замечаю, ты причисляешь себя к нигилистам, но в то же время, по-видимому, привержен определенным ценностям. Я имею в виду не образ жизни в этой системе, а твое уважение к старым добрым традиционным ценностям. Ты, конечно, понимаешь: с моей стороны это не упрек — скорее, констатация, твои противоречия меня даже удивляют. Но, возможно, в тебе говорит отец? Быть может, ты стал так все воспринимать с тех пор, как у тебя на глазах подрастает малышка Хлоя?

Кажется, для тебя имеют смысл ценности добропорядочного отца семейства, как выражаются нотариусы?

1. Мишель Полнарефф (р. 1944) — французский певец; приводится цитата из его песни "Все мы отправимся в рай."

Ф. Б. Твои слова напоминают мне памфлет Линденберга "О новых ретроградах", опубликованный три года назад, — там я фигурирую под двумя разными ярлыками... Похоже, за мной закрепилась слава сексуально озабоченного развратника. Я написал "Рассказики под экстази"[1], испытывал наркотические средства, так что я вроде бы ультраанархист. Одновременно меня причисляют к "новым ретроградам", потому что я критикую это общество, потому что время от времени я говорю себе: уничтожить все, все прежние ориентиры и схемы и ничего не построить взамен — скорей всего, это был не лучший метод.

Может, я и впрямь анархист-реакционер. Но меня это не расстраивает. Я еще вдобавок буржуа по происхождению. Что ни говори, раз уж родился в Нёйи-сюр-Сен, сойти за пролетария вряд ли удастся. Не могу сказать между тем, будто я отстаиваю семью, потому что женат и имею ребенка. Ведь я расстался с матерью Хлои, развелся и женился на другой женщине. На сей раз в мэрии, не в церкви. Впрочем, развод для буржуа стал явлением почти обычным. Однако я в самом деле сожалею о распаде семейной ячейки... Досадно, что не удается ее сохранить. Тем не менее я вовсе не читаю нравоучений, не призываю жениться и размножаться, не возвожу в ранг приоритетных нравственных ценностей большую, хорошую, крепкую семью с многочисленным потомством. Нет. Я всего лишь наблюдаю мир, какой он есть, — мир, к которому принадлежу сам. Так что, критикуя его, я критикую себя.

Ж.-М. Ф. Какие же ценности для тебя приоритетны? Какие хотел бы ты передать дочке, которая, очевидно, все в тебе перевернула?

Ф. Б. Тема обширна, боюсь наговорить по этому поводу банальностей. В передачах "реального" телевидения все чаще звучит: "Будь самим собой", "Оставайся самим собой". По сути дела, это популяризация (что прекрасно) фразы Ницше: "Стань тем, кто ты есть", а она восходит к сократовскому "Познай самого себя". Думаю, этим практически все уже сказано.

Моей дочери я попытаюсь передать вот что (не знаю, о таких ли ценностях мы говорим): пусть постарается узнать, кто она и для чего родилась, что она хочет осуществить, а главное, пусть приложит все силы для достижения этой цели.

Ж.-М. Ф. Неужели ты готов согласиться с тем, чтобы она занималась чем угодно? Полагаю, ты хочешь уберечь ее от ситуаций, которые причинили бы ей боль. Возьмем для примера какую-нибудь крайность — позволь тебя спровоцировать: ведь ты не хотел бы, чтобы твоя дочь стала наркоманкой, проституткой?

Ф. Б. Конечно, нет. Я — сын-анархист, но отец-ретроград! Даже если это, по-видимому, противоречит моему открытому анархизму, и при том, что я вовсе не осуждаю проституток. Разумеется, я хочу для моей дочки лучшего. А что ты ожидал услышать? Что я желаю ей выйти замуж, встретить хорошего парня, ходить по воскресеньям на мессу? Тоже нет! Вот уж был бы верный способ толкнуть ее к наркотикам! Я хочу, чтобы она была счастлива. Вот. А как — я не знаю. Я тут не властен... "Человек, способ употребления" — нет у нас такой инструкции, в этом главная проблема эпохи[2].

1. "ИЛ", 2001, № 11.
2. Автор намекает на название книги Жоржа Перека "Жизнь, способ употребления" (1978).

Ж.-М. Ф. Увы, есть масса обстоятельств, когда счастливым быть трудно. Однажды я ночь напролет колесил по Парижу в автофургоне для кемпинга в обществе самоотверженных людей, прочесывающих неблагополучные кварталы, и общался с неприкаянными, которым требовалась поддержка. В том числе и с проститутками из района Венсенского леса. Приветливый прием, кофе, помощь, а главное — диалог... Положение многих из них было ужасно. Ни одна из тех, кого я встретил, не была счастлива.

Ф. Б. Бывают, однако, ситуации, когда кому-то счастье кажется недоступным, а другой в том же положении счастлив. В "Американской пасторали" Филип Рот рассказывает историю человека, дочь которого становится террористкой. Они уже не способны не только понять друг друга, но и просто разговаривать. Отец сделал все, чего требовали критерии "порядочного общества", дал дочери хорошее воспитание, образование, но она уходит от него и занимается тем, что, по ее предположению, должно дать ей если не счастье, то, по крайней мере, своего рода удовлетворение. Она надеется обрести его в этой форме самореализации, пусть отчаянной.

Я по-прежнему большой анархист, а именно: я за легализацию легких наркотиков, отнюдь не против проституции — это неоспоримое явление реальности, существующее с самого начала человеческого бытия. Лучше попытаемся ее упорядочить, раз уж невозможно от нее избавиться. Если я теперь пе́речислю ценности, схемы, которым привержен, это будут лишь самые общие понятия: любознательность, великодушие, человечность (предлагаю заменить этой троицей девиз свобода-равенство-братство), смелость, вежливость, уважение, не повторять целый день "фу, бяка"...

Ж.-М. Ф. Быть счастливым, возможно, значит также уклониться от ответа!

Ф. Б. Наконец, что касается Хлои, я не стану запрещать ей познавать то, что она захочет познать. Кстати, насколько я себе представляю, ее воспитание не должно идти путем запретов. Часто запретное становится притягательным.

Ж.-М. Ф. Почему Хлоя? Борис Виан?

Ф. Б. Да, "Пена дней", Брет Истон Эллис в "Гламораме", и потом, первый когда-либо написанный любовный роман — "Дафнис и Хлоя" Лонга. В конце моего романа "Windows on the World", изданного год назад, есть фраза, которая точно резюмирует мои сегодняшние размышления: "Я — нигилист, не желающий умирать".

Глава IX
О *счастье*

Ж.-М. Ф. Похоже, ты счастлив, раз не хочешь умирать! Даже если твой нигилизм сильно смахивает на отчаяние избалованного ребенка.

Так ты счастлив или нет?

Ф. Б. Трудно сказать. Возможно, я боюсь быть счастливым.

Я частенько прячусь за цитатами, что поделаешь... Но хочется вспомнить, в подкрепление моего ответа, фразу одного малоизвестного автора дневника — Андре Бланшара, он записал: "Слово 'счастье' не на-

зовешь счастливой находкой". Это высказывание вполне созвучно моей мысли: быть счастливым, по-моему, невозможно. Счастье — бессмыслица. Всегда что-нибудь не ладится. В лучшем случае, я стараюсь держаться на плаву. "Счастье" — всего лишь слово. Как и "Бог".

По натуре я склонен к страху, тревоге, неудовлетворенности и готов признать, что люблю жаловаться, хныкать, пока меня кто-нибудь не утешит. Не думаю, что я способен быть счастливым. Может, это звучит претенциозно, но, мне кажется, у кого есть хоть крупица ума, тот может только грустить. Печаль мне нравится, я нахожу ее эстетичной...

А ты, Жан-Мишель? Ты счастлив?

Ж.-М. Ф. Нет, по совести, не могу этого сказать.

Ф. Б. Как? Даже несмотря на Божественный абсолют, как ты сам говоришь? Тебе этого мало?

Ж.-М. Ф. Я переживаю минуты счастья, но этого мне мало. Быть может, из-за того, что я люблю Бога не так, как Он меня и как я должен Его любить. Тогда, наверное, Его любовь переполняла бы меня счастьем, как святых. Быть счастливым — состояние длящееся, когда оно достигнуто, оно становится частью нас самих. Такое не спутаешь с мгновениями счастья.

Конечно, я счастлив, когда переживаю глубокие мгновения, некоторые дни или более длительные периоды. Но если твой вопрос относится к моей жизни, то даже до обрушившейся на меня кампании лживых обвинений, когда что-то во мне погасло безвозвратно, я не был счастлив, не могу этого сказать.

Ф. Б. Разве Бог не дал тебе ответа?

Ж.-М. Ф. Несмотря на всю мою любовь к Христу и на все, что Он мне дает, если быть честным с самим собой, я не могу сказать, будто купаюсь в счастье. Счастье — не "на лугу", а на Небе!

Ф. Б. Это очень серьезно! Когда так говорю я, со своей явной склонностью к пессимизму, тут сенсацией не пахнет. Но если ты, несмотря на Бога, несмотря на веру, делаешь такое признание, — это, на мой взгляд, поразительно. И я пытаюсь понять причину, даже если она связана с самым сокровенным.

Ж.-М. Ф. Моя тревога отчасти коренится в истории моей жизни. Ничего оригинального. Такое бывает со всеми. Страх связан и с тем, что я живу не сам по себе под стеклянным колпаком. Мои отношения с Богом — не замкнутая система: Бог, я — и больше никого. Конечно же, вокруг меня друзья, родные, общение с ними — повод радоваться, но в мире столько причин для боли — иногда совсем рядом, и, сталкиваясь с болью постоянно, я не могу не реагировать. Отношения с Богом — это еще не все, чтобы чувствовать себя счастливым; они не должны заслонять от нас мир, в котором мы живем.

Тревога сближает нас, несмотря на разность наших путей. Ты происходишь из католической семьи, которая стремилась воспитать тебя в вере. Моя семья не была религиозной. Родители записали меня на катехизис, потому что в то время каждый ребенок из любой семьи, верующей или нет, обязан был посещать эти занятия. Вечная зависимость от чужого мнения... И вот я, родившийся в семье, далекой от Церкви, стал епископом. А ты, кому родители постарались дать религиозное воспитание, говоришь, что у тебя нет веры. Встретившись сегодня, мы подводим итоги, проверяем свои глубинные убеждения и констатируем, что...

Ф. Б. ...Наши искания не увенчались...

Ж.-М. Ф. Да. Мы оба полны тревоги.

Ф. Б. А поверхностный взгляд со стороны: "они достигли настоящего социального успеха, один — епископ, книжки другого неплохо продаются, значит, они счастливы" — обнаруживает полную несостоятельность. Вдобавок, когда переживаешь личные испытания, подобные тем, через которые ты прошел два-три года назад, тревога только усиливается.

Ты был тогда в депрессии?

Ж.-М. Ф. Да. Но даже если не вспоминать тот мрачный период, по характеру я беспокойный пессимист, и это сочетается с верой. Для меня она жизненно необходима. Один Бог знает, что бы со мной сегодня стало, если бы не вера.

Ф. Б. Однако некоторые священники частенько немного упрощают и сулят сомневающимся блаженство с Богом: "Вера принесет вам счастье, Бог вас осчастливит, и потому верьте".

Ж.-М. Ф. Они говорят искренне. К примеру, один священник, от которого исходило необычайное сияние, — я отношусь к нему с восхищением. Порой я хотел ему сознаться, что не могу поверить, будто он живет в состоянии своего рода непрерывного блаженства. Это так меня занимало, что, помню, он мне приснился. И во сне в конце концов открыл мне, — странно! — что он играет, притворяется счастливым ради других.

Ф. Б. Итак, ты способен понять мое разочарование. Поиски счастья могут отравить нам жизнь.

Ж.-М. Ф. Верно. Вспомни Христа! Роль священника в том, чтобы уподобиться Христу, а пребывание среди людей, как известно, не всегда одаривало Его счастьем. Мы видим Его слезы! Когда в конце земного пути Он отдает жизнь ради спасения людей, Он испытывает страх.

В самом деле, большинство считает (по крайней мере, так кажется), будто священник не может быть несчастлив. Люди принимают его сочувствие к их горю, но, сталкиваясь со страданием священника, они смущаются.

Ф. Б. К психотерапевту идут не для того, чтобы слушать про его невзгоды, — предпочитают, чтобы он был спокоен, как дзен-буддист, и всегда в форме.

Ж.-М. Ф. Да, но психотерапия основана только на выслушивании пациента, чтобы он мог сам осознать, в чем его беда. Священник должен выслушать, а также разделить боль страждущего, преисполниться сострадания и одновременно иметь счастливый вид. Но ведь он человек из плоти и крови, как все остальные. И так же переживает страдания, испытания, упадок духа, сомнения. Вместе с тем слабости не ставят под сомнение его миссию. Быть может, значимость и сила этой миссии еще возрастают от того, что, выполняя ее, приходится страдать.

Готовя будущих священников к проповеди, я советовал им приблизить ее к людям, каким бы ни был повод: радость или горе. "Начните с того, что́ разделяем все мы, верующие или неверующие, особенно когда вы служите на похоронах". Я и сам пережил подобное, когда отпевал детей — жертв несчастного случая на дороге. Веруете вы или нет, вас переполняют гнев и возмущение! Если священник произносит прекрасную проповедь, не учитывая прежде всего этого гнева и возмущения,

то — повторяю — к кому бы он ни обращался, к верующим или неверующим, он не будет услышан. Непонимание — вот что он испытывает, как и все присутствующие. Он так и должен сказать: "Я не понимаю. Этому ребенку три года — и он умер?" Только разделив скорбь людей, можно пережить мгновение счастья в свете веры, в свете того, что́ вера дает нам при таком страшном испытании. Соединимся со страждущими в общих переживаниях, вызванных гибелью ребенка. Первая человеческая реакция — неприятие, возмущение, когда — повторяю — мы говорим Богу: "Не понимаю!"

Ф. Б. Я не прерывал тебя, потому что, мне думается, ты прав, напоминая о том, что священник — тоже человек. Он испытывает сомнения, страдания, возмущение и должен сказать, что он — такой же, как все. Это значит, что Церкви предстоит еще немало продвинуться в этом отношении. В наши дни для многих, и для меня в том числе, католический священник — что-то вроде НЛО, ведь от него требуют невозможного и, в частности, жить совсем не так, как живут другие. Как он может быть счастливым при всех ограничениях, запретах?

Ж.-М. Ф. Я говорил: ему знакомы мгновения счастья. Мне хотелось бы привести в пример то состояние, когда священник глубоко переживает свою связь с Богом, пребывание в лоне Божием, в полном единении с Ним. Когда такое происходит со мной (а это бывает нередко), в эти глубокие моменты счастья я почти физически ощущаю связь с Богом. Меня наполняет своего рода блаженство, в этот миг я чувствую себя счастливым. Да, когда я в полном единстве с Богом, я счастлив.

Понимаешь, что я испытываю в такие минуты? Состояние блаженства, которое кое-кто пытается обрести с помощью особых средств.

Ф. Б. Намекаешь на тех, кто готов с этой целью подсесть на кокс или воспользоваться "бульбулятором"[1]? Тем не менее, если б, как ты выражаешься, "особые средства" не действовали, не оказывали эффекта на потребителя, не было бы ни дилеров, ни мафии "счастья".

Ж.-М. Ф. С моей точки зрения, речь идет скорее о наслаждении и бегстве от реальности.

Ф. Б. Так и есть. Можно говорить о бегстве. Наверное, в этом разница.

Ж.-М. Ф. Возвращаюсь к моему вопросу: приходилось ли тебе испытывать такие мгновения счастья?

Ф. Б. В свою очередь, повторюсь. Когда родилась дочка, в то мгновение меня коснулось счастье. Сначала мне протянули сверток, что-то шуршащее, синее и довольно липкое. А потом это что-то открыло глаза и... никогда у меня не было таких необыкновенных ощущений! Знаешь, что я ей сказал? "Добро пожаловать". Она смотрела на меня, и мне ее вручили. Произнесу банальность, в которую, однако, верю: кто не пережил этого, тому не понять.

Занимаясь любовью с кем-то, кого мы любим, кто любит нас, мы тоже прикасаемся к счастью. Опять-таки, ты не знаешь, что упускаешь... Конечно, это источник удовольствия, но и нечто гораздо большее. Нечто вечное. Я помню каждый из моих лучших оргазмов. Могу точно указать дату и место десяти моих высших достижений, да-да! Наркотики, алкоголь после этого — лишь мимолетные радости. Да и слово "радость"

1. Приспособление (род кальяна) для курения наркотиков.

тут — преувеличение. Пожалуй, это способ отвлечься, сбежать, забыть тревогу.

Ну и что, спросишь ты: одурманившись на славу и удачно с кем-то переспав, становишься счастливым? Как сказал Бодрийяр: "Что делать после оргии?" Апокалиптический гедонизм Запада — это бегство вперед, к роскоши, комфорту, потреблению,— доходит до стадии, когда наступает отвращение. Пусть у тебя хоть три спортивных машины, и ты спишь с моделью, и вхож в "VIP Room" и тому подобные модные заведения — счастливым от этого не будешь. Стало быть, чего-то не хватает. Может, как раз в этом заключается последний шанс для Церкви? Вероятно, последний шанс Бога — разочарование, к которому мы, кажется, близки, в частности, когда замечаем урон, нанесенный окружающей среде, природе, потепление на планете, разрушение всего, что любим. Возможно, в какой-то момент человек осознает происходящее, что приведет нас, допустим, не к Богу, но к новой иерархии приоритетов. В чем смысл нашего присутствия здесь? Я стараюсь быть оптимистом, двигаясь в том же направлении, что и ты. Например, я имею в виду романы Венсана Равалека "Венди 1" и "Венди 2", где речь идет о колдовстве, шаманизме, но также о Боге, "Театр операций" Мориса Ж. Дантека, где много говорится о его обращении в католичество. Я думаю о романах Уэльбека, проникнутых сожалением об отсутствии абсолюта. Визит в таиландский публичный дом не возвысит тебя в собственных глазах. Все эти романы, как и произведения Камю, Сартра и других, рассказывают истории потерянных людей. Такова характерная черта литературы XX века, описывающей блуждания людей без Бога.

Глава XVII
О *светском характере общества и об исламе*

<...>

Ф. Б. В конце XIX века Республика ощущала угрозу со стороны Церкви, а сегодня христиане, похоже, чувствуют, что Республике угрожает ислам?

Ж.-М. Ф. "Христиане": ты хочешь сказать — "граждане"? Какие из существующих феминистских движений выступили в защиту женщин-мусульманок? Много ты видел таких, кроме одного, недавно возникшего, — "Ни шлюхи, ни рабыни"[1]? Меня поражает это молчание, это бездействие. Мы капитулируем перед сутью проблемы.

Ф. Б. Когда я был ведущим "Гипершоу", меня поразило одно обстоятельство: можно было ставить скетчи, направленные против Иисуса, но только не против Магомета. Как будто дозволен только один вид расизма — антихристианский...

Что такое хиджаб? Обычай, мода, способ обрести укрытие, принадлежа к определенной группе, мера ограждения отрочества, вроде тех, что затронули всех нас, целомудренное требование защиты от эротизации общества, следствие радикализации одного из течений ислама?

1. "Ni putes ni soumises" (NPNS) — женское движение во Франции, организационно оформившееся в апреле 2003 г.

Ж.-М. Ф. Нося хиджаб, мусульманка показывает, что она покорна Богу. Таков точный смысл этого мусульманского слова: "покорный". Это зримый для всех знак ее покорности и принадлежности к общине. Однако разных интерпретаций и осмыслений не меньше, чем женщин, носящих хиджаб. А запрет демонстрировать внешние — явные, подчеркнутые — знаки религиозной принадлежности в образовательных и административных государственных учреждениях имеет границы, с трудом поддающиеся определению. Что делать, если мужчина отпускает бороду? И какую бороду? И т. д.

Интересно отметить, что все больше молодых католиков носят крестик на шее. Может быть, это ответная реакция? Может быть, они стремятся утвердить свою самобытность в анонимно-безразличном обществе? В 1949–1950 годах в Марселе, будучи ребенком, я принадлежал к некой группе — движению "Отважные сердца", организованному наподобие скаутского. Мы должны были достигать определенных ступеней, а в награду вручался цветной крест: голубой, красный и т. д. Поднявшись на одну из ступеней, я с гордостью нацепил свой крестик на серую блузу, и директор школы немедленно заставил меня этот самый крест снять. Таково было наследие закона 1905 года[1].

Ф. Б. В США свобода открыто заявлять о своей религиозной принадлежности не ограничена. Нет закона, который запрещал бы публично выражать свои убеждения, даже для ку-клукс-клана или неонацистов, которые, кстати, не стесняются устраивать уличные демонстрации под защитой полиции. Не способствует ли непредвиденный эффект этого религиозного либерализма замкнутости общин? И в этом плане не ведет ли издание законов к тем же последствиям, что и отсутствие законов?

Дени Тиллинак написал книгу "Бог наших отцов, или Защита католицизма", где он упрекает нас, французов, в том, что мы не знаем своей истории, связанной с христианством, и ведем себя так, будто все религии равноценны. Он добавляет, среди прочего, что отношение к католицизму и исламу не должно быть одинаковым, потому что католицизм составляет часть истории нашей страны и Европы, чего не скажешь об исламе.

Как ты относишься к этой точке зрения?

Ж.-М. Ф. Я читал книгу, и мне самому трудно принять факт отрицания первостепенного значения христианства в нашем обществе. Даже когда отрицание принимает форму сознательного умолчания, что можно отметить далеко не только в европейской Конституции. Такое отрицание, или "забвение", слишком часто оправдывают принципом светского характера общества.

Ф. Б. Духом политкорректности, боязнью расизма?

Ж.-М. Ф. Каковы бы ни были основания, допуская это отрицание, мы можем прийти к нелепым последствиям: зачем тогда сохранять, к примеру, григорианский календарь, где что ни день, то праздник какого-нибудь святого? Между тем все светское западное общество живет в ритме календарной реформы папы Григория XIII.

Ф. Б. Благо ли это? Я решительный сторонник более светского характера общества, хотя новый закон нередко понимают — особенно за границей — как реакцию страха перед тем, что некоторые называют "вторжением иммигрантов". Из-за успехов крайне правых на выборах и

1. Имеется в виду закон об отделении церкви от государства.

запрета носить хиджаб в школе и общественных учреждениях нас сразу представляют чуть ли не расистской нацией. Достаточно послушать некоторые голоса с Востока, призывающие на борьбу с крестоносцами. Хотя сегодняшний Иерусалим — один из узлов израильско-палестинского конфликта, для радикальных исламистов священный город трех монотеистических религий все еще отмечен шрамом Крестовых походов.

Ж.-М. Ф. Вот так историю современных конфликтов возводят к другим эпохам, где предвзятый взгляд находит им обоснование.

Ф. Б. Что касается интеграции, которая якобы полностью провалилась, то речь идет о понятии, отвергнутом французскими мусульманами. Как можно говорить об интеграции религиозной группы? Если они французские граждане, с какой стати, здраво рассуждая, смотреть на них как на особую категорию населения? Вопрос деликатный, и, желая лучшего, легко впасть в позитивную дискриминацию. Однако следует поддержать открыто мыслящих мусульман, причем во всем мире. В частности, в Магрибе многие говорят: "Мы против ношения хиджаба, помогите нам выстоять. Не предавайте нас". Им необходима поддержка демократов, чтобы выступать против интегристов и фанатиков.

Замечу, что папа осудил Крестовые походы и принес торжественные извинения еврейскому сообществу, индейцам Латинской Америки и т. д. Почему бы высшим мусульманским авторитетам не поступить так же? Им следовало бы попросить прощения за гнусности, совершаемые во имя Корана!

Турция, по-моему, образцовая страна в плане светских принципов. Запрещая открытое ношение религиозных символов в общественных учреждениях, Турция установила демократическую систему западного типа — и это в стране, на 99 % мусульманской. Вот еще одно доказательство (можно считать его парадоксальным), что закон, который слишком часто трактуют как посягательство на свободы, принуждает людей быть свободными. Все же туркам предстоит еще пройти немалый путь: я не забываю, что женщина там подчинена мужу и семейному клану, и помню о всевозможных крайностях, которые отсюда следуют.

Ж.-М. Ф. Соблюдения законов недостаточно, чтобы устранить все опасности. Все виды фундаментализма, экстремизма коренятся в одной и той же почве, все в том же отчаянии. Утопии XX века — утопии фашизма или коммунизма — продавали народам мечты; одна из них заключалась в том, чтобы избавить людей от Бога. Активисты движения верили в это сами и заставляли верить других. Они утверждали, что понятие Бога должно исчезнуть. Для них Бог умер. Мы знаем, что было дальше.

Ф. Б. Это лобовое столкновение, случившееся в прошлом веке, в итоге открыло нам, что коммунистическая утопия проиграла утопии религиозной. Сегодня у нас есть тому доказательство. Проблема состоит в том, что религиозная утопия в свою очередь сталкивается с капиталистической утопией. Надо подчеркнуть, что христиане все же участвуют в праздниках компартий, в движении антиглобалистов, в социальных форумах и пр.

Ж.-М. Ф. В наши дни экстремисты всех мастей пророчат нам пресловутое "столкновение цивилизаций" как неизбежность. Что ты об этом думаешь?

Ф. Б. Мне кажется, это большая ошибка. В рамках каждой религии происходит столкновение между интегристами и прогрессистами. Зна-

чит, надо поддерживать внутри религий открытые течения, в противовес радикальным.

Но я упрямо повторяю, что, когда общество развивается и модернизируется, религиозный фактор отходит на второй план и перестает быть главной движущей силой. Мы это видели во Франции и — шире — в Европе в течение последнего столетия.

Мне кажется, религиозная одержимость народов гораздо сильнее, когда они лишены другой пищи, когда они испытывают экономическое насилие, своего рода политическую подавленность, которые вызывают ощущение западного господства. Тогда терроризм становится для них единственным способом борьбы. Вот дополнительное основание, чтобы добиваться мира на Ближнем Востоке и помогать бедным странам, это один из путей ослабить разрушительные проявления радикализма. Мы уже не в XIX веке, когда христианство несло успокоение обездоленным всех стран, внушая им: "Смиритесь!"

Ж.-М. Ф. Напомню тебе, что смысл вести Христа и Церкви побуждает добиваться сокращения разрыва между богатыми и бедными, то есть — сегодня — между Севером и Югом, ради того, чтобы на земле прибавилось справедливости и, как следствие, стало меньше насилия.

Ф. Б. Да, но у нас, среди западных христиан, тоже есть свои фундаменталисты. Некоторые из них даже заявляют, что религиозный терроризм — новое испытание, посланное нам Богом, и что сам по себе ислам — часть этих испытаний. Другие цепляются за мессу на латыни, упорно носят шелковый платок или бреют голову — проявления пассеизма, выражение паники, вызванной изменением общества и нравов. Не стоит забывать и о еврейских интегристах. Мы полагаем, что нет ничего общего между всеми этими экстремистами, рассеянными по свету, но их роднит ортодоксальность, нетерпимость и даже дух насилия, которым проникнуты их идеи.

Ж.-М. Ф. В Европе началось христианское пробуждение. Единственный его плюс, на мой взгляд, — не в том, что оно будто бы является реакцией на недавнее массовое появление мусульман на Западе, как твердят медиа, но, скорее, в противодействии своего рода параличу, или спячке, в которую погружены христианские народы. Я рад, что заново открыта христианская весть с ее безграничным богатством.

Ф. Б. Наше богатство прежде всего в нашей свободе: в том, чтобы женщины, например, имели право носить мини-юбки, не закрывали лицо, могли работать, чтобы супружеская неверность не становилась поводом для побивания камнями, чтобы я всю жизнь был волен съесть бутерброд с ветчиной без каких-либо проблем (как многие беарнцы, я просто помешан на колбасах, ветчинах, окороках и тому подобных гастрономических изделиях!)... Список можно продолжить, распространяя мою мысль на все религии.

Поскольку настоящее положение вещей в духовно-религиозном плане создает больше проблем, чем дает решений, значит, надо биться за атеизм и светские принципы, так как сегодня эти ценности находятся под угрозой. И потому я, со своей стороны, проповедую глобализацию светского характера общества, благодаря которой со временем можно будет решить религиозные конфликты. Мальро в конце концов оказался прав: XXI век — век духовности, но если продолжать так же стремительно двигаться по этому пути, XXI век оборвется в начале.

Глава XVIII
О нравах

Ф. Б. Ты всю жизнь общался с людьми, ты видел, как менялось общество, и, конечно, заметил, что после Мая 1968 года неуклонно шел процесс либерализации нравов. Сексуальное освобождение 70-х годов сопровождалось воодушевлением, в результате чего, видимо, усилилась своего рода гонка за удовольствием – бешеная, как никогда. Как ты воспринимаешь эту эволюцию? Что это: благо или зло?

Ж.-М. Ф. Вряд ли возможен такой манихейский ответ. Если ответить на твой вопрос твоими же словами, полагаю, что результаты сексуального освобождения 70-х годов скорее отрицательны. Пора уже серьезно задуматься о последствиях, которые может иметь для молодых людей то, что ты называешь "либерализацией нравов", "бешеной гонкой за удовольствием". Как пережить этап отрочества в условиях засилья порнографии, всеобщий доступ к которой открывают журналы, фильмы, Интернет, – вот что меня тревожит. Крайне необходимо восстановить ориентиры для молодежи и вернуться к евангельским основам, способствующим развитию цивилизации любви. Любовь – лучшее, что есть в человеке, – проявляется и в его доброте к ближнему, и в любовных отношениях между мужчиной и женщиной. Конечно, романтизм зарождается одновременно с половым созреванием и пробуждением чувств, но если начиная с этого периода подросток вопринимает порнографические изображения как единственную информацию о сексуальности или даже просто усваивает представление, что "все возможно, как я хочу и когда хочу", то я опасаюсь, что это может пагубно повлиять на его взрослую жизнь и жизнь в браке.

Ф. Б. Ты боишься, что эти "отклонения" поощряют мачизм, взгляд на женщину как на объект секса, групповые изнасилования, групповой секс?.. Не думаешь ли ты, что лучше поставить человека перед истиной, открыто показать существование этих явлений, чем оставаться при былом ханжестве, подпитываемом религиями? Эротика, разврат и порнография были во все времена. Секс во все времена правил миром, это реальность, которая распространяется на всю историю человечества. Секс – основа человека!

Ж.-М. Ф. Да, но раньше не было Интернета, не было каждодневного пережевывания этой темы, которое навязывают нам медиа. Прежде всего, порнография и все, что связано с сексуальностью, становится для молодежи обыденным явлением, и именно это, как мне кажется, чревато последствиями. Порнография превратилась в нечто вроде параллельного воспитания подростков, которые развиваются под постоянным влиянием сексуальных образов. То, что некогда считалось непристойностью, сегодня загрязняет общественное пространство. Началось с рекламы, которая раздевает женщину на афишах и на телеэкране. Это уже не просто банально, это стало необходимым, обязательным. Скоро реклама без обнаженного тела станет исключением. К этим образам, которые нам преподносят как эстетический объект, добавилось нечто большее: эти ню предстают перед нами во все более откровенных, чувственных, эротичных позах, придающих им соблазнительность. Явление становится привычным, и "креативщики"

вынуждены идти еще дальше. Несколько телеканалов начали демонстрировать эротические фильмы, потом, постепенно, чтобы привлечь определенный круг телезрителей, – порнографические фильмы. Думаешь, детям двенадцати-тринадцати лет полезно открывать для себя феномен сексуальности, воспринимая эти образы?

Ф. Б. Согласен, такая инициация, пожалуй, грубовата. Все же я не рекомендовал бы возвращаться к прежнему методу, который сводился к табуированию этой темы, – в былые времена для молодых людей, ничего не знавших о своем теле, первый сексуальный опыт оборачивался травмой. Уж лучше гинекология крупным планом "на телеэкране", чем невежество, фрустрация, отношение к сексу как к чему-то постыдному. Что касается сигарет, общество осознало вред табака и помещает на сигаретных пачках предупреждение о смертельной опасности курения. В порнографических фильмах, снятых в последнее время, партнеры используют презервативы: это способствует борьбе со СПИДом.

Ж.-М. Ф. Вопрос не стоит о выборе одной из двух возможностей. Разве нельзя представить себе кампанию по пропаганде презервативов без порнографии?

Когда я думаю о таких крайностях, я говорю себе, что, наверное, это подмена утраченной опоры – религиозных и человеческих ценностей.

Ф. Б. Когда религии сдают позиции, на их месте остается духовная пустота, и человек спешит заполнить ее сексом, превращая нарушение нормы в новую норму. Он пытается найти успокоение в телесном контакте. Отсюда клубы обмена половыми партнерами, групповая любовь. Все тела взаимозаменимы!

Ж.-М. Ф. Судя по количеству рекламы, которую я вижу в прессе, эти "обменные" заведения пользуются определенным успехом. У меня, конечно, слишком идеалистические взгляды на любовь и отношения между мужчиной и женщиной. Я не в состоянии понять, как двое, если они любят друг друга, могут согласиться пережить такую ситуацию.

Ф. Б. Не "согласиться", а сознательно пойти на это в поисках новых ощущений.

Ж.-М. Ф. Прежде чем вынести суждение с нравственной точки зрения, повторяю: не понимаю! Ты называешь это "либерализацией", а я – рабством.

Ф. Б. Надо отделять секс от любви. Этот тип поведения был всегда: поиски чистого, если можно так выразиться, сексуального наслаждения. Но в дело вмешивалась Церковь, общество налагало свои запреты, и развратников, обвиненных в групповых дьявольских штучках, побивали камнями. Моральные табу ушли в прошлое. Надо позволить людям переживать свою сексуальность, как им угодно, только не стоит, конечно, вменять в обязанность обмен партнерами! А к тому идет. В некоторых кругах, если ты этим не занимаешься, тебя считают безнадежно отсталым. Я оставляю за другими свободу поступать по своему желанию и, пожалуй, нахожу здравым то, что в 70-е годы, в эпоху сексуального освобождения, Катрин Милле решила поставить такого рода эксперимент и теперь рассказала о нем в книге, которая возбудила восторг масс[1].

1. Известный художественный критик, главный редактор журнала "Арт-пресс" Катрин Милле выпустила нашумевшую книгу "Сексуальная жизнь Катрин М.".

У меня есть теория насчет обмена партнерами: людям надоела верность, и, чтобы избавиться от ее оков, они все чаще предаются адюльтеру. Я тебе уже высказывал свое мнение о противоестественном принуждении к верности. Идея, будто надо во что бы то ни стало прожить всю жизнь с одним и тем же человеком, устарела.

Ж.-М. Ф. Супружеская измена и обмен партнерами — не одно и то же!

Ф. Б. Это измена под контролем обоих участников. Вместо того чтобы лицемерить и лгать друг другу, лучше изменять с согласия супруга и с партнерами, которых больше не увидишь. Таково последнее достижение верности.

Ж.-М. Ф. Увы, сегодня у людей на первом месте не верность другому, а прежде всего верность себе, своим удовольствиям! Твое рассуждение достойно внимания, но замечу: ты мне сказал, что этим не увлекаешься.

Ф. Б. Больше не увлекаюсь, но и не осуждаю. Я нахожу позитивным, что становится все меньше табу. Секс — совершенно нормальная часть нашей жизни, без которой нас бы тут не было, не мешает об этом напомнить, так как борцы против порнографии частенько забывают, что их родители обладали друг другом как одержимые.

Ж.-М. Ф. А ты забываешь об огромном большинстве тех, кто произвели детей в любви, без всякой одержимости. Я тоже не осуждаю, как тебе говорил, но не понимаю — не только практику обмена партнерами, но и эксгибиционизм, который заставляет людей делиться впечатлениями перед телекамерой (чтобы проинформировать таких невежд, как я) в псевдопсихологической передаче. Нам подают явление, будто бы анализируя его под углом зрения социологии, в рамках дискуссии о новых типах сексуального поведения на Западе, чтобы обеспечить алиби изображению и облечь его в интеллектуальную форму. Участники, заранее согласившиеся сниматься в этой ситуации, дают интервью. Любовь из акта созидания превращается в увеселительное мероприятие.

Ф. Б. Это объясняется неодолимо притягательной силой экрана. Вспомни слова Екклесиаста: "Суета сует, все суета".

Ж.-М. Ф. Сегодня этот вид массовой информации играет, наверное, ту же роль, что религия у языческих народов.

Ф. Б. А боги — известность, слава, богатство.

Ж.-М. Ф. Когда ребятишкам задают вопрос, каким они представляют свое будущее, некоторые отвечают: "Не знаю, но я хотел бы стать знаменитым". Что ты об этом думаешь?

Ф. Б. Обычно слава и богатство неразделимы. Такова суть мечты, которую продает нам телевидение в своих сериалах. Слава превратилась в опиум для народа, заменив религию. Веками человек верил в Бога. Сегодня он жаждет стать Богом.

Ж.-М. Ф. Да, а рядом со славой — лесть, даже на уровне самых пошлых представлений. Людей запирают на вилле, на острове, на ферме, а если они занимаются любовью перед камерой, тем интереснее. Зритель следит за их непристойностями, родственники или друзья, призванные в свидетели, поверяют нам тайны вкусов и сексуальных пристрастий кандидата, и этого достаточно, чтобы создать звезду! Брак, верность, любовь сданы в архив, добытую любой ценой известность проповедуют как единственную ценность.

Ф. Б. Это новая религия. Жажда славы и денег явилась заполнить пустоту.

Ж.-М. Ф. Я даже задаюсь вопросом, что важнее: деньги или потребность в признании. Наше общество: "метро-работа-сон" – настолько анонимно, что в ход идут самые неожиданные способы добиться признания. Например, говоря о мотивации действий тагеров, многие ставят на первое место их стремление заявить о себе: ради этого они запечатлевают на стенах и в умах людей собственную подпись. Для них это способ стать незабываемыми. Некоторые готовы на все, лишь бы существовать. Даже на убийство. Вспомним человека, который "казнил" Буске[1]. Он убивает, а затем появляется в средствах массовой информации и признается в убийстве! Для "великих жрецов" – ведущих теленовостей – это было даром небес. Телевидение осуществляет духовную власть, диктуя, что хорошо, что плохо. В былые времена люди сходились в полдень на молитву. Сегодня они собираются в восемь вечера перед экраном. Акценты дня определяются не молитвой, а важными телевстречами.

Ф. Б. Уже не колокол призывает паству собраться перед алтарем: в считаные секунды титры объединяют миллионы адептов по всей стране. О чем священникам остается только мечтать. Это нескончаемое зрелище: образы телеэкрана, кино, видеоигр, рекламы – формирует мышление.

Ж.-М. Ф. Кстати, сами термины: "сетка", "канал"[2] – красноречиво свидетельствуют об отношениях между телезрителем и его малым экраном.

Ф. Б. Добавлю: "зэппинг", что характерно для моего и последующих поколений. Этот рефлекс настолько вписался в нашу действительность, что мы уже не замечаем, когда реально "переключаемся на другой канал". Если на званом ужине меня одолевает какой-нибудь назойливый тип, я "переключаюсь" с него на другого. "Зэппинг" вошел в привычку, я постоянно пользуюсь им в жизни. То же самое с телефонными сообщениями – эсэмэсками, которые я строчу, как из пулемета. Человек XXI века наращивает скорость, потому что он патологически нетерпелив, ему невтерпеж сменить один объект потребления (что-то или кого-то) на другой.

Служители Бога не могут и не должны игнорировать это не знающее меры потребление. Это факт. К примеру, ты уже смотрел порнографические фильмы?

Ж.-М. Ф. Да, отрывки видел. Я тоже занимаюсь "зэппингом", как все.

Ф. Б. И ты шокирован тем, как используется тело?

Ж.-М. Ф. Да. В этом мы с тобой сильно расходимся.

Ф. Б. Половой акт должен быть возведен в норму. Хватит налагать на него запреты и карать возмущением. Зачем приписывать ему что-то сатанинское, слишком серьезное? Мне приходилось испытывать приятные моменты с особами, в которых я не был так уж влюблен. Сексуальная жизнь не священна. Это просто действия, как любые другие, цель которых – получить удовольствие.

1. Рене Буске – бывший глава вишистской полиции. Прокуратура, куда были направлены обвинительные материалы против Буске, вела расследование, однако до суда дело не дошло, поскольку Буске был застрелен на пороге собственного дома.
2. Во французских терминах явно звучит идея порабощения: grille – "сетка" и "решетка", chaîne – "канал" и "цепь".

Ж.-М. Ф. "Получить удовольствие"! Я могу понимать это только как обоюдный вклад в полноту любовных отношений.

Ф. Б. Тебе трудно понять вещи, связанные с сексом, опять-таки из-за незнания темы. Ты не практик!

Ж.-М. Ф. Но другие "практики" разделяют мое мнение! Между тем ты забрасываешь меня вопросами, а сам отмалчиваешься: похоже, ты не хочешь касаться некоторых пунктов. Я, не колеблясь, обсуждаю с тобой чуть ли не скабрезные темы, а вот ты остерегаешься открыться.

Ф. Б. Тайна исповеди меня защищает, в отличие от бесстыдства литературы. Ладно, я могу во всем тебе признаться. Действительно, в далеком прошлом мне хотелось познакомиться с экспериментами в клубах по обмену партнерами. Тебе известна моя любознательность! Я многое испробовал за свою короткую жизнь.

Ж.-М. Ф. "Утолив" свое любопытство, ты возвращался туда еще?

Ф. Б. Да, но я тебе сказал, это в прошлом. Я — не образцовый распутник, хотя в пору холостяцкой жизни, бывало, заводил по нескольку невест одновременно. В сексуальной игре без чувства, только ради самого акта, есть возбуждающие моменты. Вообще, конечно, лучше, когда есть любовь, в таком случае все это превращается в событие, которое принимает совсем иное значение. Порой доходит до того, что у слишком влюбленного мужчины пропадает желание!

Ж.-М. Ф. К другим ты относишься с большой терпимостью, ты так же терпим к себе и к близким? Ты бы согласился увидеть любимую женщину в объятиях другого?

Ф. Б. Поскольку я скорее пессимист по натуре, если это когда-нибудь должно случиться, я бы предпочел быть информированным.

Ж.-М. Ф. Ты бы ревновал?

Ф. Б. Еще бы. Я ревнивец и собственник. Знаю, я проповедую либерализм нравов, говорю и думаю, что никто никому не принадлежит, но в то же время я обнаруживаю мещанские чувства. Противоречий у меня хоть отбавляй! Будучи влюблен, я должен найти в себе силы принять счастье любимой женщины, даже если ее осчастливит другой мужчина. Если я люблю, то не для того, чтобы женщина мне принадлежала, но чтобы она была счастлива. Возможно, это легкомысленно, но я считаю, что требование верности ведет к фрустрации — ненужному страданию. Ничто не мешает любви и уважению к другому. Итак, если это сделает ее счастливой, да, я соглашусь, пусть она найдет счастье с другим мужчиной. Теоретически, на худой конец! Говоря точнее, я не жажду столкнуться с таким фактом!

Ж.-М. Ф. Кажется, ты не очень убежден в том, что утверждаешь, и это меня радует. С удовольствием отмечаю, что образ либертина-нигилиста побледнел.

Ф. Б. Я говорю, не имея опыта, так что все лишь предположительно. Я хорошо сознаю, что проглотить пилюлю было бы непросто.

Мы уже затрагивали вопрос верности в главе про общество, но я на мгновение вернусь к нему, чтобы подчеркнуть реалии, на которые не стоит закрывать глаза. В нашей цивилизации эфемерных желаний нет ничего невозможного в том, чтобы пресытиться телом, продолжая все же любить человека, и искать встреч с кем-то на стороне. Можно ведь представить себе потребление двух продуктов одновременно. Йогурт и крем-брюле, вместе или по очереди. Понимаю: так говорить ужасно, од-

нако это реальное положение вещей. В наши дни любовь становится все более мимолетной, пары легко расстаются, и я убежден, что желание — тот же скоропортящийся продукт: со временем оно ослабевает.

Бог, кажется, создал нас по своему образу. Так будем пользоваться нашим телом — божественным, прекрасным, не превращаясь тем не менее в его рабов. А если секс может укрепить любовь, тем лучше!

Ж.-М. Ф. Достойно сожаления путать любовь и желание, и меня поражает, что ты говоришь о "другом" как о предмете удовольствия. Человек не вещь.

Ты играешь выражением "человек — образ и подобие Божие" как аргументом, хотя всем известно, что смысл этой метафоры не имеет отношения к назначению тела.

Некоторые пользуются своим телом так же, как животное, которое хочет спать и спит, хочет есть и ест, реагируя только на инстинктивные побуждения. Человек — это все же нечто большее! У нас есть понимание, разум, контроль.

Ф. Б. Может, нам стоит поменьше морализировать и легче мириться с животным началом в себе?

Ж.-М. Ф. Это "животное начало" (оставляю за тобой выбор слова, которое мне не нравится), погоня за удовольствием во что бы то ни стало — удовольствием, а не счастьем, — удаляют людей от Бога... если только не наоборот: отдалившись от Бога, люди возвращаются в своем поведении к животному состоянию. Торговля телом, которое рассматривается как товар, обретает сегодня неслыханные масштабы. Проституция никогда не достигала такого размаха, как теперь, с вовлечением все более юных существ, нахлынувших с Севера, с Востока, из Африки. Может быть, раньше та христианская мораль, против которой ты выступаешь, защищала молодых людей менее богатых стран, чем наша.

Ф. Б. Я против этого рабства, против торговли девушками, и если я все же поддерживаю открытие публичных домов, дело в том, что таким образом проституцию легче контролировать, как происходит в Голландии, Германии и т. д., а вместе с тем уменьшается опасность для девушек попасть в зависимость от сутенеров. Я за то, чтобы разрешить любые сексуальные действия между взрослыми людьми при условии добровольности. Точно так же я поддерживаю порнографию и "секс-шопы". Относительно довода, суть которого в том, что телевидение и специализированные магазины превращают секс в банальный факт, а в результате появляются новые буйные душевнобольные, то, не будучи криминологом, могу утверждать и обратное. Если маньяки удовлетворяют свои порочные склонности, созерцая изображения в видеофильмах категории X, быть может, это удерживает их от перехода к действиям.

Ж.-М. Ф. Все же мне представляется, что пятьдесят лет назад серийных убийц было меньше.

Ф. Б. Тогда не было такой широкой информации о происшествиях... Я выдвигаю всего лишь интуитивные гипотезы. Не выдаю себя за специалиста. В чем я не сомневаюсь, так это в том, что сокрытие истины за непроницаемой стеной безнравственнее, чем нынешний эксгибиционизм. По-моему, молчание опаснее, чем полная прозрачность.

Возьмем для примера гомосексуализм: множество мужчин и женщин переживали тяжелые психологические проблемы, подавляя или со стыдом скрывая свою любовь к лицам того же пола. К счастью, сегодня

в Европе и те и другие могут свободно раскрывать свои возможности, занимать важные общественные посты, избираться мэрами, депутатами, сенаторами, назначаться министрами. Это показывает, насколько развилась способность принимать другого с его отличиями.

Ж.-М. Ф. Это правда, и я добавлю, сколь важно обличать враждебность к гомосексуалистам. Смущает меня вот что: демонстрация боевой активности и стремление убедить общество в том, что разнополые и однополые пары ничем не отличаются.

Семью составляют мужчина и женщина, а не двое мужчин или две женщины. В природе царит взаимодополняемость, в ней — источник жизни. Союз подобных бесплоден. Гомосексуалисты не выбирали своего естества и не заслуживают, чтобы их в чем-либо ущемляли или относились к ним агрессивно.

Ф. Б. Значит, ты отрицаешь их право любить друг друга, жить совместно, вступать в брак?

Ж.-М. Ф. Кто я такой, чтобы отрицать его? То, что представители одного пола могут любить друг друга, нравится это кому-нибудь или нет, — реальность. Однако несколько аспектов мешают мне принять "весь пакет" целиком — совместную жизнь, PACS[1], брак и, в особенности, усыновление детей... именно этот пункт, прежде всего, вызывает у меня вопросы. Можно понять, что люди хотят воспитывать детей, что от прежних гетеросексуальных отношений у них есть дети, которых они растят до совершеннолетия. Однако я по-прежнему думаю, что для гармоничного развития ребенку необходимо иметь рядом с собой мать и отца, а не двух женщин или двух мужчин. Мы говорим о праве, но что мы делаем с правами ребенка? У нас еще нет достаточной временной дистанции, позволяющей утверждать, что никакие последствия не угрожают психологической уравновешенности ребенка, воспитанного однополой парой.

Что касается брака, не будем о нем говорить. Рассуждения политиков, которые его поддерживают, представляются мне демагогией. Возможно расширение области действующих законов с тем, чтобы оградить от преследований лиц, пожелавших жить совместно. Но неуместно говорить о браке, который имеет совсем иной смысл и в обществе, и в Церкви.

Ф. Б. Что до ребенка, думаю, он как-нибудь выпутается из трудностей, лишь бы его любили. В этом отношении я настроен более оптимистически, чем ты. Но если говорить о желании однополой пары воспитывать детей, усыновлять их, заключать контракт о совместной жизни, тут я воздерживаюсь, подобно тебе, но, возможно, по другим причинам. Мне непонятно, почему геи, которые представляют движение, скорее, оппозиционное, хотят жить буржуазной семьей, по образцу классического "гетеробрака". Остается предположить, что тут замешаны экономические, фискальные, пенсионные или наследственные интересы. Но это уже совсем не так романтично. Жан Жене перевернулся бы в гробу от таких новостей![2]

1. PACS (Pacte civil de solidarité) — контракт о совместной жизни, условия которого подразумевают нечто промежуточное между браком и свободным союзом (узаконен во Франции 15 ноября 1999 г.).
2. Жан Жене (1910–1996) — французский поэт, писатель, драматург, исследователь "бездн" человеческой натуры.

Я прекрасно знаю, что они способны любить друг друга, а при взаимной любви люди хотят идти дальше вместе, строить жизнь вдвоем. Если это принесет им счастье, я ничего не имею против. И мне жаль, что Церковь их отталкивает.

В конце концов, наблюдая испокон веков губительные последствия разнополых браков, мы должны, быть может, дружно поддержать браки гомосексуалистов?

Ж.-М. Ф. Церковь не отвергает лиц гомосексуальной ориентации. Однако она не признает PACS, а тем более однополый брак. Кроме того, мы придаем разный смысл понятию "брак". Что касается определения групп людей по признаку сексуальной ориентации, оно упрощает сложность человеческой личности.

Ф. Б. У англикан ведь есть епископ-гомосексуалист. Заключаются церковные браки между гомосексуалистами.

Ж.-М. Ф. Действительно, иногда мы сталкиваемся с деликатными ситуациями, особенно когда они касаются детей. Поясняю: как-то один человек (из среды моих внецерковных знакомых) попросил разрешения поговорить со мной конфиденциально. Он объяснил, что живет с другом и они хотят усыновить ребенка. Поскольку для однополой пары это не разрешено законом, он осуществил задуманное самостоятельно. "Я христианин, верующий, — сказал он, — и хотел бы, чтобы мой ребенок был крещен, так как собираюсь дать ему христианское воспитание".

Должен ли я был сказать ему "нет" и повернуться спиной? Я его выслушал, принял и сделал то, что считал своим долгом. Ребенок не несет ответственности за ситуацию, которую не одобряет Церковь. Таких случаев будет все больше. Однажды пары гомосексуалистов получат право усыновлять детей — я уверен, к тому движется общество, пусть сегодня это вызывает сопротивление, пусть я сам этого не одобряю.

Ф. Б. Ты, значит, будешь крестить приемных детей однополых супругов?

Ж.-М. Ф. Я не знаю, что буду делать, если представятся другие случаи, но того ребенка я крестил. Не знаю, что решат другие. Я не представляю, что откажусь совершить крещение, если речь идет об акте веры и люди, которые просят об этом, обязуются дать ребенку христианское воспитание.

Ф. Б. Следовательно, ты не согласен с Церковью.

Ж.-М. Ф. Почему же? Она предоставляет нам право принимать решение по своему усмотрению. Но поблажки недопустимы. Необходимо сказать со всей ясностью: "Вы просите крестить вашего приемного ребенка. Он не ответствен за ваше положение, у меня нет оснований ему отказать, однако не делайте вывода, будто ваше положение одобряется Церковью. Церковь его не признает".

Ф. Б. Это напоминает второй брак разведенных. С небом можно договориться.

Ж.-М. Ф. Не бывает второго брака для разведенных! Священник принимает пару, чтобы помочь ей жить с верой, даже в положении, не одобряемом Церковью.

Ф. Б. На мой взгляд, все это прекрасно, но это доказывает лицемерие Церкви Понтия Пилата, которая закрывает глаза, предпочитая не высказываться.

Ж.-М. Ф. Опять-таки нет. Есть "закон" Церкви, и есть конкретные, индивидуальные обстоятельства: в них оказываются люди, вести которых – наш долг. Если Церковь, не делая уступок, соглашается принимать людей, переживающих ситуации, которые она считает недопустимыми, ее обвиняют в лицемерии. Если бы она их отвергала, ее обвинили бы в том, что она бессердечная мать.

Позиция Церкви по вопросу PACS ясна: она против, как я тебе уже сказал. А дальше – приходится разбираться с конкретными ситуациями, в частности с положением детей.

Ф. Б. А гомосексуализм в Церкви? А педофилия? Христиане начинают всерьез беспокоиться. Им кажется, что таких случаев становится все больше. Пятьдесят лет назад матери, отправляя детей на Закон Божий, не думали о какой-либо опасности. Им даже не приходила в голову подобная мысль. А сегодня они волнуются за внуков.

Ж.-М. Ф. Но ведь речь идет о тех же людях. Просто об этом стали больше говорить, и правильно. Вспомним, однако, что не следует путать гомосексуализм и педофилию. Не будем способствовать смешению понятий.

Ф. Б. Конечно, но что происходит в Римской апостольской Церкви, когда иерархия узнает о гомосексуальных отношениях священников?

Ж.-М. Ф. То же, что происходит в случае, если у священника связь с женщиной. Ему надлежит осознать свою ответственность и сделать выбор. Прекратить отношения, чтобы продолжать служить.

В случае любовной истории с женщиной некоторые священники принимали решение жениться на той, кого они полюбили.

Ф. Б. Конкретно: ты узнаешь, что у священника с кем-то связь – с мужчиной или с женщиной. Он тебе признался. Что ты делаешь?

Ж.-М. Ф. Во-первых, я его приму, не судя и не осуждая, и выслушаю. Я посоветую ему открыться духовнику, который ему поможет привести свою жизнь в соответствие с изначальным выбором. Я ни в коем случае не стану закрывать глаза и не закрою перед ним дверь. Могу перевести его в другое место, подальше от соблазна. Это еще самый простой случай. Но когда в результате связи рождается ребенок, абсолютный приоритет отдается, как мы видели, воспитанию ребенка, и для этого необходимо оставить служение.

Ф. Б. Дьявольская дилемма для священника: оставаться в Церкви или быть выставленным за дверь!

Ж.-М. Ф. Вопрос решается не так резко. Церкви не безразличны те, кто решил ее покинуть, отдав ей часть своей жизни. В определенных случаях она оказывает им различную помощь. Но случившееся действительно оставляет глубокий след в душе человека. Повторяю, главное – ребенок, для которого отсутствие отца может быть чревато серьезными последствиями.

Ф. Б. Я задаю все эти вопросы, чтобы восстановить некоторое равновесие. Веками Церковь учит нас добру, обличает зло, дает наставления по поводу нашей сексуальности; на сей раз светские люди, верующие и неверующие, чувствуют себя вправе требовать от служителей Церкви образцового поведения.

Ж.-М. Ф. Они правы. Быть священником – ответственность, предъявляющая высокие требования. Однако может случиться, что и священник проявит слабость, ведь он такой же человек, как все остальные.

Ф. Б. Требования Церкви к простым смертным, учитывая либерализацию нравов, стали почти невыполнимы, а тем более, как я тебе уже говорил, требования к священникам.

Ж.-М. Ф. Не хочу замалчивать или преуменьшать ошибки, но давай перестанем создавать образ Церкви, не соответствующий действительности.

Глава XIX
Писатель сегодня

<...>

Ж.-М. Ф. Какое место среди своей многообразной деятельности ты отводишь политическому пиару, которым занимался во время президентских выборов 2002 года? Почему ты согласился быть консультантом по связям с общественностью у генерального секретаря Коммунистической партии Робера Ю?

Ф. Б. Все началось с книги "99 франков"[1]: там я восстал против мира, где мы покорно существуем, не слишком жалуясь. В своей книге я резко критикую общество, которое, с моей точки зрения, разрушает само себя. Я обличаю покупательский ажиотаж, подстрекаемый рекламой, которая немало способствует превращению окружающей среды в общественную свалку. Будучи рекламистом, я обладал властью — она казалась мне чрезмерной, вездесущей, порой внушала беспокойство и несла в себе расизм, половую дискриминацию, презрение, цинизм. Обо всем этом я написал, разрядился по полной программе... и меня выставили вон. Книга имела определенный резонанс, меня стали приглашать на презентации в книжные магазины, на конференции, коллоквиумы, разные мероприятия, в которых я принимал участие вместе с ассоциациями противников рекламы и антиглобалистами.

Так я встретился с Наоми Клейн, автором "No Logo"[2], и влился в ряды тех, кто, как я, восстали против общества гиперпотребления. На пути активной борьбы я оказался, в частности, рядом с коммунистами, которым понравилась моя книга, — они цитировали ее в своих текстах, политических выступлениях, на митингах в штаб-квартире партии на площади Колонель Фабьен. Для меня это было легендарное место. Я часто проходил мимо великолепного здания Оскара Нимейера, но и представить не мог, что в один прекрасный день меня пригласят на "политбюро". Между тем случилось именно так.

Однажды мне позвонил начальник канцелярии Робера Ю и сказал, что ко мне решили обратиться на предмет концепции связей с общественностью для кандидата коммунистов на президентских выборах. Почти так же мне позвонил Доминик Фаррюжиа, в то время директор телепрограмм на Канале+, с предложением вести по этому каналу передачу access prime time[3].

Когда раздается подобный звонок, возможны две реакции — либо ты говоришь: "Нет, спасибо, это меня не интересует", и история окон-

1. "ИЛ", 2002, № 2.
2. Наоми Клейн (р. 1970) — известная журналистка, сотрудничает с газетами Канады, США, Великобритании. Ее первую книгу "Нет логотипу!" — бестселлер, переведенный на 25 языков и отмеченный престижными премиями, — называют "библией антиглобализма".
3. Букв.: доступная в лучшее время (*англ.*) — передача, которой предоставляется наиболее выгодное время в эфире (обычно это восемь часов вечера).

чена, либо говоришь "да", и тогда начинает происходить что-то новое. Романист во мне постоянно начеку. По натуре я любопытен и иду навстречу неожиданным событиям. В обоих случаях я дал согласие, потому что, мне казалось, согласиться интереснее, чем отказаться.

Ж.-М. Ф. Очередное внутреннее противоречие? Как это ты стал консультантом по связям с общественностью Коммунистической партии?

Ф. Б. Никакого противоречия. Вернемся в то время: Жоспен вел не совсем понятную кампанию. Некоторая часть электората требовала, чтобы он акцентировал свою левую направленность. У Коммунистической партии были в правительстве свои министры. Однако в действительности Компартия представляла собой партию социал-демократическую, поскольку социалисты вели либеральную политику. Коммунисты реформировались. Это уже не сталинисты, крайне левые позиции они уступили революционной Коммунистической лиге и партии "Рабочая борьба". Обслуживая предвыборную кампанию Робера Ю, я поддерживал не Иосифа Сталина, а левое крыло Социалистической партии.

Когда столь популярная политическая партия сообщила мне, что положения, которые я отстаиваю в своей книге, и мои взгляды на современный мир, очевидно, соответствуют ее идеалам, признаюсь, я был польщен. Итак, я пообедал в обществе Робера Ю. В его лице я встретил человека обаятельного, интеллигентного, эрудированного, осведомленного в вопросах культурной жизни, а главное, я понял, что наши мнения по многим пунктам совпадают.

Ж.-М. Ф. Например? Ваши представления об обществе более эгалитарного характера?

Ф. Б. Да, в нем будет больше социальной справедливости, оно откажется от закона рынка, который стремится править миром, оно будет заботиться о гуманности.

Конечно, глобализация — это факт. Она есть, но, если возможно привнести в нее чуть больше справедливости, чтобы сделать людей счастливее, это было бы лучше, чем закон рынка. Сегодня приходится констатировать, что богатые все богатеют, а бедные все беднеют. В моей биографии Компартию заинтересовал факт знакомства с миром богатых. Я вырос в обеспеченной среде, затем, благодаря рекламе, имел возможность понять, как функционирует мировая информационная система, и пришел к выводу, что она отнюдь не заслуживает доверия. Робера Ю привлекли эти взгляды плюс мой профессиональный опыт, и он поручил мне свой пиар.

Ж.-М. Ф. Ты полагаешь, сотрудничество с тобой пошло ему на пользу?

Ф. Б. Нет. Урок этой истории в том и состоит, что образ важнее слов, и все, что я мог сказать или посоветовать сказать Роберу Ю, заранее было обречено на провал в силу того, что его консультантом был я. То есть моя особа представляла для него помеху, поскольку форма важнее содержания. Для меня это было поучительно.

Ж.-М. Ф. Но, конечно, неудача затронула его сильнее, чем тебя.

Ф. Б. Ответственность за неудачу несу не только я. Хотя я вовсе не пытаюсь от нее уклониться, однако я предлагал партии сменить название, как в Италии, — это было отвергнуто. Я неоднократно делился с Робером Ю своими опасениями и даже задолго его предостерегал, говорил, что, если бы он захотел, мы прекрасно могли бы не афишировать факт моего сотрудничества, что сообщать об этом — возможно, не самая

удачная идея. Я знаю: меня считают дерзким, наглым, поверхностным, светским, и я действительно его предупреждал, что обо мне существует такое мнение.

Он, напротив, настоял на том, чтобы сделать мое участие в кампании достоянием медиа и организовать пресс-конференцию на площади Колонель Фабьен. Журналистов присутствовало гораздо больше, чем обычно. Давно уже не было такого нашествия прессы в штаб-квартиру Компартии. Они явились в полном составе: все газеты, радио и телевидение. Наш союз был настолько неожидан, что мы превратились в достопримечательность, а фотография, где я в своей джинсовой куртке и в очках на носу сижу рядом с Робером Ю, многим показалась какой-то сюрреалистической картинкой. И это означало провал.

Во всей этой кампании я работал бесплатно. У меня нет партбилета, я не коммунист, я против диктатуры пролетариата — впрочем, в это понятие несколько лет назад внесли поправки. Роль коммунистов заключалась в постоянном напоминании правящей команде с ее социалистическим большинством о том, что она — левая. В этом и состоял смысл выпущенных нами плакатов. "Поможем левым остаться левыми" — таков был лозунг.

Конечно, у Робера Ю и у меня ставки были не равны. Он поставил на карту свою политическую карьеру. Я отчасти рисковал репутацией. Вот и вся история.

<...>

Ж.-М. Ф. Но что влечет тебя к светскому общению: твой характер (не мне его критиковать — люби что хочешь) или же стремление поддержать свой образ? Иначе говоря, тобой движет маркетинговый расчет или склонность, убеждение?

Ф. Б. Полагаю, за этими вопросами скрывается другой, настоящий: о месте писателя в обществе.

Во Франции — любопытно — существует флоберовский "катехизис"[1]: согласно ему, писатель должен удалиться от общества — в хижину в Нормандии или, как Пруст, в обитую пробкой комнату, или же, как ты, в Гап. Совсем как в Церкви, и, что интересно, здесь с той же предвзятой враждебностью относятся к любому, кто держится на виду. Если монах слишком заметен, его наказывают Церковь и сообщество верующих, как, впрочем, и неверующих. Точно так же автору или писателю, чересчур заметному вне литературы, достается от критиков.

И Церковь, и литература не приветствуют слишком открытый образ жизни — быть может, потому, что обе сферы соприкасаются со священным. Вдобавок в литературной среде есть некие "поборники справедливости", настроенные против людей, которые не прячутся и не стыдятся своей экстравагантности или экстравертности.

Ж.-М. Ф. Но ты мне не ответил: твоя экстравагантность — проявление природы или результат расчета?

Ф. Б. Прямой расчет был бы теперь — исчезнуть, как Кундера, как Грак, по возможности скрыться, чтобы меня начали принимать всерьез.

Во времена Виктора Гюго, Александра Дюма писатели были звездами. Похороны Гюго стали событием национального масштаба, как в

1. Флоберу принадлежит известное сравнение творчества с "башней из слоновой кости", которой писатель мечтал укрыться от пошлой действительности и толпы обывателей.

эпоху, не столь от нас далекую, похороны Сартра. По-моему, для литературы благотворно, когда писателей считают в обществе важными людьми. Если мы хотим, чтобы они прятались, меньше мелькали, а то и совсем пропали из медиа, включая скандальную прессу, мы в конце концов лишим писателя места в обществе. То есть уже не у писателей, а только у Джонни Холлидея или Эммануэль Беар будут спрашивать, что они думают о мире.

Ж.-М. Ф. Ты полагаешь, что интеллектуалу надо предоставить возможность свободно выставлять себя на обозрение?

Ф. Б. Пусть ведет себя в соответствии со своим характером. Но мне кажется смешным это несколько сомнительное наименование: "интеллектуал". Порой оно звучит чуть ли не уничижительно.

Когда я высказываюсь, я занимаю определенную позицию. Чаще в книгах, чем в интервью. "Windows on the World" – книга, где я даю некоторую сумму оценок современной реальности, как и "99 франков". Значит ли это, что я интеллектуал? Нет, я довольствуюсь тем, что имею свой взгляд на мир и выражаю его. Вспомним слова Поля Морана: "Политика – ветряная оспа литературы".

Ж.-М. Ф. В самом деле, что такое "быть интеллектуалом"? Надо ли подразумевать, что есть будто бы одна категория населения, живущая растительной жизнью, неспособная думать и размышлять, – и другая: элита, одаренная интеллектом, которая якобы только и может понимать и объяснять нам явления мира? Каждый на своем уровне обладает способностью анализа. Все мы – интеллектуалы!

Ф. Б. Видишь, Жан-Мишель, в конечном счете у нас много общего. Оба мы не имеем настоящей профессии, но у нас есть призвание, которое вдобавок толкает нас к совершенствованию. Служишь ли Церкви или пишешь – в обоих жанрах необходима требовательность к себе, более высокая, быть может, чем в других областях.

Служители Церкви наделены душевным благородством, но они должны также достигать определенного мастерства в умении слушать, оказывать психологическую помощь и, в особенности, проповедовать Евангелие.

Люди пишущие должны уметь время от времени отталкивать читателя, на одной странице обольщать его, а на другой иметь смелость быть немного скучными. Стараться нравиться – самое гиблое дело. Тогда быстро становишься нечитабельным.

Ж.-М. Ф. Если хочешь найти черты сходства в твоем и моем положении, то их, конечно, немало, но многое другое нас разделяет. К примеру, вопрос доходов. Ты издал несколько бестселлеров во Франции и за границей, но ты не из тех, кто покупает себе "феррари", и одет, как я вижу, скромно... Что ты делаешь с деньгами, которые зарабатываешь?

Ф. Б. Ничего особенного. Действительно, я не транжирю, деньгами не сорю. Квартиру себе не купил... Я довольно много путешествую, вот и все. Поскольку я и не из тех, кто уезжает жить за границу, чтобы не платить налогов, больше половины я отдаю в государственную казну. По правде говоря, меня очень беспокоит завтрашний день, и я откладываю эти деньги, во-первых, для дочки, а также для себя, на всякий случай.

Ж.-М. Ф. Что касается меня, учитывая возраст, призвание, серьезность моего "работодателя", главное в моей жизни уже осуществилось.

Но тебе тридцать восемь лет, ты прожил, может быть, чуть больше первой трети жизни. Как ты представляешь себе будущее, которое, по-видимому, тебя тревожит?

Ф. Б. Я знаю: средняя продолжительность жизни с каждым годом увеличивается, но я всегда ощущал, что не окажусь среди долгожителей, пожинающих плоды бурного прогресса. Мне кажется, что я умру молодым. Может, это одна из причин моего постоянного беспокойства? Меня преследует идея смерти, я часто думаю о тех, кто рано ушел: Кравaн, Риго, Радиге, Борис Виан. В последнем случае — слишком рано, если подумать, сколько он мог еще сделать. Писатель, поэт, драматург, джазовый трубач, музыкальный критик, автор песен, и каких! "Дезертир" — юмор, близкий к отчаянию... Он умер в тридцать девять лет!

Я испытываю странное ощущение... предчувствие смерти, ранней и внезапной.

Ж.-М. Ф. Оттого ты так торопишься жить?

Ф. Б. Да. У меня потребность ускоренно использовать жизнь, потому что она не будет долгой. Конечно, я предпочел бы прожить до ста лет, но и в ранней смерти есть для меня нечто привлекательное. Не представляю, что кончу свой век скучным старым писателем. Разве только в сорок три года получу Гонкуровскую премию, в сорок девять стану членом Французской академии, а в шестьдесят один — лауреатом Нобелевской премии в области литературы, прежде чем меня, как и всех, забудут навсегда.

Наталья Мавлевич

Можно ли перевести непереводимое?

Новарина по-русски

Во Франции Валера Новарина называют "самым ярким голосом современных подмостков". Многие из своих пьес он ставит на сцене сам, нередко сам же создает декорации. Слова, краски, графика, музыка, танец — кажется, нет такого средства, которое Новарина, драматург-демиург, не привлек бы для сотворения своего мира.

"Остановите шарманку реализма! Этот заезженный вальсок, занудный хор достоверных фактов, правдопотопных историй, дребедень и злободень, сто девяносто семь заинвентаризованных амплуа", — пишет он в "Похвальном слове Луи де Фюнесу" и изобретает сотни новых, невиданных амплуа. В его пьесах порой больше героев, чем в Библии, их населяют невидимые толпы, вызванные к жизни именами-заклинаниями.

Заметной фигурой в литературно-театральных кругах он стал в начале девяностых годов, и с тех пор слава его растет год от года и одновременно растет список произведений. Во Франции поставлены восемь спектаклей по пьесам Новарина, он неоднократно участвовал в Авиньонском фестивале, каждый раз вызывая самые неоднозначные отклики. В 2002 году крупный литературный журнал "Эроп" посвятил ему специальный выпуск. На русском языке изданы два эссе и пьеса "Сад признания" (перевод Е. Дмитриевой. ОГИ, 2001), которую блестяще поставил на тамбовской сцене режиссер Никита Ширяев.

Пьесы Новарина более чем на половину состоят из несуществующих, но понятных слушателям-франкофонам (автор постоянно подчеркивает, что его театр — "театр для ушей") неологизмов, которые переводчик должен конструировать, не теряя из виду интригу, какой бы пунктирной она ни была, ритм и звукопись оригинала. Иначе говоря, типичный непереводимый текст...

Публикуемый ниже этюд был прочитан на коллоквиуме, посвященном творчеству Валера Новарина, который состоялся во Французском университетском коллеже при МГУ в феврале 2005 года.

© Наталья Мавлевич, 2006

Геометрический этюд о переводе-импровизации

Много лет назад, когда замечательный филолог Сергей Аверинцев был еще только многообещающим молодым ученым, он на одной из своих лекций определил задачу толмача как построение подобных треугольников. С тех пор каждый раз, когда идет речь об адекватности перевода, я вспоминаю эти его слова. Переводим или нет тот или иной текст? Часто приходится ответить — нет, если понимать адекватность как равенство, если же это не равенство, а подобие, то его всегда можно построить. Ибо подобие определяется неким соотношением элементов. Хотя, разумеется, соотношение слова-звука-смысла-стиля не таково, как точные цифровые величины углов и сторон. Каждый переводчик производит тут измерения на свой глазок, и дальше уже дело в точности глазомера. В идеале перевод должен вызывать у читателей (слушателей-зрителей) такую же гамму эмоций и мыслей, какая заложена в оригинале.

Эта немудреная теоретическая часть призвана оправдать методы переложения на русский язык драматических текстов такого необычного автора, как Валер Новарина.

Я не скажу ничего оригинального, заметив, что смысл текста Новарина лежит за пределами смысла слов, точнее, не является суммой этих смыслов. Критики много писали об этой обновляющей стершиеся слова отчужденности, об этом обнажении поэтического мышления языка, о приоритете звучания, произнесения и, наконец, о спонтанности его письма. (Позволю себе, однако, усомниться в принципиальной возможности полной спонтанности, то есть осуществления сознательной установки на бессознательное. Но это в скобках, *в сторону*, как пишут в пьесах.)

Постижение смысла является первой задачей переводчика. Кажется, это что-то совершенно очевидное, о чем неприлично говорить в профессиональной среде, но все мы знаем (и по собственному опыту!), как часто переводчик обольщается иллюзией полного проникновения в текст и спотыкается на каком-нибудь артикле или порядке слов.

Кроме того, неопровержимой истиной остается афоризм Кокто: "Что бы мы ни читали, мы всегда читаем самих себя". И, как бы переводчик ни старался исчезнуть, раствориться, изъять себя, это физически невозможно. Но это не причина для отчаяния, напротив, это только означает, что, в полном соответствии с законами геометрии, могут существовать несколько равно адекватных подобий нашего оригинала-треугольника.

Что же значит понять Новарина? Чем больше я слушаю партитуру его пьесы, тем, разумеется, больше понимаю. Слушать лучше всего до тех пор, пока не наступит известный нам с детства феномен отчуждения смысла от звука. Я любила повторять, например, слово "катушка" или "насекомое", пока оно не начинало казаться каким-то странным (Venez jeter Jean). Подозреваю, что и Валер Новарина в детстве делал то же самое, а потом не забыл, а развил эту детскую привычку. Однако опыт наших ушей

слишком разный. Я слышу плоский звук и часто не улавливаю эха, которое звучит во французском ухе. Если оно все же возникает, то опять-таки не при вглядывании в строчки, а при вслушивании в поток речи.

Я не могу знать точно, какая часть информации — чувственной, акустической, визуальной, интеллектуальной и даже тактильной и обонятельной — ускользнула от моего понимания. Но, предполагая, что часть эта весьма значительна, заранее делаю, так сказать, припуск на швы.

Из всей этой ускользающей информации легче всего уловить семантический смысл слов. Например, встретив неизвестное мне слово "stellation", я нашла его точный, математический смысл. Он имеет отношение к многогранникам и по-русски передается термином "звездчатые формы". Разбирая вот так, по косточкам, каждую фразу, получаем примерно следующее.

L'ensemble mêlé en huit des chiffres de nébuleuses et stellations...

Подстрочник (вернее, подсловник) таков: "Спутанный в восьмерку конгломерат расстояний удаления туманностей и звездчатых форм".

Попробуйте произнести это — галиматья! Смысл в данном случае в сочетании гласных и согласных разной длительности, в ассонансах. Лексический же смысл проходит пунктиром.

Поэтому перевод "В-восьмых... крошево и кружево звезд и соцветий" будет ближе к смыслу подлинника.

Мне кажется, впрочем, что полный отрыв слова от звука невозможен, но чем дальше мы их относим друг от друга, тем сильнее магнетическое напряжение между ними.

Что касается имен и длинных перечислений, здесь также я бы предпочла созвучность лексической точности. Например, вот серия имен персонажей пьесы "Пир" ("Le Repas"): La Bouche Hélas (конечно, в переводе теряется то, что видит глаз, то есть игра La bouche est là — или — las и La Bouche Hélas) L'Enfant d'Outrebec, Jean-qui-dévore-corps, L'Avaleur Jamais Plus, L'Homme mordant ça, Le Mangeur d'ombre. Перевод: Жан Заживоглот, Всуеглотатель, Ухобжора, Обожратель, Укусай, Юный Житель. Мне был важен пожирательный смысл и игра слов. Ради сохранения коэффициента игры прибавлен Юный Житель.

По тому же принципу переведен другой фрагмент из "Пира":

"Мы едим. Едим слонину и лососину, стерлугу и спаранжу, рулат, дряники и твореники, едим картофельное кюре и суп-харчок, соплянку с фуфтельками и дребодан в мылаке, колупцы с горлопанами, кочевряки с грибами, красный икрак и сграмштекс, едим рассусальник с огольцами и втирушки с таком, овощуки фри и кадельки по-нибельмесски, бараний лубок и болячью шейку, мед да пиво, хлеб да вино. Нам все одно".

Единица перевода в пространных монологах Новарина — не слово и даже не фраза, а ритмический период. "Каждый слышит, как он дышит, / Как он дышит, так и пишет" — эти строки Окуджавы отлично подходят к Валеру Новарина, и понимать их в данном случае следует буквально. Ритмическая основа его прозы (или поэзии, если иметь в виду, что во французской традиции поэзией считается ораторски, а значит, и дыхательно организованная речь) — дыхание. В монологах оно длинное, похожее на гекзаметр или даже на какой-нибудь центаметр. Или на непрерывное дыхание флейтиста. Или шамана.

О камлании, шаманском элементе, надо бы сказать отдельно. Вероятно, многие пассажи Новарина лучше всего переводить, войдя в транс. Отчасти так и получается. Но тут мы опять подходим к вопросу, который я хотела бы миновать, поскольку у меня нет на него ответа. Я имею в виду вопрос о соотношении сознательного и бессознательного, игры в бессознательное и доподлинного шаманства. Так или иначе, переводчик должен играть в шамана, а нет ничего более рассудочного, чем такая игра. Он должен быть мыслящим зеркалом, un miroir qui refléchit.

Совсем другой ритм, другое дыхание в диалогах, состоящих из репликсгустков. Еще другое – в "Оперетке понарошку" ("Opérette imaginaire"), там он балаганно-музыкальный.

Все высказанное выше и некоторое другое будет лучше понятно применительно к конкретным примерам. Возьмем поэтому два отрывка разного типа. Первый из: "Пространства гнева":

Lendemain de cette grande faillite! Dans mon néant d'enfant né ennemi de soi malgré lui, je vis soudain que je devenais l'homme le plus loin de Dieu qui soit, tant du point de vue extérieur, que de celui de mon propre aspect... J'avais rien chaque matin dans la glace, que ma face au milieu du miroir de ma figure.

Назавтра после краха! Я, дитя незаконно-рождённо-невинно-непрошенно брошенное в зияние небытия, стал несчастнейшим мужем изнутри и снаружи, столь далеким от Бога, как никто из людей, бесподобно-безóбразно-божным... по нутру и по роже... Поутру пустоту тщетно зрю в зеркалах – в каждом зеркале зрак-пустотел! И ни проблеска света – в глубине безответной нет надежды на это.

Далее расхождение становится криминальным.

Sortant des Alpes, à Station 6, à Borne 27, à Bidon 3, station Pablo-Neruda, tout d'un coup bref au gens du compartiment j'ai crié...

В переводе:

Восходя из-за Альп, я поднялся в вагон номер шесть экспресса Экс-Берна–Жюль-Верна на станции Пабло-Неруда и сказал пассажирам-соседям...

Экс-Берн и Жюль-Верн на моей совести. Они забрели сюда потому, что будят некий отзвук в зрителях-читателях.

С большим удовольствием я нашла нечто созвучное моим мыслям в словах немецкого переводчика Новарина Леопольда фон Фершуера:

"Признаюсь, я быстро отказался от идеи создать самый точный и безупречный перевод. Поскольку текст должен был произноситься перед публикой, я стал искать такие выражения, которые наиболее удобны моему рту для сценического произнесения, я произ-носил текст через сцену". Это очень важно – удобопроизносимость, впечатление потока, словотечения, наконец, техническая возможность для актера выговорить написанное.

Отсутствующую в немецком языке плавность и слиянность переводчик заменяет утрированными слитными словами, – такая возможность

в немецком есть. "Я исходил из принципа, что, будь Новарина немцем, он придумывал бы слова утроенной длины".

В некотором роде перевод Новарина похож на то, как мы переводим жесты. Их надо обязательно проделать, и тогда само тело подскажет слова.

Русский язык достаточно мелодичен и текуч, чтобы передавать волнообразность текста Новарина, но у него несколько иная просодия, и он не терпит свойственной французскому, с его ударениями на последний слог слова, фразы и периода, монотонности. Новарина приближается к классическому стиху (или удаляется от него – так или иначе, он из него исходит), а классический русский стих короче. Грубо говоря, тексты оригинала и перевода должны относиться друг к другу, как Корнель к Грибоедову.

Вернее, Грибоедову, помноженному на Хлебникова и Хармса. И, само собой разумеется, нельзя забыть глокую куздру, калушу с калушатами и юрзких хомеек! Это тоже важный этап перевода: настрой на определенные лексические пласты и уже существующие приемы ломки, вывихов языка, а также сгущения и отчуждения смысла. Ведь эта ломка должна, как ни парадоксально, быть для языка гармонична. Да и принципы дисгармонии для каждого языка свои!

Второй отрывок – из "Оперетки понарошку". По определению автора, эта пьеса – "скелет и безжалостная форма театра", из которого "удалены чувства и сочувствия". Герои – буффонные, балаганные фигуры, их реплики – беглые переборы ассоциаций, сцены – цепочки из взаимозаменяемых звеньев, сцепленных друг с другом подчас лишь интонацией. Интрига отсутствует, вернее, существует, так сказать, в разобранном виде, как детали детского конструктора, извечные, "базовые" детали: жизнь, смерть, любовь. На добрую половину пьеса состоит из рифмованных песенок, которые поются под нехитрую мелодию аккордеона. Романсы, куплеты, дуэты – не украшение, не вышивка по художественной ткани и даже не сама ткань, а плоть этой драматургии.

L'Ouvrier Ouiceps	Трижильный Труженик
Chanson d'ma bobine, chantée par Jojo d'la boîte à ficelle.	Песенка матроса про то, как трос с катушки съехал. *(Звук абсолютно заменяет лексический смысл.)*
Le Galoupe	Смерд
Chanson basse, par un exalté, suivi d'une chanson d'chambre chantée par sa base: Lorsque je vois mamz'elle Luci-e Je m'é-honne de sa h-antaisie-e!"	Лисья песенка, отпетая без спесси и мелисси. "Мамзель Люси, синица о-о-ка, Окно души твоей далё-о-ко!" *(Синица ока соответствует, вернее, компенсирует hantaisie.)*

La Dame Autocephale	Автокефальная Дама
Chanson des fenêtres ouvertes, par un oublieux.	Песня оплошно незапертых окон. *(Почти буквально!)*
L'Ouvrier Ouiceps	Трижильный Труженик
Chanson sans frein chantée sans but et sans couplet.	Песня без слов, углов и тормозов.
L'Acteur Fuyant Autrui	Меланкомик
Chanson du silence, tué par tout le monde.	Песня-пауза, пропетая молчком. *(Тут выбор сделан в пользу лексического парадокса, в ущерб консонансу du-tu-tou.)*
La Femme Pantagonique	Пантагоническая Женщина
Chanson suicidons, chantée à la corde.	Песня висельника на рее.
L'Ouvrier Ouiceps	Трижильный Труженик
Chanson à r'chutes, par un récidiviste.	Песня вора в законе на курортном озоне.
Le Galoupe Chanson obtenue par oui-dire. Chanson par Jean Beaucoup.	Смерд Песенка-понаслышка. Песенка Бакла Жана.

Разумеется, перевод — спорный. В конечном счете, главный критерий, которого я придерживалась, был таков: сколько раз должен засмеяться зритель, слушая эту сцену.

Читая другие русские переводы и других переводчиков (не только на русский язык, но и на немецкий, итальянский), я каждый раз убеждалась, что, при всей несхожести текстов и их авторов, сами принципы поисков подобия у всех более или менее одинаковы.

Так что — да здравствует геометрия!

Оперетка понарошку

Действие второе
Сцена вторая

Входит Кроволей и тащит Ближнего.

Кроволей
Глядите-ка, что я нашел...

Теодрилла
Вы что, его убили?

Кроволей
Покуда нет, вот ща и замочу.

Адраст
Нет-нет! Побойтесь Бога! Я не хочу!

Кроволей
Баю-бай! Не спи, глазок! Просыпайся, ты, скотина!

Энистр
Как вы, однако, круто...

Кроволей
Да что с ним цацкаться, людей и так навалом! *(Поднимает нож.)* Сейчас тут будет натуральный натюр-морт!

Ближний
Я погружен в глубокое молчанье и удручен недружеством твоим.

Кроволей
Я слов не нахожу для выраженья состоянья моей души. Как рассказать о том, что ускользает от восприятья смертных и чего нельзя постигнуть, изъяснить, помыслить.

Ударяет ножом Ближнего.

Ближний
О! Я упал, я впал в опал! Пал от руки другого!

Энистр
Человек — лютый зверь.

Кроволей
Осталось голову отрезать.

Ближний
Мы, люди, любим кровь пускать друг другу.

Кроволей
Взаправду так! А ну-ка, лох, спой поскорей, что человек плох!

Ближний
Ох, как плох, видит Бог!

Кроволей и Ближний
Ох, видит Бог, человек плох!
Ох-ох-ох! Как он плох!
Плох, видит Бог!
Видит ли Бог?
Ох-ох-ох! Плох-плох-плох!
Человек плох!

Ближний
И что теперь?

Кроволей
Играем сцену Каина-злодея.

Ближний
Вот брат твой — отсеки ему башку!

Кроволей
Ох! Видит Бог, я не могу!

Ближний
Я брат твой — отсеку тебе башку!

Кроволей обильно пускает кровь Ближнему. По ходу действия они меняются ролями.

Кроволей с Ближним
"Первородство" — песенка учителя земного:

Мой учитель земной
Дал урок мне такой:
"Что всего хуже в человеке?
Сам человек — его и вон!
Отменить человека! Рас-творить человека!
В пух и прах!
Жену в ребро, и все сначала,
Сделать из них обезьянью пару!"

Энистр
Кончайте балаган!

Ближний с Кроволеем
Ох, видит Бог, человек плох!
Ох-ох-ох! Как он плох!
Плох, видит Бог!
Видит ли Бог?
Ох-ох-ох! Плох-плох-плох!
Человек плох!

Энистр
Режь его насмерть
И дело с концом!

Ближний
Эй, я так не играю!
Режут насмерть!
Умираю!

Энистр
Ох-ох-ох, ох-ох-ох!
Как он плох! Как он плох!
Плох человек? Плох!
Видит ли Бог? Ох!

Ближний
Меня режут, как свинью!
Я ору, как скоморох!
Выпускают кровь мою –
Вот он, мой последний вздох!

Все
Ох-ох-ох, ох-ох-ох!
Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох!

Ближний
Нет, видит Бог, человек плох!
Он любит с брата своего
Три шкуры драть да жирно жрать,
Мошна да брюхо лишь бы – во!
На остальное наплевать.

Все
Ох-ох-ох, как он плох!
Человек, видит Бог,
Очень плох! Как он плох!
Ох, как плох!
Ах, как плох! Ох! Ах! Ох.

Кроволей
Знать, въелась Каина повадка –
Секир-башка! Секир-башка!
Обставить брата – ох, как сладко!

Все
Ах да ох! Видит Бог!
Человек плох!

Теодрилла
Да это маконьяк!

Ближний
Ох-ох-ох, хо-хо-хо-хох!
Человек ужасно плох!
Видит Бог, как он плох!
Ох, как плох, ах, как плох.
Видит Бог?

Кроволей
Если род людской не добьется собственной рукой,
Я добью его сам!

ТЕОДРИЛЛА
Нет, нет и нет, — говорит человек, —
Я веду свой род К обезьяне, а не ОТ!

ВСЕ
Нет, нет и нет, — говорит человек, —
Я веду свой род К обезьяне, а не ОТ!

ЭНИСТР И ВСЕ
Во дает! Во дает!
К обезьяне он идет!

ВСЕ
Ать-два! Ать-два! Ать-два-ать!

ТЕОДРИЛЛА
Как пить дать!

ВСЕ
Ох-ох-ох, как же так?
Человек-то, знать, чужак!

ЭНИСТР
В леса! Поближе к обезьяне!
Повешусь в джунглях на лиане!
(Уходят.)

Действие третье
Сцена третья, брачная

Входит СМЕРД.

СМЕРД
Начинаем балет из второго действия.

АНАСТАСИЯ
Какой?

СМЕРД
"Фея Автодрючек", душетрепательная феерия. А потом — "Конец Поп-Рыгая". *(Принимается танцевать.)*

АНАСТАСИЯ
Где же фея?

ВСЕ
Кто такие автодрючки? Где же фейки?

Пока Смерд танцует, актеры повторяют последние три фразы на 62 языках: "Тиньес автодрю эйсир? Уби сунт фате? Кеде автодруэс шин? Во зинд ди автодрукен? Матакса те автопрухен? Бан йа пулидретики фетики? Тоне аввтодрюэ даймоне? Бан йа текст пакуй? Дикоброс автодрос фта? Нисан кабук автодуруки? Avtodrues fairy, foollowed by the wreck of the Jumping-down?" *и т. д.*

Появляется Смертник с табличкой, на одной ее стороне написано "Все на свете виртуально", на другой – "Все на свете сексуально". Танец прекращается.

Трижильный Труженик
Прекрасный недопляс!

Смерд
Успех провальный.

Трижильный Труженик
Вот только пируэты вне себя подкачали.

Меланкомик
Переплясать балет! Перебалетить пляс! Скоропляс на бал! *(Танец повторяется сначала.)*

Анастасия
Содом! Кошмар! Столпотворенье!

Меланкомик
Я поступил с моей сестрой как романтический герой.

Внездешний Житель
"Какое счастье, вот и свадьба!" – так написала Маргарита на девственном листе новехонькой тетради. "А где молодые?" – спросила Жизель Плассар.

Анастасия
Где молодые?

Смерд и Трижильный Труженик
Вот они мы! Мы тут!

Анастасия
Да как же вы будете делать детей?

Смерд и Труженик
Закажем копии с готовеньких.

Труженик
Или Робер с Сюзанной народят.
(Автокефальная Сюзанна плачет.)

Анастасия
Нет, нет! Давайте все переженимся в алфавитном порядке!

Актеры выстраиваются в алфавитном порядке, первой парой выбирают Автокефальную Даму и Бубнового Валета. Смерд выкатывает на сцену Смертника-Покойника с табличкой в руках.

Анастасия
Что он хочет сказать?

Смерд
Он говорит.

Смертник
Я говорю и письменно, и устно: "Меня убил размноженный женою муж".

Анастасия
Дрянь такая!

Бубновый Валет
Погребай его живо!

Пантагоническая Женщина
Прах его в печь!

Автокефальная Дама
Нет, выгребай обратно!

Меланкомик
Поздно — сказанного не воротишь.

Смерд
Да уж, что наворочено, того не вырубишь пером! Как говорится, слово не птица. Брак невозможен. А посему — будем играть свадьбу дальше.

Покойника увозят.

Валет & Дама
Скорее к нам! Сюда!

Анастасия
Сколько детей произведете вы в положенный срок? Какого вида, веса, в каком порядке, с какою целью и в каком количестве?

Валет
Восемь.

Дама
Нисколько.

Валет
А в случае бездетности усыновим пса Медора.

Дама
Кто же станет его крестить?

Валет
Я знаю одного священника в Гааге — он возьмется. Если что, усыновим сразу парочку, а Медором будут звать старшего, или раскроим себе пополам головы, или пересадим мою печенку в твою селезенку, в селезеночку мою любимую... твою мою любимую...

Анастасия
Новобрачные, обменяйтесь нежными словами!

Валет
(*Поет.*) "Я посватался, и вот
Наша свадьба через год..."

Труженик
(*Перебивает его.*) Песенка матроса про то, как трос с катушки съехал.

Смерд
Лисья песенка, отпетая без спесси и мелисси.

"Мамзель Люси, синица о-о-ка,
Окно души твоей далё-о-ко!"

Автокефальная Дама
Песня оплошно незапертых окон.

Трижильный Труженик
Песня без слов, углов и тормозов.

Меланкомик
Песня-пауза, пропетая молчком.

Пантагоническая Женщина
Песня висельника на рее.

Трижильный Труженик
Песня вора в законе на курортном озоне.

Смерд
Песенка-понаслышка. Песенка Бакла Жана.

Первый дуэт – поют Дама и Валет.

Бубновый Валет
"Я посватался, и вот –
Наша свадьба через год.
Год терпеть и голодать –
Не под силу столько ждать,
Дай хоть пальчика кусочек
Мне отведать, мой дружочек!
Дай мне розовые губки,
Нежные, как две голубки,
Дай мне глазки с нежным взором
И ресничным частоколом.
Дай мне ножки сразу обе,
Что росли в одной утробе.
Дай мне на год все в рассрочку,
Ну а там поставим точку".

Пространство гнева

Сцена 14

Плотяной Старец
Пришла зима. И пробудила меня от альпигорской спячки, и я уже не мог, как прежде, играть день-деньской в балду и чехарду, в болван-теннис, шапку-нелюдимку, в косяки-забойники, в городи-огород, в бей-додна, в крутку и в смятку... а также неделями созерцать благоустроенный промыслом Божьим мир окружающих вещей: во-первых, этот стол, во-вторых, эту стенку, в-третьих, эту комнату, в-четвертых, этот дом с пулесадником, в-пятых, землю под ногами, в-шестых, небо над головой, в-седьмых, неусыпную луну, в-восьмых,

негасимое солнце, в-девятых, крошево и кружево звезд и соцветий, в-десятых, неизведанное пространство, в-одиннадцатых, время... Ну а теперь исполните-ка нам боевую пляску строптивого солдата!

(*Исполняет.*) Назавтра после краха! Я, дитя незаконно-рожденно-невинно-непрошенно брошенное в зияние небытия, стал несчастнейшим мужем изнутри и снаружи, столь далеким от Бога, как никто из людей, бесподобно-безóбразно-божным... по нутру и по роже... Поутру пустоту тщетно зрю в зеркалах — в каждом зеркале зрак-пустотел! И ни проблеска света — в глубине безответной нет надежды на это. Восходя из-за Альп, я поднялся в вагон номер шесть экспресса Экс-Берна—Жюль-Верна на станции Пабло-Неруда и сказал пассажирам-соседям: "Пассажиры-соседи! Джентльмены и леди — о дети земли! Всем очистить места — стану сам восседать!" А они на меня ноль внимания — полное непонимание... Я понял тогда, в чем беда, понял вдруг: я не друг им, а труп! И я трупу сказал: "Жмурик-дружок, выдь на бережок, тебе водить, мне уходить!" Я покину свой труп, но в свой час, не сейчас. Ибо как же мы можем узреть свет Божий, коли бренные вещи не сомкнут свои клещи на теле, на самом деле! Но кому почему доля та, а не эта? Как узнать, кому смерть, кому многая лета?.. Я посыпаю пеплом из своей главы прохожих, кошек и собак, машины, улицы и скверы, аквапарки, триумфальные арки, свои останки бросаю на полустанки, автобанки и разявязки, на виадуки Кентукки, усыпаю костями путь из пункта А в пункты Б, В и Г и так далее, до Последней Баталии... И тогда я решил проповедовать людям и пророчить, что стены их города рухнут, даже камни запели, и блохи, и мухи, а люди глухи. И тогда я увидел: со всех концов валят и валят валы мертвецов, восставали из морга и из-под колес нарушители правил движения и жертвы кораблекрушения, бравые останки лезут из танков, прах оживает на всех углах... И услышал я Глас: "Иоанн, ты не зван, ты не в срок, ты не он!" Я был изъят и освобожден. А тому, что за мной, вопросительно: "Изложите нам предположительно изреченное слово неложно и спляшите по пунктам весь лист бессловесных вопросов". А жене: "Ты игрушка ветров!" А ветра крепчали и мне кричали: "Обратно в тело — милое дело!" Но я изъят и освобожден. Из моего Я — в яму небытия, и только на стене письмена из огня. И тогда он изрек: "Да будет свет для имеющих уши!" И тогда повелел мне: "Ступай и внимай! Доколь и глаголь! Расскажи своим детям о тщете предметов!" И раздался Глас: "Твои очи незримы, но зрячи!" И я возопил: "О, держи их отверстыми силой!"

Голос Мимолетного Сына

Держись-ка лучше одной ногой за могилу!

Плотяной Старец

Я был маляр для зебр, полосил что есть сил переходные стопы. Крестил перекрестки, упасал пешеходов... И преуспевал... Но потом на меня наступило время... Я себя бременил полосами... Размерял свои стопы... Стоп, стоп, стоп... Стоп, фургоны, автокары, бен-

зовозы, молоковозы... А не то б они лоб в лоб! Вмазались сразу!.. Лязг, треск, визг — жуткая ария дорожной аварии!.. Словом, как-то раз получил приказ: в желтом комбинезоне в светофорной зоне вместо красного вделать зеленый. Но как красный глаз вдруг погас, все машины враз дали га-а-а-аз! И прощай, безопас... Задавило меня на обочине дня.

Близ печальных мест установлен крест. А потом там построили дом, кабачок, ресторан, хот-доги посреди дороги. Народ там ест, набивает рот, набирает вес на моей крови... О человечество, замри по счету три! Бесчеловечество грызет сухие камни-мни-мни-мни... Если с неба не получит хлеба.

Голос Мимолетного Сына

Вот тебе с неба вместо хлеба!

Плотяной Старец

И на том спасибо. Жизнь погасла, подохла, умерла на живот. Жизнь изойдет в животную скотину... Верь не верь, а в итоге зверь! "Заткнись, ты — труп! Заткнись ты, труп!" — сказал я трупу своему. Но не пойму: кто ж я теперь? Я велел, чтоб тело особачело, осучело и замолчало. А теперь все сначала. И я свое тело покоил, покаял от бытия. Кто ж его оживит, как не я.

Голос Мимолетного Сына

Эй, ты чё, не понял с первого раза?! Не суй свой нос, не твое это дело, поганый пес!

Пир

Сцены 1 и 2

1. В темноте.

Голос Жана Заживоглота

Скатерть!

Голос Всуеглотателя

Еще что прикажете?

Голос Ухобжоры

Стол!

Голос Обожрателя

Место готово?

Голос Сластоуста

Место на месте?

Голос Укусая

На месте.

Голос Юного Жрителя

Время?

Голос Пустобрюхи

Времени море!

Голос Ухобжоры
Актеры?

Голос Пустобрюхи
Все в сборе!

Голос Жана Заживоглота
Эй, время, не зевать! Языки, развяжитесь! Ушки, насторожитесь! Место, стоять!

Голос Укусая
Господа! Господа! Все сюда!

Голос Всуеглотателя
Что за звуки? Кто там шебуршится?

Голос Ухобжоры
Свет! Дайте свет! Вот и свет!

2. Все едят.

Жан Заживоглот
Мы едим. Едим слонину и лососину, стерлугу и спаранжу, рулат, дряники и твореники, едим картофельное кюре и суп-харчок, соплянку с фуфтельками и дребодан в мылаке, колупцы с горлопанами, кочевряки с грибами, красный икрак и сграмштекс, едим рассусольник с огольцами и втирушки с таком, овощуки фри и каделькипо-нибельмесски, бараний лубок и болячью шейку, мед да пиво, хлеб да вино. Нам все одно.

Ухобжора
Едим и слушаем, как мы жуем и кушаем.

Сластоуст
Когда мы едим, то вводим в себя неживую материю, которая призвана в жизнь претворяться. Есть — значит жизнеобновляться.

Ухобжора
Меняем без потерь нематериальную жизнь на живую материю.

Укусай
Яства на диво, слопаем живо!

Юный Жритель
За сытого сколько несытых дают?

Пустобрюха
Голод забьем убоиной.

Сластоуст
Что-что, а голод не забить! Сосунок под ложечкой жив-живехонек!

Ухобжора
Чтобы от голода не помереть, перетираем зубами чужую смерть.

Жан Заживоглот
Я перевариваю мертвечину в собственной утробе. Останки сладки.

Юный Жритель
Я тоже сам собой питаюсь.

Жан Заживоглот
Так воспитаемся же вместе.

Сластоуст
И я уже вкусился.

Укусай
Мы есть лишь то, что мы едим, но мы же не были лишь только тем, что съели.

Сластоуст
Мы были только тем, что съели, и будем только тем, что отхлебнет судьба.

Пустобрюха
Мы были бы не тем, что есть, когда бы перестали есть.

Укусай
Мы были бы лишь тем, что поглотили, когда бы не хранили памяти о том, что некогда мы были более, чем сумма пищи.

Жан Заживоглот
Мы были тем, что были, и не более того, чем были.

Укусай
Мы есть не то, что можно есть.

Пустобрюха
Мы будем есть и есть и есть то, что мы есть, чтобы достигнуть полноты всей поглощаемой еды.

Жан Заживоглот
Мы то, что есть, мы то, что ели, и кое-что еще. А было бы не так, мы не могли бы есть и не могли бы быть.

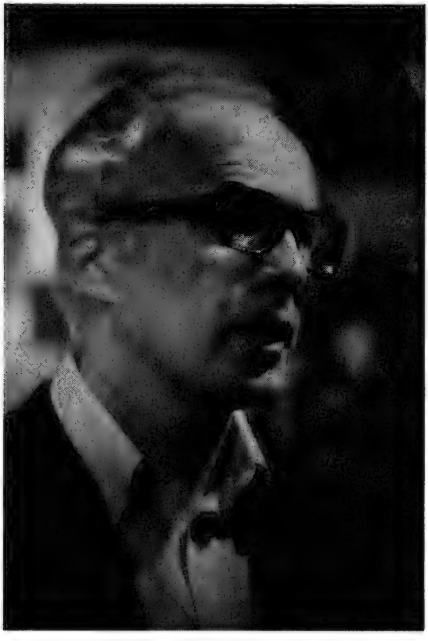
Обожратель
Мы питаемся тем, чем являемся, наше питание — воспоминания.

Пустобрюха
Мы едим. Рассусаль с овощукой, нибельмесский пупок, дребоданский икрак, супецназ, мы едим спаранжу с бригадиром, мы едим кочевряк, нашпигованный сыром, хлеб, вино, толокно, мы едим, что хотим.

Укусай
Пир горой! Пора бы нам всех узнать по именам.

Борис Дубин
Проводник

К семидесятипятилетию Самария Великовского (1931–1990)



Первые статьи Самария Израилевича Великовского о французской поэзии на революционных переломах XVIII–XIX веков появились в характерной атмосфере послесталинской "оттепели". И вся его позднейшая работа на протяжении более чем трех десятилетий, что показательно, не отрывалась и даже почти не удалялась от двух исходных смысловых центров. Первым была французская лирика XIX–XX столетий от Нерваля и Бодлера, Лотреамона и Рембо до Элюара, Мишо и Шара с ее, как он писал, "неизменной поисковостью, духом первооткрывательства и обновления, словесного экспериментаторства"[1], а вторым – литература "трагического гуманизма" во Франции, условно говоря, середины века двадцатого, то есть Мальро, Сартр и Камю (стоит вспомнить и напомнить, что драмы Сартра в 1967 году и прозу Камю в 1969-м читавшие на русском получили, можно сказать, из рук и с уст Великовского); теперь я бы рискнул добавить к двум этим пунктам третий – взрыв "левых" настроений во французской интеллектуальной среде 1960–1970-х годов или, смотря шире, превращения революционной идеи и традиции в новейших условиях (тут "начала" и "концы" работы исследователя сомкнулись). Так или иначе, предметом профессиональных занятий выпускника романо-германского отделения филфака МГУ середины 50-х Самария Великовского была Франция. Но кем по профессии был он сам? Обмолвившись в одном из поздних выступлений характерным жаргонизмом "наш брат зарубежник"[1], Великовский, вместе с тем вряд ли согласился бы, мне кажется, считать себя "просто" литературоведом. Если так, то почему?

Прежде всего, из-за состояния советского литературоведения как

© Борис Дубин, 2006

1. С. Великовский. Умозрение и словесность: Очерки французской культуры. – М; СПб., 1999, с.7 (текст 1976 г.). Там же – выборочная библиография публикаций автора с 1957 по 1995 год.

1. Там же, с. 664 (выступление 1988 г.).

научной дисциплины. Ее инструменты-понятия, замечал Великовский, "донельзя изношены" по вполне простой, но лежащей за пределами самого литературоведения причине: необходимости так или иначе приспосабливаться к цензуре, а для зарубежников – еще и приспосабливать к ней (ради, казалось бы, благой цели вроде публикации, да что там – хотя бы упоминания имени запретного писателя) ни сном ни духом неповинную иноземную словесность. Великовский назвал эту круговую поруку обманов и поддавков "подменным иноговорением", когда "произносилось: реализм, а подразумевалось: гуманистическая устремленность, развенчание дурных порядков и освободительный протест..."[1]. Складывавшаяся в отечественной гуманитарии на середину 60-х альтернатива в виде московско-тартуского структурализма с его строгим, даже формализованным аппаратом Великовского не привлекала. Среди прочего, думаю, по характеру задач, которые он перед собой ставил и которые, опять-таки, выводили его работу за рамки общепринятого литературоведения.

Сошлюсь на две самохарактеристики ученого. В одной он говорит о нацеленности собственных занятий французской поэзией на то, чтобы "...дойти как следует самому и постараться ввести других в мир непривычного, а зачастую и неожиданно странного образотворчества" (мне трудно представить подобную автоаттестацию в устах, скажем, французского, британского или немецкого литературоведа, а вам?). В другой Великовский выделяет такие важные для его работы черты французской словесности середины столетия, как "вопрос об этических измерениях действия на историческом поприще или вопрос о природе и конечных предпосылках морального выбора в обстановке износа священно-надмирных, религиозно-метафизических обоснований смысла отдельной и всей космической жизни..."[1]. Подобным проблемам, что говорить, не было места не только на академических кафедрах теории и истории литературы (докторскую диссертацию Великовского об экзистенциализме Камю мурыжили по разным городам и ученым советам не один год), но и на сходках "своих" в Кяэрику или Тарту.

Отсюда отмеченное всеми писавшими о Великовском после его кончины – вспоминаю тексты Сергея Зенкина, Александра Лебедева, Сергея Дубина – одиночество исследователя. Перед нами факт не биографический (Самарий Израилевич был, насколько могу судить, человеком общительным, с одними дружелюбным, с другими светским), а творческий. Характеристика не быта, а мысли. Охотников обращать к французской словесности вопросы, хотя бы близкие по смыслу и уровню к приведенным выше, ценить в ней "моралистику" и предаваться вместе с нею "исповедальным со-размышлениям"[2] среди современников и синхронистов Самария Великовского не оказалось. Его считаные коллеги в этом плане из числа условных сверстников – Альберт Карельский, Александр Викторович Михайлов, Алексей Зверев, Инна Тертерян – работали на других национальных делянках (закрепление за делянками для советского научного хозяйства показательно). И, каждый по-своему, вставали, надо сказать, перед похожими трудностями. Укажу лишь на две.

Самосознание открывателя ("дойти как следует самому и постараться ввести других в мир непривычного", без чего Великовский вообще не видел в своих трудах смысла), тем более работа на материале мировой поэзии новейшего времени, даже вне зависимости от желаний и склонностей исследователя словесности, подталкивали его к роли актуального критика. Постановка же "проклятых" этических и в

1. Там же, с. 665.

1. Там же, с. 9.
2. Там же, с. 10.

связи с ними эстетических вопросов "о природе и конечных предпосылках морального выбора", опять же хочешь не хочешь, требовала философии – моральной философии, философии ценностей, философии культуры (культуры, понятно, не как музейного наследия, а как творческого многообразия, культуры нерешенных смысловых вопросов, а не заранее подогнанных ловких ответов[1]).

На обоих этих путях в исторической ситуации, которая задавала Великовскому и его сверстникам жизненные рамки, ищущего поджидала идеология. Это, по условиям времени, была либо официальная псевдомарксистская догма с редчайшими диссидентскими отклонениями в сторону "молодого" Маркса, либо противостоявшая официальщине и все более ощутимая в семидесятые годы национальная, а точней националистическая, историософия вместе с подчиненной ей этикой "особого русского характера" и "особого пути России". Все эти дороги Великовскому для его жизненных и творческих задач решительно не годились.

Если говорить одним словом, Великовского и его названных выше сверстников-соратников занимал и задевал не состоявшийся в России европейский "модерн" XIX – первой половины XX столетия, гигантский проект мировоззрения и самопонимания нарождающегося сословия интеллектуалов, более не зависимых ни от церкви, ни от двора. Эта никем ни по отдельности, ни группой не сформулированная программа была сосредоточена в Европе на антропологии "нового" независимого человека, homo novus – деятельного и ответственного индивида, который сам создает себя и условия своей жизни вместе с другими ему в этом подобными. Среди прочего, проект этот разворачивался и реализовался в виде эстетически независимой "современной" (moderne) словесности, как и искусств в целом. Средства и цена такой независимости стали предметом, опять-таки, новой этики – от Канта и Фихте до экзистенциалистов. И одним из первых, наиболее глубоких и прозорливых глашатаев эпохи модерна, героев новой эстетики и мучеников новой этики был Шарль Бодлер, так что не зря именно Бодлер явственно лидирует в указателе имен уже цитировавшейся выше итоговой, шестой по счету, книги Великовского "Умозрение и словесность".

В развитой, многомерной интеллектуальной среде современных стран Запада мыслительная проработка всех этих моментов приобретала в XX столетии вид философской критики культуры, скажем, от Вальтера Беньямина до Сьюзен Сонтаг, если иметь в виду пишущих левой ориентации, или, в другой традиции, от Хосе Ортеги-и-Гассета до Ханса Зедльмайра. Иное дело – наши советские условия, где все получившие высшее образование были смяты и раскатаны в одну "интеллигенцию", к тому же, в отличие от России XIX века, государственно-служилую. На поздних стадиях советского жизнеустройства, когда этические проблемы и профессиональные задачи такого класса уже допускалось – с каким зубовным скрежетом допускалось! – хотя бы упоминать, устремления Самария Великовского и немногих близких к нему ищущих гуманитариев приобретали более или менее традиционный для российского литературоцентризма вид критических эссе. Исследователь, как Великовский, склонный к изучению богатейших традиций французской эссеистики и ее достижения изучавший, все больше становился эссеистом сам. Эссе могли принимать форму вынужденных "конвойных" предисловий к полуразрешенным книгам или их препринтов в традиционных для России "толстых" журналах. Либо же – в случаях более редких – выливались в выступления перед студентами или на еще более редких,

1. Этому было посвящено его выступление 1984 г. "Культура как полагание смысла" – указ. изд., с. 672–676.

относительно публичных форумах. Такими в Москве конца 1970-х – начала 1980-х годов были, скажем, Випперовские чтения в Пушкинском музее, либо – в иных масштабах и с другим уровнем дискуссий – открытый семинар Юрия Левады того же периода. На нем Великовский, кстати, несколько раз бывал и однажды выступал с заметками, развитыми позднее в отдельный текст, опубликованный еще позже, уже посмертно[1].

Так или иначе, о философской критике как основополагающей задаче интеллектуала ("критической страсти", по замечательному выражению Октавио Паса), тем более о критике идеологии в современной Великовскому советской России невозможно было и помыслить – тут, строго говоря, и философии-то почти что не было. В этом плане попытки Великовского, задумывавшегося о роли интеллектуалов или об аппарате гуманитарных наук, сослаться на буквально единичные публикации тех лет в журналах "Вопросы философии" или "Вопросы литературы" – скажем, на статьи Мераба Мамардашвили или Эриха Соловьева – не разрывали круг, а лишь замыкали его. Эти авторы ведь и сами существовали в тех же общественных рамках, ощущали те же смысловые дефициты и фантомные боли, к тому же были практически нацело вытеснены ведомственным начальством в полуподпольное "устное философствование". Но и готовность других, имя коим легион, попросту смириться с обстоятельствами и даже извлечь из них известную выгоду, как понятно, упомянутых задач не решала.

Цена подобных умолчаний и непроговоренностей вскрылась позже, уже в 1990-е годы. Если говорить об идеях, ситуация разрешенных "сверху" свобод при отсутствии сколько-нибудь серьезных интеллектуальных заделов "снизу" обернулась скандальным и еще не закончившимся на нынешний день провалом идей и символов модернизации России даже в их донельзя упрощенном, "газетном" либерально-демократическом изложении, а далее – все более явным нарастанием массового цинизма, с одной стороны, и столь же расхожего фундаментализма, ксенофобии, с другой (если это вообще две разные стороны!). Для литературоведения, сколь-нибудь озабоченного общими проблемами, 90-е годы стали временем ускоренного освоения "вдогон" модных вчера концептуальных новинок, а потому – при тех же тенденциях к разложению вплоть до самых "основ" – временем продолжающейся по сей день и даже усиливающейся теоретической неопределенности. Актуальная же критика за 90-е годы попросту провалилась, оказавшись не готовой работать на разноголосом материале модерной, тем более постмодерной словесности и выродившись в условиях книгоиздательского бума до чисто информационной аннотации или явно заказного пиарства.

К числу советских недоговоренностей 1960–1980-х годов я бы отнес и судьбу "левых" идей в современных и постсовременных, но задержавшихся в досовременной архаике обществах, вроде российского, латиноамериканских либо африканских. Именно в подобной интеллектуально не проясненной, двусмысленной ситуации леворадикальные начинания среди пишущих, точечно возникающие сегодня в постсоветской России то здесь, то там, проходят без сколько-нибудь профессионального, вдумчивого и ответственного их разбора. В этом плане добавлю, что посреди единственного нашего с Самарием Израилевичем большого разговора на целый вечер, когда он пригласил меня к себе домой (до этого мы несколько лет с чуть ли не с еженедельной частотой встречались в Гослите, работая над книгой "Поэзия Франции. Век XIX", я оказался редактором переводов в этом очень

1. О сущности перелома во французской лирике на рубеже XIX–XX веков // Новое литературное обозрение, 1995, № 13, с. 354–364.

дорогом Великовскому-составителю издательском замысле[1]), он, ближе к концу, вдруг заговорил о теме, которой хотел бы, после работ о "левом соблазне" французских интеллектуалов, всерьез и вплотную заняться в ближайшем будущем. Речь шла о "ренегатах" левой идеи во Франции, после московских процессов 1930-х и вплоть до конца 1960-х годов болезненно пересматривавших свое отношение к коммунизму вообще и его советскому варианту в частности. Если правильно помню обстоятельства встречи, события середины и второй половины 1980-х тогда еще не развернулись и даже не предощущались. Да и мы, припозднившись, тоже только начали разминать тогдашний разговор...

И до чего теперь жаль, что он прервался на первых шагах и что нельзя к нему сегодня — именно сегодня! — вернуться вместе с Самарием Израилевичем. Не в том дело, что уж совсем не с кем такие вещи обсудить с глазу на глаз — человека три с половиной для этого еще, может быть, найдутся. Но где и с кем говорить о них так, как это ценил и искал возможность делать Самарий Великовский, — *по-французски*, то есть публично, с интересом к собеседнику, в полный голос?

1. Составленная Великовским франкоязычная антология лирики XIX–XX веков вышла в издательстве "Прогресс" в 1982 г., переводная, и только девятнадцатого столетия, — в Гослите в 1985-м, но о ее подготовке "уже на протяжении нескольких лет" он упоминает в цитировавшемся интервью 1976 г. (цит. изд., с. 10). Судьба издательских архивов этого предприятия — десятки объемистых папок с десятками конкурирующих переводов и постраничными заметками-комментариями С. Великовского, редакторов и рецензентов к ним — после фактического развала, а потом разрушения и упразднения издательства "Художественная литература" в 1990-х гг. мне неизвестна.

Борис Хазанов
Париж и всё на свете

I

...Итак, я поселился "на Холме", à la Butte, как здесь говорят; когда вы бредете от бульвара Клиши вверх по улице Лепик, мимо мясных, овощных, рыбных лавок, мимо выставки сыров, киоска с газетами всего мира, кондитерских, кафе, китайских ресторанчиков, по узкому тротуару, где теснится народ, но никто никого не толкает, где играют, сидя на корточках, дети, где какая-нибудь девушка вам улыбнется, не думая о вас, где торчат такие же бездельники, как вы, где звучит стремительная речь, где журчит смех, — и дальше по улице дез-Аббесс, мимо кафе "Дюрер", мимо какого-то русского ресторана, мимо книжного магазина, где вам зачем-то понадобился "Le Disciple"[1] забытого Поля Бурже и вы лавируете между стопками книг на полу, и вниз по дез-Аббесс, и снова вверх, и поворачиваете к Трем братьям, попадаете на маленькую площадь, к дому-пристанищу поэтов, художников и актеров со смешным названием Bateau-Lavoir, что можно перевести как Корабль-умывальник или Мостки для полоскания белья, — кто тут только не побывал, здесь ошивались Ван Донген, Хуан Гри, Модильяни и толстая муза Аполлинера Мари Лорансен, Пикассо писал здесь "Авиньонских барышень", — когда вы снова каким-то образом оказываетесь на улице Лепик, которая кружила следом за вами, и опять вверх, и опять вниз, — то кажется, что вы, как землемер К. — до замка графа Вествест, никогда не доберетесь до Холма в собственном смысле, хоть и видите его над домами то там, то здесь, в перспективе тесной улочки, за купами деревьев, — и вот, наконец, остановка: крутая, с многими маршами лестница. Минут двадцать займет последнее восхождение. Или вы можете встать в очередь перед фуникулером. Или подойти вплотную по верхним улочкам Монмартра. Теперь она вся перед вами: полуроманская, полувизантийская, с белыми, круглыми, как сосцы, продолговатыми башнями-куполами церковь Святого Сердца, Sacré-Coeur. С крыши портала два всадника, король Людовик Святой с крестом и Жанна д'Арк с поднятым мечом, взирают на весь Париж.

II

О Париже сказано все, как о любви сказано все, что можно сказать; и в Париж приезжаешь, как будто возвращаешься к старой любви. Даже тот, кто окажется здесь впервые, почувствует, что он уже был здесь когда-то. В других городах ощущаешь себя пришельцем, гостем, паломником, туристом; в Копенгагене, волшебном городе, чувствуешь себя туристом; во Флоренции чувствуешь себя гостем. В Венецию приезжаешь, чтобы увидеть Пьяцетту в вечерней мгле, зыбкие воды, и тусклые отблески дальних огней, и почти невидимую в темноте громаду Святой Марии Спасения по ту сторону Большого канала, проплыть, отдавая дань неизбежному ритуалу, по ночным водам в черной лакированной гондоле, вспомнить все, что было читано,

© Борис Хазанов, 2006
1. "Ученик" (*франц.*).

слышано, увидено на экране, — и остаться гостем. В Чикаго, с его downtown, чья красота и величие превосходят воображение европейца, с огромным, как море, озером Мичиган, с молниями автострад, уносящихся к бесконечно далекому горизонту за сплошными, во всю стену стеклами ночного затемненного кафе на девяносто шестом этаже небоскреба Хенкок, — говорят, оттуда видно четыре штата, — в Чикаго, хоть ты и бываешь там чаще, чем в Москве, остаешься чужестранцем. И, покидая Венецию, покидая Чикаго, думаешь: когда-нибудь приеду снова. Простившись с Парижем, тотчас начинаешь скучать. Тосковать — по чему? Невозможно сказать. Да все по тому же: по мрачной башне Сен-Жермен-де-Пре на перекрестке искусств и литературы — carrefour des lettres et des arts, как кто-то назвал его, — с недавних пор здесь красуется "Площадь Сартра и Симоны де Бовуар", славная чета сиживала в кафе "Флор", в двух шагах отсюда, — по вовсе не знаменитому маленькому кафе напротив старого дома на углу улиц Бюсси и Св. Григория Турского, где я прожил однажды шесть счастливых дней, куда заворачиваю каждый раз, каждый год. По набережным Левого берега, по шкафам, лоткам и стендам букинистов — кто только не рылся в них, — по Мосту искусств и Новому мосту, который на самом деле самый старый, ему без малого четыре века. В Париже мы все жили еще прежде, чем там оказались. Что это: свойство парижского воздуха или заслуга французской литературы?

III

Париж не меняется — по крайней мере, так утверждает молва, — и не потому ли, что этот город, как никакой другой, наделен способностью принять тебя как своего. Не зря он был назван столицей девятнадцатого века, и, в самом деле, можно лишь удивляться тому, что все в этом городе существует по сей день: и крутые крыши с мансардами, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола, наполовину забранные снаружи узорными решетками. Дешевое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках — все как встарь, город давно смирился со своей ролью быть ночлежкой великих теней, огромным словарем цитат, и все так же течет Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что все еще жив, и высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чем я говорю, — повторение сказанного тысячу раз.

Ах, поздно мы проторили сюда дорожку. В Париже нужно жить в юности. В Париж нужно приехать, чтобы сделать его органом своей души, а не только частью наскоро усвоенной культуры; нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной жизни, стояли перед глазами эти мосты над рекой в солнечном тумане, эти дворцы и площади одна другой краше: Старый Париж — город архитектурных ансамблей: куда ни повернешь, повсюду эти изумительно продуманные, стройные, разумные и прихотливые свидетельства градостроительного гения, которые примиряют тебя с историей, заставляют верить, что труд поколений не пропадает даром.

В одном стихотворении Арагона говорится, что птицы, летящие в Африку из Северной Атлантики, опускаются, как на протянутую руку, на территорию Франции. Очертания страны напоминают ладонь. Франция открыта двум морям. О двух этнических фондах, образовавших нацию, кельтском и романском, писал Андре Зигфрид еще каких-нибудь полвека назад. Сравните портрет нормандца Флобера — короткая шея, широкое мясистое лицо и вислые усы старого галла — с физиономией узколицего аскета с впалыми щеками, уроженца Бордо Франсуа Мориака, вы увидите два характер-

ных французских типа. Но сегодня, глядя на толпу в парижском метро, где каждый четвертый — выходец или сын выходцев из стран бывшего Французского Союза, потомок и представитель черного человечества, для которого не существовало Греции, Рима, Средневековья, Ренессанса, Нового времени, Революции, думаешь о том, что к двум фондам нужно добавить третий, африканский, что здесь происходит рождение новой цивилизации, о которой сегодня мы ничего не можем сказать, и городу предстоит разродиться ею и выдержать ее натиск.

IV

Бродить по городу, сидеть в парках, заглядывать "в вертепы чудные музеев" — после обеда. Зато с утра, проглотив завтрак (довольно скверный в сравнении с немецкими, австрийскими или заокеанскими гостиницами), мы поднимаемся к себе в номер, мы вперяемся в молочный экран. Не начать ли нам, братие, трудных повестей...

Увы, начинали не раз. Роберт Музиль жаловался, что у него в чернильнице асфальт вместо чернил, а в другом письме сравнивал себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше, чем он сам. Нужно отдать себе внятный отчет, в чем состоит задание. О чем мы, собственно, собираемся поведать миру? Похоже, что записыванье мыслей о романе — суррогат самого романа. Графоманский зуд, порожденный страхом перед пустыней экрана.

Написать о том, как некто собрался писать грандиозный роман-панораму своего времени, вместо этого он пишет о том, как этот роман не удается. Ибо время ненавидит таких, как он. Написать роман о писателе-отщепенце.

Написать роман о сером, неинтересном человеке без имени, без биографии, без профессии, без семьи, о человеке, которого только так и можно назвать: *некто*. О субъекте, чья бесцветность оправдана лишь тем, что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, и когда, наконец, он взялся за дело, уселся за компьютер, — он остается тем же, кем был: песчинкой в песочных часах. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там, — мутный вихрь увлек нас за собой, скажем спасибо родине, что удалось унести ноги, возблагодарим судьбу и злодейское государство за то, что мы вообще остались живы.

V

Говорят, роман умер. Умер как литературный жанр, опустился на дно, как Атлантида. Это утешает. Значит, дело не только в неудачливом сочинителе. Это даже не новость: покойник умирал не раз. Осип Мандельштам толковал о крушении человеческих биографий в эпоху великих социальных потрясений, что означало, по его мнению, крах европейского романа — "законченного в себе повествования о судьбе одного лица". Натали Саррот (спустя тридцать лет) объясняла, что персонажи классической прозы, пресловутые характеры, — это фикции: реальная человеческая личность неуловима, непредсказуема; судьба вымышленных героев, сюжет, интрига — все это износилось до дыр; роман, каким мы его знали со времен поздней античности, изжил себя. "Вот почему, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь историю и представляет себе, с какой издевкой взглянет на это читатель, — им овладевают сомнения, рука не поднимается, — нет, он решительно не в силах".

De te fabula narratur[1] — сказано о нас с тобой, приятель.

И, однако, погребение не состоялось, и с тех пор панихиду по роману справляли еще много раз.

1. Басня сказывается о тебе (*лат.*).

Роман возрождается, как Феникс, в новом оперении, чтобы умереть в очередной раз. Роман умирает всякий раз после того, как появляется реформатор романа. Мандельштам объявил роман "Жан-Кристоф" последним произведением этого жанра; но Ромен Роллан не был новатором. Зато после Пруста в самом деле стало казаться, что писать романы больше невозможно. Андре Жид (в "Фальшивомонетчиках") вновь поставил дальнейшее существование романа под сомнение. Вирджиния Вулф ("Миссис Деллоуэй") еще раз заставила серьезно задуматься о жизнеспособности романного сочинительства. Автор "Улисса" подвел под романом окончательную черту. Кафка сызнова закрыл роман. Музиль, оставшись в лабиринте один на один со своим романом-Минотавром, пал в единоборстве, но успел нанести роману смертельный удар.

Король умер — да здравствует король!

VI

Эпоха ставит сочинителя перед вызовом, а сочинитель бросает вызов "эпохе". Я подумал, что заметки "по поводу", может быть, столкнут с места мою работу. Писать о том, что проза не вытанцовывается, роман не дается? Но ведь это означает, что где-то в неведомых далях его персонажи все-таки живы и машут руками — то ли прощаются, то ли зовут к себе.

Отсюда, между прочим, вытекает, что роман в лучшем случае может состоять лишь из фрагментов. Последовательное повествование — достоянье других времен, когда герой романа был субъектом исторического процесса. Сейчас он только объект истории.

Век миновал, "наш" век, — не хотели бы мы принадлежать этому гнусному веку! Но что было, то было, и, мнится, время подбить итог. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют линиями звезды на карте неба, чтобы получилось созвездие. Доступно ли это нам, все еще живым свидетелям, недобитым жертвам? Скажут, что получается круг, называемый petitio principii[1]: задавшись вопросом о характере эпохи, мы тем самым уже исходим из представления о целостной эпохе. Между тем еще предстоит собрать ее по кусочкам, как скелет ископаемого ящера, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из разрозненных обломков.

Самые разные события происходят в одно время, под общим знаком, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной перекличке, о взаимозависимости; эта зависимость кажется объективным фактом. На самом деле она представляет собой умозрительный конструкт. Именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки ребер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Выглядел ли он таким на самом деле?

VII

Гипертрофия памяти — старческий недуг наподобие гипертрофии предстательной железы. Молодость побеждает агрессию памяти, молодость, собственно, и есть победа над памятью, забвение — механизм защиты; мы молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью памяти. Отложения памяти, как известь, накапливаются в мозгу. Склеротическая память, словно горб, не дает распрямиться. Старение — потеря способности забывать. Вот что это такое. Бессонница воспоминаний. Сидение без сна, под мурлыканье космической музыки, перед домашним экраном, на котором проплывают очертания материков. Но на самом деле перед глазами проплы-

1. Предвосхищение основания (*лат.*).

вают годы. Мы умираем, раздавленные этим бременем.

В каждом сюжете скрывается неисчислимое множество вариантов, и каждая страница, как и всякий день жизни, — перекресток многих дорог. Куда направиться? Почему отдано предпочтение этому варианту, а не другому? Невозможно отделаться от мысли, что самыми важными поворотами жизни мы обязаны случаю, но не то же ли совершается в истории? Рим постигла бы иная судьба, будь у царицы Клеопатры нос на полдюйма длиннее, сказал один мудрец. Что мешало военному губернатору Иудеи вздернуть на позорный столб уголовного преступника Варавву, а Иисуса помиловать? Последующие века выглядели бы по-иному.

Стрелочник перевел стрелку, и поезд послушно свернул на другой путь, и вот уже другой пейзаж бежит за окошком, другие станции, другие земли. Тот, кто, подобно историку, смотрит назад, видит множество рельсовых путей, все они сходятся к одному-единственному пути; но для того, кто смотрит вперед, веер дорог не сужается, а раздвигается. Лишь одна из многих возможностей будет реализована. Однако и прошлое когда-то было будущим. Всякая история есть всего лишь осуществившийся вариант. Подчас вероятность случиться тому, что не случилось, была ничуть не меньше того, что случилось. Так в старости женщина с сожалением вспоминает о претендентах на ее руку, которым она отказала. Вместо этого вышла за какого-то сморчка. Так шахматист раздумывает над проигранной партией, вновь расставляет фигуры и переигрывает игру.

"Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай..."

VIII

Гигантская тень Льва Толстого нависла над русской литературой. Несчастная уверенность в том, что жизнь сообщества бесконечно важнее, чем жизнь и участь отдельного человека, настолько велика, что побуждает сочинять народно-исторические эпопеи до сих пор.

Замысел кажется великолепным, вдохновляющим, окрыляющим, а как дошло дело до исполнения... Медуза переливалась красками радуги, пока плыла в воде, стоит ее выловить — комок бесцветной слизи. Произведение, сказал Беньямин, — это посмертная маска замысла.

Странно, что никто (по-видимому) не задумался всерьез, отчего самый знаменитый писатель наших дней потерпел фиаско со своей эпопеей. Замысел был пограндиозней "Войны и мира". Было очевидно, что идеолог пожрал художника; что писателя погребла под собой лавина документального материала; что приемы письма и гротескный слог сами по себе сделали эту прозу нечитабельной; что, оставаясь в веригах устарелой поэтики, романист спасовал перед областью действительности, запредельной его собственному жизненному опыту; к этому можно добавить несколько частных неудач и прежде всего неумение создавать женские образы, пробный камень всякого прозаика. Все это так, но коренная причина, как мне кажется, лежит глубже. Фатальной ошибкой была презумпция архаического жанра. Проект всеохватного эпоса, в котором судьба и поступки действующих лиц, будь то царь или крестьянин, купец или революционер, должны были выглядеть как отражение и часть истории, — был заведомо обречен. Хочешь не хочешь, а роль персонажей становится функциональной. Они кого-то "представляют". От этой патриотической или антипатриотической роли — злополучной иллюстративности — невозможно никуда деться. Многосная музейная колесница с паровым котлом, не приспособленная для современных дорог и скоростей, ползла еле-еле и наконец стала. В который раз пришлось убедиться, что время монструозных эпопей прошло совершенно так же, как "умчался век эпических поэм".

IX

Джойс, узнав о начале мировой войны, сказал: а как же мой роман? В третьей главе "Улисса" Стивен Дедалус произносит фразу, которую, должно быть, не раз повторял его создатель: "История — это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться".

Снова задаешь себе вопрос, возможно ли связать то, что никак не связывается, найти волшебное уравнение литературы, соединить два времени, историческое и человеческое. Мы оказались в ситуации тотального отчуждения человека от истории. Никогда прежде зловещие призраки Нации, Державы, Славного Прошлого и как они там еще называются — не вмешивались так беспардонно в жизнь каждого человека, не норовили сесть с ним за обеденный стол и улечься в его постель. Никогда человеческие ценности не были до такой степени девальвированы, никогда стоимость человеческой жизни не падала так низко. И, может быть, литература — единственное, что у нас осталось на обломках веры в исторический разум, литература, которая все еще отстаивает суверенность личности, литература, последний бастион человечности. Может быть, поэтому роман и остался в живых.

X

Итак, я приземлился в CDG. Аббревиатура, означающая: Шарль де Голль. Аэропорт разместился на северо-востоке от города, до Монмартра не так уж далеко. Подъехали к устью сбегающей вниз узкой мощеной улочки, таксист извлекает багаж из багажника. Пятнадцать шагов вверх по улице Толозе, пешком, чемодан на колесиках, лэптоп в сумке через плечо.

Просят извинения: только что съехал прежний постоялец, в номере еще не прибрано. Выйдем на улицу в рассуждении закусить где-нибудь рядом. Весенний день, будничная суета, и чувство внезапного счастья от знакомого запаха дрянной кухни из подвальных окон соседнего дома. Счастья вернуться в Париж.

Доминик де Вильпен
Европеец

Фрагменты книги

Перевод Е. Леоновой

Европейцы всегда испытывали страсть к путешествиям. Европейское сознание зародилось в Средние века на дорогах, что вели к большим ярмаркам и первым университетам. Пилигримы, направлявшиеся, скажем, в Сантьяго-де-Компостела, говорили, помимо латыни, на разных европейских языках. В XV веке из города в город кочевали ремесленники: германские оружейники, богемские рудокопы, нюрнбергские часовщики, венецианские стеклодувы — и власти не препятствовали им в этом, были бы только талант и мастерство. Территория, по которой они передвигались, не замыкалась границами государств, но простиралась дальше, охватывая всю Европу. Впрочем, даже если европеец и не покидал родных мест, он все равно грезил о путешествиях, мыслил себя путешественником, и воображаемые странствия и новые знакомства давали ему богатую пищу для ума. Возьмите Канта: он никогда не уезжал из Кёнигсберга, но неизменно говорил, что ощущает близость к миру благодаря тому, что живет в портовом городе. Один только раз, совершая прогулку, он позволил себе отклониться от привычного маршрута: в тот день он узнал, что произошли важные события — нет, не в его родном краю, а за границей, в стране, где Просвещение, достигнув расцвета, привело к революции, — во Франции.

© Jorge Semprun, Dominique Villepin, 2005
© Plon 2005, Perrin 2006
© Е. Леонова. Перевод, 2006

Другой символ странствующего европейца, Эразм, в тяжелое для Европы время проехал по ней с севера на юг, чтобы распространить свои идеи, познакомить европейцев со своим мировоззрением. Для него путешествие было не просто поездкой, а насущной потребностью тела и духа: удалиться от родного порога, чтобы расширить свои горизонты, испить из иных источников, сравнить собственные взгляды с взглядами других людей, таких разных и таких близких. В этом он схож с Монтенем, у которого желание отправиться в путь сочеталось со смирением гуманиста, соответствовавшим европейской традиции: искать приключений вдалеке от дома — значит признавать, что наши нравы и обычаи ценны лишь тем, что служат опорой жизни и порядка. И отсюда вовсе не следует, что чужие нравы и обычаи хуже, а другое жизнеустройство заведомо не отвечает нашим устремлениям. Путешествовать — это прежде всего на время отказаться от своих привычек, уйти от себя ради обретения новой реальности, признать, что она нам не безразлична, манит нас, возбуждает любопытство.

Когда Ференца Листа не приняли в Парижскую консерваторию на том лишь основании, что он не француз, молодой гений отправился покорять Европу. Он посещал салоны крупнейших европейских столиц, любовался пейзажами Италии, Швейцарии и Германии. Опыт романтического путешествия лег в основу одного из самых замечательных музыкальных циклов — "Годы

странствий". И у путешествующего по Италии Гёте, и у приехавших искать убежища во Франции Пикассо или Миро – у всех одна и та же история: невероятное великолепие увиденного вдохновило их на многое. Артисты, художники, музыканты, скульпторы, писатели находили в чужих краях нечто новое, непохожее на то, что окружало их на родине; и все-таки это новое было им чем-то близко. Гёте ощущал свет Италии прежде, чем отправился в Рим или Неаполь. Свет этот, воспламенявший его воображение, стал частью его культуры, то есть желаний, мечтаний, памяти и мировидения. Испанские республиканцы знали о французском универсализме, о том, что во Франции соблюдаются гражданские права и существует традиция предоставления политического убежища, задолго до того, как перешли через Пиренеи. Франция сделалась для них пристанищем раньше, чем они в ней обосновались.

Европеец путешествует по своей территории – вот что главное. В какую бы европейскую страну он ни поехал, тронет она его сердце или оставит равнодушным, она не покажется ему чужой. Эдмунд Бёрк[1] выразил эту мысль так: "Ни в одном уголке Европы ее житель не чувствует себя изгнанником". А если европеец все же ощущает себя там изгнанником, значит, Европа перестала быть собой – не раз повторяли Томас Манн и Стефан Цвейг, укрывшиеся в Америке во время Второй мировой войны. Они убежали не из Германии и не из Европы, они убежали от того, что сделал с Германией и Европой нацизм.

Устои

Чем же объяснить то, что тесно связанный с собственным народом европеец всегда находит что-то свое и в любой другой стране Европы?

Нет сомнения, что, несмотря на разницу в обычаях, языке и культуре, за многие века у европейцев выработалось некое общее для всех чувство. Или скорее комплекс чувств, сложившийся потому, что в ходе завоеваний, переселений и разного рода торговых обменов люди постоянно пересекали границы. Этот клубок трудно распутать, в нем соединены три нити: личность, торговля и демократия.

Человек в Европе – хозяин, так повелось с глубокой древности. И хотя всеобщими правами его впервые наделила Французская революция, в основе соответствующих преобразований лежали давние традиции, способствовавшие выделению индивида из массы задолго до революционных событий. Большую роль сыграло и христианство, которое вместо идеи избранности одного народа даровало каждому верующему возможность индивидуального общения с Господом. А также римское право, заложившее фундамент общественного устройства, при котором в основе права лежит частная собственность. Каким бы изменениям ни подвергалось оно впоследствии, именно благодаря ему европеец остается свободным членом общества, которое хоть и вводит его жизнь в определенные рамки, но не регулирует ее в полной мере.

Институт частной собственности привел к появлению рыночной экономики, столь характерной для жизни нашего континента. Уже в эпоху Возрождения товарообмен между крупными европейскими странами, поездки по коммерческим надобностям, курсирование судов, груженных тканями, продовольствием, вином и техническими новинками, стали чем-то привычным. Крупные банкирские дома, вроде дома Фуггеров, держали на почтительном расстоянии даже правителей. Вместе с товарами пришел в движение и дух: стремясь разбогатеть, люди больше общались

1. Эдмунд Бёрк (1729–1797) – английский публицист, политик, философ. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

между собой и заодно узнавали о чужих бедах и катастрофах, уже происшедших или надвигающихся. Лиссабонское землетрясение 1755 года стало трагедией не только для Португалии, но и для всей Европы. Оно заставило задуматься о силах природы и таящихся в ней опасностях, о человеческой солидарности и необходимости развивать технику, чтобы обуздать стихию, о нашем будущем. Но прежде всего эта катастрофа заставила нас понять – а это могут только великие испытания, – что у европейцев общая судьба и безразличию отныне нет места. Суда, шедшие по каналам Германии, или Голландии, или вдоль берегов Средиземного моря, перевозили в трюмах не только товары, но и духовные ценности.

Зарождение капитализма упрочило связи между европейским индивидуализмом и торговлей. Говоря словами Вебера, развитие капитализма опиралось на протестантизм – религию, обещавшую своим приверженцам спасение благодаря достигнутому ими успеху, который отчасти является результатом труда, но главным образом – божественной воли. Разбогатеть – значит быть избранным. Разбогатеть – значит стать достойным ниспосланной тебе благодати, которую никто не может оспорить. У многих, впрочем, такое убеждение сложилось не столько под влиянием протестантства как такового, сколько религии в целом, которая поощряет усилия, направленные на достижение любого, пусть малого успеха, ибо это тоже признак божьего благоволения.

В этой краткой европейской генеалогии определенное место должно быть отведено и демократии. Основы демократии, независимо от того, имеем ли мы в виду теорию или практику, были заложены тогда же, когда и крепостные стены греческих полисов, хотя в те времена никто еще не говорил о праве большинства. Эхо демократии звучало под сводами аббатств и церковных учреждений, очень давно начавших пользоваться выборной системой. Местные собрания, региональные парламенты, крестьянские общины – все это стало кирпичиками здания, постройка которого завершилась английской и французской революциями. Сегодня демократия, шедшая разными путями и сохранившая самобытность каждой европейской страны, сделалась нашим общим достоянием. Мы так к ней привыкли, что подчас забываем, как она хрупка и как нуждается в постоянном обновлении.

Совместимы ли требования демократии с чаяниями отдельного человека и европейскими традициями товарообмена? Да, совместимы. Хотя они вроде и противоречат друг другу, все это разные грани жизни одного и того же европейского сообщества, вечно неудовлетворенного, вечно ищущего и стремящегося в пункт назначения, который, стоит его достигнуть, тут же превращается в пункт отправления. В мае 1990 года, когда Балканские страны вступили в эпоху смут и войн, Жак Деррида, повторяя слова Поля Валери, сказал, что Европа – это мыс, духовный и географический, азиатского континента. Он имел в виду присущее европейцу стремление не останавливаться на достигнутом, ибо это личность честолюбивая, с обостренным чувством долга. Житель нашего континента никогда не знает полного спокойствия, никогда не удовлетворяется достигнутым успехом. Он всегда где-то в пути между личными нуждами и общественными потребностями, его долг – заботиться о себе и считаться с интересами других. В этом французы схожи со всеми остальными европейцами, в этом мы видим прочную национальную опору для построения нашего общего будущего. Да, Францию по-прежнему раздирают противоречия: желания отдельного человека вступают в конфликт с интересами общества, стремление защищать частные интересы – с глубокой уверенностью в том, что именно общественные интересы составляют сущность политики. Французская мысль, обогатившая евро-

пейскую, сообщила ей вечную неудовлетворенность, которая питает честолюбие и побуждает двигаться вперед. И дело не в том, что мы стремимся пребывать в состоянии дисгармонии, это не признак слабой воли, а, напротив, проявление жесткой требовательности к себе, постоянной решимости трудиться во имя прогресса.

Поиск универсального

Европейцу присущи не только эти качества. Надо посмотреть шире, копнуть глубже, чтобы понять, в чем наше своеобразие. Ведь желание торговать друг с другом, дух индивидуализма, стремление организовать жизнь по демократическим принципам свойственны и другим народам, и у каждого из них есть свои мифы, своя историческая память. В одном из романов Жюль Верн высказывает предположение, что существует некая связь между вулканами Исландии и вулканом Стромболи на севере Сицилии. Писателя более всего волнует вопрос: а существует ли связь между людьми, живущими далеко друг от друга и не имеющими общих корней? Что роднит европейские народы?

Может быть, именно терпимое отношение к различиям и есть наш фирменный знак. Способность привлекать к себе другие народы, перенимать чужие обычаи и не бояться, что от этого пострадает наша неповторимость. Когда в 1623 году Фрэнсис Бэкон впервые употребил выражение "мы, европейцы", он знал, что, несмотря на национальные различия, его читатели считают себя европейцами: думают о себе как о людях, живущих на одном континенте. Неслучайно европейцы настойчиво говорят о том, что *сближает* людей. Именно поиск общих условий человеческого существования занимал лучших из них — от Монтеня до Адорно, от Фрейда до Леви-Строса. Европейцы всегда ощущали, что связаны между собой не только территориально. И никогда не приписывали себе какие-то особые качества, которых нет больше ни у кого в мире. Идеи честных выборов и расширения контактов пришли к ним раньше, чем эти слова стали выражением насущной потребности всей нашей планеты. Мы защищаем одни и те же ценности не только потому, что добились могущества и снискали славу, но и потому, что пережили страдания, унижения, варварство. Мы не считаем различия неодолимой пропастью, мы видим в них мост, соединяющий людей. Для нас различия не повод для соперничества, а свойство мира.

Ибо за многие века европеец приобрел опыт противостояния. Не только на своей земле, но и за морями и океанами он яростно отстаивал свои завоевания, свою власть, свое право и свою религию. Вот еще одна сторона этого универсального человека: он склонен к соперничеству и доминированию, а необузданное честолюбие подчас приводит его к трагедии. Этот незабываемый опыт, питавший творчество Шекспира, и сегодня влияет на формирование наших убеждений. Им руководствовались наши отцы-основатели. Глядя на нас, все народы, в особенности те, что пережили гнет коммунистической диктатуры, начинают ощущать потребность в свободе.

Европейское гражданство

Разумеется, европейские ценности нашли свое отражение в идее создания единой Европы. Между универсалистскими ожиданиями и неизбежностью катастрофы, стремлением к миру и неотвратимостью войн существуют противоречия, но они сглаживаются в повседневной жизни нынешней, мирной Европы. Знаменательно, как быстро страны бывшего Восточного блока присоединились к европейскому политическому строительству. Это еще одна иллюстрация — самая свежая и

убедительная – того, как одинаковые политические цели сплачивают людей и вселяют в них надежду на процветание.

Сегодня гражданин Европы уже политическая реальность: вследствие договора о Европейском союзе, подписанного в Маастрихте 7 февраля 1992 года, основные права гражданина Европы получили юридическую силу. Согласно этому договору, любому европейцу предоставляется право избирать и быть избранным на выборах в том государстве, где он в данный момент проживает. Каждое государство – член Союза – в случае необходимости предоставляет дипломатическую и консульскую защиту гражданину, оказавшемуся вне Союза на территории страны, где государство, в котором он проживает постоянно, не имеет своего представительства...

Необходимо особо отметить подлинную новизну того типа личности, которую нашим странам удалось сформировать. Требуют оценки и необыкновенные события, происходившие на нашем континенте: Европу сотрясали войны, разделяли стены и армии – носители разных идеологий, но она сумела, воззвав к своей памяти и заглянув в самые дальние ее закоулки, выстроить общее здание. Нигде в мире нет другой такой политической системы, которая была бы способна увязать требования национального государства и коллективного гражданства на основе подлинно европейской демократии. Сегодня на слова Рене-Луи Аржансона (министра иностранных дел с 1744 по 1747 год): "Вся Европа должна стать одной большой ярмаркой" – мы можем ответить: "Вся Европа – один большой политический проект".

Дело каждого из нас – вынашивать, защищать и воплощать в жизнь этот проект. Мы надеемся на него, потому что это проект мирной жизни. Мы рады ему, потому что он делает нас богаче и сильнее. Мы относимся к нему с уважением, потому что он воплощает идею защиты каждого отдельного человека, но опирается на силу всех. Сегодня быть гражданином Европы – это не просто счастливый шанс, это еще и долг. Сейчас, когда нам грозит столкновение между разными регионами мира, когда катастрофы обрушиваются на целые народы, нашей задачей является упрочение европейских идеалов. Мы смогли построить новое здание на фундаменте национальных государств. Взяв за основу эту модель, мы пошли дальше – укрепили ее, расширили до границ европейского континента. Теперь наша первейшая задача – вдохнуть в нее жизнь.

Для этого каждый гражданин Европы должен хорошо делать свое дело. Я уверен, что именно так и будет. Достаточно посмотреть, каким успехом пользуются такие университетские программы, как "Эразмус"[1], чтобы понять, что наша молодежь хочет знать все о своем континенте, хочет обжить его, хочет, чтобы он имел свое неповторимое лицо. Молодые не намерены замыкаться в чем-то узко национальном, они хотят участвовать в общем деле.

Европеец не есть застывшая реальность. Европеец – это воплощенное стремление. Это полет мечты. Но что это за мечта? Мечта Эразма или Леонардо, Цезаря или Наполеона, Жана Монне или Алькиде де Гаспери[2]? Нет, речь идет о мечте, достойной стать мечтой всех и каждого. О заветной мечте, к осуществлению которой мы можем приближаться только шаг за шагом. Начнем с экономики в надежде на то, что круг будет расширяться – от социальных и культурных целей до политических. Европе ведь свойственно быть незавершенной конструкцией, находиться в постоянном поиске. Европа всегда на пути созидания.

1. Европейская образовательная программа, предусматривающая межуниверситетский обмен.
2. Жан Монне (1888–1979) – французский экономист; Алькиде де Гаспери (1881–1954) – итальянский политический деятель. И тот, и другой – сторонники европейского единства.

Нас не страшат изгибы и повороты истории, нам идут впрок ее уроки. Нам слишком часто предсказывали конец света, чтобы мы поверили в конец Европы.

Как сказал Рембо, надо "покрепче держаться за каждую завоеванную пядь"[1]. Европа должна этому научиться, чтобы вступить в эпоху зрелости, когда индивидуальное соединится с коллективным, европейская демократия станет делом каждого, а ее опыт станет вдохновляющим примером для всех людей Земли. "Манящим берегом" для нашей планеты, мучимой сомнениями во времена, когда разгораются аппетиты, усиливаются разочарования и страхи, когда будущее открывает невиданные прежде горизонты, но вместе с тем возрастает и риск небывалой по своим масштабам конфронтации: столкновения самых разных сообществ, конфликтов идентичностей, роста индивидуализма.

1. Une Saison en enfer. Adieu. Цитируется в переводе Ю. Стефанова.

Кризис предместий: миф или реальность?

В обсуждении участвуют: историк Пьер Розанваллон, социолог Жан-Пьер Ле Гофф, историк Эммануэль Тодд, экономист Эрик Морен

Перевод Е. Клоковой

Нигилистическое движение или нигилистический бунт?

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. Я бы говорил о трех уровнях понимания проблемы. Во-первых, о фактическом положении (беспорядки и насилие); во-вторых, об общей социальной ситуации в пригородах; и, наконец, в-третьих, о французском кризисе как таковом. В этих событиях участвовали люди очень молодые, их действия были весьма жестоки и по сути своей бессмысленны. Зададимся вопросом: можно ли называть это движение нигилизмом? Его характерной особенностью является отсутствие каких-либо программных выступлений, оно зародилось в среде, которая вообще редко облекает свои мнения и требования в слова. В каком-то смысле слова заменяются насильственными действиями, что в корне отличает нынешние протесты от событий мая 1968 года. Никто не высказывается — в лучшем случае в ход идут песни и рэп. Пригороды молчат, заменяя слова насилием. Социальное безмолвие этой части населения является в более широком плане симптомом общей неспособности французского общества понять само себя и говорить о себе. Таким образом возникает целый "букет умолчаний": инфраполитическое молчание (как можно требовать политической сознательности от семнадцатилетних?), социальная немота определенного слоя и социальное безмолвие всего французского общества в целом. Пережитые нами серьезнейшие события, в том числе провал референдума по европейской Конституции, есть не что иное, как одна из форм этого безмолвия. Мы все глубже увязаем в трясине молчания, нам все труднее говорить, в том числе о самих себе. Французская проблема в этом смысле — реакция на возникшую пустоту: отсутствие горизонтов развития и позитивного взгляда на будущее.

Жан-Пьер ЛЕ ГОФФ. Давайте сразу четко определимся: ночные беспорядки в пригородах не являются "движением" и не отражают жизни большинства их обитателей. Мятеж банд малолеток не имеет к политике ровным счетом никакого отношения, даже если вызовет политические последствия. Жители пригородов задаются вопросом, на который мы должны попробовать ответить: что у молодых в голове? И здесь требуется новый подход: неспособность облечь требования в слова приводит к неосознанным действиям и актам насилия. На мой взгляд, в эти три недели мы столкну-

© Libération, 2005
© Е. Клокова. Перевод, 2006

лись с новым типом вандализма, который разрушает действующие схемы. Проявленная жестокость до предела сгущает проблему безработицы и распада семьи (мы стыдливо называем такие семьи "неполными"), требует осознания классовой и национальной принадлежности участников событий. В 30-е годы, даже если человек был беден и терял работу, он оставался членом того или другого сообщества и мог найти соответствующую форму протеста. Это ни в коей мере не относится к тем молодежным бандам, которые громят свои кварталы и поджигают автобусы и машины соседей... Прежде чем рассуждать об условиях, породивших этот феномен, нужно посмотреть на него непредвзято, как это делают социальные работники, много лет остающиеся "на линии огня". Левым политикам пора наконец прямо взглянуть в лицо действительности, сколь бы неприятной она ни была.

Эмманюэль ТОДД. Франция, как и большинство развитых обществ, переживает усиление неравенства в разных его проявлениях, никак не связанных с объективными экономическими факторами. Общество страдает из-за роста новых форм неравенства, порождаемых новой формой индивидуализма. То, что происходит в Америке, во Франции, следует рассматривать также с точки зрения антропологических предпосылок с их сильной эгалитарной составляющей. Две полярные ценности входят в непримиримое столкновение друг с другом, вызывая разную реакцию в различных социальных группах. Сегодня мы имеем дело с живущими в пригородах семнадцатилетними подростками. Их стоит сравнивать скорее с лицеистами 70-х, а не с квалифицированными рабочими-коммунистами великой эпохи. Идея уравнительности в сегодняшних событиях прослеживается очень четко. Я занимался сопоставлением положения эмигрантов в Европе и США. Ситуация во Франции весьма специфична – это, с одной стороны, результат разрушения традиционной магрибской или африканской семьи, принявшей французские ценности, и, с другой, роста смешанных браков. Ярость предместий – это протестная реакция, которую лично я воспринимаю как сугубо эгалитаристскую. В этом смысле молодежь превосходно владеет политической терминологией. А история учит, что бунта без надежды не бывает.

Эрик МОРЕН. Нужно очень четко осознавать, что представляет собой общественное сознание семнадцатилетних подростков, только что окончивших школу, – не важно, участвовали они в беспорядках или нет. Всех их объединяет исключительно неблагоприятный опыт: бедность и низкое качество полученного школьного образования, что стало для них очевидным при попытках поступить в коллеж. Отправной точкой мая 68-го стал бунт молодых представителей среднего класса, провалившихся на экзаменах за среднюю школу, которых лишили реальной возможности получить высшее образование. Сегодня ситуация иная: детям из низших классов практически невозможно попасть в лицей или коллеж. Частично это связано с тяжелыми жилищными условиями и нестабильным материальным положением. Эту проблему система национального образования в одиночку не решит. Жилищная политика правительства не сдвинула с места проблему перенаселенности, которая затрагивает около четверти детей и остается главной причиной их неудач. Городские программы не справились с проблемой территориальной сегрегации. Дети из бедных семей живут сегодня в кварталах, где уровень нищеты в четыре раза превышает средний по стране. Почти невозможно внушить ребенку позитивное отношение к школе, если он растет среди товарищей, ощущающих себя неудачниками.

Жан-Пьер ЛЕ ГОФФ. То, что происходит сегодня, коренным образом отличается от событий 68-го или выступлений лицеистов 70-х.

Для "бешеных" 68-го слово было оружием, они ощущали себя наследниками революционных традиций нации, а не жертвами и уж никак не обитателями гетто. Мы ради самоуспокоения раз за разом пытаемся любой ценой втиснуть новое в старые рамки. В 80-х годах я работал методистом в пригороде, и меня уже тогда приводил в замешательство феномен, которому я не мог найти объяснение: очень низкая самооценка части молодежи, находившая постоянный выход в агрессии. Брошенный нам вызов не так-то легко принять. Безработица и шаткие перспективы на будущее играют, безусловно, главенствующую роль, но нельзя недооценивать и проблему разрыва связи с обществом. Несовершеннолетние участники сегодняшних беспорядков замкнуты на себя, ими владеет гнев, они смешивают отчаяние и нигилизм. Разрушение кварталов, где они живут, — это логика саморазрушения. Проблему не решить правильными лозунгами и щедрыми обещаниями.

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. Такова долгая история социальной республики. В "Отверженных" Виктор Гюго противопоставлял бунт восстанию. Бунт — это хаос и разрушение. Восстание же производит политический "выброс" в будущее группы наделенных самосознанием граждан, стремящихся что-то построить.

Эрик МОРЕН. Такое становится возможным благодаря разделению внутри низших классов. Не существует народа как такового. Молодые люди без образования, выходцы из простонародья, знают, что их ждет совсем другое, чем у отцов, будущее: они пойдут работать не в промышленность, а в сферу торговли или услуг. У этих профессий куда менее маскулинный характер, и молодые люди не могут не чувствовать, что в какой-то мере унижается их сугубо мужское достоинство. Они не разговаривают, не высказываются. Ничего не обсуждают, потому что это вступило бы в противоречие с господствующими в их среде ценностями. В сфере обслуживания важна способность выделиться, понять и принять любые желания клиентов. Главная ценностная установка того рынка труда, куда попадают молодые, — это успех через личную "особость". Имея подобную установку, человек вряд ли испытает потребность в групповом высказывании.

Эмманюэль ТОДД. Когда я увидел, как горят машины, это вызвало у меня раздражение. Когда начали поджигать автобусы — я занервничал. Поджоги детских садов вогнали меня в депрессию. Но ссылка на Гюго показывает, что мы всерьез рискуем вернуться к утверждениям, столь популярным в XIX веке: переименуем восстание в преступную акцию, а трудящиеся классы будем считать потенциально опасными. Я вижу в этом сужение нашего идеологического пространства. Страдающую сторону пытаются выставить социально опасной. Из всех событий последних недель лично на меня самое большое впечатление произвели молодые люди, которых никто не лишал возможности высказаться, и они в полной мере использовали принцип свободы и равенства и отреагировали на вербальную агрессию министра внутренних дел, который их оскорбил — повел себя как хулиган из пригорода. Мы имеем дело не с нигилизмом, не с иррациональностью и не с немотивированным насилием. Как бы там ни было, правительство правых пошло на уступки, восстановив дотации территориальным объединениям и отказавшись — во всяком случае, я на это надеюсь — от политики, игнорирующей важнейшие проблемы государственной безопасности. С точки зрения исторической все это можно назвать вполне логичным явлением.

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. Так называемые пригороды — это территория, где накапливаются проблемы и нарушается отлаженный ритм функционирования механизмов государственной власти. Напомню, что наряду с беспорядками в пригородах мы имеем классические конфликты: забастовку трамвайщиков в Марсе-

ле, неприятности в НККМ (Национальная компания "Корс-Медитеране"). Франция попала в клинч: с одной стороны, свойственная ей архаичность, с другой — внутренние взрывы, характерные для современного общества. В других странах дело обстоит иначе. У нас существует серьезная проблема с органами управления среднего звена. Устаревшие системы не действуют, современные не созданы. Все это приводит к росту популярности Национального фронта Ле Пена и конфликтам по образцу былых времен. Такова, на мой взгляд, суть французского кризиса.

Эмманюэль ТОДД. Существует так называемый эффект Нового Орлеана. Положение молодых выходцев из среды иммигрантов является неотъемлемой частью проблемы. Но если мы будем анализировать ее в узконациональных рамках, то рискуем не заметить, чем нынешняя ситуация угрожает французской культуре. Департамент Сена-Сен-Дени — это место, пропитанное историей. Там находится усыпальница французских королей. И штаб-квартира Французской компартии. Но по улицам ходят в основном "смуглолицые" ребята. В других странах арабы и чернокожие перебили бы друг друга, а во Франции они вместе забрасывают камнями полицейских. Не стану спорить — имеет место и разложение социальной среды, и безработица, и провал системы школьного образования, и распад традиционной магрибской и африканской семьи. Но французские ценности никуда не исчезли. Нынешнее молодежное движение очень французское по характеру. Оно вызрело в сердце французской культуры.

Эрик МОРЕН. Согласен, но хочу напомнить, что проблемы, возникающие у школьников уже в начальной школе, это сугубо французский феномен. Мы одна из тех редких европейских стран, где право "оставить на второй год" в начальной школе и в коллеже — по-прежнему главный инструмент управления ученической массой. Те, кто работал за границей, не устают удивляться, что французская система школьного образования является, по сути своей, "сортировочной".

Вы считаете это новым симптомом французского кризиса?

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. Пережитые нами события вписываются в длинный ряд французских проблем, которые возникли не в 2005 году, когда страна ответила "нет" на референдуме, и даже не в 2002-м, во время первого тура президентских выборов, но намного раньше. Знаков, предвещающих кризис, в пригородах было предостаточно — и на политическом, и на социальном уровнях. Чтобы понять существующие в стране проблемы, необходимо принять во внимание и события, имевшие место в 1995 году. Они имеют несколько иную природу и могут быть разделены по трем основным типам: 1) социальные, отмеченные своего рода старомодным радикализмом; 2) политические, связанные с не выполненными властью обещаниями; 3) чисто политиканские, затрагивающие систему межпартийной расстановки сил и вопрос о представительной форме правления. Мы уже лет десять слышим один и тот же тезис: все трудности возникают якобы из-за того, что увеличивается разрыв между народом и элитами. Думаю, события сегодняшнего дня ясно доказывают, что подобный анализ не выдерживает никакой критики. Противопоставление *народ–элита* – пассивный, отстраненный и весьма грубый метод постижения происходящего. Идея социального разрыва никем и не оспаривается, но корни его лежат намного глубже, разрыв этот — порождение французской политической и экономической модели, а если быть более точным — способа организации производства.

Эрик МОРЕН. Специфика голосования 21 апреля 2002 года в первом туре президентских выборов заключалась в том, что очень жестко, часто даже "на грани фола", голосовали не наименее обеспеченные наемные работники, а относительно квалифицированное меньшинство этих самых работников (мастера, бригадиры, техники, инженеры). Я оценил это голосование как знак того, что они поняли серьезность угроз, нависших над этой частью населения из-за деиндустриализации. Референдум по европейской Конституции в определенном смысле укладывается в тот же самый ряд. Одно из различий между Маастрихтским голосованием и конституционным референдумом заключается в том, что сравнительно небольшие группы представителей среднего класса, работающие в частном секторе, не пошли за правыми парламентариями, инициировавшими референдум, проголосовав, таким образом, против "родной семьи". С этой точки зрения, именно они, не ответив на призыв правых, сделали провал референдума таким сокрушительным. Сегодня работники наемного труда и средний класс разошлись по разным группам, и у них разный враг, они принадлежат к разным мирам. Рабочий класс, так долго занимавший доминирующее положение, сегодня отступает под напором нового пролетариата — из сферы услуг, ему все труднее находить суть своего профессионального статуса. Молодежь без образования, принадлежащая к низшим слоям общества, имеет сегодня перспективы трудоустройства только в сфере услуг. По моему мнению, кризис предместий вытолкнул на политическую сцену проблемы растущей десоциализации наемных работников низшего звена.

Эммануэль ТОДД. Я поддерживаю мысль о непрерывной цепочке негативных процессов. Каждый раз главный вектор кризиса проходит через новые социальные группы. Успех Национальному фронту на выборах 2002 года обеспечили низшие слои общества. В тех ситуациях, когда американские рабочие ощутили бы собственную вину за потерю работы, французы продолжают голосовать, отдавая голоса Национальному фронту. В 2005-м "нет" европейской Конституции сказал государственный сектор — сторонники маниакальной идеи "всенародного служения". Работающий на государство средний класс защищается, мешая созданию зачатков Общеевропейского дома на базе ценностей, более не являющихся уравнительными. Речь, попросту говоря, идет о защите ультрапротекционистской позиции лично для себя. Бунт предместий выводит на сцену третью группу действующих лиц: молодых иммигрантов. Глобалистский капитализм вызывает во всем мире рост неравенства. В каждой стране главной его мишенью будет самая слабая часть населения. Во Франции самым слабым звеном являются обитатели неблагополучных кварталов и их дети. Мы не можем рассчитывать на то, что процесс дробления молодых поколений утратит напряженность. Глобализация и усиление могущества Китая и Индии, давление на молодых выходцев из среды иммиграции и низших слоев французского общества будут только усиливаться. Судя по национальной принадлежности участников недавних беспорядков, задержанных полицией, я бы сказал, что механизм разделения по этническому признаку смягчается внутри молодежной среды, во всяком случае, в некоторых районах.

Жан-Пьер ЛЕ ГОФФ. Республиканская модель — это идеальная модель равенства и гражданства, которая никогда полностью не совпадает с реальной жизнью, но этот идеальный характер придает ей динамику и, как свидетельствует история, помогает идти на разумные компромиссы. Эта модель опирается на определенную трудовую мораль, на общую, связанную с нашей историей культуру, на идею улучшения социального положения... Сегодня эти ключевые моменты пере-

стают работать. Вопрос в том, как вдохнуть в них новую жизнь, а не в том, чтобы заявить, что наша модель провалилась, и быстренько переориентироваться на другую – англосаксонского типа, не имеющую надежных корней в национальной традиции и тоже, кстати, пробуксовывающую. Я не очень понимаю, почему человека, признающего факт расхождений между народом и элитами, объявляют популистом: сегодня это уже не расхождения, а полный разрыв. Послевоенные элиты вышли из Сопротивления. На своем жизненном и профессиональном пути они сталкивались с другими социальными категориями граждан. Нужно задаться вопросом: что происходит сегодня в области образования, как развивается среда обитания различных категорий граждан? Мы имеем дело с серьезнейшей социальной разобщенностью, и идея народного образования вновь обретает первостепенное значение.

Конец республиканской модели?

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. История XIX века была историей интеграции компаний, территорий и трудящихся классов. Из французов сделали крестьян. Из люмпен-пролетария – рабочего, который в 1914 году пошел сражаться за свою страну. Сегодня французское общество платит очень дорогую цену за полный провал деколонизации. Сорок лет спустя мы платим за то, что у нас когда-то были "недограждане". В Алжире были туземные подданные и подданные-французы. Вопрос о гражданстве не был отрегулирован законодательно. И его не отрегулирует уравнительный юридический подход. Не только право голосовать на выборах помогло Республике интегрировать рабочий класс – помогли также идея государства-покровителя, и армия, и некоторые важнейшие события. Недостаточно просто заявить, что выходцы из среды иммиграции имеют право голоса. У нас отсутствуют необходимые формы признания, интеграции и допуска к власти. Французское общество потерпело историческое поражение, его довольно долго удавалось маскировать с помощью республиканской идеологии, но сегодня взрыв произошел прямо у нас под ногами. Между тем новую силу обретают две базовые идеологии: авторитарная и республиканская. Исходя из последней, право есть ключ к решению всех проблем: обяжем всех законопослушных подданных признать, что они являются таковыми по определению. Начать следует с суровой критики возврата к авторитарной идеологии и развития абстрактного республиканства.

Эмманюэль ТОДД. Базовые ценности никуда не делись. Как и культурная основа. Они способны работать. Даже элиты и полиция соблюдали корректность по отношению к зачинщикам беспорядков, к ним отнеслись как к детям нашей страны. Было бы довольно легко реанимировать старую французскую систему. Но власть сегодня не справляется с идущими в стране экономическими процессами. Хочешь изменить правила – меняй ментальность. В одиночку Франция из глобализации не выберется. Республиканская молитвенная мельница крутится вхолостую. Республиканская модель стала доминирующей идеологией. Политики не осмеливаются признать, что не способны находить адекватные экономические решения в масштабе всей страны, а для народа слово "республика" – китайская грамота. Национальные элиты все больше предаются мечтам о былой республике, отказываясь создавать в общеевропейском масштабе механизмы, регулирующие либеральные процессы. По большому счету, обе догмы – республиканская и либеральная – действуют очень слаженно, утверждая сегодняшнее положение дел.

Эрик МОРЕН. Позволю себе не согласиться. Часть проблем являют-

ся сугубо французскими, их можно решить с помощью национальной политики. Так, проблема неравенства при найме на работу носит во Франции особенно острый характер. Главной задачей выравнивания в этой сфере является трудоустройство выпускников школ. Французское общество базируется на статусном неравенстве, как бы сладко ни звучали эгалитаристские песнопения. Это наша национальная специфика, и мы можем с ней справиться. Не все составляющие французского кризиса связаны с глобализацией.

Жан-Пьер ЛЕ ГОФФ. Утрата политической воли в управлении экономикой – важная причина разрыва связи с народом. Политики выглядят в глазах общественного мнения полностью недееспособными. Коммунистические режимы продемонстрировали миру, какой вред способна нанести управляемая сверху экономика. Однако сейчас происходит забавный "перенос по смежности": многие уверовали, что глобализация и свобода торговли автоматически приведут нас к процветанию. Лично я верю в усиление европейского неопротекционизма. Соединенные Штаты с нами не церемонятся. Политики ведут бесконечные бессвязные, оторванные от реальной жизни разговоры. Вспомните признания Франсуа Миттерана, совершившего в 1983 году безответственный поворот в экономической политике: "Мы изменили политику, ничего в ней, по сути, не изменив". А Жак Ширак, добившийся избрания благодаря эксплуатации темы "социального излома"? "Язык без костей" и аморфная власть – ключевые причины растерянности общества. Общественное мнение симпатизирует Никола Саркози, потому что он производит впечатление политика, который не только резко высказывается, но и отвечает за свои слова. В то же время по вине Саркози республиканская модель начала соскальзывать к чему-то совершенно иному, идущему вразрез с французской политической культурой. Высказываясь за неприкрытую дискриминацию "очевидных меньшинств", он открывает ящик Пандоры, усиливая всеобщие подозрения в дискриминационно-расистском характере общественных отношений. Люди все больше жалуются и все чаще качают права. Просто "манна небесная" для крайне правых.

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. Если республиканская идея может стать повседневной реальностью, я говорю ей "да". Но идеология не должна тормозить практику. Решение Sciences-Po набирать учеников в ZEP[1] коснулось не более чем десятка студентов, но вызвало к жизни поток не влезающих ни в какие рамки философских рассуждений. Во Франции общие рассуждения о Республике мешают практическим мини-опытам. Сегодня Республика не побуждает к смелым экспериментам – ею чаще всего прикрываются для оправдания бездействия.

Эрик МОРЕН. Ущемление прав и неравенство в правах существуют уже в силу того, что общество разделено на группы. Но хуже всего то, что неравенство проявляется даже в процессе образования этих групп. Во Франции попытки уменьшить базовое неравенство (возьмите, например, ZEP) сегодня воспринимаются скептически, потому что они не принесли конкретных результатов, хотя и остались не более чем попытками. Общая сумма ассигнований на ZEP была сравнительно невелика. Распыленная на 15 % учеников, прибавка на образовательные нужды каждого становится просто ничтожной. Не говоря уже о том, что на "передовую" чаще всего попадают самые неопытные преподавательские кадры. В Нидерландах школа получает помощь не по территориальному принципу, а в зависимости от числа посещающих ее

1. Sciences-Po (Высшая школа политических наук) – элитный парижский университет; ZEP (zone d'éducation prioritaire) – зона приоритетного обучения (*франц.*); особая программа для "неблагополучных" районов, призванная обеспечить ученикам доступ к высшему образованию. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

учеников, и внимание, уделяемое каждому ребенку из семьи иммигрантов, удваивается. А мы все никак не можем перейти от слов к делу.

Эмманюэль ТОДД. Необходимо быть предельно аккуратным, сравнивая ситуацию в разных странах. Нидерланды, например, всерьез обеспокоены тем фактом, что дети иммигрантов не говорят по-нидерландски. Но сравнение не всегда уместно. Мы должны предельно откровенно обсуждать французские проблемы, забыв наконец о мечте отряхнуть со своих ног прах французской культуры.

Эрик МОРЕН. Мне вовсе не кажется, что я отказываюсь от французской культуры, когда предлагаю, скажем, дотировать школы в соответствии с числом детей, освобожденных от оплаты завтраков.

Жан-Пьер ЛЕ ГОФФ. Проблема реальной дискриминации в экономико-социальной и школьной сферах безусловно должна обсуждаться. Не будем забывать о последствиях "устройства системы гетто". Извлечем уроки из ZEP. Мало просто давать деньги, нужно искать новые формы общения разных социальных категорий граждан. Однако, используя формулировку "очевидные меньшинства", мы скатываемся к другому подходу, а именно – к очевидной дискриминации по этническому или расовому признаку! В том, что касается проблемы "Европа – нация", не думаю, что Европа функционирует как идентификационная среда, особенно в пригородах. Левые слишком быстро отказались от национального вопроса, как и от проблемы сосуществования Европы в целом и отдельной нации в частности. Я верю в такую Европу, где нации остаются краеугольным камнем идентификации.

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. Существует серьезное несоответствие между идеологиями и политическими, социальными и экономическими практиками, хотя только последние способны предложить решение тех или иных проблем. За десять лет в "нестабильных" городских зонах было потрачено 50 миллионов евро – сумма более чем значительная. Но тратились эти деньги на структуры, а не на конкретные программы или конкретных людей. Если бы государство выделило ста лицеям или коллежам достаточные ассигнования, которые позволили бы им удержать лучшие преподавательские кадры, результаты могли бы быть иными. Я не верю в существование общих и одинаковых для всех решений. США и Франция потратили на городские программы примерно равные суммы, но результат американцы получили явно лучший, поскольку деньги выделялись на проекты и узкие местные программы. Пример пригородов показывает, что широкие и проводимые сверху реформы по унификации не позволяют найти адекватного решения проблем. Нужно поощрять децентрализованное выделение средств на местах и воссоздавать центры, где люди смогут общаться и проявлять инициативу. Сколько государственных детских садов существует в пригородах? Не стоит возвращаться к схеме, когда государственная власть сильнее не включенного в коллективные связи человека и решает за него его проблемы. Жизнь доказала, что оно не способно это сделать, и лучший тому пример – дурное управление некоторыми общественными службами.

Жан-Пьер ЛЕ ГОФФ. Изначальная проблема заключается в неспособности политиков управлять экономикой. В стране уже тридцать лет существует массовая безработица. Проблема эта не только экономическая, но и социальная. В антропологическом смысле работа есть одно из необходимых условий для обретения человеком самоуважения: работа – ключевой элемент противостояния реальности, познания собственных возможностей. Благородная болтовня о гражданстве без предоставления возможности работать – это тупик. Так называемые гражданские объединения превратились в социальных опекунов массовой безработицы.

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. Больше ста лет левые политики были ин-

тернационалистами по определению. В 80-х они почувствовали, что пришла пора вернуть силу национальной идее. Но это не должно быть единственной основой интеграции, гражданства и равенства. Проблема Франции, на мой взгляд, все-таки не в том, что мы мультикультурная страна, и не в том, что у власти стоят жертвы! Давайте не будем путать потенциально – и реально – опасные вещи с тем, что может создать катастрофическую реальность.

Жан-Пьер ЛЕ ГОФФ. Вопрос размывания авторитета государственной власти – не виртуальная опасность, процесс идет уже лет тридцать! Некоторые левые политики легко приняли идею сосуществования культур, не задумываясь о последствиях. Общество заражено губительными идеями жертвенности, идущими рука об руку с сострадательным бессилием государства. Можно критиковать слабости и недостатки республиканской модели, но изменения, которые предлагает внести в нее Саркози, способны, на мой взгляд, лишь ускорить распад единой нации. Главная опасность, исходящая от Никола Саркози, заключается в том, что он пытается протащить модель, которую я назвал бы "сожительством", противоречащую республиканской традиции французского общества, в том числе по вопросу о проживающих в стране меньшинствах.

Саркози: спаситель или смутьян?

Эмманюэль ТОДД. В последнее время меня серьезно занимал вопрос отношения к власти. Если говорить о спусковом механизме кризиса, то Никола Саркози перестал олицетворять собой власть. Министр внутренних дел совершил ошибку, заговорив с собеседниками на их языке. В коллективном бессознательном молодежи он стал "подонком из Нёйи"... Первое, чему учат тех, кто собирается преподавать в пригороде, – это никогда не становиться на одну доску с учениками. Кроме того, Саркози просто не понимает, что политические и экономические решения должны соответствовать базовым тенденциям французской антропологии. Рано или поздно он осознает, что управлять Францией, вступая в противоречие с ее ценностями, невозможно.

Эрик МОРЕН. Никола Саркози заговорил от имени среднего класса и низших слоев французского общества, когда облек в слова противоречия и недовольство, продемонстрированные 21 апреля и в ходе референдума. Он далек от того, чтобы призывать к примирению. Разломы проходят по пригородам и обитающим там семьям. Никола Саркози делает ставку на расслоение рабочего класса, который чувствует реальную угрозу своему положению в обществе и вынужден думать о собственной безопасности.

Эмманюэль ТОДД. У меня такое чувство, что ведущие обозреватели и главные редакторы крупных СМИ чудовищно переоценивают "вменяемость" проекта министра внутренних дел. Он опустился до уровня своих оппонентов, не будем об этом забывать. Если бы я задался целью определить социальную роль Никола Саркози, то искал бы ее сущность в нарциссической и эксгибиционистской личности этого человека.

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. Громче всего в сегодняшних спорах звучат голоса вожаков главных идеологических направлений – неолиберального, авторитарного и республиканского. Никто лучше их не умеет сочинять лозунги и схемы. Вот только одного "достаточно просто..." явно недостаточно.

Жан-Пьер ЛЕ ГОФФ. Необходимо извлечь уроки из того, что случилось в 80-е с политикой городских программ и объединений из-за их пустословия и скучных мероприятий: они превратились в автоматы для выдачи наличности... Общественные

объединения пытаются лечить безработицу, они укрепляют человеческую солидарность, помогают тем, кто потерпел поражение в попытке получить школьное образование, участвуют в жизни городских кварталов... Это немало. Но будем честны: городские программы и работа самых лучших и успешных общественных объединений не могут заменить собой реальную политику в сфере занятости. С другой стороны, в среде общественных объединений нешироко, но распространена левацкая идеология, сводящая историю нашей страны к самым темным ее страницам. Она подпитывает жертвенный менталитет молодежи, уравнивая ее положение с положением рабов и колонизированных народов. Эта идеология работает против интеграции. Демократические левые должны ясно и недвусмысленно от нее отмежеваться. Не отрицая темных страниц нашей истории, интеграция предполагает осознание ее завоеваний и принадлежность к общему культурному наследию. Только в этих рамках народное образование может обрести новое дыхание.

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. Дело не просто в исключении того или иного гражданина из той или иной сферы общественной и политической жизни. Французское общество — это разветвленная система разных типов неравенства. Она функционирует на всех уровнях через весьма тонкие скрытые механизмы сегрегации и установления различий, в том числе в школе и университете. Только во Франции сохранилась, например, система иерархии высших учебных заведений. Вопрос о предместьях существует внутри этого общества, пропитанного бесчисленными социальными различиями, общества сегрегации и общего неравенства.

Эрик МОРЕН. Мы постепенно перешли от промышленного общества к так называемой экономике сферы услуг. Эта эволюция серьезно повлияла на межклассовые отношения. Различные группы внутри классов сосуществовали и сотрудничали на своих рабочих местах. Сегодня каждая группа того или другого класса работает в разных местах, поддерживая отношения с другими группами своего класса только через рынок. Мы перешли от экзогамии на рабочем месте к миру, в котором вырвались на волю все эндогамные трудности. Это кажется мне гораздо более серьезной причиной социальной раздробленности, чем неумение читать, как нам пытаются внушить, ссылаясь на расовую или этническую дискриминацию. В школе нет ни расовой, ни этнической дискриминации. Общее ухудшение качества образования детей из беднейших слоев общества отнюдь не является следствием дискриминации.

Пьер РОЗАНВАЛЛОН. И все-таки при найме на работу и в том, что касается жилищных условий, дискриминация существует.

Эрик МОРЕН. Изначальная, так сказать первичная, дискриминация остается, прежде всего, экономической. Самый яркий пример антидискриминационной борьбы — это фактическая дискриминация при поступлении в Sciences-Po. Эта инициатива, безусловно, вызывает симпатию, но при этом намекает на то, что в действительности дети иммигрантов не допускаются в элитные высшие учебные заведения из-за цвета их кожи. Это не так, проблема номер один — бедность. Кто из детей беднейших классов, сдавших экзамен на степень бакалавра в Рубе[1], может оплатить учебу в Sciences-Po? Дети из Рубе не могут поехать учиться в Париж и никогда не сумеют на равных конкурировать с детьми парижских буржуа на вступительных экзаменах по общеобразовательным предметам.

1. Рубе — город на севере Франции.

Оливье Руа[1]: "Для Франции ислам не представляет какой-то особой проблемы..."

Перевод Елены Клоковой

Вопрос. В своей книге "Секуляризация и ислам" вы пишете о возникшей тенденции "эссенциализировать" ислам. Какое значение вы вкладываете в это понятие?

Оливье Руа. Эссенциализировать ислам — значит свести его к неизменной величине, с помощью которой можно объяснить все что угодно. Во-первых, дать исчерпывающее и окончательное определение исламу (как правило, буквалистское и консервативное), чтобы затем (и это главная цель) объяснять любые неоднозначные поступки людей с мусульманскими корнями как механическое следствие принадлежности к исламу. Можно, например, заявить: "Ислам не отделяет религию от политики, значит, мусульмане не способны к восприятию демократии и секуляризма", или: "Молодые люди, живущие в предместьях, являются сторонниками мачизма, потому что ислам ставит мужчин выше женщин".

— Каковы, на ваш взгляд, сегодняшние последствия подобной "эссенциализации"?

О. Р. Происходит смазывание самых сложных проблем, в том числе социальных и политических ("мачизм" живущей в наших пригородах молодежи ничем не отличается от мачизма обитателей "черных" кварталов в США, а также бритоголовых в России или немецких скинхедов и не имеет ничего общего с исламом). Непредвиденный эффект "эссенциализации" проявляется в попытке искать в исламе причину протестного поведения молодежи, в то время как ей попросту нравится делать то, что пугает "буржуа". В более общем плане "эссенциализация" есть не что иное, как попытка все объяснять через ислам, формируя таким образом отрицательное отношение к "мусульманскому сообществу", в которое включают любого этнического мусульманина независимо от того, верующий он или нет, причисляет сам себя к этому сообществу или не причисляет. А поскольку общий знаменатель для сего воображаемого сообщества выводится, как правило, из постулатов консервативного и фундаменталистского ислама, это позволяет утверждать, что мусульмане смогут адаптироваться как в современном мире вообще, так и в Европе в частности, только если адаптируют и реформируют свою религию. Коротко говоря, мусульмане могут интегрироваться в общество лишь при условии реформы ислама.

— Вы утверждаете, что "проблемы возникают из-за природы сообществ, а не из-за общинного фактора как такового". Полагаете ли вы, что проблему эту может объяснить единственно демографический масштаб "мусульманского коммунотаризма"?

О. Р. Демографический фактор безусловно играет определенную роль. Но "мусульманский коммунотаризм" внешне представляет проблему более серьезную, чем, скажем, еврейский, в первую очередь пото-

© Oumma, 2005
© Елена Клокова. Перевод, 2006

1. Оливье Руа — французский политолог, социолог, автор многочисленных работ об исламе; отвечает на вопросы oumma.com по случаю выхода его последней книги "Секуляризация и ислам" в издательстве "Сток".

му, что основная масса мусульман в нашей стране — это эмигранты. Говоря "араб", как правило подразумевают "мусульманин". А между тем следует проводить четкую границу между этнической и религиозной принадлежностью — как в юридическом, так и в мировоззренческом плане, — хотя статистика показывает, что они безусловно тесно связаны между собой (большинство французов-мусульман — выходцы из среды иммигрантов). Ислам не должен использоваться как инструмент при анализе социальных проблем, нельзя рассматривать проблему пригородов через призму ислама и наоборот. Предполагается, что Республика должна игнорировать этническое происхождение граждан; мало того, следуя принципам светского государства, она не признает официальным ни одно из вероисповеданий, но ей не чужды религии, особенно католицизм, что и было продемонстрировано в дни скорби по усопшему Папе Римскому Иоанну-Павлу II. Сегодня постоянно смешивают понятия "этническое происхождение" и "религиозная принадлежность". Такой подход вполне традиционен для части правых, заявляющих о том, что самобытность Европы коренится в христианских устоях. Но сейчас появилась новая тенденция, которая не может не вызвать беспокойства: все большее число людей, считающих себя "левыми", позволяют себе дискриминационные высказывания в адрес ислама, прикрываясь насущной потребностью защитить светский характер французского государства. На самом же деле критика ислама как религии позволяет многим политикам, в том числе и левым, вернуться к антииммиграционным лозунгам, исключив из них фактор "расовой принадлежности". Вместо того чтобы клеймить иммигрантов или арабов, речь ведут о "мусульманах", хотя, конечно же, имеют в виду одну и ту же часть населения страны.

— Вы говорите о "секуляризме с изменяемой геометрией" в связи с тем, что Министерство внутренних дел создает Французский совет по делам мусульманского вероисповедания (ФСМВ), нарушая тем самым закон 1905 года, гласящий, что государство не вмешивается во внутренние дела конфессий. Вы указываете также на возникшую тенденцию идеологизировать понятие секуляризации. Какими, на ваш взгляд, могут быть последствия этого явления?

О. Р. Закон 1905 года, в котором, кстати, слова "светский характер" отсутствуют, регламентирует отношения государства и религий (если говорить точнее — вероисповеданий, что подразумевает отправление культа, а не религиозные догматы) на основе их разделения. Это означает, что светскость — просто юридическое понятие, но не философия и уж тем более не система ценностей. Сегодня же этот закон нарушается с двух концов: государство либо открыто вмешивается в дела религий, либо объявляет секуляризм совокупностью ценностей, которые должны разделять все граждане во имя создания республиканского консенсуса. Разговор идет то о максимально широкой секуляризации (освобождение общественной сферы из-под влияния религии), то о вмешательстве государства в религиозную сферу (создание ФСМВ, требования реформировать некоторые догматы). Необходимо сделать выбор: либо мы придерживаемся сугубо юридического принципа секулярности (то есть разделения), либо склоняемся к диктаторскому папизму (государство самочинно принимает решения в религиозной области, а секулярность превращается в род официальной идеологии).

Совершенно очевидно, что республиканская светская власть вынашивает воистину наполеоновские планы вмешательства в религиозную сферу жизни. Суть проблемы заключается в том, что сегодня такое вмешательство нацелено почти исключительно на ислам, хотя догматы всех главных монотеистических религий по определению вступают в противоречие с законами Республи-

ки (это касается, например, абортов или места женщины в обществе).

Следует добавить, что "республиканский консенсус" становится не более чем мифом, стоит попытаться распространить его на ценности: неверующие, коммунисты, демократы, католики и т. д. на протяжении всего республиканского периода французской истории могли исповедовать разные, и даже антагонистические, ценности. Консенсус должен касаться правил игры (выборы, соблюдение законов и государственных установлений), но не ценностей и не норм. В этом смысле ислам не представляет какой-то особой проблемы: проблему создает деяние, а не та или другая религия.

— Вы упоминаете исследования некоторых авторов, которые берутся утверждать, что положение женщины в "национальных кварталах" — нечто среднее "между подчинением и бесправием", и женщины ждут закона, который их освободит. Вы иначе смотрите на реальность. Что вы понимаете под "освобождением по доверенности"?

О. Р. На протяжении последних двадцати лет на Западе наблюдается очевидный отход от идеалов "освобождения" и особенно от идеи женской эмансипации. Эта тенденция идет рука об руку с подъемом правохристианского движения в США и ужесточением позиции Католической церкви в вопросах расширения роли женщин как во внутрицерковных делах, так и в жизни общества. Многие феминистки, обеспокоенные этим откатом, склонны видеть в девушках из пригорода одновременно современных жертв общественного неравенства и новых активисток движения. Но те же самые феминистки, как и большинство людей, считающих пригороды "потерянными для Республики территориями", подходят к проблеме догматически, часто даже карикатурно (пригороды, дескать, это только символ "притеснения" женщин и "издевательства" над ними). Увы, как это нередко случается с другими проблемами, вырывая из общего социального контекста вопрос о фактической, реальной дискриминации женщин, мы отвечаем на него гневными инвективами в средствах массовой информации и ждем, что ситуацию изменит карательное законодательство — за отсутствием настоящей социальной политики. Мы позволяем создавать гетто, а потом разоблачаем эти самые гетто и их обитателей. Между тем если браки по принуждению и существуют, то матримониальные обычаи в целом намного сложнее и соответствуют правилам тех групп (семейных, земляческих), с которыми могут идентифицировать себя девушки. Совершенно правильно требование уравнять возраст вступления в брак для мужчин и женщин и проверять, действительно ли невеста добровольно дала согласие выйти замуж, но недопустимо ставить под сомнение законность любого эндогамного (с социологической точки зрения) брака (например, между двоюродными братьями и сестрами или односельчанами).

Любое движение — например, "Не шлюхи, но и не рабыни" (оно возникло действительно спонтанно) — рискует попасть под контроль добропорядочных парижан (как это случилось с "SOS расизм") и утратить связь с реальностью.

— В одном из примечаний к вашей книге вы описываете карикатуру, на которой мусульманин стоит, повернувшись спиной к Республике. Вы подчеркиваете двусмысленный характер картинки и пишете, что она слишком напоминает антисемитские карикатуры 30-х годов. Ссылаясь на точку зрения некоторых авторов, вы говорите о тенденции развития "нового представления о якобы опасных классах, подобного тому, которое породил XIX век".

О. Р. У этой проблемы существует два разных аспекта. С одной стороны, меня поражает, что к мусульманам приклеивают те самые ярлыки, которые в 30-х годах часто использовались против евреев (они, дескать, не поддаются ассимиляции, живут диаспорой, предпочитают свою веру идеалам Республики); такова суть

книги Орианы Фалаччи. Некоторые карикатуры впрямую свидетельствуют именно о таком отношении. С другой стороны, при обсуждении проблемы пригородов на ином уровне возникает весьма распространенный в XIX веке мотив: мысль о том, что в рабочих кварталах растет число пролетариев, не посещающих церковь и порождающих новые формы преступности, вызывала у правящих классов массовый психоз. Идея о том, что контроль над некоторой частью городского пространства может перейти к непонятной властям и принципиально "иной" группе населения, является константой современного городского мифа и скрывает за собой неспособность общества найти адекватный выход: оно либо осуждает "коммунотаризм", либо надеется, что проблемы пригородов разрешатся сами собой благодаря экономическим мерам, то есть повышению уровня жизни. Третьего, как говорится, не дано — особенно после провала так называемой городской политики.

— Можно ли, по вашему мнению, говорить о кризисе идентичности, одним из симптомов которого является защита светского характера государства?

О. Р. Спор о том, что считается сутью французской самобытности, то есть о светском характере государства, происходит в тот момент, когда намечается новый подход к проблеме самобытности в связи с европейской интеграцией. Мы цепляемся за мнимый консенсус в вопросе о республиканских и национальных ценностях, которые якобы расшатываются снизу, в предместьях и школах. Существует странное совпадение между двумя историческими явлениями, не имеющими между собой ни малейшей причинной связи: я говорю о начавшемся в 1954 году строительстве общеевропейского дома, и политическое значение такого строительства (отказ от национального суверенитета) было по-настоящему оцененно только в 1992-м, после подписания Маастрихтского договора[1], и о трудовой — преимущественно мусульманской — иммиграции, чей религиозный аспект впервые встал на повестку дня в 1989-м, во время первого "дела о хиджабах" (в том же 1989-м возникло и "дело Рушди"). Отнюдь не случайно лагерь тех, кто сказал "нет" общеевропейской конституции, объединил ярых борцов за "светскость", сторонников суверенитета, ультраправых противников иммиграции и значительное число христиан. Та же самая коалиция высказывает сомнение (используется, конечно, несхожая риторика!) в совместимости ислама и национальных "ценностей" (по-разному понимая эти самые ценности). По существу, не ислам является причиной кризиса французской модели государства, он всего лишь зеркало, в которое смотрится сегодня общество. Через ислам Франция переживает кризис своей идентичности.

1. В соответствии с Маастрихтским договором 1992 г. на базе Европейского сообщества был образован в 1993 г. Европейский союз. (*Прим. перев.*)

Анн Миллер: "У нас есть около тридцати программ..."

Перевод А. Николаевой

"Иностранная литература". Будьте любезны, расскажите нашим читателям, что входит в сферу вашей профессиональной деятельности?

Анн Миллер. Я являюсь генеральным секретарем Национального центра книги (НЦК). Эта организация действует при Министерстве культуры и коммуникации, и возглавляет ее Бенуа Ивер, начальник отдела книг и чтения того же Министерства.

Цель нашего Центра – содействовать созданию, публикации и распространению качественных произведений самых разных жанров. У нас есть около тридцати программ, связанных с поддержкой книги, то есть не обойдено вниманием ни одно звено в цепочке: это стипендии авторам и переводчикам, помощь издательствам в публикации переводной литературы, субсидии книжным магазинам, дотации библиотекам и финансирование литературных мероприятий по всей Франции. Как правило, финансовая поддержка зависит от решения независимых экспертных комиссий.

Большое внимание Центр уделяет популяризации книги. Например, ежегодно в середине октября мы устраиваем общенациональный "Праздник чтения". Целых две недели продолжаются мероприятия под названием "Прекрасные иностранки": французская публика встречается с зарубежными авторами, которые выступают в тридцати городах.

"ИЛ". Какие отношения связывают государство с богатейшей издательской сетью Франции?

А. М. Выше я коротко рассказала о деятельности Национального центра книги, но следует назвать и другие государственные организации, которые занимаются проблемами французских издателей, а также вопросами распространения книг – прежде всего за рубежом. В первую очередь следует назвать Международное бюро французских издателей, которое помогает тем, кто делает книги, участвовать в зарубежных книжных ярмарках. Существует также Издательский центр, его сфера – экспорт нашей книжной продукции.

Тем не менее прямая помощь государства участникам книжной цепочки осуществляется в основном через Национальный центр книги. В 2005 году мы израсходовали около 21 миллиона евро: из них 3 миллиона получили авторы и переводчики, 7 миллионов – издательства и журналы, 6 миллионов – библиотеки, 1 миллион – книжные магазины и 4 миллиона пошло на организацию литературных мероприятий.

© А. Николаева. Перевод, 2006

"ИЛ". Входит ли в круг внимания государства иностранная литература? Существуют ли специальные программы, помогающие познакомить французскую публику с зарубежными авторами?

А. М. Разумеется существуют, и убедительным свидетельством тому служит работа Национального центра книги. Достаточно сказать, что более 20 % выделяемых средств тратится на переводы книг зарубежных авторов на французский язык. Я думаю, Франция как ни одна страна в мире отстаивает принципы культурного многообразия. Одна из линий этой политики — помочь французским читателям глубже узнать иностранную литературу. Национальный центр книги старается улучшить условия работы переводчиков (а значит, и качество переводов). У нас, например, существуют так называемые переводческие гранты — они выплачиваются переводчику сверх издательского гонорара, когда он работает над особенно трудным произведением, требующим дополнительных усилий, которые издатель не в состоянии компенсировать, не нарушив финансовое равновесие проекта.

Я хотела бы еще раз упомянуть программу "Прекрасные иностранки", которая показывает, как много делает НЦК для того, чтобы познакомить французов с зарубежной литературой. Каждый год мы выбираем какую-нибудь страну (в 2005-м это была Россия) в качестве главного гостя и приглашаем 12 авторов из этой страны для встреч с французской публикой. В результате резко повышается интерес читателей, переводчиков и издателей к их произведениям.

"ИЛ". А участвует ли ваш Центр в издании французской литературы за рубежом?

А. М. Это важная часть нашей деятельности, и в этом направлении Центр работает параллельно с Министерством иностранных дел, у которого имеются свои программы. Подчеркну, что здесь мы поступаем весьма нетрадиционно: средства, предназначенные на поддержку перевода, мы перечисляем французскому издателю, который, в свою очередь, должен передать их иностранному издателю. Какой в этом смысл? НЦК считает, что таким образом мы подталкиваем французского издателя к поиску зарубежных партнеров, то есть побуждаем активнее заниматься продажей авторских прав.

Министерство иностранных дел, со своей стороны, напрямую помогает зарубежным издателям — прежде всего в приобретении авторских прав на произведения французских писателей, а также присуждает гранты переводчикам. Мы с Министерством координируем наши планы, и это позволяет более четко организовать работу.

Добавлю, что наш Центр регулярно выплачивает стипендии зарубежным переводчикам, чтобы они могли приехать во Францию и здесь работать над каким-то конкретным произведением.

А еще мы помогаем французским книжным магазинам за рубежом — например, частично берем на себя расходы по пополнению фондов, то есть выделяем им деньги на приобретение книг на французском языке.

"ИЛ". Расскажите, пожалуйста, о работе главных книжных салонов Франции.

А. М. Мне трудно говорить о тех книжных салонах, в подготовке которых НЦК не участвует. Мы тесно сотрудничаем с Парижским книжным салоном — готовим для него общенациональный стенд Министерства культуры, а также берем на себя организацию визита во Францию

зарубежных писателей – почетных гостей Салона (здесь полезен наш опыт проведения "Прекрасных иностранок"). Кроме того, НЦК берет на себя финансовую поддержку целого ряда книжных ярмарок в разных городах Франции. У каждой ярмарки свое лицо, свои особенности: на одни вход платный, на другие – свободный, одни устраивают экспозицию общего характера, у других есть своя узкая тема. Но в любом случае крупные книжные ярмарки или салоны – это не просто место, где демонстрируют и продают книги или где, скажем, можно получить автограф у любимого автора. В программу каждой ярмарки входят встречи с писателями, дискуссии и презентации лучших книг, что можно только приветствовать.

"ИЛ". В прошлом году Парижский книжный салон, как известно, был посвящен России. Как вы оцениваете его итоги?

А. М. С точки зрения НЦК, участие русских писателей в Парижском книжном салоне было очень успешным. Издатели нашли новых авторов и новые книги, в прессе появилось много материалов о творчестве наших гостей, а дискуссии, развернувшиеся на площадках Салона, вызвали неподдельный интерес публики. Добавлю, что наш Центр с большим удовольствием сотрудничал с российским Агентством по печати и массовым коммуникациям: мы обсуждали состав российской делегации, разрабатывали программу их пребывания во Франции с учетом того, что речь идет о личностях ярких и незаурядных. Для НЦК то был воистину "русский" год: в ноябре 2004 года – "Прекрасные иностранки", следом, в марте 2005-го, – Парижский книжный салон! На мой взгляд, такое совпадение оказалось весьма благотворным.

"ИЛ". Как вы оцениваете сегодняшнее состояние книгоиздания во Франции?

А. М. Книгоиздание – главная отрасль нашей культуры с оборотом более чем в 4 миллиарда евро. Хотя нельзя не отметить, что в 2005 году возник ряд проблем: в издательском секторе появились признаки стагнации, явно ухудшилась финансовая ситуация в книготорговле. Следует готовиться к тому, что будет сокращаться количество читателей научной литературы и книг гуманитарной направленности, с рядом сложностей столкнутся независимые книготорговые организации, от которых главным образом и зависит разнообразие книжного ассортимента на рынке; новые информационные технологии будут продолжать наступление на традиционные способы производства и распространения книг, что, кстати, заставляет вернуться к мысли о программах публичных чтений.

Именно такое положение дел побудило министра культуры и связи Рено Доннедьё де Вабра запустить аналитическую программу под названием "Книга-2010", рассчитанную на целый год и призванную помочь разработать конкретные меры поддержки книжного дела.

Марион Мазорик: "Далеко, на краю света..."

Перевод Е. Леоновой

"ИЛ". В этом номере "ИЛ" мы публикуем роман Никола Ре "И это только начало", впервые напечатанный в вашем издательстве. Хотелось бы узнать, как складывались ваши отношения с этим автором.

Марион Мазорик, директор издательства "О дьябль вовер". Я открыла для себя Никола Ре, прочитав его первый роман "Тринадцать минут" ("Treize minutes"), вышедший в 1998 году в одном крохотном издательстве. В то время я работала главным редактором "Же лю" – дочернего издательства группы "Фламмарион", которое выпускает книги карманного формата. Там я незадолго до этого начала серию "Новое поколение", где и переиздала роман Никола Ре. Серия составлялась из произведений молодых авторов, пишущих по-новому, – тех, кто пытается внести свежую струю в литературу. Это тексты реалистические, порой звучащие критически, нередко в них присутствует ирония и разочарование. Они написаны современным, живым французским языком, в них есть легкость ультрасовременного стиля – это вызов духу академизма.

Никола Ре берется за классические, вечные темы – переходный возраст, вступление в мир взрослых, но, следуя за Радиге и Сэлинджером, раскрывает их в особом ключе, выражая тревоги и несбывшиеся надежды сегодняшней западной молодежи. Эта серия, куда вошли первые книги таких авторов, как Уэльбек и Виржини Депант[1], сразу же стала пользоваться большим успехом, особенно у молодежи. С моей точки зрения, Никола Ре вписался в нее как один из самых талантливых и многообещающих авторов.

Второй его роман, "Короткая память" ("Mémoire courte"), стал первой книгой, выпущенной издательством "О дьябль вовер"; в 2000 году этот роман был награжден премией "Флоры"[2].

"ИЛ". Нашим читателям было бы интересно узнать, когда родилось издательство "О дьябль вовер" и как выбирало свой путь в книжном мире. Почему такое название?

М. М. Издательство появилось на свет в октябре 2000 года. Его быстрый успех у читателей и вообще в книжном сообществе объясняется многими причинами. Главная в том, что во французском литературном ландшафте не было такого издательства, которое громко заявляло бы о своем намерении публиковать произведения, отражающие современные тенденции в литературе, и вместе с тем не отдавало бы предпочтение определенным жанрам. Франция – страна, где господствует литера-

© Е. Леонова. Перевод, 2006

1. М. Уэльбек – "ИЛ", 2000, № 10; 2001, № 5; 2002, № 11; 2003, № 3; 2005, № 3; 2006, № 2. В. Депант – ИЛ, 2005, № 4. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Ежегодная литературная премия, названная по имени знаменитого парижского кафе.

турный академизм, способный отвратить сегодняшнего читателя от книги, поэтому "Дьябль" сразу же получило признание у публики – благодаря новаторству и качеству издаваемой литературы, ее необычности – и быстро стало "культовым" для самых молодых читателей.

С другой стороны, я не думаю, что мы достигли бы таких успехов без помощи Интернета. Прежде всего, Сеть является одним из наиболее эффективных советчиков в выборе книг, поскольку работает по принципу из "уст в уста" и охватывает широчайшую аудиторию. Тем, что издательство за пять лет снискало себе известность внутри страны и за рубежом, оно, несомненно, более обязано своей деятельности в Сети – по всем направлениям и с ориентацией на конкретного потребителя, – чем традиционным средствам распространения информации, получатели которой становятся все старше, а тем, кто работает в них, явно не хватает любопытства, к тому же за рамками их интересов остаются кинематограф, комиксы, рок-культура, метаязыки города, живой повседневный язык – словом, многие явления культуры последних десятилетий, которые естественным образом влияют на современных молодых писателей, служат им материалом.

Итак, сокращая время распространения информации и тем самым повышая нашу эффективность, Сеть позволяет нам выгодно использовать не только те факторы, о которых шла речь выше, но также и нашу географическую удаленность (мы находимся на юге Франции, более чем в восьмистах километрах от Парижа, далеко от центра французского книгоиздания, то есть от Сен-Жермен-де-Пре, который стал синонимом буржуазности, символом обособленной, замкнутой литературной среды!). Именно географической удаленностью объясняется название нашего издательства: "au diable vauvert" – старинное французское выражение, означающее "далеко, на краю света", "у черта на куличках", а располагаемся мы в городе Вовер (Vauvert), что в Малом Камарге. Многозначительный намек, содержащийся в нашем названии, тоже быстро прибавил нам популярности.

"ИЛ". Каковы ваши приоритеты на сегодняшний день? На какую читательскую аудиторию вы рассчитываете?

М. М. Наши читатели – люди самые разные, однако прежде всего это молодежь и студенты; это любители книг и потребители самой разнообразной культурной продукции, те, кто увлекается музыкой, визуальными видами искусства и так далее.

Мы расширяем контакты и все более активно продаем авторские права – на издание нашей литературы за рубежом, на аудио- и видеопродукцию, особое внимание уделяем новым рынкам.

Мы и дальше намерены вести политику тщательного отбора по всем направлениям, разумеется, делая ставку на наших авторов и следуя нашей линии: документальная проза, комиксы, музыка и рок-культура, художественная литература, переводная литература (мы стремимся расширять круг стран)... Наша цель на ближайшие 10 лет – закрепиться на уровне 30–35 названий в год.

Я полагаю, что усовершенствование нашего сайта, использование Интернета и цифровых форматов позволят нам ставить перед собой самые амбициозные новаторские задачи – над этим мы и работаем...

"ИЛ". Как вы формируете издательский портфель? Есть ли у вас постоянные авторы? Как вы находите новые имена?

М. М. Издательство возникло вокруг авторского ядра – вокруг тех писателей, которых я публиковала, работая на своем прежнем месте. Это французские и англосаксонские авторы (начинали они с научной фантастики или фэнтези), такие, как Пьер Бордаж, Эйердаль, Нейл Гейман, Уильям Гибсон, Поппи Брайт, Джеймс Морроу, Никола Ре, Равалек[1] и Тома Гунциг. Очень скоро к ним присоединились Режис де Са Морейра, Дуглас Коупленд, Дейвид Фостер Уоллис, Майкл Тёрнер и Джеймс Флинт, а затем Ирвин Уэлш[2] и китаянка Миан Миан. Важное открытие 2005 года – Филипп Леруа, получивший Гран-при по детективной литературе за свой великолепный триллер "Последнее завещание" ("Le Dernier Testament"), который скоро будет переведен на русский язык. Поскольку мы не намерены расставаться со своими авторами, то у нас вполне конкретные долгосрочные планы, мы выпускаем в свет не так много названий и немало рукописей отклоняем (мы получаем более 3 тысяч рукописей в год от французских авторов, а издаем 20–25 книг!). И потом, мы открыты миру и любознательны, поэтому легко находим новые имена, сложность в другом: литература переживает прекрасный и захватывающий период, причем во всем мире, и публиковать мало, тщательно отбирая произведения, гораздо труднее, чем публиковать много! В итоге только что-то совсем неожиданное, то, что вызывает потрясение, имеет шанс быть опубликованным в нашем издательстве.

"ИЛ". Вы сказали, что печатаете переводную литературу...

М. М. Переводная литература составляет половину нашего каталога, в основном это произведения англосаксонских авторов, а также испанских. Мы предполагаем издавать и литературу других стран, в частности, русскую, чешскую, китайскую, японскую.

"ИЛ". Кого из "молодых звезд" французской литературы вы могли бы порекомендовать для публикации в нашем журнале?

М. М. Никола Ре, которого вы и так печатаете, и Режис о де Са Морейра, которого намереваетесь опубликовать, – это отличные молодые французские авторы. Из наших авторов могу также назвать Тома Гунцига, Жюльена Блан-Гра, Аиссу Лашеб, Тома Клемана и Луи Ланера. Из тех, кого издавали наши коллеги, советую вам обратить внимание на Виржини Депант, Давида Фоэнкиноса, Никола Фарга, Танги Вьеля, Франсуа Бегодо, Анну Гавальда и весьма многообещающую Фаизу Гэн.

"ИЛ". Как вы считаете, влияют ли в какой-то степени книги, выпускаемые "О дьябль вовер", на литературный процесс в национальном масштабе?

М. М. Конечно, влияют. Издаваемые нами романы находят своего читателя благодаря нашему упорному труду, не последнюю роль играют и наши амбициозные замыслы, наш имидж. Успех в прессе наших книг обеспечивает им стойкую популярность. Новому поколению французских авторов, я надеюсь, идет на пользу та литературная политика, которую мы ведем, но она полезна и таким авторам, как Бордаж и Эйердаль, прежде зажатым в рамках научной фантастики. В общем, мы тесним академизм, и я думаю, можно без преувеличения сказать, что мы

1. "ИЛ", 2003, № 10.
2. Д. Коупленд – "ИЛ", 1998, № 3; И. Уэлш – "ИЛ", 1998, № 4.

помогаем создавать новый образ французской литературы, в том числе за рубежом.

Кроме того, мы совершенно по-новому оформляем свои книги. По тому же пути пошли некоторые наши коллеги-издатели. Мне хотелось, чтобы то, что мы выпускаем, вызывало в человеке желание читать, побуждало купить книгу и углубиться в нее, чтобы наши обложки графически отражали особенный мир каждой книги. Поэтому мы выбрали такой тип оформления, который несет новую эстетику, и отказались от единого макета. Отсюда яркие цвета и разнообразие иллюстраций. Мы позволяем себе играть с маркой издательства (обычно это неприкасаемая святыня любой книжной обложки во Франции). Наш чертенок выполняет роль фирменного знака; издатель, подмигивая читателю, как бы устанавливает с ним контакт. Так что своими нетрадиционными обложками в английском стиле, отражающими дух времени и те творческие усилия, которые были приложены к каждому тексту, мы, конечно, способствовали смене умонастроений в области французского книгоиздания. Мне хочется сказать, что с этой точки зрения я нахожу работу российских издателей весьма качественной и богатой на находки, здесь у нас полное взаимопонимание.

"ИЛ". Какие отношения связывают вас с другими французскими издательствами? Приходится ли вести с ними конкурентную борьбу?

М. М. Нашу продукцию распространяет группа "Галлимар". Мы продаем права на книги карманного формата очень крупным издательствам. Разумеется, конкуренция существует, и во французском издательском мире такие же жесткие законы, как и в других сферах предпринимательской деятельности. И все же у нас главенствует принцип взаимодополняемости, а значит, сотрудничества. Гигантские структуры не способны к новациям, и их руководители понимают, что такие издательства, как наше, необходимы, чтобы оживлять книжный мир.

"ИЛ". Как вы относитесь к французским литературным премиям? Какую роль они играют в литературной жизни страны?

М. М. У меня на этот счет двойственное мнение. Действительно, академический характер самых престижных литературных премий заставляет награждать одних и тех же авторов, одни и те же издательства и соответствующие произведения. Вместе с тем нельзя отрицать, что литературные премии помогают расширить круг читателей и заинтересовать даже тех, кто читает мало.

Но существуют более оригинальные и менее официальные премии — они позволили завоевать популярность новым авторам. Если говорить о тех, кто публикуется в издательстве "О дьябль вовер", так было с присуждением в 2000 году премии "Флоры" Никола Ре за роман "Короткая память" и в 2004-м премии за произведение в жанре научной фантастики Эйердалю за роман "Прозрачность" ("Transparence"), а совсем недавно, в 2005-м, Гран-при по детективной литературе, как уже говорилось, получил Филипп Леруа. Эта премия, кстати, привлекла внимание к книге со стороны прессы и книготорговой сети, и количество проданных экземпляров почти удвоилось.

Анастасия Лестер: "Строить гипотезы и смотреть в будущее, но жить настоящим"

"ИЛ". Вашу профессиональную деятельность можно назвать "посредничеством между двумя литературами – французской и русской". Расскажите, пожалуйста, о том, что входит в сферу ваших деловых интересов.

Анастасия Лестер. Мне бы не хотелось определять то, чем я занимаюсь в издательской области, как посредническую деятельность, поскольку, как мне кажется, у этого словосочетания есть какой-то малоприятный привкус примитивной наживы и паразитизма. А я не хочу быть грибом на теле литератур и жить в биологическом мире Дарвина, предпочитаю физику и Ньютона и стараюсь быть приемником и проводником информации в виде книг между французскими и российскими мирами.

Алгоритм моей работы таков: от французских издателей, интересы которых я представляю на российском рынке, – а их не меньше 50! – я получаю программы предстоящих публикаций, примерно раз в три месяца. Затем, совместно с французскими менеджерами по правам, веду кропотливую аналитическую работу по отбору тех названий, которые я буду рекомендовать российским издателям. На этом этапе от меня требуется помимо интуиции и начитанности все мое знание российского книжного рынка: понимание интересов и приоритетов наших издателей и осознание потребностей читателей. При этом я должна учитывать пожелания и французской стороны. Словом, миссия невыполнимая – или почти. Для того чтобы соединить все элементы и синтезировать их в единое целое, то есть в каталог новинок французского рынка, я только и делаю что читаю, обсуждаю прочитанное, анализирую тенденции и пытаюсь спрогнозировать, вызовет ли данная книга интерес у российских издателей и читателей или канет в Лету. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что все профессионалы, причастные к издательскому миру, занимаются тем, что строят гипотезы и смотрят в будущее, но живут настоящим. Ситуация на книжном рынке меняется очень быстро, реагировать на эти изменения надо моментально, а то проворонишь шанс запустить нового автора или продать малоизвестный роман. Ведь коммерческий успех необходим и самим издателям, и их авторам, и праводержателям, и... агентам. Этот успех зависит не только от качества текста, но и от усилий всех, кто над ним работает: французского издателя-владельца прав, агента, переводчика, русского редактора-составителя серий, корректора, пиарщика. Успех надо выстраивать продуманно, иначе это мыльная пена. Я не гарантирую успех представляемых мною книг, но показываю, что он возможен.

Когда я составляю каталог новинок и помещаю в него краткие рецензии на каждое название, я стараюсь дать максимум информации, чтобы показать потенциал книги: и интеллектуальный, и коммерческий. Эту обойму информации я передаю российским издателям два раза в год на книжных салонах во Франкфурте и в Лондоне. В каждом каталоге примерно 150–160 названий, то есть в год на российских издателей обрушивается только от одного моего агентства цунами из 300–400 новых французских книг. Подобное стихийное бедствие переживается долго. Я отправляю интересующие наших издателей книги частями, периодически посылаю информацию о рейтингах продаж и прессу, а им приходится это переваривать вместе с редакторами и рецензентами, которых, кстати, непросто найти. Когда доходит дело до приобретения прав на перевод и издания на русском языке конкретного произведения, начинается игра, то есть переговоры. Правила этой игры я должна знать назубок, поскольку обсуждение условий будущего издания и составление контракта входят в мои обязанности агента, равно как и последующий контроль за проплатой прав, соблюдением графика публикаций, отчетами по продажам и т. д. Таким образом, я несу ответственность перед праводержателями за жизнь книги после ее перевода на русский язык и выхода в свет.

"ИЛ". С чего и как вы начинали?

А. Л. Навязчивая идея передавать информацию преследует меня всю мою профессиональную жизнь. По образованию я журналист, и мне довелось работать и в газетах, и на радио в информационных программах. До сих пор я пишу время от времени для "Книжного обозрения". Кроме того, я преподаю в Университете восточных языков и цивилизаций в Париже. Это тоже для меня способ передачи информации, которой я владею. Так что моя деятельность литературного агента вполне вписывается в логику развития различных форм, которые принимает преследующее меня наваждение: чтобы жить и профессионально развиваться и развивать бизнес, в частности книжный, необходимо обмениваться информацией. У этого информационного потока по определению нет начала и конца, хотя, конечно, формально можно считать, что я влилась в него с моим книжным ресурсом в конце 1998 – начале 1999 года, когда заключила мои первые два контракта: по уступке прав на перевод романа Ирины Полянской "Прохождение тени" на французский язык (издательство "Акт сюд") и на перевод на русский язык книги Жоэля Нормана "Французская кухня пяти президентов"[1] (Издательство Независимая газета). Начинала я с малого, как и те российские издатели, которые решили активно заняться французской литературой. В моем активе было около 20 книг разнообразных жанров и направлений. Это был период проб и продвижения вслепую. В конце 90-х современная французская литература в переводах была представлена слабо. Литературоведы, филологи, переводчики и просто франкофилы отслеживали новинки, но широкой публике имена из французского мейнстрима – Бегбедера, Уэльбека, Гавальда, Синуэ, Киньяра, Бордажа, Гунцига, Вербера, да даже Модиано и Леклезио – ни о чем не говорили. Слава богу, что "Текст", "Иностранка" и еще несколько издательств публиковали в числе прочего и переводы с французского, и

1. "ИЛ", 2001, № 12.

слава богу, что существовала и существует "Программа Пушкин", финансирующая большое количество французских проектов. Так что переводы были, но, боюсь, ниши на массовом рынке они не занимали. Она пустовала. Коммерческий интерес к ней (интеллектуальный был всегда!) появился в начале 2000 года. Ко мне стали обращаться за информацией о состоянии французского рынка, о новинках и рейтингах продаж, и запустился механизм для приема, обработки и передачи информации, который пришлось крутить мне, поскольку я оказалась в нужный момент в нужном месте и осознала это. В какой-то степени я литературный агент поневоле.

"ИЛ". С какими французскими издательствами (агентствами, авторами) вы работаете?

А. Л. Я представляю по меньшей мере 50 французских издательств и их авторов в России. Сделаю оговорку для объяснения некоей французской специфики. То, чем занимаюсь я, во Франции принято называть представительской агентской деятельностью в пользу прежде всего издательств, а не авторов. Звучит непонятно, но можно объяснить и по-другому. В англосаксонской практике принято иметь дело с агентами, представляющими напрямую интересы авторов, с которыми агент заключает представительский договор. Во Франции к таким агентам относятся с опаской, поскольку традиционно французские авторы доверяют представление своих интересов и мировых прав на свои произведения не агенту, а своему французскому издателю. Именно французский издатель, имея в подчинении отдел прав и переводов, занимается продвижением автора и его произведений по всему миру. И агент, как я, помогает ему в этом. Таким образом, я работаю с издателями и их авторами, а не просто с авторами, с которыми зачастую у меня нет личных контактов.

"ИЛ". С кем вы сотрудничаете в России? Какие издательства интересуются французской литературой?

А. Л. Начало моей агентской деятельности относится к 1999 году, то есть к тому времени, когда российское книгоиздание стало выходить из периода постперестроечного хаоса и начало трансформироваться в нынешний российский издательский бизнес. Поначалу интерес к новинкам последних десяти лет высказывали два типа издательств. С одной стороны, крупные: "АСТ", "Эксмо", "Рипол-классик", которые хотели пополнить свои серии переводной литературы, разнообразить ассортимент и завоевать еще одну позицию на рынке. С другой стороны, небольшие издательства качественной книги, с интересом следившие за современной французской литературой: "Иностранка", "Текст" и "НЛО". В общей сложности — всего с десяток российских издательств.

За последние два года этот список пополнился: в него вошли крупные издательства Санкт-Петербурга — "Амфора", "Азбука", "Симпозиум", "Питер" и московские — "София", "Слово". В поле моей деятельности появились многие небольшие издательства, начавшие покупать права на издание французских книг, — "Независимая газета", "Омега", "Б.С.Г.-ПРЕСС", "Ультра.Культура", "Вита Нова". А также возникли новые издательства, которые положили в основу своей издательской программы именно перевод с французского — издательство "Флюид/FreeFly" и его французская линия. Кроме того, стали проявлять актив-

ность издательства из провинции. Ко мне стали обращаться, например, "У-Фактория" (Екатеринбург) и "Деком" (Нижний Новгород). А также издательства, прежде занимавшиеся по большей части изданием книг по разным направлениям гуманитарных знаний – "Прогресс-Традиция", "Росспэн", "Ладомир", "Праксис", "Аксиома", "Логос".

"ИЛ". С кем предпочитаете не иметь дела?

А. Л. С теми, кто пытается нечестно перекупить проекты, кто не выполняет финансовые условия контрактов, кто делает плохие переводы. Личные симпатии и антипатии я оставляю за бортом.

"ИЛ". Какие качества вы считаете главными в деятельности литературного агента?

А. Л. Прелесть моей работы в том, что я общаюсь с людьми, увлеченными своим делом, умными, смекалистыми, насмешливыми и работающими в тяжелых условиях российского бизнеса. С ними страшно интересно и сложно, поэтому нужно быть дипломатичной, пунктуальной, быстро и четко работать и, главное, слушать и анализировать сказанное другими, чтобы предложить им те книги, которые они хотят. Да, и еще последнее – чувство юмора. Оно просто необходимо, чтобы сохранять здоровую дистанцию с профессиональным миром, чтобы он не проглотил меня целиком.

"ИЛ". Влияют ли на вашу работу личные вкусы и пристрастия?

А. Л. Стараюсь, чтобы они не влияли на выбор произведений, которые я представляю. Но избежать проявления моего личного вкуса очень сложно, а иногда и не нужно, поскольку меня часто спрашивают, что именно лично я думаю о той или иной книге.

"ИЛ". Насколько нам известно, вы занимаетесь также и художественным переводом. Какие произведения современных французских писателей вам хотелось бы перевести на русский?

А. Л. Многие произведения, которые я хотела бы перевести, уже переведены! Ведь начиная с 1999 года через мои руки проходит 120–130 контрактов в год. Интересны для перевода романы Пажа, Шмитта, Туссена, Фенкиноса, но они уже переведены. Мне было бы страшно интересно перевести Шевийяра, Вейля, Н'Диай и некоторых других писателей, чьи произведения публикует издательство "Минюи". Из нехудожественной литературы я выбрала бы Кристиана Жака и его книги по египетской и римской истории.

"Французы пишут и пишут, только успевай выбирать..."

На вопросы, чем привлекает наших читателей и издателей франкоязычная литература, насколько высок к ней интерес и какие авторы особенно популярны, нам отвечают представители московских издательств "Иностранка", "Текст", "Флюид/FreeFly". Беседу ведет Светлана Силакова.

Ирина Кузнецова, заместитель главного редактора издательства **"Иностранка"**.

Франция, в общем, всегда по культурной части была "впереди планеты всей". Случались эпохи более яркие, менее яркие, но надолго Франция никогда никому лидерство не отдавала. Сегодняшнему книжному буму во Франции предшествовал период довольно непростой, скажем так, кризисный. "Новый роман", некогда столь революционный, выродился в моду, литературу для литературы (это ни в коем случае не касается его столпов и создателей: Клода Симона, Алена Роб-Грийе, Натали Саррот, Мишеля Бютора – писателей на все времена). И аудитория либо охладела к современной прозе, либо переключилась на чтиво.

Но примерно к середине 80-х все изменилось. Появилось новое поколение писателей, не желавшее мириться с монополией кинематографа на увлекательность, поколение, выросшее не только на остросюжетных фильмах и комиксах, но и на великолепной мировой литературе XX века – не в последнюю очередь, на американской (особенно часто, кстати, пишущие французы упоминают и цитируют Сэлинджера). Молодые писатели предпочли вернуться к повествованию, к технике рассказа. Этот подход вовсе не предполагает, будто проза сводится к чистой фабуле – сплошь и рядом фабулу и отследить-то трудно, у того же Бегбедера например. Не идет речь и о реализме в традиционном смысле. Просто автор всегда повернут к событиям, к действию, а не к чистой описательности. К реальной жизни и к человеку.

Невозможно в двух словах обрисовать весь нынешний литературный пейзаж Франции, но "Иностранка" по мере сил старается показать лучшее, что в нем есть. Наши авторы совершенно не похожи друг на друга. С одной стороны, например, Жан-Филипп Туссен[1], лидер направления, которое критики окрестили "минимализм" – за попытку достичь эмоционального эффекта минимальными средствами. С другой – безумный фантазер Венсан Равалек, работающий в ключе то "жестокого романса", то фэнтези, то антинаучной фантастики. Книги Кристин Анго откровенно, по-женски, – и даже скандально – автобиографичны.

1. "ИЛ", 2001, № 3; "ИЛ", 2002, № 1.

Очень разные вещи пишет Виржини Депант[1] — это и жесткая проза об изнанке жизни, и романы о счастливой любви.

"ИЛ". Перечислите, пожалуйста, франкоязычных авторов, которых вы издаете.

И. К. Среди них есть писатели, уже причисленные к классикам — или "почти классикам": Ромен Гари, Хорхе Семпрун, Патрик Модиано, Мишель Уэльбек[2], вышеупомянутый Жан-Филипп Туссен. Они представлены в нашей серии "Иллюминатор", которая вовсе не случайно является "тезкой" премии за лучший перевод, учрежденной "Иностранной литературой" — матерью издательства "Иностранка".

Мишеля Уэльбека и Фредерика Бегбедера[3] мы издаем по-русски практически полностью.

Можно назвать еще много имен: Амели Нотомб, Мартен Паж[4], Жан-Кристоф Гранже, Фред Варгас и др. Мы издаем, например, китайца Дая Сы-цзе, пишущего по-французски о своей родине. Его роман "Комплекс Ди"[5] про похождения странствующего психоаналитика в сегодняшнем Китае — это что-то вроде "Дон Кихота" на обломках тоталитарного режима. А в романе "Бальзак и портниха-китаяночка", который сейчас готовится у нас к переизданию, рассказывается, как студенты, отправленные в деревню на перевоспитание во времена "культурной революции", читают случайно найденные книги Бальзака и открывают для себя Запад.

"ИЛ". А как, по-вашему, воспринимает российский читатель современную французскую литературу?

И. К. Читатель голосует за новую французскую литературу буквально руками и ногами. Ведь читатель — тоже человек, и ему просто-напросто любопытно, как живут "братья по разуму" в стране, которая для России всегда была эталоном, да и вообще чем дышат современники, что они едят, как развлекаются, какими проблемами мучаются, что думают о жизни и смерти. И главное, как формулируют, как выражают свое отношение к окружающему. Тут, конечно, решающую роль играет перевод. Не попал переводчик в точку — текст не заработает, и книга будет пылиться на складе.

В любом случае, французская проза сегодня — это свежий взгляд на мир, а мир, между прочим, стремительно меняется. Ее тема — человек в сегодняшней действительности, которая норовит его, человека, зомбировать. Французы на редкость изобретательны — особенно в литературе — по части разных способов ускользнуть от механизации и коммерциализации жизни.

"ИЛ". Сразу вспоминается фигура Бегбедера.

И. К. Вот, кстати, пример острого интереса читателей к французской литературе. История этого автора на российском книжном рынке поразительна. Вся предварительная раскрутка, если это можно так назвать, сводилась к публикации в "Иностранной литературе" романа "99

1. "ИЛ", 2005, № 4.
2. Р. Гари — "ИЛ", 1993, № 12; 1994, № 12; 1998, № 6; 2001, № 12; а также Э. Ажар, "ИЛ", 1997, № 9; Х. Семпрун — "ИЛ", 1996, № 5, № 11; П. Модиано — "ИЛ", 2003, № 7; М. Уэльбек — "ИЛ", 2000, № 10; 2001, № 5; 2002, № 3, № 11; 2003, № 3; 2005, № 3; 2006, № 2.
3. Ф. Бегбедер — "ИЛ", 2001, № 11; 2002, № 2, № 4; 2006, № 2.
4. А. Нотомб — "ИЛ", 2004, № 10; 2006, № 3; М. Паж — "ИЛ", 2005, № 7.
5. "ИЛ", 2005, № 8.

франков". Когда он вышел в книжном издании, то мгновенно стал бестселлером. А за ним и следующие – "Любовь живет три года", "Каникулы в коме"... Выступления Бегбедера на Московской книжной ярмарке интеллектуальной литературы "Non-fiction"-2004 проходили с аншлагом.

Прекрасно принимала публика и Мишеля Уэльбека, который этой весной был в Москве и в Петербурге. Пять встреч с читателями, в том числе в легендарном Политехническом, прошли при полных залах.

"ИЛ". А какие отношения сложились у вас с французской "нонфикшн"?

И. К. До недавнего времени наше издательство выпускало исключительно "фикшн" – даже часть эссеистики Уэльбека и Бегбедера отдали, так сказать, на сторону. Но в 2004 году на базе "Иностранки" было создано издательство "КоЛибри", которое специализируется как раз на "нонфикшн". Здесь тоже французские авторы присутствуют во всех сериях. В "Жизнеописаниях" – книга Франсуазы Жиру "Лу. История свободной женщины" о Лу Саломе, роман Ж.-М. Г. Леклезио "Диего и Фрида" о любви двух крупнейших художников XX века Диего Риверы и Фриды Кало[1], мемуары вдовы Сент-Экзюпери "Воспоминания розы". В серии "Вещи в себе" – "Краткая история попы" Жан-Люка Эннига, написанная в духе, если можно так выразиться, вольтерьянской культурологии. Готовятся к выходу две книжки об истории научных открытий: "Сентиментальная история науки" Никола Витковски и его же, в соавторстве с О. Свеном, "Ванна Архимеда".

"ИЛ" А по какому принципу вы отбираете книги для своей "золотой полки" – серии "The Best of Иностранка"?

И. К. Сюда попадают только наши "звезды". Но читательское признание не единственный критерий. Это еще и наше признание, наш выбор. Причем в "Best" мы включаем не только переиздания. "Романтический эгоист" Фредерика Бегбедера и два романа Амели Нотомб "Биография голода" и "Любовный саботаж" сразу были изданы в этой серии. В ней же выйдут и следующие романы Нотомб, и книга бесед Бегбедера с епископом Ж.-М. ди Фалько "Я верую – Я тоже нет", фрагменты которой напечатаны в этом номере "ИЛ". В "Best'е" весь Уэльбек. И Жан-Кристоф Гранже, автор "Пурпурных рек" и "Империи волков", по которым сняты очень известные фильмы. Да, автор из "Лекарства от скуки" попал в "Best", причем вполне заслуженно.

"ИЛ". Кстати, а как представлены французы в жанровых сериях "Иностранки"?

И. К. В "Лекарстве от скуки" – виртуозные мастера детектива: вышеупомянутый Гранже, Фред Варгас, Доминик Сильвен, Анри Лёвенбрюк и другие. В серии "Тайные земли" (это фэнтези) появится полностью трилогия "Знак Мойры" Анри Лёвенбрюка. Первый и второй тома – "Гаэльская волчица" и "Волчьи войны" – уже выпущены, а к октябрю будет готов и третий – "Ночь волчицы".

"ИЛ". Каковы ваши ближайшие планы?

И. К. Еще одна книга Виржини Депант – "Гуд бай, Блонди", еще один роман Кристин Анго – "Двинутые". И, конечно, будут авторы новые, которые по-русски до сих пор не выходили. Например, Кристиан

1. "ИЛ", 2000, № 9.

Остер, чей небольшой роман "Свидания" публикуется в этом номере. В самых ближайших планах – Лоранс Коссе с романом о гибели принцессы Дианы "31 августа". Отталкиваясь от реального факта (по некоторым версиям, "мерседес" Дианы разбился из-за того, что задел некий "фиат"), писательница сочинила историю о девушке, сидевшей за рулем этого мифического автомобиля, который так никогда и не нашли. Готовятся к печати две книги Филиппа Джиана. Это отличный писатель, уже не очень молодой, но по непонятным причинам в России по сей день не известный, маскирующий свою прозу то под жесткий детектив ("Вот это поцелуй!"), то под семейный роман ("Трения").

Кроме того, мы открываем серию исторического романа, где тоже не обойдется без французов. В сентябре выходит роман Жеральда Мессадье "Роза и лилия" – первый том трилогии "Жанна д'Этуаль", где действие происходит вскоре после Столетней войны. Будут и исторические детективы, например, "Слезы Макиавелли" очень молодого французского автора, историка по образованию, Рафаэля Кардетти.

В общем, французских планов много, самых разных. Ведь французы пишут и пишут, только успевай выбирать.

Татьяна Позднева, руководитель серии "Французская линия" издательства **"Флюид/FreeFly"**. Своеобразие французской литературы я вижу прежде всего в богатейшем наследии и традиционной приверженности гуманистическим идеалам, а также в том, что, пожалуй, можно назвать ее фирменным стилем: эстетизме, или развитом чувстве прекрасного, а также остроумии, или изобретательности ума.

"ИЛ". А как давно издательство "Флюид" публикует французскую литературу?

Т. П. Уточню: речь идет не только о литературе Франции, но и о произведениях, написанных франкоязычными авторами разных стран. В основу наших серий положен языковой принцип, поскольку язык для писателя – это и материал, и инструмент.

Деятельность издательства "Флюид", собственно, и началась с серии современной прозы "Французская линия", и это, полагаю, отнюдь не случайно. С одной стороны, французская словесность занимает одно из ведущих мест на мировой литературной арене. С другой, совершенно очевидно, что между нашими народами исторически сложились крепкие связи.

"ИЛ". По каким критериям отбираются книги для серии?

Т. П. "Французская линия" – это самые характерные и яркие образцы современной франкоязычной словесности. Мы предлагаем читателю "взглянуть на мир по-французски". Одним из главных критериев была и остается актуальность проблематики, но это вовсе не значит, будто концепция серии сводится к книгам "на злобу дня". Предпочтение отдается произведениям, в которых, наряду с вечными, универсальными вопросами человеческого бытия, осмысляется наше время, а не дела давно минувших дней. Однако, поскольку серия призвана представить российским читателям наиболее полную картину современного состояния франкоязычной литературы, было бы несправедливо игнорировать сочинения, основанные на историческом материале, и в перспективе такие публикации планируются.

Определенная разнородность серии объясняется нашей сознательной установкой на репрезентативность. Мы охотно включаем во "Французскую линию" не только вещи известных писателей, но и дебютные произведения молодых талантов. Наша новая "повышенная французскость" визуально выражается в переходе от насыщенно красочных "одежек" к белым, с изящной "отделкой" в виде стильных графических зарисовок. Принципиальная позиция составителя – выбирать книги не за громкое имя автора, а по содержанию. Приятно отметить, что этот подход вполне оправдал наши ожидания. К примеру, когда мы решили издать первый сборник новелл молодой француженки Анны Гавальда – он называется "Мне бы хотелось, чтоб меня кто-нибудь где-нибудь ждал" – она была совершенно безвестной писательницей. Сегодня ее переводят на четыре десятка языков. Ее книги экранизируются. Ее последний роман "Просто вместе" в ряде стран буквально прогремел, затмив даже пресловутый "Код да Винчи". Мы его тоже опубликовали во "Французской линии", и спрос доказывает: российскому читателю книги Анны Гавальда нравятся. Несомненно, и в России ее ждет большое будущее.

"ИЛ". В чем же, по-вашему, секрет популярности Анны Гавальда у нашего читателя?

Т. П. От ее книг невозможно оторваться. Эти "простые истории, рассказанные простыми словами" заставляют плакать и смеяться даже законченных циников, пробуждая в них и чувства добрые, и мысли светлые. Видимо, именно этого так не хватает современному миру.

Среди наших молодых авторов, впервые опубликованных во "Французской линии" и уже завоевавших любовь российских читателей, хочется также отметить Мартена Пажа ("Стрекоза ее восьми лет"), каждая книга которого буквально растаскивается на цитаты; Жана Грегора, написавшего сатирический, фантасмагорический роман "Безголовые"; Ясмину Гата – автора удивительно красивой и поэтичной книги "Ночь каллиграфов" и, конечно, канадцев Гийома Виньо, представленного в серии романом "Ищи ветер", и Надин Бисмют (сборник новелл "Без измены нет интриги").

"ИЛ". Во "Французскую линию" включаются и произведения мэтров. Каков принцип их отбора?

Т. П. Писателей, чье творчество порождает новые течения и формирует литературный пейзаж эпохи, в любые времена не так уж много. Для нас в некотором роде дело чести – издание дотоле не опубликованных на русском языке произведений классиков французской литературы, творивших во второй половине XX века, таких, как, например, Маргерит Дюрас ("Голубые глаза, черные волосы") или пишущий и в наши дни Жан Эшноз ("Гринвичский меридиан"), а также не менее значительный писатель, фигура воистину знаковая, – Жорж Перек[1]. Летом этого года у нас выходит его роман "Человек, который спит"[2].

"ИЛ". На какую аудиторию прежде всего рассчитана "Французская линия"?

Т. П. Это любой читатель вне зависимости от возраста и пола (за исключением разве что бескомпромиссных поклонников детективного жанра), который следит за новинками зарубежной литературы и не рав-

1. "ИЛ", 1967, № 2; 2003, № 12.
2. См. рецензию Л. Зониной на роман Ж. Перека "Человек, который спит", "ИЛ", 1968, № 2.

нодушен к славным гуманистическим традициям французской словесности. Ориентацией на современность объясняется особая популярность наших книг среди молодежи.

"ИЛ". Каковы ваши ближайшие планы?

Т. П. К осени выйдут два небольших романа Анны Гавальда: "Я ее любил/Я его любила" – пронзительно грустная и обаятельная книга о любви, а также – "35 кило надежды". Готовится к печати книга еще не известного в России, но безусловно заслуживающего самого пристального внимания Мишеля Кента, в которую войдут три его маленьких шедевра – "Страшные сады", "Влюбись я слегка", "И боль моя в мире со мною". Они принесли писателю, прежде известному как мастер детектива, настоящее признание и мировую славу. Мы также издаем лауреата Гонкуровской премии Дидье ван Ковеларта, который в России известен как "ван Ковелер".[1] Сам он настаивает на произношении "Ковеларт" – именно так мы и транскрибируем его имя. У нас выходят два его новых романа, которые уже стали мировыми бестселлерами. "Вне себя" – триллер, да такой, что и мэтр жанра Хичкок снял бы шляпу перед автором. "Знакомство категории Х" – роман о любви в мире футбола и порнографии. На подходе новые романы Гийома Виньо и Катрин Панколь. И еще многое-многое другое.

Ольгерт Либкин, директор издательства **"Текст"**. Мы много издаем переводной литературы, причем примерно на две трети это литература художественная. Я не рискнул бы утверждать, что Франции и другим франкоговорящим странам мы уделяем какое-то исключительное внимание, но в наших планах они представлены всегда. Тому две причины. Во-первых, к французской культуре и французскому языку в России традиционно испытывают особый пиетет. Во-вторых, так случилось, что "Текст" стал одним из первых участников программы Посольства Франции "Пушкин". И вообще за долгий срок своего существования (ведь "Текст", наверное, первое негосударственное издательство в нашей стране) мы наработали прекрасные связи с французскими коллегами. Больше всего каталогов и предложений нам приходит из Франции и Германии.

"ИЛ". Вероятно, у вас уже сложился свой "золотой фонд" неоднократно переиздаваемых авторов. Есть ли в нем французы?

О. Л. Конечно. Например, Жан Жене. Все маргинальное сейчас возбуждает особый интерес. Хотя мне лично этого, видимо, не понять...

"ИЛ" Тогда позвольте поинтересоваться вашими личными предпочтениями.

О. Л. Отвечу, не задумываясь: Филипп Делерм (в нашем издательстве вышли две его книги) и канадка Нэнси Хьюстон, или, во французской традиции, Нанси Юстон: она живет во Франции и пишет по-французски. Мы выпустили два ее романа и готовим третий.

С традиционной литературой, надо сказать, теперь непросто. "Мейнстрим" и "обочина" как бы поменялись местами. Тем не менее мы не отступаемся от нашей издательской политики. Отмечу два основных направления. Во-первых, это то, что можно назвать "неизвестной классикой" – произведения давно прославившихся в России писателей про-

1. Дидье ван Ковелер. Запредельная жизнь. "ИЛ", 2000, № 2.

шлого, издающиеся на русском языке впервые. Например, у нас вышли неизвестные прежде российскому читателю романы Гюстава Флобера, Жорж Санд, Блеза Сандрара, Франсуа Мориака. И во-вторых, заполнение лакун в знании зарубежной литературы, образовавшихся за последние десятилетия. Мы стараемся представлять нашему читателю новых для него авторов, которые в своих странах уже давно стали национальной гордостью.

"ИЛ". На что вы обращаете внимание, кроме известности автора?

О. Л. Мы внимательно изучаем реакцию французской аудитории. Должен, правда, сказать, что во Франции обстановка для издательской деятельности несколько иная, чем в России: пресса уделяет большое внимание литературе, причем в основном серьезной, а не развлекательной, и в основном своей, а не зарубежной.

Сравнивая восприятие одного и того же произведения во Франции и России, обнаруживаешь странную закономерность: вроде бы хороший сюжет, прекрасный стиль, точный язык – но все это значительную часть нашей аудитории скорее оставляет равнодушной. Правда, следует учитывать и то обстоятельство, что образованные, интеллигентные французы, как правило, люди гораздо более обеспеченные, чем их российские, скажем так, коллеги, отсюда, может быть, и несовпадения интересов.

"ИЛ". Пожалуйста, расскажите немного о новинках и планах на ближайшее будущее.

О. Л. Совсем недавно вышел роман Ирен Немировски "Французская сюита". Это поразительная история. Ирен Немировски, русская эмигрантка (ее увезли из Киева, когда она была еще юной девушкой), писала свои книги по-французски. Во Франции 30-х годов ее романы имели большой успех. Но "Французскую сюиту" она написала в 1942 году в оккупированной Франции, незадолго до депортации и гибели в Освенциме. Долгие годы о романе никто не знал, и лишь в начале наступившего столетия дочь писательницы его издала. Успех во всем мире громадный, а во Франции роман получил премию Ренодо – единственный в истории случай, когда премия была присуждена ушедшему из жизни автору.

Кстати, вот удивительное совпадение: среди наших авторов есть молодая китаянка Шань Са, которая, как и Ирен Немировски, попала во Францию совсем юной (ее семья эмигрировала после событий на площади Тяньаньмэнь) и тоже пишет по-французски. У нас уже вышел роман Шань Са "Играющая в го", который во Франции получил так называемого Гонкура лицеистов, а в Великобритании был признан лучшей зарубежной книгой 2003 года. Скоро у нас выйдет еще один ее роман "Врата Небесного Покоя".

Из популярных французских писателей, практически незнакомых российским читателям, назову Антуана Блондена, чей роман "Обезьяна зимой" мы выпустили совсем недавно, и Патрика Рамбо – его роман "Деревенский дурачок" готовится к печати.

"ИЛ". Особо хотелось бы узнать о ваших проектах, касающихся поэзии.

О. Л. Мы готовим сборник стихов Филиппа Жакоте[1] – пожалуй, одного из самых почитаемых во Франции современных поэтов. По проис-

1. См. стихи Филиппа Жакоте в "ИЛ", 1995, № 12, 2002, № 9; 2005, № 12.

хождению он швейцарец. Сборник его поэзии (который выйдет до конца текущего года) делают Борис Дубин и Арина Кузнецова. И еще в наших планах издание поэзии Пабло Пикассо. Да, именно так: великий художник был и весьма своеобразным поэтом.

В основном же мы выпускаем двуязычные сборники классиков зарубежной поэзии. Уже вышло избранное Артюра Рембо. Теперь же Михаил Яснов готовит для нас сборник Аполлинера. Особо подчеркну, что это будут в основном современные переводы.

"ИЛ". Говоря об Аполлинере, нельзя не вспомнить, что артистический Париж 20–30-х годов – интереснейшее явление.

О. Л. Да, мы охотно издаем тексты об этом времени – преимущественно мемуары. Сложилась целая серия о Шагале: уже выпущены воспоминания его жены Беллы, его сына Давида Мак-Нила, а теперь к ним прибавятся мемуары многолетней спутницы художника, матери Давида англичанки Вирджинии Хаггард. Могу также упомянуть воспоминания внучки Пабло Пикассо – Марины, биографию Модильяни...

"ИЛ". Насколько я понимаю, помимо литературы мемуарно-биографической, нон-фикшн вас как издателя не очень интересует.

О. Л. Не совсем так. Все зависит от темы и исполнения. Например, мы готовим не совсем обычное издание – книгу "История Бога", посвященную представлениям разных народов о высшей силе в различных вероучениях. Ее составитель Марсель Рюби приводит свидетельства, что называется, "из первых рук": от священнослужителей действующих религий и специалистов по религиям прошлого. Работаем над переводом труда Люсьена Поластрона "Книги в огне: история бесконечного уничтожения библиотек". Фактически обе эти книги – об инакомыслии и толерантности. Есть немалый круг читателей, для которых такая литература важнее беллетристики.

Французская литература на страницах "ИЛ" 2000–2006

2000

Морис Бланшо — *Где на этот раз? Кто на этот раз?* Эссе [№ 1]

Людовик Жанвье — *Ключевые слова.* Отрывки из монографии "Беккет" [№ 1]

Ален Роб-Грийе — *Анжелика, или Чары.* Фрагмент книги [№ 1]

Эмиль Мишель Чоран — *Беккет* [№ 1]

Дидье ван Ковелер — *Запредельная жизнь.* Роман [№ 2]

Теофиль Готье — *Мода как искусство.* Статья [№ 3]

Лор Адлер — *О чем не рассказала Маргерит Дюрас.* Фрагмент книги [№ 4]

Биографии и контрбиографии. Беседа с Жаком Нефом [№ 4]

Маргерит Дюрас — *Боль.* Автобиографические тексты [№ 4]

Жан-Франсуа Жосслен — *Правда о Дюрас.* Статья [№ 4]

Бьянка Ламблен — *Мемуары девушки, сбитой с толку.* Фрагменты книги [№ 4]

Филипп Лежён — *В защиту автобиографии.* Эссе разных лет [№ 4]

Жерар де Нерваль — *Жак Казот.* Эссе [№ 4]

Клод Пишуа, Жан Зиглер — *Шарль Бодлер.* Глава из книги [№ 4]

Филипп Соллерс — *Казанова Великолепный.* Фрагменты книги [№ 4]

Мишель Сюриа Жорж — *Батай, или Работа смерти.* Глава из книги [№ 4]

Оливье Тодд — *Альбер Камю, жизнь.* Фрагменты книги [№ 4]

Французские писатели отвечают на "Анкету Пруста" [№ 4]

Пьер Бост — *Господин Ладмираль скоро умрет.* Повесть [№ 5]

Каванна — *Сердце не камень.* Роман [№ 6, 7]

Анри Мишо — *В стране магии* [№ 8]

Путешествия реальные и воображаемые. Из беседы Мишеля Бютора с Пьер-Марком де Бьязи [№ 8]

Шарль Бодлер — *Падаль.* Вглубь стихотворения [№ 9]

Жан-Мари Леклезио — *Диего и Фрида.* Роман [№ 9]

Мишель Уэльбек — *Элементарные частицы.* Роман [№ 10]

2001

Эмиль Мишель Чоран — *Разлад.* Фрагменты книги [№ 1]

Луиш-Манюэль — *Стихи* [№ 2]

Франсуа Миттеран, Визель Эли — *Воспоминания на два голоса.* Главы из книги [№ 2]

Юбер Монтеле — *Профессия – призрак.* Роман [№ 2]

"Столетье бьют часы..." Стихи французских символистов [№ 3]

Жан-Филипп Туссен — *Месье.* Роман [№ 3]

"Я в некотором смысле создатель религиозной секты..." Беседа с Филиппом Лежёном [№ 4]

Филипп Мюрэ — *После Истории.* Фрагменты книги [№ 4]

Мишель Турнье — *Рассказы.* [№ 4]

Несколько вопросов к Мишелю Турнье. Беседа с Мишелем Турнье [№ 4]

Мишель Уэльбек — *Стихи и эссе* [№ 5]

Патрик Модиано — *Незнакомки.* Повесть [№ 7]

Маргерит Юрсенар — *С открытыми глазами. Беседы с Матьё Гале.* Главы из книги [№ 8]

Клод Бонфуа — *Л.-Ф. Селин рассказывает о своей юности* [№ 9]

Фредерик Виту — *Жизнь Селина.* Фрагменты книги [№ 9]

Луи-Фердинанд Селин: краткая летопись жизни и творчества [№ 9]

Л.-Ф. Селин — *Guignol's Band, или Паяцы 1.* Фрагменты романа [№ 9]

Л.-Ф. Селин — *Интервью разных лет* [№ 9]

Л.-Ф. Селин — *Защитительная записка* [№ 9]

Фредерик Бегбедер — *Рассказики под экстази* [№ 11]

Ромен Гари — *Повинная голова.* Роман [№ 12]

Жоэль Норман, Пьер Донсьо — *Воспоминания повара Елисейского дворца. Французская кухня пяти президентов.* Фрагменты книги [№ 12]

2002

Брассаи — *Генри Миллер Портрет в полный рост.* Фрагменты книги [№ 1]

Жан-Филипп Туссен — *Фотоаппарат.* Роман [№ 1]

Фредерик Бегбедер — *99 франков.* Роман [№ 2]

Ален Роб-Грийе — *"Каждый писатель идет своим путем и проходит его до конца".* Интервью еженедельнику "Фигаро литерер" [№ 3]

"Десять плюс Одиннадцать". Мари Н'Диай, Мишель Уэльбек, Антуан Белло. Новая французская проза [№ 3]

Фредерик Бегбедер — *Последняя инвентаризация перед распродажей.* Главы из книги [№ 4]

"Нам хочется ломать свои игрушки". Беседа с Фредериком Бегбедером [№ 4]

Бенжамен Констан — *Амелия и Жермена.* Повесть [№ 4]

Андре Моруа — *Роберт и Элизабет Браунинг.* Литературная биография [№ 5]

"Я поэт в бунте против правил". Стихи французских сюрреалистов [№ 5]

Жан-Филипп Арру-Виньо — *Урок непослушания.* Роман [№ 6]

Мишель Лейрис — *Стихи и эссе* [№ 6]

Мишель Уэльбек — *Платформа.* Роман [№ 11]

2003

Мишель Уэльбек — *Стихи из книги "Возрождение"* [№ 3]
Шарль Нодье — *"Рассказы здравомыслящего насмешника"* [№ 4]
Лиди Сальвейр — *Трепетные души.* Роман [№ 4]
Паскаль Брюкнер — *Новая война за самоопределение [Мужчины и женщины].* Фрагменты книги "Искушение невинностью" [№ 6]
Патрик Модиано — *Маленькое Чудо.* Роман [№ 7]
"Я играю с огнем..." Из интервью П. Модиано [№ 7]
Венсан Равалек — *Ностальгия по черной магии.* Роман [№ 10]
Ив Бонфуа — *Привидевшиеся рассказы* [№ 12]
Роже Кайуа — *Чары и проблемы снов.* Эссе [№ 12]
Жорж Перек — *Темная лавочка.* Фрагменты книги [№ 12]

2004

Мари Деплешен — *Рассказы* [№ 1]
Доминик де Вильпен — *Крик горгульи.* Главы из книги [№ 2]
Жак Дюпен — *Пространство другими словами.* Эссе [№ 2]
Жак Рубо — *Изменяется город быстрей, чем сердца.* Стихи [№ 3]
Аманда Лир — *Дали глазами Аманды.* Главы из книги [№ 5, 6]
Эрик-Эммануэль Шмитт — *Гость.* Пьеса [№ 6]
Шарль Бодлер — *Стихи* [№ 7]
Жан-Клод Пенсон — *Стихи* [№ 8]
Фредерик Бегбедер — *"Windows on the World".* Роман [№ 9]

2005

Мишель Уэльбек — *Стихи* [№ 3]
Виржини Депант — *Teen spirit.* Роман [№ 4]
Никола Жалло — *Их Сталин поймал в ловушку.* Фрагменты книги [№ 5]
Мартен Паж — *Как я стал идиотом.* Роман [№ 7]
Жан-Поль Сартр — *"Аминадав", или О фантастике, рассматриваемой как особый язык.* Статья [№ 9]

2006

Фредерик Бегбедер — *Романтический эгоист.* Роман [№ 2]
Мишель Уэльбек — *Возможность острова.* Фрагменты романа [№ 2]
Паскаль Брюкнер — *Вечная эйфория. Эссе о принудительном счастье.* Фрагменты книги [№ 3]
Салим Баши — *Пёс Одиссея.* Роман [№ 4]

Ив Бонфуа
Yves Bonnefoy
[р. 1923]. Французский поэт, прозаик, эссеист, историк культуры, профессор Коллеж де Франс, почетный доктор нескольких европейских и американских университетов, лауреат национальных и международных литературных премий.

Автор книг стихов и рассказов *О движении и неподвижности Дувы* [*Du mouvement et de l'immobilité de Douve*, 1953], *Поперечная улица* [*Rue Traversière*, 1977], *Начало и конец снегопада* [*Début et fin de la neige*, 1991], *Выгнутые доски* [*Les planches courbes*, 2001] и др., повести *Внутренняя область* [*L'Arrière-pays*, 1972], сборников эссе *Невероятное* [*L'Improbable*, 1959], *Истина слова* [*La Verité de parole*, 1995], книги *Беседы о поэзии* [*Entretiens sur la poésie*, 1990], монографий о средневековых французских фресках, раннем римском барокко, творчестве Рембо, Джакометти, Гойи, переводов стихотворений Шекспира, пьес Йейтса, Китса, Леопарди.
На русском языке вышли книги Бонфуа *Стихи* [1995], *Невероятное* [1998], *Избранное. 1975–1998* [2000], *Внутренняя область* [2002]. В *ИЛ* публиковались его эссе о Й. Сеферисе [1996, № 7] и П. Целане [1996, № 12], а также два рассказа из книги *Темр детей* [2003, № 12].
Поэма *По-прежнему слепой* [*L'encore aveugle*] состоит из двух частей: *По-прежнему слепой* и *Неведомое золото*. Перевод первой части печатался в книге *Избранное. 1975–1998* [2000], но для настоящей публикации существенно переработан.
Перевод выполнен по изданию *Les planches courbes* [Paris: Mercure de France, 2001].

Никола Ре
Nicolas Rey
[р. 1973]. Французский писатель, лауреат премии *Флоры* [2000].

Автор романов *Короткая память* [*Mémoire courte*, 2000], *Тринадцать минут* [*Treize minutes*, 2003], *Бежать в тридцать лет* [*Courir à trente ans*, 2004], *Пляж в Валлори* [*Vallauris Plage*, 2006].
Повесть печатается по изданию *Un début prometteur* [Vauvert: Au diable vauvert, 2003].

Венсан Равалек
Vincent Ravalec
[р. 1962]. Французский писатель, киносценарист, режиссер, лауреат премии *Флоры* [1994].

Автор многих романов и сборников новелл, в том числе *Ключи от счастья* [*Les Clefs du bonheur*, 1993], *Гимн шпане* [*Cantique de la Racaille*, 1994, рус. перев. 2004], *Автор* [*L'auteur*, 1995], *Венди* [*Wendy*, 1996], *Современная жизнь* [*La vie moderne*, 1996]. В *ИЛ* напечатан перевод романа *Ностальгия по черной магии* [*Nostalgie de la magie noire*, 2003, № 10].
Поэма печатается по изданию *Une orange roulant sur le sol d'un parking et s'illuminant tranquillement de toutes les couleurs de l'univers* [Vauvert: Au diable vauvert, 2004].

Кристиан Остер
Christian Oster
[р. 1949]. Французский писатель.

Автор романов *Волейбол* [*Volley-ball*, 1989], *Пикник* [*Le Pique-nique*, 1997], *Вдали от Одиль* [*Loin d'Odile*, 1998], *Моя большая квартира* [*Mon grand appartement*, 1999, премия Медичи], *Домработница* [*Une Femme de ménage*, 2001], *В поезде* [*Dans le train*, 2002] и др.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Les Rendez-vous* [Paris: Les Éditions de Minuit, 2003].

Ирина Исаевна Кузнецова
Переводчик с французского. Лауреат премий *Иностранка* [1997] и им. Мори-

Переводила стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, провуде Виньи, М. Пруста, Н. Саррот, Колетт, А. Камю, Х. Семпруна и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть *Ни завтра, ни потом* В. Денона [1997, № 5], *Письма Симоны де Бовуар к Нельсону*

са Ваксмахера [1999]. Награждена французским орденом Академической пальмовой ветви.

Олгрену [1998, № 7], стихи и эссе Уэльбека [2001, № 5; № 2005, № 3], романы *Повинная голова* Р. Гари [2001, № 12], *Маленькое чудо* П. Модиано [2003, № 7], *Как я стал идиотом* Мартена Пажа [2005, № 7] и др.

Филипп Делерм
Philippe Delerm
[р. 1950]. Французский писатель.

Автор книг *Пятое время года* [*La cinquième saison*, 1983], *Осень* [*Automne*, 1990, премия Ален-Фурнье], *Сандборн, или Дни света* [*Sundborn ou Les jours de lumière*, 1997, Премия книгоиздателей и Национальная премия библиотекарей], *Загубленная сиеста* [*La sieste assassinée*, 2001, рус. перев. 2002].
Перевод публикуемых рассказов выполнен по изданию *Dickens, barbe à papa et autres nourritures délectables* [Paris: Éditions Gallimard, 2005].

Натали Саррот
Nathalie Sarraute
[1900–1999]. Французская писательница.

Автор романов *Портрет неизвестного* [*Portrait d'un inconnu*, 1948], *Мартеро* [*Martereau*, 1953], *Планетарий* [*Le planétarium*, 1959], *Золотые плоды* [*Les fruits d'or*, 1963; рус. перев. 1969], *Между жизнью и смертью* [*Entre la vie et la mort*, 1968], *Вы слышите их?* [*Vous les entendez?* 1972, рус. перев. 1983], *Говорят дураки* [*Disent les imbéciles*, 1976], *Ты себя не любишь* [*Tu ne t'aime pas*, 1989, рус. перев. 1996], нескольких пьес для театра, сборника *Тропизмы* [*Tropismes*, 1938], книг *Дар речи* [*L'Usage de la parole*, 1980; рус. перев. 1982], *Здесь* [*Ici*, 1995].
В *ИЛ* напечатана глава из романа *Планетарий* [1963, № 1], повесть *Детство* [1986, № 12], фрагменты книги *Откройте* [1999, № 5].
Пьеса печатается по изданию *Théâtre* [Paris: Éditions Gallimard, 1978].

Луи-Рене Дефоре
Louis-René des Forêts
[1918–2000]. Французский прозаик, поэт, лауреат национальных и международных литературных премий.

Автор романа *Попрошайки* [*Les Mendiants*, 1943], повести *Болтун* [*Le Bavard*, 1946], сборника рассказов *Детская комната* [*La chambre des enfants*, 1960], поэмы *Морские мегеры* [*Les Mégères de la mer*, 1967], книги воспоминаний *Ostinato* [1997] и др. Перевел [в соавторстве с Элен Бокановски] книгу *Джерард Мэнли Хопкинс. Записные книжки, дневник, письма* [1998].
На русском языке произведения этого писателя печатаются впервые.
Перевод рассказов выполнен по изданию *La chambre des enfants* [Paris: Les Éditions Gallimard, 2002].

Жан-Мишель ди Фалько
Jean-Michel di Falco
[р. 1941]. Французский священнослужитель, епископ Гапа с 2003 г.

Автор многочисленных работ по теологии, истории церкви и педагогике.
Публикуемые фрагменты взяты из книги *Je crois moi non plus. Dialogue entre un évêque et un mécréant arbitré par René Guitton* [Paris: Calmann-Lévy, 2004].

Фредерик Бегбедер
Frédéric Beigbeder
[р. 1965]. Французский писатель, журналист, критик.

Автор романов *Каникулы в коме* [*Vacances dans le coma*, 1994; рус. перев. 2002], *Любовь живет три года* [*L'amour dure trois ans*, 1997; рус. перев. 2003].
В *ИЛ* опубликованы его романы *99 франков* [*99 francs*, 2002, № 2], *Windows on the World* [2004, № 9, премия *Интералье*], *Романтический эгоист* [*Égoïste romantique*, 2006, № 2] и новеллы из сборника *Рассказики под экстази* [*Nouvelles sous ecstasy*, 2001, № 11].
Публикуемые фрагменты взяты из книги *Je crois moi non plus. Dialogue entre un évêque et un mécréant arbitré par René Guitton* [Paris: Calmann-Lévy, 2004].

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского. Лауреат премии *Инолитл* [1999] и премии имени Мориса Вакмахера [2002].

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдорора* Лотреамона [1993, № 1], романы А. Сарразен *Перелом* [1993, № 10, 11], Э. Ажара *Голубчик* [1995, № 7], А. Нотомб *Антихриста* [2004, № 10], Дай Сы-цзе *Комплекс Ди* [2005, № 8], миниатюры Ф. Делерма [2002, № 7], пьеса Э.-Э. Шмитта *Гость* [2004, № 6], фрагменты книги П. Брюкнера *Вечная эйфория* [2006, № 3] и др.

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, культуролог. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], имени Анатоля Леруа-Больё [1996], имени Мориса Вакмахера [1998], Международной премии имени Ефима Эткинда [2006].

Автор статей по социологии культуры и книг *Слово – письмо – литература* [2001], *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004], *На полях письма* [2005]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12].
В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], эссе И. Бонфуа [1996, № 7] и Ф. Лежёна [2000, № 4], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9] и др.

Борис Хазанов
[псевдоним Г. М. Файбусовича]
[р. 1928]. Прозаик, эссеист, переводчик. По образованию врач, кандидат медицинских наук. Лауреат премии *Литература в изгнании* имени Х. Домин [Германия, 1998], нескольких премий международного ПЕН-клуба, премии журнала *Октябрь* [1998]. С 1982 г. живет в Германии.

Автор книг *Идущий по воде. Статьи и письма* [1985], *Миф Россия. Опыт романтической политологии* [1986], романов *Час короля* [1985], *Я Воскресение и жизнь* [1985], *Нагльфар в океане времени* [1993], сборников рассказов *Страх* [1990], *Город и сны* [2001] и др.

Доминик де Вильпен
Dominique de Villepin
[р. 1953]. Министр иностранных дел Франции.

Автор книги *Сто дней, или Дух самопожертвования* [*Les Cent-Jours ou L'esprit de sacrifice*, 2001]. В *ИЛ* публиковались главы из его книги *Крик горгульи* [2004, № 2].
Публикуемый перевод выполнен по изданию Jorge Semprun, Dominique de Villepin *L'Homme Européen* [Paris: Plon, 2005].

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Джулиана Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также перевод романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4] и Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11–12] и др.

Переводчики

Марк Самуилович Гринберг
[р. 1953]. Переводчик с французского и немецкого языков, лауреат премии имени Мориса Ваксмахера [1998].

В его переводе издавались произведения средневековой и ренессансной литературы, а также авторов XX века И. Бонфуа, Ф. Жакоте, П. Целана, Ж. Старобинского и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Ирина Геннадьевна Пашанина
Переводчик с английского и французского языков.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Михаил Давидович Яснов
[р. 1946]. Поэт, переводчик классической и современной французской поэзии.

Автор пяти книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Сирано де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8], М. Уэльбека [2003, № 3], стихи французских сюрреалистов [2002, № 5].

Ирина Всеволодовна Радченко
[1951—2005]. Переводчик с французского.

В ее переводах издавались произведения Г. Флобера, Ф. Жюллиана, Ф. Саган, Ж. Шардона и др. В *ИЛ* были опубликованы рассказы Ж. Жироду [1989, № 7], А. Камю [1993, № 3] и Мари Деплешен [2004, № 1], фрагменты романа Л.-Ф. Селина *Guignol's Band, или Паяцы* [2001, № 3], романы Ж.-Ф. Туссена *Месье* [2001, № 3] и *Фотоаппарат* [2002, № 1], М. Уэльбека *Платформа* [2002, № 11], В. Депант *Teen spirit* [2005, № 4], фрагменты книги Ж. Перека *Темная лавочка* [2003, № 12] и др.

Мария Львовна Аннинская [Иванова-Аннинская]
Переводчик с французского и итальянского языков.

В ее переводах выходили произведения Ж. Кокто, С. де Бовуар, Ж.-Ж. Арно Р. Гарри, Т. Ландольфи, А. Жида, Алена [Эмиля Шартье]. В *ИЛ* в ее переводе печатались роман Б. Виана *Осень в Пекине* [1995, № 3] и его новелла *Квартира в наперстке* [1999, № 11], фрагменты *Мемуаров* А. Моруа [1998, № 6], главы из книги Оливье Тодда *Альбер Камю, жизнь* [2000, № 4], избранные новеллы Д. Буццати [1994, № 12].

Наталия Владимировна Кислова
Переводчик с французского.

В ее переводах печатались произведения Г. Башляра, М. Юрсенар, Р. Кайуа и др.

Елена Юрьевна Леонова
Переводчик с французского.

В ее переводе публиковались произведения Ж. Верна, П. Лоти, Ж. Кесселя, Э. Тевено, С. де Бовуар, М. Юрсенар и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Елена Викторовна Клокова
Переводчик с французского.

В ее переводе выходили книги С. Коллара *Дикие ночи*, П. Сибо *Эпоха диктатур*, Латифы *Украденное лицо*, А. Труайя *Крушение*, А. Гавальда *Просто вместе*, Шань Са *Игра в го*. В *ИЛ* в ее переводе печаталась автобиография Ильича Рамиреса Санчеса *Кто я?* [2004, № 9].

"Лондонские затейники" — повесть знаменитого английского писателя ПИТЕРА АКРОЙДА о юных почитателях творчества Шекспира, спровоцировавших одну из самых скандальных литературных мистификаций XVIII века.

"По версии Барни" – роман классика современной канадской литературы МОРДЕХАЯ РИХЛЕРА, увлекательный многоплановый рассказ о жизни Барни Панфоски – бонвивана и циника, тонко чувствующего, исключительно наблюдательного и глубоко несчастного человека.

"Теракт" – роман одного из самых читаемых на Западе франкоязычных алжирских писателей ЯСМИНА КАДРА о судьбе живущего в Израиле палестинца.

"Признания туриста. Допрос" – книга знаменитого австрийского романиста КРИСТОФА РАНСМАЙРА о реальных и воображаемых путешествиях, для него нераздельных и ставших образом жизни.

"Давний спор" – яркий дебют молодого французского автора СТЕФАНА КАРЬЕРА, роман, соединивший в себе философские и поэтические раздумья о роли искусства, о любви и месте артиста в современном мире.

"Поцелуй Иуды" – пьеса английского драматурга ДЭВИДА ХЭЙРА, новая версия трагических событий последнего периода жизни Оскара Уайльда, когда писатель оказался покинут всеми, даже тем, кого он любил и защищал.

"Лолита и немецкий лейтенант" – книга ныне забытого немецкого прозаика ГЕНРИХА ФОН ЛИХБЕРГА, чьи новеллы, опубликованные в 1916 г., возможно, послужили прообразами для "Лолиты" и "Изобретения Вальса" Владимира Набокова.

"Зеленое сукно Монтенегро" – остросюжетный исторический роман о генерале султанской армии Осман-паше, плененном черногорцами в 70-е годы XIXвека, и – одновременно – впечатляющее повествование о трагических событиях в Югославии конца XX века. Автор – известный сербский писатель МОМО КАПОР.

"Ночь" – пьеса известного польского писателя АНДЖЕЯ СТАСЮКА, "славяно-германский трагифарс" по определению самого автора, острая сатира на польско-русско-немецкие стереотипы.

"Благодать зеленой травы" – дебют американца ШОНА МАКБРОЙДА, в котором автор и его герой, неунывающий, острый на язык тринадцатилетний подросток, – описывают быт обитателей бедных ирландских кварталов на окраине Филадельфии, искусно превращая прозу жизни в настоящую поэзию.

"Curruculum vitae" – написанная в сдержанно-иронической манере автобиография знаменитой английской писательницы МЮРИЕЛ СПАРК (1918–2006), на страницах которой встречается немало людей, послуживших прообразами ее героев.

"Факел в ухе" – главы из автобиографической книги лауреата Нобелевской премии австрийского писателя ЭЛИАСА КАНЕТТИ, где рассказывается о культурной жизни Вены 1924 – 1928 гг.

"Рассказчик" ДЭНИЕЛА СТАШОУЭРА – биография английского писателя Артура Конан Дойла (1859 – 1930), создавшего знаменитый образ частного сыщика Шерлока Холмса. Другие материалы об авторе и его герое.

"Клонировать Христа?" – документальная книга известного французского писателя Д. ВАН КОВЕЛЕРА, в которой рассказывается, как вчерашняя научная фантастика сегодня становится научной реальностью.

Статьи, эссе, литературные гиды и специальные номера: "Писатель путешествует", "Антология американской новеллы XXI века" и др.

Новые выпуски постоянных рубрик журнала: "Документальная проза", "Вглубь стихотворения", "Из классики XX века", "Литературное наследие", "Путешествие по книге", "Трибуна переводчика", "Наши гости", "Наши интервью", "Среди книг", "Carte blanche", "Письма из-за рубежа", "Курьер ИЛ", "БиблиофИЛ", и др.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская"). Тел. 953-51-47.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины французской художницы Леонор Фини [1908–1996] *Освобождаемая кариатида* [1986].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.8.2006
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1826.
Тираж 7600 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[10] 2006

РОМАН ДЖОНА БЭНВИЛЛА “МОРЕ” / ПОВЕСТЬ ЗБИГНЕВА МЕНТЦЕЛЯ “ВСЕ ЯЗЫКИ МИРА” / ИСПАНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В ПЕРЕВОДЕ ПАВЛА ГРУШКО / ДЖОН ЭШБЕРИ В РУБРИКЕ “ДРУГАЯ ПОЭЗИЯ. АНТОЛОГИЯ” / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: “БАЛКАНЫ. ПЕЙЗАЖ РАЗВАЛИН” / “НА ПОЛЯХ ХОЛОКОСТА” — СТАТЬЯ ЛЬВА АННИНСКОГО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

в 2007 году

"ЛОНДОНСКИЕ ЗАТЕЙНИКИ" – повесть знаменитого английского писателя ПИТЕРА АКРОЙДА о юных почитателях творчества Шекспира, спровоцировавших одну из самых скандальных литературных мистификаций XVIII века.

"ПО ВЕРСИИ БАРНИ" – роман классика современной канадской литературы МОРДЕХАЯ РИХЛЕРА, увлекательный многоплановый рассказ о жизни Барни Панфоски – бонвивана и циника, тонко чувствующего, исключительно наблюдательного и глубоко несчастного человека.

"ТЕРАКТ" – роман одного из самых читаемых на Западе франкоязычных алжирских писателей ЯСМИНА КАДРА о судьбе живущего в Израиле палестинца.

"ПРИЗНАНИЯ ТУРИСТА. ДОПРОС" – книга знаменитого австрийского романиста КРИСТОФА РАНСМАЙРА о реальных и воображаемых путешествиях, для него нераздельных и ставших образом жизни.

"ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ" – пьеса английского драматурга ДЭВИДА ХЭЙРА, новая версия трагических событий последнего периода жизни Оскара Уайльда, когда писатель оказался покинут всеми, даже тем, кого он любил и защищал.

"ЛОЛИТА И НЕМЕЦКИЙ ЛЕЙТЕНАНТ" – книга ныне забытого немецкого прозаика ГЕНРИХА ФОН ЛИХБЕРГА, чьи новеллы, опубликованные в 1916 г., возможно, послужили прообразами для "Лолиты" и "Изобретения Вальса" Владимира Набокова.

"КЛОНИРОВАТЬ ХРИСТА?" – документальная книга известного французского писателя Д. ВАН КОВЕЛЕРА, в которой рассказывается, как вчерашняя научная фантастика сегодня становится научной реальностью.

"CURRUCULUM VITAE" – написанная в сдержанно-иронической манере автобиография знаменитой английской писательницы МЮРИЕЛ СПАРК, на страницах которой встречается немало людей, послуживших прообразами ее героев.

"ФАКЕЛ В УХЕ" – главы из автобиографической книги лауреата Нобелевской премии австрийского писателя ЭЛИАСА КАНЕТТИ, где рассказывается о культурной жизни Вены 1924–1928 гг.

"РАССКАЗЧИК" ДЭНИЕЛА СТАШОУЭРА – биография английского писателя Артура Конан Дойла (1859–1930), создавшего знаменитый образ частного сыщика Шерлока Холмса. Другие материалы об авторе и его герое.

СТАТЬИ, ЭССЕ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГИДЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА:
"ПИСАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ", "АНТОЛОГИЯ АМЕРИКАНСКОЙ НОВЕЛЛЫ XXI ВЕКА" И ДР.

НОВЫЕ ВЫПУСКИ ПОСТОЯННЫХ РУБРИК ЖУРНАЛА:
"ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА", "ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ", "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА", "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ", "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КНИГЕ", "ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА", "НАШИ ГОСТИ", "НАШИ ИНТЕРВЬЮ", "СРЕДИ КНИГ", "CARTE BLANCHE", "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА", "КУРЬЕР ИЛ", "БИБЛИОФИЛ" И ДР.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2006, № 9, 1-320